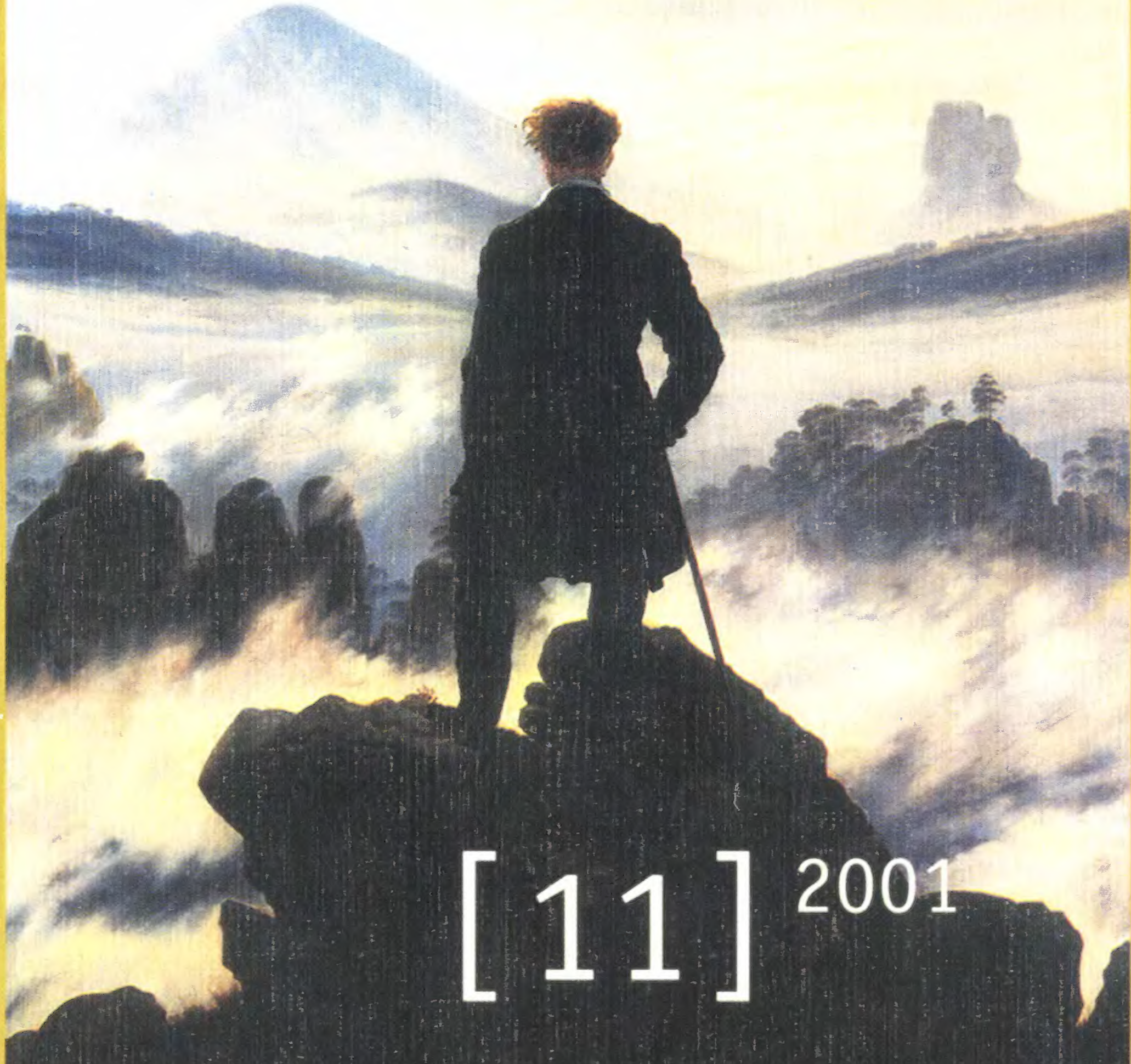
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[11] 2001

БИРГИТ ЛАХАНН: НОВАЯ БИОГРАФИЯ ФРИДРИХА НИЦШЕ / РАССКАЗЫ ДЖЕНЕТ УИНТЕРСОН И ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА / СТИХИ ФАЗЫЛА ХЮСНЮ ДАГЛАРДЖИ В ПЕРЕВОДЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА / НАШИ ГОСТИ: ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ И ЗОЛТАН АГОШТОН / БАЛЛАДА АЛАНА АЛЕКСАНДРА МИЛНА "ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕЖОНОК"

Основан в 1891 году

[11]

2001

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Дженет Уинтерсон. *Рассказы.* Перевод с английского Ольги Варшавер

20 Алан Александр Милн. *Плюшевый медвежонок.* Баллада. Перевод с английского и вступление Евгении Славороссовой

25 Маргрит де Моор. *Дженнифер Винкелман.* Рассказ. Перевод с нидерландского и вступление С. Князьковой

37 Артуро Перес-Реверте. *Клуб Дюма, или Тень Ришелье.* Роман *(окончание).* Перевод с испанского Н. Богомоловой

178 Фазыл Хюсню Дагларджа. *Стихи из цикла "Пьяница".* Перевод с турецкого Фазиля Искандера. Вступление Веры Феоновой

183 Фредерик Бегбедер. *Рассказики под экстази.* Перевод с французского И. Васюченко и Г. Зингера

Документальная проза

204 Биргит Лаханн. *Существовать и мыслить сквозь эпохи! Штрихи к портрету Фридриха Ницше.* Перевод с немецкого А. Егоршева

Наши гости

256 *Петер Эстерхази и Золтан Агоштон.* Вступление и запись беседы Л. Васильевой

Статьи, эссе

265 Евгений Попов. *Пуговицы от новых штанов*

Среди книг

272 Сергей Дубин. *Мир sub specie dadaitatis, или Дадаленд.* Анна Альчук. *Трагедия Ницше и современность.* Марина Курганская. *Война Владислава Шпильмана*

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

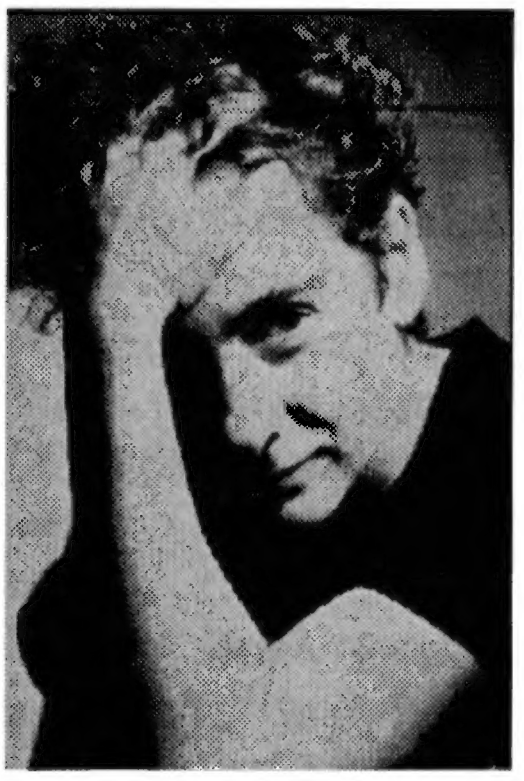
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Е. Д. Богатыренко
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Из общего тиража Институт "Открытое общество" ежемесячно выкупает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1 700 экземпляров; Министерство культуры РФ выкупает для библиотек 800 экземпляров; финансовую поддержку журналу оказывает также Министерство печати РФ.

Дженет Уинтерсон



Рассказы

Перевод с английского Ольги Варшавер

Щенок на сутки

МЯГКИЙ, точно дождевая вода. В первый же вечер я повел его через фазаний луг, и вспугнутые птицы вырывались из травы прямо у нас перед носом. Реактивный вертикальный взлет фазана испугает любого, привыкнуть к нему нельзя. Я вот заранее знаю, жду — и то оторопь берет. А что мог знать он, двухмесячный, головашея словно вопросительный знак?

Я взял его на поводок, и он запрыгал от радости. Так резвятся звери и дети, а взрослые — никогда. Взрослые всю жизнь недоумевают: куда подевались их детские прыг-скок?

Лапы у него были устроены для хождения по кругу, по орбите — вокруг меня. Вселенная игры. Отчего же я так целеустремленно иду по прямой? Куда меня заведет? А он описывает круг за кругом, и попадаем мы в итоге в одно и то же место.

Я шел купаться. Ужасно хотелось смыть тяжелые, жаркие следы прошедшего дня. Сбить звезды с зеркальной глади и окунуться в податливую воду. Я перекинул поводок через сточный желоб, затянул и разделся. Как же весело ему было жевать пару новых носков и валяться на старых хозяйских ботинках! Вопрошающая голова уткнулась в находку и, поглощенный ею всецело, он не заметил, как я нырнул. Ночь пахла сеном и розмарином.

А вот это оказалось совсем не весело. Утонуло его солнце. Бросило его в кромешной тьме мирозданья, не наделив даже именем. Внезапно

Copyright © Jeanette Winterson, 1998
© О. Варшавер. Перевод, 2001

он тявкнул тонким, дрожащим голоском — впервые в жизни, а потом вдруг обнаружил, что длинный нос — это орудийный ствол, что можно взвыть и послать залп своей тоски в этот страшный мир, где еще недавно было вовсе не страшно.

Я оперся локтями о воду и приподнялся как можно выше. Первое же мое слово он поймал ловко, словно мячик. И очутился на перевале меж хаосом и порядком. Это мгновение эволюции бесконечно проходят все неискушенные, юные, недавно рожденные. В этот миг еще не существует машин и самолетов. Еще не расписана Сикстинская капелла, не создана ни единая книга. Есть только луна, вода, ночь, тоска одного существа и ответ другого. Миг между хаосом и порядком — а потом я впервые произношу его имя. И он меня слышит.

Домой его пришлось нести: щенок беспомощно сплел лапы и уткнулся носом поглубже за отворот пиджака; уже сейчас он был вдвое больше взрослой кошки, но в то же время — маленький, такой маленький, крошечный, как раз по ширине моих рук.

Утром я забрал его с фермы, от братишек и сестры, от матери и друзей. Он, прицельно выбранный из весеннего помета, станет моим псом, тугой спиралью моего счастья. Медленно, постепенно эта спираль раскрутится, и счастье откроется мне вполне.

Спортивная машина ему нравилась — пока мы не тронулись в путь. Прежде движение воплощалось для него в четырех ногах, в крайнем случае — в двух. Он еще не изобрел колеса. С отчаяньем выходца из каменного века он забился в самый угол на заднем сиденье. Он не напрягся, а наоборот — бесформенно расползся, а под ним, на синей коже расползлась лужа, которую не замедлил выпустить его расползшийся от страха мочевой пузырь.

Через пять минут мы были дома, и он, пошатываясь, выбрался из машины — словно раб сошел с галеры, где отсидел, прикованный, больше полугода. Он нетвердо ступал по гравию неуклюжими, не соразмерными телу лапами, ожидая, что земля вот-вот снова уйдет из-под ног.

Я подтолкнул его к калитке — маленькой дверце в массивных воротах. Он взглянул на меня недоуменно: что делать-то? Пришлось показать, как одолеть порожек: закинь разом две передние лапы, подтяни задние и прыгай. Он плюхнулся мордой в землю, но благодарно замахал хвостом.

Все утро перед поездкой на ферму я притворялся собакой. Ползал на четвереньках по кухне и подсобке, выискивая все ядовитое (отбеливатель), опасное (крем для обуви), запретное (резиновые сапоги), смертоносное (электропроводку), все глотательное, жевательное, сгрызательное, а еще всевозможные ножницы и пилы, то есть все, что может разрезать собаку пополам.

Накануне я весь день прилаживал новые полки и переставлял шкафы. Заехавший из Лондона приятель спросил, не увлекся ли я фэн-шуем. Пришлось объяснить, что меня интересуют не энергопотоки, а место, куда можно спрятать собачьи лакомства.

Даже шланги стиральной машины я отвел в другую сторону, поскольку прочел в руководстве, что ларчеры[1] обожают грызть шланги, причем

1. Помесь колли с грейхаундом. (*Прим. перев.*)

когда машина работает, и если собаку не ударит током, то уж потоп на кухне обеспечен наверняка.

Неделю назад я упросил подругу сходить в магазин "Мать и малыш" и купить детский манеж. Этот поход ее чуть не доконал. Дело было отнюдь не в слащаво-пастельных тонах, звуках свирели и экране с мультиками и даже не в продавцах, которые по умственному развитию в точности соответствовали возрастным группам 2–4 и 4–6. И даже не в спецпредложениях, вроде "Сто сосок по цене пятидесяти". Просто мою подругу сбила с ног тележка-подъемник со штабелем ночных горшков.

Я установил манеж. Попытался помириться с подругой. Провел бессонную ночь на новом, набитом бобами матрасике. Я притворялся собакой.

Наутро позвонил фермер.

– Приходите забирайте. Самое время.

Самое время. Сейчас или никогда. Не раньше, не позже. Сейчас.

Да, я приду за тобой. Соберу все силы в кулак и – приду. Перекинусь мостом через поток других твоих шансов. Буду мостом, буду паромом, потому что ты – мечта.

Это всего лишь собака. Разумеется. Но она все про меня поймет.

В то девственное утро расцветающего лета мы со щенком решили посадовничать. То есть я подстригал колючие кусты эскаллонии, а он стаскивал к моим ногам все содержимое гаража, кроме автомобиля. Началось с брезентовой рукавицы, поскольку я в ней явно нуждался. За ней последовал плетеный короб, кассета Дайаны Росс, маленький огнетушитель, расческа, с которой он тут же стал похож на Гитлера, а после – целая куча доисторической черепицы. Умея двигаться исключительно по кругу, он влетал в одну дверь гаража и, выбрав очередное сокровище, вылетал из другой. Искусство торможения он еще не освоил и, желая остановиться, просто летел кувырком через голову.

Я оглядел всю россыпь его находок. Похоже, я все-таки увлекся фэншуем. К чему мне кассета Дайаны Росс? Зачем храню шестифутовый рулон ковровой подкладки? У меня же нет ковров! Список наших вселенских вопросов начинается и кончается именно так. Он был космической собакой.

Воздух обтекал меня как вода. Я двигался сквозь нечто осознанно осязаемое. Время – игрок. Время – частица сегодняшнего дня, а не просто мера его убывания.

Многомерность времени ощутима не всегда. Но сегодня я ощущал ее в воздухе, а воздух был сродни воде. Я двигался внутри вещества. Вот собака, вот я, вот солнце, вот небо, все – на одном рисунке, в едином танце, и время – пылинками в струях света – танцевало вместе с нами. День перелился в нас, обрел наши формы, а мы обратились в день. Время сохранит и вернет все – воспоминаниями о прошлом, событиями будущего. Отпечаток рисунка, движение танца, от которого я отказался.

Он крепко спал под столом, я лущил фасоль, а мои кошки, все четыре, расселись по подоконникам, точно часовые. Они, конечно, понимали,

что собака — существо нижнего яруса, но все же он был вдвое крупнее... Свое психологическое преимущество они еще не оценили. Щенок-то не ведал, какой он величины, и сам себе представлялся крошечным. Карманной собачкой.

Я смотрел на него — доверчивого, беззащитного, полного безоглядной любви. Он только начал жить, а с каждым новым началом возрождается мир. Внутри него таились первобытные леса и нетронутая морская ширь. Он был картой — с четкими контурами и невысказанной надеждой. Он был временем — *до* и *после*. *Сейчас* не успело его тронуть и испортить. Он был моим единственным шансом меж хаосом и порядком.

Настал вечер. Мы сходили на пруд. И поплыли назад сквозь ночную зыбь. Легкий ветерок развевал его уши. Он поскулил и уснул. Домой я его принес кверху брюхом.

Матрасик я купил лиловый, с узором из костей и котлет. Ну кто придумывает эти рисунки? Зачем? Какой житель английского городка садится к столу и тщательно выводит кость за костью, котлету за котлетой? Как выглядит личная жизнь такого художника? И кто это — он или она?

Вопросов возникало множество, но выбора не было. Одна знакомая рассказывала, что стоило ей заиметь ребенка, безупречный вкус, которым она гордилась всю сознательную жизнь, бесславно пал под натиском толпы бандитов-дизайнеров и она оказалась во власти воинствующей безвкусицы. Желаете ползунки? Пожалуйста, только с зайчиками. А вам подстилку для собаки? Пожалуйста, только с котлетами и костями.

Долой котлеты! Он перекувырнулся, захлебываясь от счастья. Неужели этот матрасик — для него? Он бросился пузом, со всего маху, распластался и взглянул на меня искоса из-под лапы: вдруг я одерну, накричу? Нет же, нет! Ты — моя собака. А мир вокруг — это твой набитый бобами матрасик.

Кошек я запер на кухне, где у них был лаз на улицу. Собаку — в кладовке, вместе с мячом и матрасиком. Себя я запер в комнате по имени сон.

В руководстве написано, что собак надлежит подавлять. И не позволять им спать с хозяином. Собака должна спать одна.

Я проснулся час спустя. И понял, что мой пес руководства не читал. Он жалобно выл, оповещая всю округу о своей тоске. Я не знал, что делать. И не сделал ничего. А ведь он привык спать вповалку, с сестрой и братьями. И вдруг оказался один. Он звал и звал, но на этот раз я не ответил. В его мире воцарился совершенный хаос.

Около девяти утра я спустился на кухню. Кошки воззрились на меня со своих постов. Под глазами у них были мешки, огромные, точно фирменные баулы Луи Вюттона для дальних странствий.

— Мы уходим из дома, — заявили они. — Выдай завтрак, а потом ищи-свищи.

Я накормил их, и след в след, точно муравьи, кошки устремились через лаз на улицу.

Я глянул в зеркало. Мешки у меня под глазами явно нуждались в носильщике.

Вопрос следующий: что с собакой?

Я приоткрыл дверь в кладовку. Щенок лежал на матрасике, уткнувшись носом в угол: символ безысходной печали. Я замер, а он приподнялся на шатких лапах и пополз ко мне на брюхе. Как и прописано в руководстве: я — хозяин, и я его подчинил.

И выпустил из тьмы на свет. Поставил под нос огромную миску молока с овсянкой. Мне всегда нравилось, как едят собаки: шумно, неаккуратно, отфыркиваясь, точно свиньи у кормушки. Вообще, я большой ревнитель хороших манер, но время от времени полезно вспоминать, что все мы, в сущности, звери.

В том-то и проблема: собака проникнет в каждый мой зазор, просочится в каждую мою пору, от нее не укроется ничто. Я и сам знаю, что я утлый, убогий сосуд, но захочется ли мне вспоминать об этом каждый день?

Это всего лишь собака. Верно. Но она уже поняла про меня все.

Я взял щенка на поводок и повел по полям. Я вышагивал в пижаме и резиновых сапогах, но как бы эксцентрично это ни выглядело, душа моя и вовсе зияла наготой. Так к чему одеваться, раз ее не прикрыть никакой одеждой?

Щенок носился кругами, теплый, меховой, снова счастливый: разом и от свободы, и от несвободы — он знал, что он мой. В любом из нас всю жизнь борются жажда свободы и жажда быть чьим-то. Я не раз поступался свободой ради того, чтобы быть нужным, но надежда *принадлежать* в основном оказывалась тщетной.

И не стоит пытаться снова обрести невинность и слиться с миром, по-детски или по-звериному. Попробуй прийти к этому по-взрослому, сознательно. Спорим: чтобы научиться, источая счастье, бегать кругами по лугу, ты потратишь целую жизнь...

День выдался туманный и оседал на его шерсти. Я был начеку. И пытался заглянуть в будущее.

Он-то отдастся мне без остатка. А я? Смогу ли ответить? Кем придется мне стать для этой собаки? Было бы проще, будь он сам попроще. Ну не такой умный, не такой понимающий. Не искрился бы счастьем, которое так легко и так страшно разрушить.

Будь сам я другим человеком, тоже было бы проще. Мы же оба — и пес, и я — состояли из сплошных краев и углов. Были одинаково бесшабашны. Оба нуждались в любви. Но я уже знал ей цену. Я никогда не подсчитываю, но цену знаю.

Я позвонил на ферму.

— Придется вам принять его назад... Я не справлюсь.

Мы с фермером давно уговорились: когда ощенится его сука и серьезный народ со всей округи примется разбирать эту пищащую кучу, я тоже возьму щенка. Правда, почему бы мне не завести собаку? Земли достаточно, дом просторный, времени вдоволь, и терпения растить все, что растет, наверняка хватит.

Я все продумал заранее и очень тщательно. Подготовил все до последней мелочи. Но осталось главное, чего не вычислишь и не просчитаешь: два сердца. Его и мое.

Подруга несла матрасик. Я вел щенка. А он бежал вприпрыжку, вращался, точно веселая планета, описывая круг за кругом. Круги жизни.

Мой достопочтенный кот-стервец, престарелый и одноглазый, которого щенок страшно боялся, проводил нас до самых границ своих владений. На краю поля он, как всегда, уселся в ожидании нашего возвращения. Он ждал нас одних, без щенка.

Дойдя до фермы, щенок пригорюнился. Я тихонечко заговорил. Попытался объяснить. Уж не знаю, что именно он понял, но то, что отныне он — не моя собака, он понял точно. Мы пересекали невидимую границу, высокую как стена.

В последний раз я взял его на руки...

Потом была бурная встреча — с мамашей, сестренкой и братьями. Я всех угощал косточками и печеньем, а он, как знак особого отличия, демонстрировал матрасик. Глядите: где я был и что мне досталось!

Мы спустили его с поводка, и он опять начал играть и кувыркаться — незатейливо, по-щенячьи, а прошедший вечер, пруд, ветер, туманное утро, окутавшее нас обоих, стали потихоньку стираться из его памяти.

Что подумал обо мне фермер? Кто знает?.. Я пробормотал приличествующие случаю извинения. И ведь говорил сущую правду: моя подруга действительно внезапно собралась в длительную командировку, а несколько недель управляться с работой, землей, домом и зверьем в одиночку куда как непросто — даже без щенка, за которым надо ходить, как за малым ребенком.

А вот истинную причину я объяснить не мог. Она где-то таилась, и сам я чуял ее подспудно. Всю жизнь напролет люди обманывают себя, нарочно загоняют истину подальше и поглубже. Когда все ясно, это так больно...

Я слышал его лай еще несколько недель. Этот лай целил мне прямо в сердце. А потом его кто-то забрал, и он получил кличку Гарри и отправился на другую ферму — к детям, уткам и прочим развлечениям, короче, к той собачьей жизни, которой со мной ему было не отведать. Ну что бы я с ним делал? Учил читать?

Я знаю, ему не стать той собакой, которой он стал бы здесь, схлестнись мы с ним всерьез, на пределе душ и сердец. Может, оно и к лучшему. Для меня. Я живу в пространстве меж хаосом и порядком. Хожу по узкой планке, которая вот-вот проломится под ногой, проломится — и я полечу в пропасть, лишенную всякого смысла. А иногда мою планку оплетают провода, электрические провода, и у меня сперва начинают светиться ноги, потом тело, и вот я весь свечусь, превращаюсь в маяк для самого себя, и мне открывается красота новых, только что созданных миров. Неслучайная красота. Начало начал.

Все это я в нем и увидел. И испугался.

Я успел дать ему имя. Нимрод, могучий зверолов, охотник из Книги Бытия. Который всегда приносил домой добычу. Он и меня выследил. Это

я и предвидел. Самое удивительное, что хотя я его отдал, нам с ним уже не расстаться. И умереть он не может. Вот он — навсегда: деталь рисунка, элемент танца. Он бежит рядом, вечный и радостный.

Первое рождество О'Брайен

ПОСМОТРИШЬ вверх — и сразу видно: "Торгуем 27 дней до Рождества". Буквы крупные, красные, следом — свита пляшущих Санта-Клаусов и сонм ангелочков с трубами.

Универмаг огромный. Если выложить все, что здесь продают, в непрерывную цепочку, начиная с шелковых чулок и кончая пупсом Христом, можно опоясать весь мир. Недра магазина воистину неисчерпаемы. Даже сейчас, в предрождественской горячке, с продленными часами работы, полки по-прежнему ломятся от товаров.

О'Брайен работает в отделе домашних животных. Мимо нее вереницей катятся тележки и плывут корзинки с лосьонами для рук и лица, завернутыми в глянцевую оберточную бумагу с оленьими упряжками. Покупательницы — с виду вполне вменяемые женщины — дружно накидываются на пирамиды кремов для торта, упакованных в коробки с изображением кошары и Вифлеемской звезды. Нанести пирамидам ощутимый урон просто невозможно, они тут же вырастают вновь. Этот феномен, по соображениям О'Брайен, означает только одно: двадцать пятого декабря две трети минимально состоятельных людей или обжираются сладкой клейковиной, или размазывают ее по собственному телу.

О'Брайен открывает лосьон и коробку с кремом. Один к одному! Где-то в Богом забытой дыре стоит фабрика, производящая желтоватую густую массу, оттуда ее рассылают, безымянную, по городам и весям, а посредники, торгующие исключительно под Рождество, фасуют эту гадость во что хотят.

О'Брайен Рождество не любит. Каждый год она просит Бога о чуде, обыкновенном чуде, которое избавило бы ее от роя старых тетушек с неизменными шерстяными носками в подарок и расспросами о ее ухажерах. А у нее ухажера нет. Живет одна, работает в секции домашних животных. Могла бы и себе завести зверька, причем с большой скидкой, в тридцать пять процентов, но ее квартирная хозяйка, убежденная "научная христианка", терпеть не может живность или, как она говорит, "бродячие молекулы".

— Шерсть и волосы — переносчики инфекции. А что может быть волосатее животных?

Поэтому О'Брайен снова встречает Рождество в одиночестве.

Солидарность рождественских покупателей сродни единению, которое — судя по мемуарам — ощущали люди во время войны. Никто не толкается и не распихивает ближних локтями, как случается в иные пики торгового ажиотажа. Напротив, люди пропускают друг друга вперед и болтают о снегопаде, который неминуемо грянет на днях.

— Под Рождество должен выпасть снег! Как же иначе?!

Разумеется! Иначе и быть не может. Вдоволь подарков, вдоволь денег, искусственные дрова в камине — чтоб горели точь-в-точь как настоящие. И снег для детей.

О'Брайен берет газету и проглядывает раздел "Одинокие сердца". К Рождеству таких объявлений печатают не колонку, а аж несколько страниц. К Рождеству всего больше. Столбец за столбцом: умные, жаждущие любви, стройные мужчины и женщины, без видимых дефектов... Неужели все они справляют Рождество в одиночестве? Неужели счастливых пар, обманчиво заполнивших магазин, все-таки меньшинство?

Она позвонила однажды по объявлению и отправилась ужинать со щуплым молодым человеком, специалистом по ремонту органных труб. Он предложил пожениться в тот же вечер по особому разрешению. О'Брайен отказалась, сославшись на то, что скоропалительный брак с непривычки ее утомит. Все равно, что записаться на курс аэробики для продвинутых, когда сам не можешь и пяти минут высидеть на велосипеде-тренажере. А почему, собственно, он так торопится?

— У меня слабое сердце.

Ага, значит, аэробика вспомнилась не зря.

После этого она записалась в фотоклуб, где мужики наперебой предлагали помощь в темной камере, где они проявляли пленку, но у них у всех были волосатые лапищи, напоминавшие горилл из магазинов, где продаются разные шутливые прибамбасы.

— Не поднимай планку чересчур высоко! — наставляют ее тетушки.

Но она поднимает. До самых звезд. Ее планка витает меж созвездий ревущего Льва и бодливого Тельца. И в декабре, когда звезды разгораются особенно ярко, она представляет себя в иной, счастливой жизни.

— У человека должна быть мечта, — говорит она щенку-ньюфаундленду, которому тоже предстоит стать подарком на Рождество. — Но я не знаю, чего хочу. Просто плыву по течению.

Считается, что у мужчин все обстоит иначе: и мечты имеются, и цель в жизни. Она спросила об этом у Клайва, старшего менеджера на их этаже.

— Я бы открыл "Макдональдс". Не забегаловку, а настоящий большой ресторан с полным меню, с залом для разных праздников.

Как О'Брайен ни старается, вдохновиться такой мечтой трудновато. Все равно, что мечтать о пылесосе: мощность мощностью, но где же праздник?

Вечером О'Брайен застает хозяйку за серьезным делом: она прилаживает над входной дверью рождественский веночек.

— Сама понимаешь, для жильцов стараюсь, не для себя. Потом еще в холле бумажные гирлянды повешу.

Хозяйка всегда говорит очень медленно: она урожденная венгерская графиня. А такие особы и говорят особо.

Так и не сняв свое красное пальтишко с начесом, О'Брайен уже стоит с концом гирлянды в руках, а хозяйка, кряхтя, лезет по скрипучей стремянке, зажав в зубах шесть крошечных гвоздиков.

— Скоро Рождество, — говорит О'Брайен. — Торжественно клянусь в Новом году переменить свою жизнь. Иначе какой в ней смысл?

— В жизни смысла нет, — говорит хозяйка. — А тебе надо выйти замуж или записаться на какие-нибудь вечерние занятия. Я, к примеру, последние семь лет делаю копии мемориальных досок.

В холле холодно. Гирлянда слишком короткая. Советов О'Брайен слушать не хочет. Извинившись, идет к себе наверх. Хозяйка в неожиданном порыве жалости предлагает ей на ужин банку сардин.

— Не в томате, а в оливковом масле!
Но у О'Брайен другие планы.

У себя в комнате она составляет список того, о чем принято мечтать: замужество, дети, карьера, путешествия, дом, вдоволь денег... В Рождество эти столпы жизни высвечиваются особенно ярко. Если они у тебя есть, пусть не все, пусть хоть несколько, двенадцать праздничных дней ты блаженно пируешь в кругу семьи. А если нет, в Рождество их отсутствие гнетет особенно остро. Ты — изгой, сторонний наблюдатель. Даже странно, что отмечая самое аскетичное рождение на свете, люди предаются такому чревоугодию. О'Брайен в теологии не специалист, но тут что-то явно нечисто.

Она потихоньку осознает, что ее замечательный список совершенно не похож на ту жизнь, которую она воображает, глядя на звезды. Ей становится стыдно. Да кто она такая, чтобы рассчитывать на что-то особенное, что другим и не снится?

— Спуститься с небес на землю и выйти замуж, — говорит она вслух. — Чем плохо?

— Ничем, — войдя без стука, с порога подтверждает хозяйка. — Это абсолютно нормально. Норма необходима всем. — Она ставит на буфет банку с сардинами и исчезает.

— Норма необходима всем... — мысленно повторяет О'Брайен. — А что необходимо мне?

Полночи она лежит без сна, слушает по радио песенки и рождественские шутки. Хочется остаться в тепле, под одеялом, навсегда и смотреть, как горит — точно настоящее — электрическое бревно. Вспоминается сказка про принцессу, которую пригласили на бал. Отец-король предложил ей на выбор больше двухсот нарядов, но все они ей не годились, а перешивать было слишком сложно. В конце концов она отправилась на бал в своем любимом шелковом платьице, даже не успев подобрать волосы, и все равно оказалась там первой раскрасавицей.

— Надо быть собой, — говорит О'Брайен, не вполне понимая, что она, собственно, имеет в виду.

Потом она все-таки засыпает, а проснувшись в кромешной тьме в самый глухой ночной час, понимает: она в комнате не одна. И точно: в ногах кровати сидит молодая женщина в пышной балетной пачке.

Пугаться О'Брайен не намерена. Гостьи ее непутевой соседки частенько ошибаются дверью.

— Вики живет в соседней комнате, — говорит она. — Вам включить свет?

— Я — рождественская фея, — представляется незнакомка. — Желание будешь загадывать?

Ну вот, еще пьяных среди ночи не хватало!

— Может, вас проводить?

— Я нахожусь именно там, куда меня послали. Пришла точно по адресу. Так тебе любви, приключений или чего-нибудь другого? Денег не даем.

О'Брайен призадумалась. А вдруг это новый вид поздравительной телеграммы? Надо бы подыграть, чтобы понять, кто прислал это странное поздравление.

— И что же вы предлагаете?

Незнакомка извлекает откуда-то альбом с фотографиями.

— Здесь собраны все доступные мужчины Лондона. Каталог в алфавитном порядке. Хочешь усатых, смотри на "у". На эту же букву найдешь уродов.

О'Брайен листает альбом. Но на ум все время лезет серия благотворительных открыток "Солнечная улыбка" — она покупала их когда-то, чтобы помочь сиротам. Заметив, что О'Брайен не воодушевилась, незнакомка подсовывает ей второй альбомчик.

— Здесь все доступные женщины. Нравятся — бери. Мне все едино.

— А разве вам не положено петь? — резко меняет тему О'Брайен.

— Почему? Тебе наскучила беседа?

— Нет. Но вы ведь — поющая телеграмма.

— Я не поющая телеграмма. Я — фея. Так чего ты желаешь?

О'Брайен отчаянно хочется спать.

— Ладно, — говорит она. — Я желаю стать блондинкой.

После этого она, похоже, сразу засыпает, проваливается куда-то до самого утра, до будильника. Он звенит, но она снова засыпает, потом вскидывается, понимает, что опоздала, раз-два, напяливает на себя красное пальтишко и — бегом в суету улиц, запруженных озабоченными покупателями.

На работе, поднимаясь в свою секцию, она встречает Джанис из "женского белья".

— Потрясающие волосы! Я тебя не сразу узнала.

О'Брайен смущена. Она и причесаться-то на успела. Волосы, небось, дыбом стоят. Она идет в туалет, смотрит в зеркало. Блондинка.

— Тебе идет, — говорит Кэтлин из отдела тканей. — Только теперь надо побольше макияжа.

— Побольше?.. — Обычно она вовсе не красится.

Не вернуться ли домой? Но в лифте, по пути к выходу, она встречает актера, который приехал в универмаг играть Санта-Клауса...

— У вас в гроте, где сцена, такая духота, — сочувственно говорит О'Брайен. — Все из полистрина. Для легких — сущий кошмар.

— Послушайте, — говорит Санта, — в подвале меня ждут две дюжины резиновых гномов. Я должен их надуть. Если поможете — угощу обедом.

Впервые в жизни О'Брайен отдается хаосу, не задумываясь о последствиях. Да и чем можно удивить девушку, которую в ночи посетила поющая телеграмма, и наутро она проснулась блондинкой. Надувать гномов — это же как глоток свежего воздуха...

— У тебя красивые волосы, — произносит ряженый Санта.

— Спасибо. Только что покрасила.

В вегетарианском кафе, поедая пирожки с чечевицей, украшенные веточками остролиста, Санта приглашает О'Брайен на рождественский ужин.

— Жареный труп не обещаю.

— Ну и ладно, — говорит О'Брайен. — Я не вегетарианка, но мяса не ем.

— Значит, вегетарианка.

— А разве они не члены каких-то клубов или групп?

— Нет, — говорит Санта. — Надо быть самим собой.

О'Брайен улыбается своему отражению в зеркале. Как, оказывается, здорово быть самой собой. На работу она в тот день не вернулась. Пошла, как все люди, по магазинам. Купила новую одежду, кучу еды, гирлянду разноцветных лампочек. А потом уличный торговец предложил ей елку с большой скидкой, и О'Брайен взвалила ее на плечо и потащила домой. Только открыла дверь — хозяйка тут как тут.

— Ты сегодня рано, — медленно говорит она. — И намерена усеять иглами мой ковер.

— Спасибо за сардины! Возьмите, пожалуйста, пакетик с мандаринами, угощайтесь!

— У тебя совсем другие волосы! Что-то произошло?

— Да. Но это секрет.

— Надеюсь, дело не в мужчине?

— Нет. В женщине.

Хозяйка немеет. А очухавшись, говорит:

— Сейчас по радио будут передавать Евангелие от Луки. Я иду слушать.

О'Брайен сует картошку в духовку и вешает на окно гирлянду с лампочками. Небо усыпано звездами.

В восемь приходит Санта, промокший, замерзший, все в том же красном костюме с колпачком. О'Брайен зажигает свечи и спрашивает:

— У тебя есть рождественское желание?

— Быть здесь с тобой.

— А если бы я не была блондинкой?

— Да будь ты хоть лысой!

— Счастливого Рождества! — говорит О'Брайен.

Ньютон

ЭТО рассказ о Томе.
О Томе и его соседях.
О Томе, его соседях и соседском саде.
Это рассказ о Томе.

— Все мои соседи — физики-классики, — говорит Том. — Законы их движения детерминированы. Они встают в 7.15 утра и в 8.00 уходят на работу. В 10.00 домохозяйки пьют кофе. Если в обеденный перерыв, между 13.00 и 14.00, вам повстречается на улице человек, знайте: он либо врач, либо похоронный агент, либо вовсе не здешний.

— Я и сам нездешний, — добавляет Том.

— В чем состоит первый закон термодинамики? — спрашивает Том. И сам же отвечает: — От холодного к горячему тепло не передается. И это сущая правда, потому что я никогда не видел от своих соседей ни капли тепла. Здесь, в Ньютоне, мы не очень-то разговорчивы. То есть соседи мои болтают непрерывно, они одними сплетнями и живы. Зато сам я молчу. Я — их пища.

— В чем состоит второй закон термодинамики? — спрашивает Том. — Все стремится к энтропии. То есть энергия существует, но употребить ее на

что-то полезное нет никакой возможности. Достаточно взглянуть на моих соседей-ньютонианцев, и вы сразу со мной согласитесь.

У соседки сад полон искусственных цветов. "Так проще, — говорит она. — И очень мило". Мужа после смерти она ламинировала, и теперь он стоит в саду перед домом, уперев руки в боки, и пристально смотрит в небо.

— В чем дело, Том? — Она идет вдоль забора со своей стороны. Лицо ее то пропадает, то появляется вновь, как утка-мишень в тире. — Почему бы тебе не жениться? У нас в твоем возрасте с этим проблем не было. Знакомились, женились, жили в свое удовольствие. А похотливых недотеп, вроде тебя, не водилось вовсе.

— Кого-кого?

Ее голова ныряла все чаще: соседка снимала с веревки нижнее белье и укладывала его прямо себе на бюст. Она явно хотела, чтобы я поглазел и доказал тем самым, что я похотлив. Ведь если похотлив я, то уж точно не она и никто другой из соседей. Больше одного "недотепы" на квартал не положено.

Она двинулась дальше, норовя высунуть голову то тут, то там, а трусы и лифчики громоздились на бюсте горой — чуть не до ушей.

— Том, нам нравилось быть обыкновенными. В те дни предметом гордости была норма.

Том-недотепа. Дом ломится от иностранных книжек в мягких обложках, сам — в вельветовых брюках. ("Ты что, против "ливайсов"?", — спрашивал сосед до того, как его ламинировали.) Все здешние мужчины носят джинсы "ливайс", в крайнем случае слаксы или штаны из плащевки с накладными карманами. Только одни упрятывают пузо под ремень, а другие свешивают поверх.

Меня тут подозревают и в гомосексуализме. Наплевать. Не важно, кто я, лишь бы кем-то быть.

— Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? — спрашивала меня мама давным-давно, чуть ли не в прошлой жизни.

— Пожарником, космонавтом, разведчиком, машинистом, крутым, изобретателем, водолазом, врачом, медбратом.

— Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? — спрашивал я каждый день, глядя в зеркало.

— Самим собой. Хочу быть самим собой.

А кто ты таков, Том?

В стандартную Вселенную, где все крутится по часовой стрелке, вброшен квантовый ребенок. Ну почему не каждая мать верит, что ее ребенок перевернет мир? А ведь он может. В том-то и штука. Мы страдаем в поисках Спасителя, а они рождаются сотнями каждую секунду. Посмотрите на них, на эти капсулы новой жизни. Им безразличны ваши устои и предрассудки, беды и злосчастья, им не важно, каков был мир до них. Сотворить его заново? Им это по плечу, только дайте шанс. Но мы изо всех сил растим их по своему образу и подобию: такими же трусами, как мы сами. Не дай бог, узнают, какая мощь в них заложена. Не дай бог, услышат, как поет трава. Пускай живут и умирают в Ньютоне, тик-так, тик-так, до самого смертного часа.

В дверь постучали. Я спрятал Камю в холодильник и, поскоблив матовое стекло, выглянул на улицу. И никого, разумеется, не увидел. Когда заказываешь матовые стекла, тебя не предупреждают, чем это чревато.

— Том? Том? — Тук-тук-тук.

Соседка. Я прошаркал к двери, как был — босиком и не заправив рубашку. Ну точно, она. Волосы уложены кольцом, как венец боевой славы. А сама — во всем розовом.

— Том, я не помешала? — Спрашивает, а сама так и шныряет глазами — куда взгляд дотянется.

— Я читал.

— Я так и думала. Говорю себе: бедняга Том, должно быть, читает. Он ничем не занят. И наверняка мне поможет. Сам знаешь, Том, каково приходится одинокой женщине. С тех пор, как ламинировали моего мужа, я едва справляюсь.

От нее пахнет женщиной: теплом, духами, невнятной угрозой. Надо быть начеку, а то и правда окажешься "недотепой". Предложу-ка ей кофе. Она вроде бы рада, но по-прежнему поглядывает на мои босые ноги и незаправленную рубашку. Ну и ладно, не в гости же пришла. Просто о чем-то попросить. Ей надо помочь по дому. Это нормально, по-соседски, а я очень хочу быть нормальным соседом.

— Приехала моя мама. Поможешь вынести ее из машины?

— Конечно! Идем!

— Не торопись. Она проделала долгий путь. Пускай немного отдохнет. Ты ведь хотел налить мне кофе?

Соседку я не люблю, но ложечка с сахаром дрожит в руке. Меня здесь много лет не видели в упор и считали изгоем, так что теперь даже простейшее общение выглядит странным.

Как готовят кофе нормальные люди? И что во мне их так сильно тревожит? Ведь я чистоплотен. И у меня есть работа.

— Том, разве теперь модно держать книги в холодильнике?

В дешевых детективах встречается расхожая фраза: "Его подкинуло и развернуло винтом". Я как прочитаю — всегда смеюсь. Но, услышав вопрос, я проделал именно этот кульбит. Стоял лицом к раковине, а через секунду — уже лицом к соседке. Она протягивала мне Камю.

— Я просто доставала молоко, Том. Кто такой этот Аль-берт Камью? — Она мяукала мявом разъяренной кошки.

— Француз. Французский писатель. Не знаю, как он попал в холодильник.

— Не знаешь, как он попал в холодильник? — повторила она, словно услышала слово Божье.

Я пожал плечами и объяснил с обезоруживающей улыбкой:

— Холодильник большой. А вы разве никогда не находите в холодильнике ничего позабытого?

— Нет, Том. Никогда. Сыр у меня лежит на верхней полочке, ниже — пиво и ветчина, еще ниже — курица, я покупаю ее под выходные, а совсем внизу — зелень и яйца. Таковы правила. Так было при жизни мужа, так по сей день и осталось.

Я проникся к ней особым уважением. Белая жница с косой посетила ее дом, унесла мужа, но курица по-прежнему лежит на отдельной полке.

О Смерть, где жало твое?

Не выпуская из рук Камю, соседка положила локти на стол и подалась вперед, вся такая мягкая, теплая, близкая, в вырезе платья чуть видна грудь...

— Том, ты никогда не думал, что тебе нужна помощь? — "Помощь" она произнесла с напором проповедника, словно выписала заглавными буквами.

— Вы про холодильник? Я просто ошибся. От ошибок никто не застрахован.

Она подалась вперед еще больше. Грудь обнажилась до половины.

— Том, позволь без околичностей. Знаешь, в чем твоя проблема? Читаешь слишком много гениев. Уж не знаю, гений ли твой мистер Ка-мью, но на днях ты сидел на центральной площади и читал мемуары Пикассо. Из школы шли дети, а ты читал Пикассо. Мисс Фин, библиотекарша, говорит, что ты никого, кроме гениев, не читаешь. В ее реестре не нашлось ни единой пометки о том, чтобы ты брал приключения, скажем, роман о пиратах. Это нездорово. Спросишь почему? Потому что ты сам отнюдь не гений. Будь ты гением, мы бы давно это поняли. Ты же — самый обыкновенный человек и ничем от нас не отличаешься, а обыкновенные люди должны вести обыкновенную жизнь. Как все мы, жители Мирных Садов.

Она откинулась назад, захватив с собой грудь.

— Может, пора помочь вашей матушке? — предложил я.

Мы вышли на улицу. Соседка направилась к припаркованному возле дома, наглухо задраенному фургону. Однажды, пару лет назад, я видел ее мать и наверняка узнал бы, но в кабине никого не было.

— Она сзади, Том.

Соседка распахнула задние дверцы фургона, и там действительно оказалась ее старуха-мать в инвалидном кресле, которое уже давно служило ей и домом, и автомобилем. Старуха скалилась страшной застывшей улыбкой, посверкивая зубами, точно хищный зверь.

— Ну разве не идеальная работа, Том? Они ее сделали еще лучше, чем Дага, а он — в свое время — был последним писком моды. Видела бы она себя сейчас! Она ведь и не догадывалась, что я ее тоже ламинирую. Она бы так этим гордилась!

— Это ее собственные зубы?

— Да, Том. Теперь — да!

— И куда вы ее поставите?

— В сад, к цветнику. Она очень любила цветы.

Медленно-медленно мы спустили кресло на землю. И покатили по чисто выметенному тротуару к белоснежному дому. Тут как раз подошло время дневного кофепития, и обновленную маменьку сбежалась навестить куча соседок. Они выказали ей столько почтения, что мы простояли в саду, беседуя о ламинировании, до окончания рабочего дня. Кстати, за каждого "совращенного" на ламинирование моя соседка в будущем получит скидку. Поэтому она надеется уговорить весь Ньютон, чтобы к моменту ее собственной смерти семьдесят пять процентов вожделенных услуг были оплачены вперед.

— Том, я видела, что ты бродил по кладбищу. Это негигиенично.

За кого она меня принимает? За вампира или некрофила? Я же объяснял: там похоронена моя мать! А она опять за свое: кладбища никому не нужны, зато молодоженам нужна свободная земля. Им жить негде.

— Том, не умирать мы пока не умеем, и нам придется как-то справляться с последствиями смерти. Но покойникам здесь места нет, разве что в качестве украшения.

Я попытался растолковать ей, что, если люди перестанут умирать и освободятся все кладбища в мире, места для неуклонно растущего, пухнущего, стареющего населения все равно не хватит. Но она не слушает. Глядит туманно-мечтательным взором и жалеет молодоженов.

Которыми Ньютон так и кишит. Для одиноких пора выделить улицы с односторонним движением. А магазины в Ньютоне! Даже дойти до них — настоящая мука. Ненавижу проталкиваться сквозь длинные, как крокодилы, колонны на Главной улице: люди идут, гордо развернув плечи, рука в руке, каждой твари по паре, словно только что с Ковчега. И катят видавшие виды детские коляски. Потом ОН устремляется в магазин "Сделай сам", а ОНА влетает в торговый центр. Неужели не знают, что избыток ролевых игр вреден для здоровья? Только вообразите: вы жена и елейным голоском просите: "Милый, улучи минутку починить унитаз". А теперь вообразите, что вы — муж и вам надо вымыть этот самый унитаз собственноручно, потому что от вас ушла жена.

Почему они женятся? Это нормально. Это мило. Это принято, в Ньютоне так делают все. Тик-так, тик-так, тик-так.

— Том, спасибо! Что бы я без тебя делала?! — приговаривает она, пока мы устанавливаем маменьку возле прудика с утками. Утки желтые, из-под шампуня, с приоткрытыми красными клювами, а пруд наполнен настоящей, слегка хлорированной водой. Никогда прежде я не бывал у соседки в саду. Тишина стоит мертвая. В траве ничто не шуршит. Да и травы нет, шуршать негде. И птицы не щебечут. Она уверяет, что главная прелесть сельской жизни — покой.

— Том, будь ты гением, ты мог бы работать здесь. Тишина, воздух. Знаешь, при входе в сад у меня установлен специальный фильтр для очистки воздуха.

Стоит осень, и по астропочве кое-где разметало пластиковые листочки. В углу соседского сада — сарай из ламината под дерево, там сложено все необходимое для смены времен года. Она не раз мне объясняла, что в саду должно быть разнообразие и поэтому у нее в хорошо проветриваемой пещере Аладдина хранится имитация самой разнообразной природы. Тюльпаны, красные и белые, безжизненно подвешены вверх корнями. Пучки нарциссов валяются вперемешку с бутонами камелий — ждут превращения в вечнозеленое древо. Тут имеются даже белочки, сжимающие в лапках одинаковые орешки.

— Их мы выпустим совсем скоро, вместе с вьюнком.

Все стены ее дома увиты виргинским вьюнком. Сейчас он зеленый, летний. Пора менять на красный осенний вариант.

— А мой вьюнок уже краснеет, — замечаю я.

— Слишком рано, — решительно возражает соседка. — Нельзя всецело полагаться на природу. Терпеть не могу, когда падают листья. Они вечно залетают не туда. Если природой не управлять, она будет творить все, что вздумается. Нет, ее надо непременно водить за руку. Упустишь

момент, и все эти вулканы, лесные пожары, наводнения повлекут за собой кучу смертей. Трупы усеют землю, как листья.

Как листья. Совсем как листья. Неужели тебе не нравится листопад? Ну хоть чуть-чуть? Неужели ты не любишь ворошить листья ногой в надежде прочитать послание свыше? Я люблю. Люблю эти простые слова. Они здесь, у нас под ногами: хочешь — читай, не хочешь — проходи мимо. Их смывает дождь, разносит ветер, но никто их не сгребает, не уносит домой. К твоим ногам падает жизнь, а ты отбрасываешь ее в сторону, и на ботинках остаются кровавые пятна. А потом ты приходишь домой, и мама говорит: "Погляди, ты весь в листьях!"

Весь в листьях. И ты отдираешь их, один за другим. Вместе с кожей. Обнажается все: потери, утраты. А когда все, чему суждено упасть, упадет, можно взять лист в руки и прочитать то, что написано на обороте. Какая-то бессмыслица. Смял, сунул в карман. А он прожигает карман, словно тлеющий уголек. Скажи, почему тебя все покинули? Один за другим, все, кого ты любил. Разве они не любили тебя? Не нуждались в сердце, открытом, точно книга, где никогда не перевернуть последнюю страницу? Повороши листья...

— Листья уже краснеют, — повторяет Том.

В благодарность за помощь она пригласила меня на ужин. И я решил пойти, сказав себе: так принято среди нормальных людей, все изредка садятся за соседский стол, как бы скучно и невкусно это ни было. Я даже отыскал галстук и нацепил его на шею.

— Том! Входи же! Какой сюрприз!

Сюрприз, разумеется, для меня. Для нее вряд ли, она же весь день простояла у плиты.

Оказавшись в комнате, я понял, что сюрпризом являюсь я сам. За столом собрался весь Ньютон. Стол начинался от серванта в стиле Каподимонте, и тянулся, тянулся — сквозь зияющую в противоположной стене дыру — наружу и дальше, к автовокзалу.

— Думаю, ты тут со всеми знаком, — говорит соседка. — Садись рядом со мной, на место Дага. Ты как раз его роста.

Знаком ли я со всеми? Трудно сказать. Лица сливаются, теряются за брешью в стене.

— Так, Том. Бери тарелку. У нас сегодня курица под свиной стружкой, фаршированная крутыми яйцами. Есть еще салат, я сама приготовила. А еще сыр и вдоволь пива в холодильнике — хоть залейся.

Она уплывает дальше, вдоль стола; платье обтягивает ее, точно утопленницу. Гости уткнулись в тарелки. Все едят курицу. Сидят в джинсах и слаксах и уплетают выложенные на бесконечном столе три или четыре сотни кур, набитых полудюжиной яиц каждая. А я все пытаюсь представить, как, в какой духовке ей удалось зажарить столько кур сразу. И вдруг — ба-бах!!! Одна из птиц взрывается, обрушив на соседку яйца, точно из гранатомета. Ей отрывает руку — по счастью, не ту, в которой держат вилку. Никто ничего не замечает. Я хочу говорить, действовать. Я даже начинаю говорить, действовать, но тут соседка возвращается с серебряным блюдом под крышкой.

— А это для тебя, Том.

Все за столом мгновенно смолкают. Вскочив на ноги и пытаясь сохранить остатки собственного достоинства, я приподнимаю тяжеленную крышку. Под крышкой — курица.

— Это твоя курица, Том.

Она говорит правду. Из куриной задницы торчит мой Альбер Камю. "Посторонний". Его, слава богу, не нашинковали, его еще можно спасти. Открыв книгу, я вижу, что в ней нет ни единого слова. Страницы пусты.

— Мы хотим тебе помочь. — Ее глаза полны слез. — Не только я. Все мы. Хотим протянуть руку помощи Тому.

За столом начинают аплодировать: все дружнее, быстрее, громче. Стол трясется, посуда скользит от края до края, пьянея от штормовой качки. Происходящее и вправду похоже на захватывающий рассказ о морских приключениях. Капитан и команда спятили, а я на корабле — единственный пассажир. Хватаясь за переборки, бегу из столовой на кухню, захлопываю за собой дверь. Здесь царит покой. Гигиеничный кафельный покой.

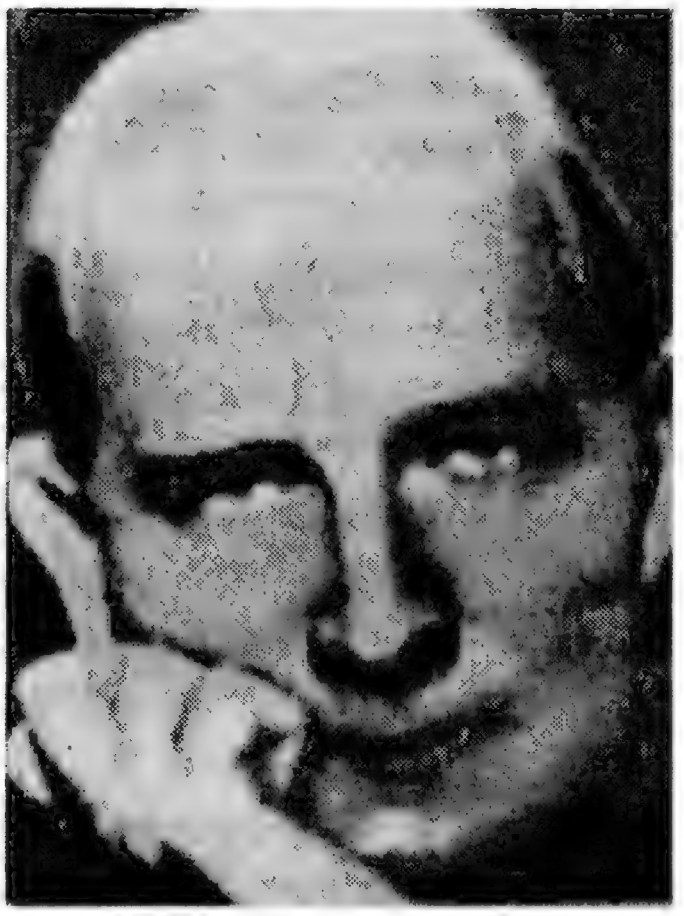
Том сел на пол и заплакал.

Прошло время. Так всегда случается в Ньютоне, причем все точно знают, сколько требуется времени, чтобы оно прошло. И никто не беспокоится. Том не знает, сколько прошло времени. Пробудившись от беспокойного сна, он разбивает кулаком матовое стекло кухонной двери. Идет домой, достает широкий плащ с карманами, набивает их книгами. Книги жгут карманы, словно тлеющие угольки. Уходя из Ньютона, он все-таки один раз оглядывается и видит стол, который скрывается за поворотом дороги, тянется по всем улицам, из дома в дом, в единой оргии звенящих вилок. Мир бесконечен.

— Зато холмы уже ждут, — говорит Том. — И вода, когда я бреюсь, уже булькает в горле.

Тик-так, тик-так. В Ньютоне стучат часы.

Алан Александр Милн



Плюшевый медвежонок

Баллада

Перевод с английского и вступление Евгении Славороссовой

К *75-летию выхода в свет книги* "Винни-Пух"

Винни-Пух давно вошел в избранный круг самых любимых литературных героев и уже много лет ведет вполне самостоятельное существование, участвуя в мультсериалах, театральных и кукольных спектаклях, рекламе; он удостоен памятника в Лондонском зоопарке. О Винни-Пухе мы знаем много, о его авторе — меньше.

Алан Александр Милн родился в 1882 году в Лондоне. Отец его был директором небольшой частной школы, в которой одно время преподавал Герберт Уэллс. Окончив Кембриджский университет, где (подобно Кэрроллу) изучал математику, Милн начал работать журналистом. В двадцать четыре года он стал заместителем главного редактора известного юмористического журнала "Панч" и еженедельно печатал там свои очерки. Во время Первой мировой войны Милн был лейтенантом связи английской армии. Война — "высшая степень бессмыслицы, шума и мерзости" — потрясла его. Однако в отличие от многих писателей "потерянного" поколения Милн попытался все же найти себя в послевоенной действительности. Он писал — "улыбаясь, чтобы не плакать", — смешные, ироничные романы и пьесы, пользовавшиеся большим успехом. Но подлинную мировую славу (неожиданно для него самого) принесли Милну книги для детей. Именно там — в зачарованной стране детства — обрел он утраченную гармонию.

Начинал Милн со стихов, ведь по мнению Винни-Пуха не вы находите поэзию, а она вас. Написанное в шутку и опубликованное по настоянию жены детское стихотворение вскоре стало очень популярным. Большой резонанс имела и пер-

© Е. Славороссова. Перевод, вступление, 2001

вая книжка стихов. А знаменитая сага о Винни-Пухе сделала Милна классиком. Как это случилось и с "Алисой в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, книга о Винни-Пухе оказалась необычайно притягательной и для взрослых. Журналисты популярных изданий до сих пор цитируют героев виннипуховской саги, остряки сочиняют про них анекдоты, седовласые барды распевают милновские песенки, солидные бизнесмены собирают коллекции плюшевых мишек, одетых знаменитыми модельерами, а филологи полушутя-полусерьезно пишут научные штудии о Винни-Пухе.

Так, американский литературовед Ф. Кру в книге "Пухова загадка" (1963) опубликовал пародийные исследования милновской книги с позиции формализма, фрейдизма и прочих критических "измов". Его соотечественник Р. Грофф в работе "Дао Пуха" (1976) толкует текст в духе древней китайской философии. А "Русское феноменологическое общество" выпустило книгу "Винни-Пух и философия обыденного языка"; она выдержала уже два издания (1994 и 1996). Ее автор В. П. Руднев, как свидетельствует издательская аннотация, "включает виннипуховскую сагу в психоаналитический, мифологический, характерологический, культурологический, прагмасемантический и аналитико-философский контекст", считая ее одним из серьезнейших и значительных произведений литературы XX века.

У прославленного милновского героя был вполне реальный прототип. В 1921 году годовалому сыну Милна Кристоферу Робину подарили плюшевого мишку, который сразу стал любимцем семьи. Милн начал сочинять о нем стихи и истории. Самое первое произведение, посвященное ему, — баллада "Плюшевый медвежонок" (1924). В ней уже ясно очерчены и комплекция, и характер будущего Винни-Пуха, поэтому в предлагаемом переводе он так и именуется — Винни-Пух.

А впервые русского читателя со знаменитым милновским героем и его друзьями познакомил прекрасный поэт и переводчик Борис Заходер — в 1960 году. Появляются новые переводы "Винни-Пуха". Возможно, своим будущим критикам адресовал Борис Заходер эти емкие строчки:

Конечно,
Это вольный перевод!
Поэзия
В неволе не живет...

Рисунок известного иллюстратора "Винни-Пуха" Эдуарда Шепарда к первому изданию книги (1926 г.)

Наш Винни-Пух был толстоват.
Но кто же в этом виноват?
Зарядку делать каждый день
Ему, конечно, было лень.
И если, погружен в мечты,
Порою падал он с тахты,
Залезть обратно сам не мог
И ждал, чтоб кто-нибудь помог.

Наш Винни-Пух был толстоват.
Но кто же в этом виноват?
Врачей, красавиц и повес
Пугает нынче лишний вес.
Хотелось Пуху закричать:
"Что делать мне, с чего начать?
Куда избыток веса деть
И хоть немного похудеть?"

Наш Винни-Пух был толстоват.
Но кто же в этом виноват?
"Пробежка очень мне нужна, —
Он думал, сидя у окна. —
Мне грустно говорить про то,
Но так, как я, не толст никто.
От неподвижного житья
Никто вокруг не толст, как я!"

Вздыхал он, сам себе не рад,
Средь кучи плюшевых зверят,
Что вместе с Пухом в тесноте
Располагались на тахте.
А рядом высилась гора
Из книг, и в ней была нора,
Где сказка пряталась одна
Про все былые времена.

Так на тахте наш Винни-Пух
Лежал весь день, считая мух.
Но, взяв однажды толстый том,
Портрет нашел он в томе том:
Изображенный в полный рост
Король Луи был очень толст!
Но удивительней всего —
ПРЕКРАСНЫМ звали все его.

“ЛУИ ПРЕКРАСНЫЙ! Вот так-так!
А он ведь, как и я, толстяк”, —
Подумал скромно Винни-Пух,
Не говоря об этом вслух,
Тая сомнения свои. —
А жив ли царственный Луи,
У полноты и красоты
Открывший общие черты?

Ведь если здесь Король живет,
То мода на худых пройдет,
И им придется попотеть,
Чтобы немного потолстеть”.
У Пуха захватило дух.
Прекрасный Медвежонок Пух
Его бы звать мог здешний люд,
Хоть никогда он не был худ.

Назавтра, приоткрыв окно,
Пух размышлял об этом, но
Внезапно с громким криком: “Ой!”
Упал на камни мостовой.
Полет с карниза не пустяк.
На счастье мимо шел толстяк
И поднял на ноги его,
Сказав с улыбкой: “Ничего!

До свадьбы заживет, дружок!
Ну прямо цирковой прыжок”.
Лукаво Пуху подмигнул,
Платочком пыль с него смахнул,
По шерстке потрепал легко,
Шепнув тихонько на ушко:
“Вздыхать не надо тяжело,
Вам, дорогой мой, повезло”,

Медвежий промах извинил
И в колокольчик позвонил.
А Винни-Пух остолбенел,
Ведь прямо на него смотрел
(Его бы мог узнать любой)
Луи-Прекрасный-сам-собой!
Подумал Пух: “Не может быть!”,
Но все ж осмелился спросить:

“Не Вы ли знаменитый столь
Его Величество Король
Луи Прекрасный?” “Это я, –
Кивнул тот, правды не тая. –
А Вы сам мистер Винни-Пух?”
И Пух от гордости распух
И поклонился до земли,
Ведь это любят Короли.

Так Винни-Пух наш с Королем
Поговорил о том о сем,
Значительном наверняка,
И тот сказал ему: “Пока! –
И улыбнулся. – Мне пора.
Прекрасна летняя пора,
Когда тучнеет все вокруг.
Всего хорошего, мой друг”.

Наш Винни-Пух был толстоват.
Но кто же в этом виноват?
Зарядку делать каждый день
Ему, конечно, было лень.
Но все ж доволен Винни-Пух
И часто повторяет вслух:
“И Король не всегда строен,
Ну а я крепко сшит, ладно скроен”.

Маргрит де Моор

Дженнифер Винкелман

Рассказ

Перевод с нидерландского и вступление С. Князьковой

Маргрит де Моор — один из признанных в Нидерландах авторов. Ей принадлежит целый ряд небольших по объему романов, несколько сборников повестей и рассказов. Первая ее книга, сборник рассказов "Вид со спины", увидела свет в 1988 году. За нее писательница сразу получила национальную литературную премию АКО и премию за успешный дебют "Золотое ослиное ухо". С тех пор новые книги Маргрит де Моор выходят практически каждый год. Почти все они выдвигались на соискание литературных премий в Нидерландах или в Европе. Ее первый роман "Серое, белое, голубое" (1991) переведен на многие европейские языки, больше двадцати раз переиздавался в Нидерландах и в 1996 году вышел на русском языке в издательстве "Радуга". Сейчас "Радуга" собирается переиздать этот роман вместе с другими произведениями в серии "Мастера зарубежной прозы".

Маргрит де Моор получила образование по классическому вокалу, была супругой рано скончавшегося художника-авангардиста де Моора. Маргрит де Моор помогала мужу в его работе над художественными и кинопроектами, воспитывала двух дочерей, одна из которых не так давно окончила факультет славистики Амстердамского университета и часто приезжает в Россию.

Сама писательница посетила нашу страну осенью 1996 года в дни фестиваля "Окно в Нидерланды. К 300-летию Великого Посольства Петра I", во время которого в Санкт-Петербурге прошла презентация ее романа "Серое, белое, голубое".

М. де Моор обладает обостренным чувством языка, ведет смелые поиски в области формы, стремится осваивать неизбитые темы в своем, очень современном и узнаваемом и в то же время ни на кого не похожем стиле. Условно ее смысловую и стилистическую палитру можно обозначить как импрессионистически-

© 1995 Margriet de Moor
© С. Князькова. Перевод, вступление, 2001

ассоциативную. Ее проза, являясь ритмической и музыкальной, порой приближается к поэтическому жанру. Во многом она близка к литературе "потока сознания". Сама писательница считает себя реалистом, поскольку находит средства описания внутренней реальности человека, которая для де Моор скорей даже более значима, чем реальность внешняя. С оттенком трагизма воспринимается ею тот факт, что эмоции, воспоминания и ассоциации одного человека остаются чаще всего абсолютно закрытыми для другого, дорогого для него человека, живущего в мире каких-то иных понятий и ассоциаций. Автор исследует незримые причины, приводящие персонажей к столкновениям, а порой и к драматическим коллизиям. Во многих своих произведениях Маргрит де Моор исследует тему молчания. Оно, по мнению автора, агрессивно, ибо проводит между людьми ту грань, которую они, к сожалению, не желают переступить, лишая себя тем самым возможности понять того, кто рядом.

КАК-ТО раз осенью, в октябре, я отправилась в парикмахерскую. Я шла по бульварам городка Б. – мои ноги ступали по засохшим листьям каштанов и кленов. Чувствовала я себя легко и приятно. Солнце бросало медно-красные пучки света сквозь тяжелые, опять обнажившиеся ветки деревьев, которые здесь, на этой стороне железной дороги, вдоль которой теснятся густые заброшенные сады, очень редко подрезают. В воздухе стоял головокружительный аромат, который переносит назад во времена младенчества: детская коляска, сад – в дни самого первого трепетного знакомства с временами года. Я шла прогулочным шагом, чувствуя доверие к жизни. Все кругом предвещало скорое исполнение желаний – прямо на следующей неделе. Безветрие и затишье. Остановка. Блаженная пустота, наступающая после лета перед приближающейся зимой. Осенние каникулы.

Я учительница английского языка. Уже четырнадцать лет преподаю в старших классах лицея, приятная работа, должна признаться, несмотря на то, что мои слова не пробуждают интереса в сонных созданиях, сидящих за партами напротив меня. "Сонеты Шекспира, почти все, посвящены юноше". Они добросовестно записывают, мои ученики, кто-нибудь один поднимет глаза и посмотрит на меня безо всякого любопытства, не замечая даже, что мое постепенно стареющее лицо обрамлено длинными блестящими черными волосами. "И кто такой, господи боже, был этот самый Шекспир?" Мои волосы для меня все. Я знаю точно, что благодаря их экстравагантности мои несколько выцветшие глаза кажутся ярче и морщины по обеим сторонам носа смягчаются. Сколько себя помню, я всегда ходила с длинными волосами.

Вот и шлагбаумы. Я подошла уже к самому центру. Здесь витало то же настроение покоя, ожидания чего-то, чему не мешала публика, шныряющая по магазинам. Подняв хвост трубой, пересекает велосипедную дорожку кот, старик заснул на стуле в кафе под тентом. Тихонько напевая, я дошла до бульвара Бринклаан, в самом конце которого находится единственная на всю округу приличная парикмахерская.

Меня там знают. Знают, что со мной незачем заводить разговор о супермодной стрижке, о современной химической завивке, которая не портит волосы. Я не собираюсь стричься. Как бы невнимательна я ни была к событиям своей жизни, в каком бы неведении ни пребывала относительно прошлого, детства, одно мне совершенно ясно: я по приро-

де своей длинноволосая. Я толкнула тяжелую входную дверь, поздоровалась и сразу прошла к раковинам для мытья головы в глубину зала.

— Да, — сказала я чуть позже молодой парикмахерше, которая встала позади меня. — Хотите верьте, хотите нет, но это так.

Мне помыли голову. Теперь я сидела посреди зала, у двойного ряда кресел, отделенных друг от друга зеркалами, но не разгороженных ширмами.

— Занятия только-только наладились, — продолжила я разговор, — все в школе еще свеженькие, и вот тебе раз — целая неделя свободы!

Девушка, осторожно приподняв мои влажные волосы и набросив мне на плечи накидку, спросила:

— Вы не торопитесь?

— Что ты, дитя мое, нет, конечно. Я никогда никуда не бегу.

И с этими словами я устроилась поудобней, вытянув ноги и закрыв глаза, отдавшись круговым движениям пальцев по своей голове, запахам шампуня и лосьона. Откуда-то доносилось жужжание фена, обрывки разговоров, таких обычных для подобных мест, задушевных, легковесных, порой прерываемых тихим смехом...

— Да, да, — вдруг различила я, — я это знаю. Но через неделю я снова уезжаю.

...?

Пауза.

— Конечно, не сразу, нет. Вначале мне нужно встретить в Лондоне мужа. И потом через пару недель мы полетим дальше...

Фен умолк. Голос после этого зазвучал отчетливей.

— ...в Буэнос-Айрес.

Я открыла глаза и увидела ее. В кресле наискосок от меня какая-то женщина, сильно наклонившись вперед, старалась рассмотреть в зеркале, что сделали с ее головой. Она, скорей всего, была одного возраста со мной, максимум лет сорока, и смотрела на свое отражение так, как, мне представляется, смотрят матери на своих детей, беззащитно и дружелюбно; казалось, она с искренним удивлением впитывает в себя ярко-голубые глаза, подкрашенные красной помадой губы, контуры щек, подбородка и носа — свои точеные черты — и волосы, которые ей сегодня уложили, короткие, послушные, светлые. Но в ту минуту, когда она заулыбалась и удовлетворенно кивнула парикмахеру, который держал возле ее затылка ручное зеркало, я вдруг подумала почти испуганно: но ведь я же ее знаю! Откуда-то я ее знаю!

Она поднялась с места.

— Пойдем? — Она позвала ребенка, девочку, которая все время послушно сидела возле кофейного автомата и рисовала.

Ей подали ее пальто, она расплатилась и вышла вместе с дочкой на улицу, послав мне на прощанье совершенно равнодушную улыбку. Бульвар Бринклаан. Осеннее солнце. Женщина, неторопливо возвращающаяся домой вместе со своим чадом. Боже мой, кто же она такая?

— Скажите, — спросила я, немного помолчав, у парикмахерши, она тем временем устанавливала красные лампы вокруг моей головы, — я такая забывчивая, но, мне кажется, я знаю эту женщину, которая только сейчас ушла, почему-то выскочило из памяти ее имя... Как же ее зовут?..

Я нетерпеливо перебирала в воздухе пальцами.

— Это госпожа Винкелман. Она по полгода живет в Южной Америке. Ее муж дирижер.

Что потом еще делали с моими волосами в парикмахерской, я совершенно не помню. В какой-то момент я вновь очутилась на улице, солнце село, поднялся ветер, обеими руками я придерживала развевающиеся пряди. Вдруг я увидела, как она выходит из магазина, из антикварной лавки, где только что купила какую-то вещь, предмет был запакован в красивую коробочку, которую торжественно несла ее дочка. Не раздумывая, я бросилась в атаку.

— Извините меня, пожалуйста...

Обернувшись, она взглянула на меня, и вновь я с полной уверенностью ощутила: у нас есть общее прошлое, наши пути уже пересекались. Во мне зашевелилось какое-то неопределенное чувство, сродни незаполненному пространству, — ускользающее воспоминание. Думаю, голос мой прозвучал довольно резко.

— Вы госпожа Винкелман. Ваша фамилия, по правде сказать, мне ничего не говорит. Но, может быть, ваша девичья фамилия скажет мне больше, и особенно ваше имя. Я могу спросить, как вас зовут?

Кожа у нее под глазами своей блеклостью напоминала увядшие цветочные лепестки. Она устала.

— Дженнифер.

Прозвучавшее имя разделило нас точно стеной.

— Жаль, — я замотала головой.

Жаль, конечно, но моя решительность от этого только усилилась. Пусть имя ничего не прояснило, зато оно дало какой-то толчок, весь ее облик и вообще все в ней говорило о некоем событии, о каком-то таинственном и восхитительном факте ее биографии, к которому я не могла не быть причастной.

Ее маленькая дочка начала переминаться с ноги на ногу. Я заметила, что Дженнифер Винкелман не хочет дольше задерживаться на месте.

— Мы были знакомы, — сказала я поспешно. — Может быть, в университете, может быть, в средней школе.

Она, что называется, и бровью не повела.

Я попыталась напомнить:

— Воорсхотен. Сестры-бенедиктинки, помнишь, как сестра Сидония, распалившись, сжимала за спиной кулаки, прятала их за своей заношенной, лоснящейся черной юбкой...

Чувствуя легкое головокружение, я опустила глаза. Она, наверное, подумала, что я смотрю на коробочку в руках ее дочки.

— Мы купили маленького клоуна, — пояснила она. — Голубой металлический клоун на самокате, он катается, если его завести...

Я смотрела им вслед, наблюдая, как они исчезают среди длинных теней осеннего дня.

Но потом на целую неделю выбросила все это из головы. "Кто такая Дженнифер Винкелман?" — стало даже не вопросом, а лирическим восклицанием, своего рода неотъемлемой частью меня самой. Этот вопрос определял все, за что бы я ни бралась. В тот день, едва вернувшись домой, я начала поиски. Не снимая пальто, я прошлась по своим смежным комнатам и везде все обшарила. У меня уютная квартира. Старый паркет покрыт коврами, стены до половины отделаны черным, местами опаленным тиковым деревом, возле камина стоит диван из мягкой, как у живого зверя, кожи, с которого открывается вид на одичалый клен в соседнем саду. Над моим письменным столом висит репродукция Моны Лизы.

Я выдвинула ящики. Стоя на коленях перед бюро, достала папки и документы и, вопреки здравому смыслу, все просмотрела, заложив за уши пряди падающих волос.

Ведь понятно было, что ответ на вопрос "Где и откуда берет начало мое счастье?" никак не мог быть найден среди этих документов — все они относились к периоду после пожара. Два года назад на шкуру возле камина упала горящая спиртовка, и я должна признаться, что в буйстве огня, которое началось сразу вслед за тем, было даже что-то величественное. Надо же! Именно я, такая забывчивая, лишилась важных для меня фотографий, дневников и с детства сберегаемой коллекции марок. Я зажгла ночник и стала смотреть на протокол заседания преподавательской группы. События моей жизни теперь хранились не иначе, как в потаенных глубинах памяти.

Когда я родилась — в 1945 году, — мои родители были уже не так молоды. У обоих были седые волосы и молчаливый, необыкновенно мягкий характер, и можно бесконечно задавать себе вопрос, за что им на долю выпало такое, почему в один из тех редких случаев, когда они вместе поехали в отпуск, августовской ночью возле Карловаца, в Югославии, навстречу им из-за поворота выскочил туристический автобус. Мы с братом переехали жить к тете, эта женщина с годами только молодела, носила цветастые юбки, курила турецкую трубку и, словно предвосхищая широту взглядов более поздних времен, ни в чем нас не ограничивала. Когда мы выросли, мой брат занялся трамповым судоходством, я же, став студенткой Лейденского университета, снимала комнату в общежитии для девушек. Худая, застенчивая, с черными волосами, спадающими на лицо, отчасти закрывающими обтянутые черным свитерком плечи, — такой я предстала в лекционных аудиториях и на набережных каналов. При всем при том у меня случались романы. Юноши чувствительные и пронырливые, нетерпеливые и гордые искали прохлады моего внимания и тепла моего тела. Так и продолжалось, пока в двадцать шесть лет я не получила назначение учителем на окраине провинции в Гойланде.

Зевая, я поднялась на ноги. Мне сводило скулы от голода. Из паутины событий моей жизни, из этой исходной материи, сквозь которую то в одном, то в другом облике проглядывала я сама, сегодня в своем прежнем виде ко мне вернулся один тончайший элемент.

На следующий день я проснулась под настойчиво звучавший в голове аккомпанемент: "Мы купили маленького клоуна. Синего металлического клоуна на самокате. Он катается, если его завести..."

Я отодвинула с лица простыню и посмотрела на будильник. Десять часов, как же долго я спала, начиная с десяти можно со спокойной совестью звонить кому угодно.

В телефонной книге трижды значилась фамилия Винкелман. Я выбрала последнюю строчку, с начальной буквой имени А и адресом Эрфгоойерстраат, 18. Раздались гудки. Только когда я услышала ее голос, я поняла, что́ мне надо с ней обсудить. С телефонным аппаратом в руке, я босиком расхаживала по комнате.

— Послушай, — сказала я. — Возможно, сохранилась какая-то фотография, снятая, например, ранним июньским утром, на которой изображены мы обе.

Не дождавшись реакции, я не выдержала и стала делиться с ней воспоминанием о праздновании пятилетия Лейденского студенческого корпуса, который называли Вестиваль[1] из-за обязательного жилета, непременной части костюма его членов. Кульминацией праздника — вспоминала я — был бал в гостинице на море. Собралась тысяча приглашенных, все студенты, в том числе две принцессы Оранские в платьях без бретелек, они были тогда ужасно толстые и далеко не такие элегантные, как сейчас. С наступлением утра многие, в вечерних платьях и смокингах, спустились по лестницам с балкона на пляж: посидеть в этой необычный час на белых пластиковых стульях, разогнать винные пары куда более дурманящим ароматом свежего морского прибоя.

— Всего человек двенадцать, мы уселись спиной к морю, и кто-то один сделал снимок...

На том конце провода наступило молчание. Потом она сказала, как бы процедила сквозь зубы:

— Нет-нет, я не помню такого праздника. — Выдержала небольшую паузу и затем продолжила:

— Я училась в Гааге, в консерватории на площади Корте Бейстенмаркт.

— Ах!.. — я кивнула, пораженная и заинтересованная. — На фортепиано? На скрипке?

— На органе.

Тем временем я подошла к окну. Все еще в пижаме, открыла раму и села на подоконник, устремив глаза на бульвар. Он заворачивал и заканчивался шлагбаумами, за которыми где-то вдали скрывалась Дженнифер Винкелман, рассказывающая мне сейчас, в этот самый момент, об органе, что стоял в большом зале консерватории. За ним она могла каждый вечер заниматься.

— ...похожий на орган собора Парижской Богоматери или Реймского собора, у меня было чувство, что это — я французская органистка Мари-Клер Ален, заставлявшая дрожать своды...

Ее голос прервался.

—...Заставлявшая дрожать своды... — тихим голосом повторила она.

Окунувшись в хаос разнообразных мыслей, я одевалась. По привычке перед зеркалом тщательно прошлась по волосам щеткой, затем расческой, и в воздухе снова распространился запах парикмахерской.

Я не берусь утверждать, что видела тогда в отражении утренних лучей женщину в здравом уме. Я смотрела на себя в зеркало не отрываясь, и единственная только мысль с усиливающимся беспокойством и страхом овладевала мной: пройдет всего неделя, одна короткая неделя, и она уедет! Ах, ведь каждый из нас хотя бы раз в жизни сделал открытие, придя к выводу, что какая-то определенная логика происходящего не исключает другую!

Я поспешила сесть за руль. Лучше бы я этого не делала! Миновав шлагбаумы, я увидела, что центр городка обнесен красно-белыми щитами, и на улице Влитлаан яблоку негде упасть из-за припаркованных автомобилей — в этот день работал рынок. Негодуя, я свернула за угол, поехала сквозь толпу людей, похожих на беженцев, они мелькали со своими яблоками, свитерами, старыми журнальными столиками, матрасами, кастрюлями и сковородками. Больше получаса понадобилось мне, чтобы до-

1. Vest — жилет (*нидерландск.*).

браться в объезд до окрестностей Эрфгоойерстраат, где я смогла наконец припарковаться, не имея особой надежды на то, что мне повезет.

Конечно же, ее не оказалось дома. Я стояла перед входом и слышала, как умирает где-то в глубине жилища звонок. Не зная, как поступить, я сделала шаг назад и посмотрела вверх. Старинные особняки внутри отлично реконструированы. Я знаю, что трех-четырехкомнатные квартиры имеют роскошные ванные и балконы, выходящие на южную сторону. По утрам, в собственной тени и в тени огромных каштанов, от которых их отделяет лишь узкая полоска тротуара, фронтоны домов выглядят неприветливо. Она жила на втором этаже.

В соседнем доме распахнулось окно. Седой старик в домашней пижаме фиолетового цвета немного погромыхал щеколдой и тихонько окликнул меня.

— Вы пришли к Винкелманам?

— Да.

— Они на базаре.

Я ушла. Оставив машину на прежнем месте, я пошла пешком, потом свернула направо, налево и в мгновение ока оказалась между палатками. Я сразу заметила ее. Маленькая, светловолосая, слегка подпрыгивающей походкой она шла в мою сторону в толпе других покупателей, двигавшихся вдоль выставленного изобилия рыбы, раков и съедобных моллюсков, в веселом расположении духа и, как всегда, за руку со своей дочерью.

Я остановилась. Расплылась в улыбке. Полностью уверенная в своем праве. Но что вдруг произошло? Когда она сообразила, что на ее пути возникло препятствие, и подняла глаза — я заметила: она меня узнала, открыла рот, сделала глубокий вдох, словно собиралась крикнуть, и вдруг резко развернулась вместе с дочкой и со всеми своими покупками. Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, что значит ее удаляющаяся спина. Я двинулась следом за ней.

Она покупала яблоки, вафли со сладкой начинкой, детские тапочки... Она абсолютно никуда не спешила, и мое присутствие, всего в десяти метрах поодаль, ее ничуть не подгоняло, она брала в руки тапочки, осматривала их подошвы, наклонялась, давая ребенку пальчиком потрогать голубые помпончики, платила деньги, в то время как я не сводила с нее внимательного взгляда. Ах! Кто знает, может быть, она уже совладала с приступом раздражения и наконец поняла, что все в порядке, что намерения у меня самые добрые, кто знает, может, ей даже нравилась та незримая ниточка длиной в десять метров, которая протянулась через разделявшую нас пропасть. Я решилась на следующую импровизацию. Сама купила детские тапочки, а потом еще виноград, сыр, орехи... глядя на те же самые весы, я кивала и перебрасывалась шуточками с теми же самыми продавцами, что и она. Мы завершили свой рейд возле последних рыночных прилавков. С неутихающей силой бьющий фонтан, стоянка велосипедов и кафе, где один раз в неделю сдвигают столы и приносят дополнительные стулья. В нем она и исчезла вместе с ребенком, проскользнув в дверь, которую один раз в неделю оставляют на целый день открытой.

Я заказала кофе и удивленно огляделась по сторонам. Куда они подевались? В кафе было полно публики, по большей части мамы с детьми, крупные, волевые мамаши, они сидели, разговаривая и смеясь, довольные своими покупками, заказав для детей по куску яблочного торта. Сквозь ресницы я рассматривала эти бессмертные типажи мамаш и мучалась вопросом, куда делись те двое.

Дверь туалета отворилась. Появилась Дженнифер Винкелман вместе с маленькой девочкой. Оглядевшись вокруг, она меня сразу заметила, но не поздоровалась и не улыбнулась. Она усадила ребенка за стойкой бара на высокий стул и наклонилась вперед, показывая на витрину с тортами слева от себя. Я до сих пор не могу сказать точно, что вдруг нашло на меня в ту минуту. Я смотрела на жующего и пьющего ребенка, на курточку и затылок с красивыми длинными волосами, забранными в хвост, и чувствовала поднимающуюся волну такого яростного отвращения, что у меня засосало под ложечкой. Не помню, но, возможно, я даже опрокинула свой кофе.

"Дженнифер! — писала я в тот же день. — Если ты думаешь, что мы чужие, ты очень сильно ошибаешься. Разве мне не знакомо здание на Корте Бейстенмаркт, с его залом, сводчатыми окнами и органом? Вечер за вечером ты сидела там на деревянной скамейке, стараясь удержать равновесие, твои пальцы были на клавиатуре, ноги — на педали. Да, именно тогда, когда ты старалась не потерять равновесие, когда глаза твои не отрываясь смотрели на ярко освещенные черные ноты, на знаки пауз и тактовые черты, твоя территория расширялась до чудовищных размеров! Разве мне не знаком собор Парижской Богоматери, Реймский собор и знаменитая органистка Мари-Клер Ален? Я рассказала тебе, что присутствовала на балу на море в вечернем платье цвета слоновой кости, из тафты. Теперь мне вспомнилось кое-что еще. Я была совсем маленькая, мои родители были еще живы, и однажды летом у наших соседей гостила девочка со сломанной ногой. Девочка все время лежала в саду, на диване, застланном белыми простынями, края которых спускались до самой травы. Я каждый день ходила к ней, зачарованная всей этой сверкающей на солнце белизной, необычностью этой девочки, отмытой до блеска и избалованной из-за этой ее болезни. Светлые косы, блокнот для набросков с ослепительными страницами, который она держала на коленях, и вдруг такое: толстая гипсовая нога, которую однажды, в своей необузданной ревности и любви, я пнула что было силы. Ты начала как идиотка вопить.

Когда во вторник по-прежнему не было ни ответа ни привета, я снова подошла к телефону. Я столкнулась с неразрешимой загадкой. Я же вовремя опустила письмо в почтовый ящик, подчеркнув свое имя и обведя свой номер телефона, почему же она молчала? Прошло немало времени, прежде чем на том конце взяли трубку. Я нетерпеливо притопывала ногой по полу и физически чувствовала, как зовет ее мой звонок.

И действительно, сигнал был услышан. Какое-то эхо, молчание и наконец, вся похолодев, я услышала незнакомый голос!

— Алло?

Вначале я даже ничего не смогла ответить. Низкий любезный мужской голос озадачил меня.

— Я звоню Дженнифер Винкелман, — вымолвила я.

— Ее нет.

— Как так нет? — Я не сдержалась.

— Она ушла в турагентство... — Голос был исключительно доброжелательный. — Может быть, она вам перезвонит?

Вероятно, меня больше всего поразил иностранный акцент, с которым говорил этот человек. Кто это, кто это мог быть? Не ее муж, уж точно не этот таинственный дирижер из Лондона. Диковинные, ни на что не похожие модуляции голоса этого человека создавали ощущение, что я сейчас говорю с необыкновенно добрым и беззащитным существом. Я запросто сообщила ему, что Дженнифер Винкелман знаю с детства и что какое-то общее воспоминание хранится в моем сознании, но оно скрыто где-то очень глубоко в моих самых сокровенных мечтах, красивое, круглое и свежее, как пузырек воздуха.

— У вас есть под рукой ручка? — наконец решительно спросила я.

Тщательно, по буквам я продиктовала свое имя. Он каждую повторял за мной. Ну конечно же она должна мне перезвонить, самое позднее сегодня вечером.

Красные машины. Одетые в синее и желтое дети. Фиолетовые осенние астры. Я побродила по улицам и вскоре очутилась неподалеку от ее квартиры. На тротуаре спала собака. Проезжающий мимо на велосипеде подросток выкрикнул грубое ругательство. Я сделала глубокий вдох, не особенно огорчившись. Моим настроением владела беззаботность, которая охватывает, когда ты знаешь: что бы ни происходило в жизни, это касается только тебя одной. А кого же еще? В самом деле, это не повод для печали. С какой стати? Когда я подходила к ее дому, я заметила, что входная дверь приоткрыта. Меня это не удивило, скорее я усмотрела в этом хороший знак. Случайностью это быть не может, с благодарностью подумала я, пускай мой телефон опять целый день молчит, зато дверь ее дома для меня широко открыта. Я чуть-чуть толкнула дверь из лакированного дерева и вошла в вестибюль.

Вообще-то мысль о том, чтобы переступить порог чужого жилища, всегда вызывала у меня отвращение. Столкновение с тебе не принадлежащими вещами — ковровая дорожка, шкаф со счетчиком внутри — мне всячески претит, выбранный цвет дерева никогда не нравится, а вдыхать чужие затхлые или прогорклые запахи представляется мне откровенной непристойностью. Но на этот раз у меня ничто не вызывало раздражения. Я вступила в сумеречную пустоту лестничного проема так, словно была в этом доме своим человеком, и уже через несколько секунд перешагнула, ничуть не смущаясь, порог гостиной, да-да, дверь в квартиру тоже была открыта, и вскоре я поняла почему: там паковали и выносили вещи, спускали вниз чемоданы.

Судя по всему, я застала момент передышки. Воздушным шаром в воздухе повисла тишина. Посреди комнаты стоял мужчина, я сразу поняла, что это мой телефонный собеседник, крепкого сложения, с темными волосами и кудрявыми бакенбардами. Он смотрел на меня без тени удивления, но в то же время ничего не говоря. Я отвела глаза. Оглядевшись, я увидела чемоданы, коробки, выдвинутые из шкафов ящики и почти замаскированную всем этим, лежавшую на диване под окнами Дженнифер Винкелман. Глаза закрыты, одно бедро выдается

вперед, ее поза не оставляла никаких сомнений — она спала. Затем я заметила ее ребенка, девочку. Она стояла на пороге соседней комнаты в старомодном взрослом платье со скошенным подолом и не мигая смотрела на меня.

Вот и все. Три человека, из которых один спал, а двое молча смотрели на меня. Больше ничего не было, не считая мебели, картин, фотографий, пальто, зеркала, чайного прибора, тапочек, выглаженной и сложенной одежды, бумаги, газет, сумки со сломанной удочкой, очков на шнурке... предметов, которые мне один за другим попадались на глаза, нарушая тем самым неподвижность представшей моим глазам живой картины. Ее откровенная домашность (я оценила это, еще стоя на пороге) меня ни секунды не удручала.

Диван заскрипел. Послышался вздох. Она поднялась, прижимая руку ко лбу.

— Боже милостивый, — пробормотала она ошеломленно. — Я тут сплю, а время идет.

Она встала и с выражением человека, думающего о совсем других вещах, пошла пошатываясь по комнате, где все было вверх дном. Увидев меня, она, извиняясь, пожала плечами и всплеснула руками.

— Мы с дочерью завтра уезжаем. Мы поздно начали собираться.

Я понимающе улыбнулась.

Мужчина тоже ожил. Стоя рядом со столом, придвинутым к боковой стене, он переставил книги и цветы и снял "бабу" с чайника.

— Идите пить чай, — сказал он.

Он посмотрел вначале на меня, потом на Дженнифер Винкелман. Ребенка нигде не было видно.

Несколько минут мы посидели втроем, поставив локти на стол, и разговаривали, как старые знакомые, обо всем, не стесняясь.

— Я решила добираться в Англию на теплоходе, — сообщила мне Дженнифер Винкелман.

А я спросила:

— Откуда он отплывает?

— Из Хук-ван-Холланда, — ответила она, дуя на свой чай.

Потом она спросила у мужчины:

— Во сколько мы должны завтра утром выезжать?

Он ненадолго задумался, высчитывая время:

— Часов в десять, — сказал он.

Несколько минут спустя мы отодвинулись от стола вместе со стульями. Они продолжали заниматься упаковкой вещей, а я, попрощавшись, направилась в сторону двери. Вот как все обернулось в этот день, и каждый раз, когда я об этом вспоминаю, я снова чувствую удивительную заурядность, будничность происходившего тогда. Не колеблясь я выпила с ними чашку чая и так же не колеблясь пошла к выходу.

И в этот момент я увидела клоуна на самокате. Маленькая заводная игрушка стояла на табуретке рядом с высоким шкафом, ничего удивительного, что я ее раньше не заметила. Секунды не прошло, как я уже устроилась рядом с игрушкой на полу. Металлический клоун в голубой длиннополой рубашке возвышался на табуретке на своем красном самокате, протягивая руки к рулю и подняв одну ногу. Из белых манжет высовывались белые кисти, из белых брючин — белые сапожки, невозмутимую серьезность этому белому лицу придавал голубой глаз и нос картошкой, на который наезжал остроконечный колпак. У меня пере-

хватило дыхание. Я забыла, где нахожусь. В предчувствии того, что сейчас произойдет нечто из ряда вон выходящее, я кусала губы. Я знала этого господина! Я знала, что он, стоящий неподвижно на своем видавшем виды красном самокате, в любой момент может взяться за руль и, направляя переднее колесо то вправо, то влево, будет петлять и выделывать немыслимые восьмерки, а потом как угорелый помчится вперед, а потом вдруг неожиданно — назад... Я вытянула шею. Сбоку на одном из сапог были видны крошечные буковки... Я их с трудом разобрала: "Лемезбрюгвар Будапешт..." И в ту же минуту — я не могу это выразить иначе — словно всполох пламени мелькнул в моих глазах, и передо мной явственно предстала гостиная зимним днем. Стулья, шифоньер, накрытый к завтраку стол — все предметы как наяву, и давно забытые запахи вещей, молока, хлеба, одеколона, пены для бритья на фоне двух больших окон, за которыми падает ослепительно-белый снег, — это был мой день рождения. Красные, голубые, желтые, фиолетовые праздничные гирлянды парили над моей головой, слюдяные окошки очага полыхали оранжевым пламенем, и вот кто-то ставит на край моей тарелки таинственный предмет — синего серьезного человечка на подставочке с колесами и с заводной пружиной... "Подожди, сейчас увидишь, что он умеет..." Ой, господи помилуй, жизнь моя, детство мое!

— ...Это мой!

Я немного испугалась. Что-то вихрем пронеслось сбоку. Я поднялась с колен и обернулась. Девочка в платье со скошенным подолом, насупившись, не смотрела на меня. Обеими руками, как спасенную птичку, она держала заводную игрушку.

День, последовавший за этим, день прощания, большого значения уже не имел. Я упоминаю о нем только для полноты картины и еще потому, что вся поездка в порт осталась в моей памяти как нечто светлое и бодрящее, с четкими контурами.

Когда около десяти часов я въехала на их улицу и припарковалась под каштанами, мне не пришлось долго ждать. Вскоре все трое вышли из дома. Погрузив в багажник "шкоды" лишь один только маленький чемодан, мужчина занял место водителя и наклонился в сторону правой дверцы. Дженнифер Винкелман устроилась рядом с ним, ребенок забрался на заднее сиденье. Они тронулись, я нажала на газ, мы поехали.

Они выбрали маршрут через Утрехт. Мы миновали отцветшие вересковые пустоши, луга, железную дорогу с бетонными арочными перекрытиями — утро было полно спокойной прозрачности. Я старалась ехать немного поодаль все время на одном и том же расстоянии, но не могла удержаться от того, чтобы в какой-то момент не остановиться перед светофором прямо рядом с ними. Все трое отсутствующим взглядом смотрели вперед, мужчина курил. Я не думаю, чтобы они меня заметили, а если бы и да, то что с того? С прошедшего дня, когда, вежливо выпровоженная ими, я спустилась по лестнице, громко стуча каблуками, смеясь и бормоча что-то себе под нос, я чувствовала себя безумно счастливой. Дженнифер Винкелман опять зримо присутствовала в моих мыслях, она снова скрывалась за Реймским собором, пряталась на балу у моря, опять перед моими глазами всплывали детские тапочки, яблочный торт, девочка с гипсовой ногой... Светофор загорелся зеленым. На малой скорости я проехала перекресток.

Часам к двенадцати мы достигли побережья. Проделав часть пути вдоль дюн, мы увидели маячащие за целой тучей сверкающих на солнце чаек краны и портовые пакгаузы. Я незаметно припарковала машину и смешалась с людьми, которые бродили по набережным и с тоской и надеждой смотрели на корабли. "Беатрикс" готова была принять машины и пассажиров. Я стала свидетельницей классического прощания. Возле самого переходного мостика, невзирая на давку, мужчина поставил на землю чемодан, взяв девочку на руки, сердечно расцеловал ее и затем заключил в объятия Дженнифер Винкелман. Я видела, как она, запрокинув голову, прижалась лицом к его щеке. После этого она высвободилась, взяла чемодан и ребенка и поднялась на борт.

С тех пор у меня всегда сладко и по-старомодному щемит сердце, когда я вспоминаю сверкающий белый теплоход, который, гудя и пеня волну, уходит в море.

Артуро Перес-Реверте

Клуб Дюма, или Тень Ришелье

Роман

Перевод с испанского Н. Богомоловой

VIII. P*ostuma necat*

— Никто не отвечает?
— Никто.
— Тем хуже. Значит, он мертв.

М. Леблан. *Арсен Люпен*

Лукасу Корсо было лучше, чем кому другому, известно, какое звено в их ремесле следует считать самым слабым: библиографии составляют ученые, которые своими глазами описываемые книги никогда не видали; они пользуются данными, полученными из вторых рук, и полностью доверяют слову предшественников. В результате любая ошибка или неточность может передаваться из поколения в поколение, и никто не обратит на них внимания, пока оплошность не обнаружится по чистой случайности. Как раз это и произошло с "Девятью вратами". Книга фигурировала во всех без исключения канонических библиографиях, но даже в самых подробных о девяти гравюрах лишь упоминалось. О второй гравюре в наиболее известных трудах говорилось, что там изображен старик — мудрец или отшельник, — который стоит перед запертой дверью и держит в руке два ключа; но никто ни разу не уточнил, в какой именно руке он держит эти самые ключи. Теперь у Корсо был ответ: на гравюре из Первого экземпляра — в левой, на гравюре из Второго — в правой.

Оставалось узнать, какой сюрприз таил в себе Третий экземпляр; но на этот вопрос ответить было пока невозможно. Корсо просидел на вилле "Уединение" до темноты. Он работал при свечах, без передышки, буквально не поднимая головы, часто что-то записывал, снова и снова сверял оба экземпляра. И скрупулезно изучал гравюры — одну за другой, — пока не убедился в справедливости своей гипотезы. Нашлись новые доказательства. Наконец он пробежал глазами записи, которые сделал на сложенном пополам листе бумаги, а также схемы и диаграммы, связанные между собой самым причудливым образом, — итог всей этой кропотливой работы. Пять гравюр из Первого и Второго экземпляра имели различия. На гравюре номер II старики держали ключи в разных руках. На гравюре номер III в первом случае лабиринт имел выход, во втором — нет. На гравюре номер V смерть показывала песочные часы, но в одной книге песок уже успел пересыпаться вниз, а во второй он еще находился в верхней части часов. Что касается шахматной доски на гравюре номер

Окончание. Начало см. "ИЛ" № 10, 2001 г.

VII, то в экземпляре Варо Борхи все клетки были белыми, а в экземпляре Фаргаша — черными. На гравюре под номером VIII в одном экземпляре палач, приготовившийся обезглавить девушку, вдруг превращался — благодаря солнечным лучам вокруг головы — в архангела-мстителя.

Но и это, как оказалось, было не все. Лупа помогла обнаружить новые сюрпризы. Марки гравера, хитроумно спрятанные на ксилографиях, давали еще один тонкий след: и в том и в другом экземпляре на картинке со стариком "A. T." — то есть Аристид Торкья — фигурировал лишь как "sculptor", и только во Втором экземпляре — разом и как "sculptor", и как "inventor". На Первом же стояла другая подпись — "L. F.", о чем братья Сениса и предупреждали охотника за книгами. То же самое он разглядел еще на четырех гравюрах. Из чего следовало: все гравюры были вырезаны на дереве самим печатником, но вот рисунки, которые он копировал, принадлежали другому лицу. Иными словами, речь шла не о подделке, выполненной в ту же эпоху, и не об апокрифе. Это сам печатник Торкья, "с привилегией и с позволения вышестоящих", внес изменения в собственное творение, следуя определенному плану — своим именем он подписывал те иллюстрации, что сам же и изменил, чтобы отличить от тех, чьим автором был "L. F.". Остался только один экземпляр, признался он палачам. На самом деле сохранилось три; правда, существовал еще и некий ключ, с помощью которого их, по всей видимости, можно было превратить в один. Но тайну, как это сделать, печатник унес с собой на костер.

Корсо воспользовался старой системой сопоставления: сделал сравнительные таблицы — на манер тех, что использовал Умберто Эко в работе о Ханау[1]. Получилась следующая схема обнаруженных различий:

	I	II	III	IIII	V	VI	VII	VIII	VIIII
Первый	—	левая рука	—	без выхода	песок внизу	—	белая доска	без нимба	—
Второй	—	правая рука	—	с выходом	песок сверху	—	черная доска	с нимбом	—

Что касается марки гравера и вариантов подписей "A. T." (печатник Торкья) и "L. F." (неизвестный? Люцифер?), обозначающих гравера и художника, то картина получалась следующая:

	I	II	III	IIII	V	VI	VII	VIII	VIIII
Первый	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)
	AT(i)	LF(i)	AT(i)	AT(i)	LF(i)	AT(i)	AT(i)	AT(i)	AT(i)
Второй	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)
	AT(i)	AT(i)	AT(i)	LF(i)	AT(i)	AT(i)	LF(i)	LF(i)	AT(i)

Странная картина. Зато теперь у Корсо наконец-то появились веские основания для вывода: да, имеется некий ключ, который поможет открыть во всем этом тайный смысл. Корсо медленно поднялся, словно боялся, что уже ставшие очевидными связи вдруг рассеются как дым прямо у него на глазах. Главное — хладнокровие и выдержка; он чувствовал себя охотником, твердо знающим, что след, каким бы запутанным он ни был, обязательно выведет на зверя.

Рука. Выход. Песок. Доска. Нимб.

Он снова глянул в окно. За грязными стеклами покачивалась ветка неведомого дерева. Квадратик розоватого света не желал растворяться в ночи.

Экземпляры Первый и Второй. Различия в гравюрах II, III, V, VII и VIII.

Конечно, надо ехать в Париж. Там находится Третий экземпляр и, возможно, разгадка тайны. Но теперь Корсо больше занимало другое дело, вдруг перекочевавшее в разряд неотложных. Варо Борха очень четко поставил ему задачу, и, раз не удалось заполучить номер Два честным путем, следовало искать, так сказать, нетрадиционные способы. Естественно, риск как для Фаргаша, так и для самого Корсо должен быть минимальным. Необходимо изобрести какой-нибудь спокойный и благоразумный вариант. Корсо достал из кармана записную книжку и отыскал нужный телефонный номер. Для такой работы идеально подходил Амилкар Пинту.

Одна из свечей догорела и погасла, напоследок взметнув вверх короткую спираль дыма. Откуда-то доносились звуки скрипки, и Корсо снова хохотнул, коротко и сухо. Огонек второй свечи бросил пляшущую тень на его лицо, когда он наклонился к канделябру, чтобы прикурить. Потом он выпрямился и прислушался. Музыка была похожа на плач и лилась над пустыми мрачными комнатами, над остатками пыльной, изъеденной жучком мебели, повисала под расписными потолками — над паутиной, над тенями, которые скрывали пятна на обоях, над эхом шагов и над давно затихшими голосами. А снаружи, у ржавой изгороди, два женских лица — одно с открытыми в ночь глазами, другое затянутое маской из плюща, — словно застывшее в пустоте время, слушали музыку, которую Виктор Фаргаш извлекал из скрипки, заклиная неприкаянные призраки утраченных книг.

Обратно в поселок Корсо двинулся пешком. Он шел, сунув руки в карманы плаща и подняв воротник до самых ушей, — двадцать минут по левой стороне пустынного шоссе. Луна еще не взошла; Корсо шагал под деревьями, образующими над дорогой черный свод, и время от времени нырял в большие пятна мрака. Тишина была почти полной, нарушал ее лишь скрип его ботинок по гравию на обочине да тихое журчанье воды где-то внизу, в канаве, среди кустов и зарослей плюща, невидимых в темноте.

Сзади Корсо нагнала и обошла машина, и он увидал, что его собственная тень, огромная и причудливая, вдруг извиваясь скользнула по стволам ближних деревьев. Только вновь очутившись в полной темноте, он перевел дух и почувствовал, как начало спадать сковавшее мышцы напряжение. Он был не из тех, кому на каждом углу мерещатся призраки, и воспринимал окружающий мир, даже вещи совсем уж необычные, со средиземноморским фатализмом — как старый вояка; пожалуй, это было генетическим наследством, полученным от прапрадеда Корсо; ведь сколько ни направляй коня в нужную сторону, неизбежное обязательно будет поджидать тебя у ворот ближайшего Самарканда: сидит себе там твоя судьба да чистит ногти венецианским кинжалом или шотландским штыком. И все же после случая на узкой толедской улочке охотник за книгами испытывал вполне объяснимый страх, стоило ему услышать за спиной шум приближающейся машины.

Поэтому, когда свет фар уже другого автомобиля нагнал его и застыл рядом, Корсо в тревоге оглянулся, машинально перевесил сумку с правого плеча на левое и нащупал в кармане связку ключей — хоть какое-то, да оружие, запросто можно выбить глаз любому, кто вздумает подойти слишком близко. Но на сей раз картина показалась ему вполне безобидной: темный силуэт огромной машины, больше похожей на карету, едва освещенный мужской профиль, потом любезный и очень вежливый голос.

— Добрый вечер... — мужчина говорил с непонятным акцентом — не португальским и не испанским. — Нет ли у вас огонька?

Наверно, ему действительно нужен был огонь, а может, это был лишь повод, как тут угадаешь? Но и причины спасаться бегством или пускать в ход самый острый из ключей — только потому, что у тебя попросили прикурить, — разумеется, не было. Так что Корсо оставил ключи в покое, достал спичечный коробок и чиркнул спичкой, загородив пламя ладонью.

— Спасибо.

Шрам, разумеется, был на месте. Старый шрам — широкий, вертикальный, от виска до середины левой щеки. Корсо успел хорошо рассмотреть этот шрам, когда мужчина наклонился, чтобы прикурить. Во рту у него была сигара "Монте-Кристо". Потом Корсо — пока догорала поднятая вверх спичка — разглядел густые черные усы и темные глаза, неотрывно наблюдавшие за ним из мрака. Наконец спичка погасла, и на лицо незнакомца словно упала черная маска. Он опять превратился в тень, едва подсвеченную слабыми отблесками огоньков с приборной доски.

— Кто вы, черт возьми, такой?

Нельзя сказать, чтобы вопрос был удачно сформулирован или блистал остроумием. Да и прозвучал он слишком поздно — его заглушил шум рванувшего с места автомобиля. Два красных пятнышка удалялись вниз по шоссе, оставляя мимолетный след на темной ленте асфальта. Потом сверкнули сигнальные огни — когда машина резко затормозила на первом повороте, и исчезли окончательно, словно их здесь никогда и не было.

Охотник за книгами неподвижно стоял на обочине, пытаясь и для этой встречи отыскать подходящее место в череде событий: Мадрид, ворота у дома вдовы Тайллефер, Толедо, визит к Варо Борхе. Теперь Синтра — после того, как он, Корсо, провел вечер на вилле Виктора Фаргаша. А еще романы Дюма, издатель, повесившийся в собственном кабинете, печатник, отправленный на костер за странный трактат... И в придачу ко всему — Рошфор, который следовал за Корсо буквально как тень. Бретер, придуманный знаменитым писателем и якобы живший в XVII веке, нынче перевоплотился в шофера, который носит форменный костюм и сидит за рулем то одного, то другого роскошного автомобиля. Он попытался сбить Корсо, проник к нему в квартиру, потом — к Ла Понте. И курит сигары "Монте-Кристо". Курильщик, не имеющий при себе зажигалки...

Корсо тихо выругался. Он отдал бы инкунабулу в хорошем состоянии за возможность двинуть по роже тому, кто сочинил этот нелепый сценарий.

Вернувшись в отель, он сразу сделал несколько телефонных звонков. Первый номер был лиссабонский, его Корсо нашел в своей записной

книжке. Ему повезло — Амилкар Пинту был дома, о чем Корсо узнал, поговорив с его сварливой женой. Беседа их протекала под ор включенного на полную мощь телевизора, истошные крики детишек и жаркие споры взрослых. Наконец к аппарату подошел сам Пинту. Они условились встретиться через полтора часа — как раз столько требовалось португальцу, чтобы преодолеть расстояние в пятьдесят километров, отделявшее Синтру от столицы. Затем Корсо, глянув на часы, стал набирать код международной связи — нужно было переговорить с Варо Борхой; но того дома не оказалось. Корсо оставил ему сообщение на автоответчике и набрал мадридский номер Флавио Ла Понте. Там тоже не ответили, так что Корсо спрятал сумку на шкаф и отправился перекусить.

Он толкнул дверь маленького ресторанчика и сразу увидел ту самую девушку. Никакой ошибки: очень короткие волосы, похожа на мальчика, загорелое лицо, как будто дело происходило в августе. Она читала, устроившись в кресле — в конусе света от лампы на потолке. Босые ноги девушка, скрестив, положила на сиденье поставленного напротив стула. Джинсы, белая футболка и серый шерстяной свитер, накинутый на плечи. Корсо застыл, вцепившись в дверную ручку. Мозг сверлила абсурдная мысль: случайное совпадение или встреча нарочно подстроена? Тогда тут явный перебор.

Наконец, все еще не веря собственным глазам, он приблизился к девушке. Она подняла от книги и остановила на нем зеленые глаза — их текучую и бездонную прозрачность он хорошо запомнил после разговора в поезде. Охотник за книгами растерянно молчал; у него возникло странное ощущение, будто в этих глазах можно легко утонуть.

— Вы не говорили, что собираетесь в Синтру, — выдавил он наконец.

— Вы тоже.

Слова ее сопровождались безмятежной улыбкой, в которой не было и следа смущения или удивления. Казалось, она искренне обрадовалась встрече.

— Что вы тут делаете? — спросил Корсо.

Она сняла ноги со стула и жестом пригласила его сесть, но он продолжал стоять.

— Путешествую, — ответила девушка и показала книгу; это была другая книга, не та, что в поезде, "Мельмот-Скиталец" Чарльза Мэтьюрина[2]. — И читаю. И удивляюсь неожиданным встречам.

— Неожиданным, — эхом отозвался Корсо.

Для одного вечера встреч было многовато, особенно неожиданных. И он принялся отыскивать связь между ее присутствием в гостинице и появлением Рошфора на шоссе. Непременно должен существовать угол зрения, под которым все сразу встанет на свои места, но пока он такого не находил. Даже не знал, куда, собственно, следует смотреть.

— Отчего вы не садитесь?

Он сел, испытывая смутное чувство тревоги. Девушка закрыла книгу и с любопытством уставилась на него.

— Вы не похожи на туриста, — заметила она.

— А я и не турист.

— Работа?

— Да.

— Любая работа в Синтре должна быть интересной.

Только этого не хватало, подумал Корсо и поправил очки указательным пальцем... Допрашивать себя он не позволит, даже если в роли следователя выступает красивая и очень молодая девушка. Видно, тут и была зарыта собака: она слишком молода, чтобы излучать угрозу. А может, именно это и таило в себе опасность. Он взял книгу, оставленную девушкой на столе, и небрежно полистал. Современное английское издание, несколько абзацев были отчеркнуты карандашом. Он прочел один из них:

Его глаза продолжали следить за тающим светом и сгущающейся темнотой. Эта противоестественная чернота словно говорила светлому и высокому творению Господа: "Освободи мне место, хватит уж светить".

— Вам нравится читать готические романы?

— Мне нравится читать, — она чуть наклонила голову набок, и стала хорошо видна ее обнаженная шея. — Нравится держать в руках книги. Я всегда вожу в рюкзаке несколько.

— Вы много путешествуете?

— Да. Уже много веков.

Услышав подобный ответ, Корсо скривился. Но она произнесла фразу вполне серьезно и наморщила лоб с видом маленькой девочки, рассуждающей о сложных материях.

— Я принял вас за студентку.

— И не совсем ошиблись.

Корсо положил "Мельмота-Скитальца" на стол.

— Вы загадочная девушка. Сколько вам лет? Восемнадцать, девятнадцать?.. Иногда у вас на лице появляется такое выражение, будто вам на самом деле гораздо больше.

— Может, и больше. Каждый человек выглядит на столько, сколько он пережил и сколько прочитал. Поглядите на себя.

— И что интересного я увижу?

— Знаете, какая у вас улыбка? Улыбка старого солдата.

Он смущенно дернулся:

— Я не знаю, как улыбаются старые солдаты.

— А я знаю, — глаза девушки снова сделались матовыми; взгляд их обратился внутрь, заскользил по тропинкам памяти. — Однажды мне встретились десять тысяч человек, которые искали море.

Корсо поднял бровь и таким образом выразил повышенный интерес.

— Да что вы... Это относится к области пережитого или прочитанного?

— Угадайте! — она пристально глянула на него, а потом добавила: — Вы ведь производите впечатление умного человека, сеньор Корсо.

Она встала, взяла со стола книгу и подхватила с пола белые теннисные тапочки. Ее глаза словно вновь обрели жизнь, и охотник за книгами успел заметить, как в них промелькнуло что-то знакомое. Да, во взгляде ее было что-то узнаваемое, намек на уже виденное.

— Может, еще и встретимся, — произнесла она на прощание. — Здесь же.

Корсо не сомневался, что так оно и будет. И не смог бы однозначно ответить на вопрос: хочет он того или нет? Но времени на обдумывание этой проблемы у него не оставалось: в дверях девушка столкнулась с Амилкаром Пинту, который как раз входил в ресторан.

Пинту был низеньким толстяком. Смуглая кожа его блестела, будто ее только что покрыли лаком, а густые и жесткие усы выглядели так, точно их подстригли всего несколькими взмахами ножниц. Он был бы честным полицейским, даже хорошим полицейским, если бы ему не приходилось кормить пятерых детей, жену и отца-пенсионера, который тайком таскал у сына сигареты. Его жена-мулатка двадцать лет назад была писаной красавицей, он привез ее из Мозамбика, после того как страна завоевала независимость, — тогда Мапуту еще назывался Лоренсу-Маркиш, а сам Амилкар был сержантом-парашютистом, увешанным наградами, тощим и храбрым. Корсо не раз видел его жену, когда по делам наведывался к Амилкару Пинту: подернутые пеленой усталости глаза, большие и дряблые груди, старые шлепанцы, красный платок на голове. Обычно он сталкивался с ней в прихожей их дома, где вечно пахло грязными детьми и вареными овощами.

Полицейский вошел в зал, искоса глянул на уходившую девушку и плюхнулся в кресло напротив охотника за книгами. Он пыхтел и отдувался, как будто путь из Лиссабона проделал пешком.

— Это кто?

— Не обращай на нее внимания, — ответил Корсо. — Испанская девчонка. Туристка.

Пинту успокоенно кивнул и вытер влажные ладони о брюки. Он часто повторял этот жест. Пинту сильно потел, на воротничке его рубашки в том месте, где ткань соприкасалась с кожей, всегда была видна тонкая темная полоска.

— У меня возникла одна проблема, — сказал Корсо.

Португалец расплылся в улыбке. Нет неразрешимых проблем — вот что означала его гримаса. И пока мы с тобой ладим, все будет нормально.

— Не сомневаюсь, что вместе мы ее быстро решим.

Теперь настал черед Корсо улыбнуться. Он познакомился с Амилкаром Пинту четыре года назад в связи с довольно грязным делом, когда на рынке "Ладра"[3] всплыли ворованные книги. Корсо прибыл в Лиссабон, чтобы их опознать. Пинту арестовал двух человек; тем временем несколько ценных экземпляров, не успев вернуться к владельцу, куда-то исчезли — как в воду канули. Тогда Корсо с Пинту отпраздновали начало столь плодотворной дружбы в притонах Барриу-Альту, при этом сержант-парашютист долго пережевывал жвачку ностальгических воспоминаний о колониальных временах и повествовал, как ему чуть не оторвало яйца в бою у Горонгозы. Под конец они горланили "Grandola vila morena..." на смотровой площадке в Санта-Лусии, и все вокруг, весь район Алфама, раскинувшийся внизу, был освещен луной, а неподалеку лежал Тежу, широкий и переливчатый, как серебряная скатерть, по которой очень медленно скользили мрачные силуэты корабликов — в сторону башни Белем.

Официант принес Пинту заказанный кофе. Корсо подождал, пока он отойдет, и пояснил:

— Речь идет о книге.

Полицейский, склонясь над низким столиком, сыпал в чашку сахар.

— А у тебя всегда речь идет о какой-нибудь книге, — заметил он осторожно.

— Это особая книга.

— А что, бывают не особые?

Корсо снова улыбнулся. Улыбка получилась хищной, и в ней блеснула сталь.

— Хозяин не желает ее продавать.

— Это плохо, — Пинту поднес чашку к губам и с наслаждением начал отхлебывать глоток за глотком. — Купля-продажа — дело хорошее. Вещи перемещаются туда-сюда, я хочу сказать, что таким образом они не задерживаются на одном месте. Благодаря этому закладывается основа целых состояний, а посредники получают возможность заработать... — он поставил чашку и снова вытер ладони о брюки. — Вещи должны крутиться. Таков закон рынка, закон жизни. Надо запретить не продавать. Не продавать — ведь это тоже своего рода преступление.

— Целиком и полностью согласен, — заметил Корсо. — И в данном случае дело за тобой. Придумай что-нибудь.

Пинту откинулся на спинку кресла и выжидательно посмотрел на собеседника. Посмотрел твердо и спокойно. Однажды в мозамбикской сельве они с командиром попали в засаду; и ему пришлось тащить на плечах смертельно раненного лейтенанта — всю ночь, почти десять километров. На рассвете он увидал, что лейтенант умирает, но не бросил его и донес труп до базы. Лейтенант был молоденьким, и Пинту подумал, что мать захочет похоронить сына на родине, в Португалии. За это ему дали медаль. Теперь дети Пинту играли его старыми, потускневшими и поржавевшими наградами.

— Может, ты знаешь этого типа — его зовут Виктор Фаргаш.

Полицейский кивнул:

— Фаргаши — очень известный и старинный род. Когда-то влиятельный, но теперь он совсем захирел.

Корсо протянул ему запечатанный конверт:

— Тут все необходимые сведения: владелец, книга и адрес.

— Виллу я знаю, — Пинту водил кончиком языка по верхней губе, иногда доставая и до усов. — Хранить там ценные книги — опрометчиво. Любой без труда может туда залезть, — Пинту печально глянул на Корсо, словно и на самом деле сокрушался из-за легкомыслия Виктора Фаргаша. — Я даже знаю одного такого — вор-карманник из Шиаду, к тому же за ним должок.

Корсо стряхнул с плеча невидимую пылинку. Подробности его не касались. По крайней мере, пока дело не будет сделано.

— Только не торопитесь, к тому времени меня здесь уже не должно быть.

— Не беспокойся. Ты получишь книгу, и сеньору Фаргашу упрекнуть тебя будет почти не в чем. Разбитое стекло — а на вилле половина стекол перебита... Работа будет чистой... А гонорар...

Корсо кивнул на конверт, который его собеседник, так и не распечатав, держал в руке:

— Там аванс — четверть. Остальное в обмен на книгу.

— Договорились. Когда ты уезжаешь?

— Завтра рано утром. Я позвоню тебе из Парижа.

Пинту собрался было встать, но Корсо жестом удержал его:

— Еще одна проблема. Мне надо получить сведения о некоем типе: рост — метр восемьдесят или чуть меньше, усы, шрам на лице. Черноволосый, темные глаза. Худой. Не испанец и не португалец. Нынче ночью он крутится где-то поблизости.

— Опасен?

— Не знаю. Он следует за мной из Мадрида.

Полицейский делал заметки на обороте конверта.

— А с нашим делом он как-то связан?

— Скорее всего. Но больше никаких данных у меня нет.

— Ладно, что смогу, сделаю. У меня здесь, в местном полицейском участке, есть друзья. Потом загляну в архивы главного управления в Лиссабоне.

Он наконец поднялся, пряча конверт во внутренний карман пиджака. Корсо успел заметить рукоятку пистолета — слева под мышкой.

— Не хочешь посидеть со мной, чего-нибудь выпить?

Пинту со вздохом покачал головой:

— Я бы с удовольствием, но трое моих мулатиков заболели корью. Хватают заразу друг от друга, паршивцы.

Он произнес это с усталой улыбкой. В мире Корсо все герои были усталыми.

Они вместе вышли из гостиницы. У дверей Пинту ждал старый "ситроен". Корсо протянул Пинту руку и снова заговорил о Викторе Фаргаше:

— Не забудь: никаких крайностей — и поаккуратнее... Самая обычная кража, не более того.

Полицейский завел мотор, включил фары и с упреком посмотрел на Корсо через окошко с опущенным стеклом. Он вроде даже обиделся:

— Мог бы не предупреждать. Мы же с тобой профессионалы.

Проводив Пинту, охотник за книгами поднялся в номер, сел за свои записки и работал допоздна. Кровать его была завалена бумагами, на подушке лежали открытые "Девять врат". Он здорово устал и решил, что горячий душ поможет ему прийти в себя. Но едва он направился в ванную, как зазвонил телефон. Это был Варо Борха. Его интересовало дело Фаргаша. Корсо в общих чертах обрисовал ситуацию, упомянул и об отличиях, обнаруженных на пяти гравюрах из девяти.

— Но, как и следовало ожидать, — добавил он, — продавать книгу наш друг отказывается.

На другом конце телефонной линии повисло молчание; видимо, книготорговец размышлял, но о чем именно — о гравюрах или о несговорчивости Фаргаша — понять было невозможно. Когда он снова заговорил, тон его был предельно осторожным.

— Так я и предполагал, — сказал он, и теперь Корсо отлично понял, о чем шла речь. — А есть ли способ обойти препятствие?

— Может, и найдется.

Трубка снова замолчала. Пять секунд, просчитал Корсо, следивший за секундной стрелкой.

— Я оставляю это дело в ваших руках.

Потом они обсуждали лишь какие-то мелочи. Корсо не упомянул о разговоре с Пинту, а его собеседник не удосужился полюбопытствовать, каким именно способом охотник за книгами собирался уладить дело или, как он выразился, "обойти препятствие". Варо Борха ограничился вопросом: не надо ли еще денег? Корсо отказался и обещал позвонить из Парижа. Потом набрал номер Ла Понте, но трубку по-прежнему никто не брал. Голубые страницы рукописи Дюма так и остались лежать в папке. Корсо собрал свои заметки и вместе с томом в черном кожаном переплете с пентаграммой снова сунул в холщовую сумку, сумку же спрятал под кровать и привязал за лямку к ножке. Теперь, как бы крепко он ни спал, никто не су-

меет украсть сумку, не разбудив его. Что-то больно обременительный достался ему багаж, буркнул он себе под нос, направляясь в ванную. И опасный. Хотя почему именно опасный, он и сам не сумел бы объяснить.

Корсо почистил зубы, потом разделся, побросав одежду на пол, глянул сквозь облако пара в зеркало и увидал себя – худого и поджарого, похожего на отощавшего волка. Опять откуда-то издалека, из прошлого, настиг его укол тоски, потом сознание захлестнула волна боли, той, что, казалось, уже давно утихла; словно одновременно и в плоти его, и в памяти задрожала какая-то струна. Никон. Он вспоминал ее всякий раз, когда расстегивал ремень – ведь раньше она любила делать это сама, был у них такой странный ритуал. Он закрыл глаза и вновь увидал ее перед собой: вот она сидит на краю постели, стягивает с него брюки, потом трусы – медленно, очень медленно, наслаждаясь этим действом и нежно улыбаясь. Расслабься, Лукас Корсо. Однажды она тайком сфотографировала его: он спал на спине, лоб пересекала вертикальная морщина, тень пробившейся за ночь щетины затемняла щеки, и оттого лицо казалось худым, а складка у полуоткрытых губ – суровой и горькой. Он напоминал изможденного, выбившегося из сил волка, злобно озирающегося на подушке, похожей на снежную равнину. Фотография ему не понравилась – он случайно обнаружил ее в кюветке с фиксажем в ванной комнате, которую Никон использовала как лабораторию. Он разорвал снимок на мелкие кусочки, негатив тоже, и Никон больше ни разу ни словом не упомянула об этом эпизоде.

Когда Корсо включил душ и подставил под струи лицо, горячая вода обожгла кожу, даже векам стало нестерпимо больно, но он, сжав челюсти, напрягшись всем телом, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, продолжал стоять, хоть и готов был завыть от тоски и одиночества. Целых четыре года один месяц и двенадцать дней повторялось одно и то же: из постели Никон тянула его под душ и медленно, бесконечно медленно намыливала ему спину. И потом нередко прижималась к его груди, как маленькая девочка, затерявшаяся под дождем. Однажды я уйду, так и не узнав тебя. Тогда ты станешь вспоминать мои большие темные глаза. Мои невысказанные упреки. Мои горькие стоны во сне. Мои кошмарные сны, которые ты не умел прогонять. Вот что ты станешь вспоминать, когда я уйду.

Он уткнулся лбом в белый кафель, усеянный водяными каплями, и подумал, что это влажное поле слишком похоже на один из кругов ада. Что ж! Ни до Никон, ни после никто не вел его в душ, не намыливал ему осторожно и нежно спину. Никогда. Никто. Никогда.

Он вышел из ванной и лег в постель, прихватив "Мемориал Святой Елены". Но прочел лишь несколько строк:

Возвращаясь к воспоминаниям о войне, Наполеон заметил: "Испанцы в массе своей вели себя как люди чести..."

В ответ на похвалу Наполеона, сделанную два века тому назад, Корсо скорчил гримасу. И вспомнил слышанные в детстве слова, их произнес то ли один из его дедов, то ли отец: "Мы, испанцы, только в одном превосходим других: лучше всех получаемся на картинах Гойи"... "Люди чести", сказал Наполеон. Корсо подумал о Варо Борхе с его чековой книжкой, о Флавио Ла Понте, о библиотеках, доставшихся в наследство вдовам и за бесценок скупленных букинистами-грабителями.

Подумал о призраке Никон, блуждающем в безлюдье белой пустыни. О себе самом, готовом служить сторожевым псом тому пастуху, который сильнее и лучше. Что ж, просто тогда были иные времена.

Он так и уснул — с отчаянной и горькой улыбкой на губах.

Первое, что он увидал, проснувшись, была предрассветная серая муть за окном. Слишком рано. Непослушной рукой он попытался нащупать часы на ночном столике, но тут до него дошло, что звонил не будильник, а телефон. Трубка дважды падала на пол, пока он пристраивал ее между ухом и подушкой.

— Слушаю.

— Это ваша вчерашняя знакомая. Помните? Ирэн Адлер. Я жду вас в вестибюле. Нам надо поговорить. Немедленно.

— Какого черта?..

Но она уже повесила трубку. Извергая проклятия, сонный и раздраженный, Корсо отыскал очки, откинул простыню, натянул брюки. Потом в припадке панического страха заглянул под кровать — сумка лежала там, в целости и сохранности. Он с трудом цеплялся взглядом то за один, то за другой предмет. В комнате сохранялся прежний порядок, а вот снаружи происходило что-то неладное. Он едва успел зайти в ванную и сполоснуть лицо, как в дверь постучали.

— Знаете, черт возьми, который час?

Девушка стояла на пороге — все в той же синей куртке, с рюкзаком на плече. Глаза ее были еще зеленее, чем прежде.

— Сейчас половина седьмого утра, — спокойно сообщила она. — И вам нужно как можно быстрее одеться.

— С ума вы, что ли, сошли?

— Нет, — она без приглашения вошла в комнату и теперь неодобрительно поглядывала по сторонам. — У нас совсем мало времени.

— У нас?

— Да, у нас с вами. Ситуация внезапно осложнилась.

Корсо в бешенстве фыркнул:

— Для шуток можно было выбрать и другое время.

— Перестаньте валять дурака, — девушка сердито сморщила нос. Она по-прежнему была похожа на мальчика, по-прежнему была юной, но что-то в ней переменилось: она выглядела взрослее и гораздо увереннее в себе. — Я говорю вполне серьезно.

Она кинула рюкзак на неубранную постель. Корсо подхватил его, сунул ей обратно в руки и указал на дверь:

— Убирайтесь вон!

Она не шелохнулась, только метнула на него колючий взгляд.

— Послушайте, — светлые глаза приблизились к нему; они напоминали льдинки, ослепительно сверкающие на фоне загорелого лица. — Вы знаете, кто такой Виктор Фаргаш?

Поверх ее плеча, в зеркале, висящем над комодом, Корсо разглядел собственное лицо: лицо болвана, застывшего с открытым ртом.

— Разумеется, знаю, — выдавил он из себя наконец.

Он все еще продолжал растерянно хлопать глазами. Она ждала, ничем не выдав удовольствия от полученного эффекта. Было ясно, что мысли ее заняты чем-то другим.

— Он умер, — сказала она ровным тоном, таким спокойным, будто сообщала, что выпила на завтрак чашку кофе или сходила к дантисту.

Корсо глубоко вдохнул, пытаясь переварить услышанное:

— Не может быть! Вчера вечером я виделся с ним, и он чувствовал себя нормально.

— А теперь он больше не чувствует себя нормально. Вернее, он вообще никак себя не чувствует.

— Откуда вы знаете?

— Знаю.

Корсо недоверчиво дернул головой, потом отправился за сигаретой. На полпути он увидал фляжку с джином и остановился, чтобы влить в себя глоток; от скользнувшего в пустой желудок джина у него мурашки пошли по коже. Потом он какое-то время запрещал себе смотреть на девушку — пока не сделал первую затяжку. Корсо совершенно не устраивала та роль, которую его только что заставили сыграть. Ему нужно было спокойно обмозговать все это.

— Кафе в Мадриде, поезд, вчерашний вечер и нынешнее утро здесь, в Синтре... — перечислял он, не вынимая сигареты изо рта, щуря глаза от дыма и загибая указательным пальцем правой руки пальцы на левой. — Четыре совпадения. Многовато, правда?

Она нетерпеливо тряхнула головой:

— Я считала вас умнее. Какие еще совпадения?

— Почему вы преследуете меня?

— Вы мне нравитесь.

Корсо было не до смеха, он лишь скривил рот:

— Не смешите меня.

Она устремила на него долгий задумчивый взгляд:

— Да, действительно смешно, — заключила она. — Тем более что особо привлекательным вас никак не назовешь. И этот вечный старый плащ... Очки...

— Ну и?..

— Ищите ответ сами — сгодится любой. А теперь одевайтесь побыстрее. Нам надо спешить на виллу Виктора Фаргаша.

— Нам?

— Нам с вами. Пока туда не явились полицейские.

Под их ногами шуршали сухие листья, когда они, открыв решетчатую калитку, шли по тропинке, петляющей меж разбитыми статуями и пустыми пьедесталами. Солнечные часы над каменной лестницей, как и вчера, времени не показывали — свинцовый утренний свет не мог подарить им нужной полоски тени. “Postuma necat”, снова прочел Корсо. Девушка проследила за направлением его взгляда.

— Точнее не скажешь, — сказала она сухо и толкнула дверь, но та не поддалась.

— Попробуем обойти дом, — предложил Корсо.

Они миновали выложенный изразцами фонтан, где каменный ангелочек с пустыми глазницами и отрубленными руками по-прежнему тонкой струйкой лил воду в чашу бассейна. Девушка, Ирэн Адлер, или как там ее звали, шла впереди со своим рюкзачком за спиной. Двигалась она на удивление уверенно и спокойно. Ноги, обтянутые джинсами, ступали мягко, голова была упрямо наклонена вперед — так двигается человек, хорошо знающий, куда идет. Чего нельзя было сказать о Корсо. Он кое-как согнал в кучу свои разбегающиеся мысли, хотя ясности в них от этого не прибавилось, и, отложив все вопросы напоследок, позволил де-

вушке руководить им. Главное, в холщовой сумке лежало то, что он обязан был любой ценой уберечь, и потому в данный момент только "Девять врат", вернее, Второй экземпляр — собственность Виктора Фаргаша, по-настоящему тревожил его.

Корсо с девушкой без затруднений проникли в дом через ту самую застекленную дверь, что соединяла сад с гостиной. Авраам, зажав нож в высоко поднятой руке, продолжал охранять строй книг на полу. Дом казался пустым.

— Где Фаргаш? — спросил Корсо.

Девушка пожала плечами:

— Не имею понятия.

— Вы сказали, что он мертв.

— Он мертв, — она взяла скрипку, оставленную на буфете, и внимательно оглядела ее, правда, сперва обвела взглядом голые стены и шеренги книг. — А вот где он, знать не знаю.

— Вы надо мной издеваетесь.

Она пристроила скрипку под подбородок, тронула смычком струны и, довольная звуком, вернула инструмент в футляр. Потом обратилась к Корсо:

— Вот Фома неверующий... — и снова рассеянно улыбнулась.

Охотник за книгами опять подумал, что была некая противоестественная зрелость в ее спокойствии — одновременно и мудром и кокетливом. Эта юная особа жила по каким-то своим, неведомым ему законам; и мотивы поведения ее, как и мысли, на поверку оказывались сложнее, чем можно было предположить, судя по летам и внешнему виду.

Но тут Корсо вмиг позабыл обо всем — о девушке, о странном приключении, даже о предполагаемой смерти Виктора Фаргаша. На потрепанном ковре с изображением сражения при Гавгамелах в строю книг по оккультизму и дьявольским наукам зияло пустое место. "Девяти врат" там больше не было.

— Дерьмовое дело, — процедил он сквозь зубы.

И повторил еще пару раз — сначала склонившись над книгами, потом присев рядом с ними на корточки. Его натренированный взгляд, привыкший мгновенно отыскивать нужный том, потерянно бродил по корешкам. Черный сафьян, корешок с пятью полосками, пентаграмма вместо названия. "Umbrarum regni" и так далее. Никаких сомнений! Третья часть тайны, вернее 33,33 процента тайны — замечательное число! — бесследно исчезла.

— Проклятье! Везет же мне!

Нет, Пинту так быстро не управился бы, прикинул он в уме. Времени на подготовку кражи у португальца не было. Девушка наблюдала за ним, словно ждала какой-то определенной реакции, которую ей важно было оценить. Корсо выпрямился:

— Кто ты?

За последние двенадцать часов он во второй раз задавал один и тот же вопрос, хотя и разным людям. Все слишком стремительно усложнялось. Девушка равнодушно выслушала вопрос, глядя Корсо прямо в глаза. Через мгновение она отвела взгляд и уставилась в пустоту. А может, изучала стоявшие на полу книги.

— Это не важно, — ответила она наконец. — Лучше подумайте, куда делась книга.

— Какая книга?

Она только покосилась на него, не удостоив ответом, и он опять почувствовал себя полным болваном.

— Ты слишком много знаешь, — сказал он девушке. — Даже больше, чем я.

Она снова пожала плечами и уставилась на циферблат часов у Корсо на руке, как будто силилась разобрать, который теперь час.

— У вас остается не так уж много времени.

— А мне плевать, сколько времени у меня остается.

— Дело ваше. Но через пять часов будет рейс Лиссабон—Париж, вылет из аэропорта Портела. Мы едва-едва успеем туда добраться.

Господи! Корсо страдальчески содрогнулся. Она вела себя как идеальная секретарша, которая не расстается с записной книжкой, куда скрупулезно заносит все, что шеф должен успеть сделать за день. Он раскрыл было рот, чтобы возразить. Она всего лишь девчонка с тревожными глазами. Проклятая ведьма!

— А почему, собственно, мне надо уезжать?

— Потому что с минуты на минуту сюда явится полиция.

— Мне нечего скрывать.

Девушка двусмысленно улыбнулась, будто услышала остроумную шутку, но только очень уж старую. Потом поправила висевший за спиной рюкзак и сделала Корсо прощальный жест — подняла руку с раскрытой пятерней:

— Я буду носить вам в тюрьму сигареты. Хотя в Португалии и не продают вашу марку.

Она вышла в сад не оглянувшись.

Корсо уже готов был двинуться следом и остановить ее. Но тут он случайно бросил взгляд на камин. И увидел...

Оправившись от шока, он двинулся к камину — очень медленно, будто хотел дать событиям шанс вернуться в разумное русло. Потом чуть постоял у каминной решетки и убедился, что некоторые события были уже необратимы. И вот тому пример: за короткий отрезок времени, пролетевший со вчерашнего вечера до нынешнего утра, — всего за несколько часов, а ведь это срок ничтожный по сравнению с вековой историей, которую описывают библиографии, так вот, за несколько часов упомянутые библиографии успели устареть. Потому что отныне больше не существовало "трех известных" экземпляров "Девяти врат", их осталось всего два. Третий же, вернее, то, что от него уцелело, дымилось в куче пепла.

Корсо опустился на колени, стараясь ни до чего не дотрагиваться. Переплет, разумеется благодаря коже, пострадал меньше, чем бумага. Две из пяти полос на корешке сохранились полностью, да и пентаграмма сгорела лишь наполовину. Страницы сгорели практически целиком; он увидел всего лишь опаленные кусочки, иногда с фрагментами текста. Корсо протянул руку к еще горячим остаткам книги.

Он извлек из пачки сигарету и сунул в рот, но зажигать не стал. Ему хорошо запомнилось, как именно лежали дрова в камине накануне вечером. Сейчас пепел от поленьев располагался только под сгоревшей книгой — иначе говоря, книгу бросили сверху, так она там и горела, и угли, судя по всему, никто не ворошил. Дров в камине, как он помнил, хватило бы часа на четыре или на пять; по жару, идущему от пепла и углей, легко было заключить, что приблизительно столько же времени прошло с тех пор, как огонь угас. В сумме получалось часов восемь-десять. Значит,

кто-то растопил камин между десятью вечера и полуночью, а потом швырнул туда книгу. И больше камином не занимался.

Корсо взял несколько старых газет и завернул в них то, что ему удалось спасти. Кусочки бумаги сделались ломкими, и операция отняла у него довольно много времени. По ходу дела Корсо убедился, что переплет и страницы сжигали по отдельности; книгу сначала разодрали и уж потом кинули в камин — чтобы лучше горела.

Собрав жалкие остатки, Корсо оглядел комнату. Вергилий и Агрикола пребывали на прежних местах: "De re metallica" — на ковре, Вергилий — на столе. Корсо помнил, как библиофил положил туда книгу, произнеся, словно священник перед жертвоприношением: "Скорее всего я продам эту"... Корсо заметил вложенный между страницами листок и раскрыл книгу. Это была составленная от руки расписка, вернее, только ее начало:

Виктор Кутиньу Фаргаш, удостоверение личности № 3554712, проживающий по адресу: вилла "Уединение", шоссе Колареш, 4-й км, Синтра.

Мною получено 800 000 эскудо в качестве уплаты за проданную книгу: Вергилий "Opera nunc recens accuratissime castigata"... Venezia, Giunta, 1544 (Эсслинг 61, Сандер 7671). In-folio, 10, 587, 1 с, 113 ксилографий. Экземпляр полный, в хорошем состоянии.

Покупатель...

Ни имени, ни подписи Корсо не обнаружил. Расписка так никому и не понадобилась. Корсо сунул листок на прежнее место. Потом закрыл книгу и направился в комнату, где сидел прошлым вечером. Он хотел удостовериться, что полиция не найдет там каких-либо следов его пребывания — скажем, листка с его почерком или чего другого. Он вытряхнул из пепельницы окурки, тоже завернул их в старую газету и спрятал в карман. Потом еще немного побродил по дому; шаги гулко громыхали в полной тишине. Хозяина нигде не было.

Проходя в очередной раз мимо книг, выстроенных на полу, Корсо испытал сильнейшее искушение. Ведь чего проще: взять да унести пару редчайших эльзевиров, они прямо сами просились к нему в руки. Но Корсо был человеком здравомыслящим и осторожным. Раз уж дело повернулось таким образом, любой опрометчивый поступок мог лишь усложнить ситуацию. Так что охотник за книгами, в душе посокрушавшись, распрощался с коллекцией Фаргаша.

Он вышел в сад через стеклянную дверь и зашагал по сухим листьям, отыскивая взглядом девушку. Она сидела на ступенях маленькой лесенки, спускавшейся к пруду, и слушала журчанье воды, которую толстощекий ангел лил на зеленую, покрытую плавучими растениями гладь. Девушка отрешенно смотрела на пруд, но звук шагов заставил ее очнуться и повернуть голову.

Корсо положил сумку на верхнюю ступеньку и сел рядом. Потом зажег сигарету, которая уже давно торчала у него во рту. Наклонил голову вперед, вдохнул дым, отшвырнул спичку и только после этого обратился к девушке:

— А теперь расскажи мне все.

Не отрывая глаз от пруда, она отрицательно покачала головой. В движении этом не было ни резкости, ни вызова. Напротив, все в девуш-

ке: и голова, и подбородок, и уголки губ — излучало кротость и даже нежность, как будто присутствие Корсо, печальный заброшенный сад и шум воды растрогали ее до глубины души. Куртка и рюкзак за спиной придавали ей непозволительно юный — и почти беззащитный — вид. Но и очень усталый.

— Нам пора уходить отсюда, — сказала она так тихо, что Корсо едва расслышал. — Пора в Париж.

— Сперва скажи, что тебя связывает с Фаргашем. И вообще со всем этим...

Она снова безмолвно покачала головой. Корсо выдохнул дым. Воздух был настолько влажным, что дым так и завис перед ним и лишь какое-то время спустя начал медленно рассеиваться. Охотник за книгами покосился на девушку:

— Ты знакома с Рошфором?

— С Рошфором?

— Это я его так называю. Черноволосый, смуглый тип со шрамом. Вчера вечером он крутился неподалеку, — Корсо прекрасно понимал, насколько глупо звучат такие объяснения. На лице у него появилось выражение недоверия, словно он и сам усомнился в правдивости собственных воспоминаний. — Я даже говорил с ним.

Девушка снова отрицательно покачала головой, но глаз от воды так и не оторвала.

— Нет, я его не знаю.

— Тогда что ты тут делаешь?

— Охраняю вас.

Корсо посмотрел на носки своих ботинок и потер почему-то вдруг онемевшие кисти рук. Журчание воды в пруду начинало его бесить. Он поднес сигарету ко рту, чтобы сделать последнюю затяжку, сигарета догорела почти до конца и, казалось, могла вот-вот обжечь ему губы. На вкус она была горькой.

— Ты, девочка, сошла с ума.

Он отшвырнул окурок и понаблюдал, как дым неспешно тает прямо перед его глазами.

— Ты просто чокнутая, понимаешь? — добавил он.

Она по-прежнему молчала. Миг спустя Корсо вытащил из кармана фляжку с джином и сделал большой глоток, но ей не предложил. Потом снова глянул на девушку.

— Где Фаргаш?

Она ответила не сразу; взгляд ее по-прежнему блуждал далеко отсюда. Наконец она дернула подбородком:

— Там.

Корсо посмотрел в ту сторону. В пруду, под той самой струей воды, что лилась изо рта безрукого и безглазого ангела, можно было различить очертания человеческого тела — несчастный лежал на спине среди водорослей и опавших листьев.

1. Умберто Эко. "Загадка Ханау — 1609" (1990).
2. Роберт Чарльз Мэтьюрин (1782–1824) — ирландский писатель, автор готических романов; самый известный из них — "Мельмот-Скиталец", 1820 г.
3. Блошиный рынок в Лиссабоне.

IX. Букинист с улицы Бонапарта

— Друг мой, — сурово произнес Атос. — Запомните, что только с мертвыми мы не можем вновь встретиться на земле.

А. Дюма. *Три мушкетера*

Лукас Корсо заказал еще одну рюмку джина и с наслаждением откинулся на спинку плетеного стула. Как славно было сидеть под солнышком на террасе, в квадрате яркого света, заливающего столики в кафе "Атлас" на улице Де Бюси. Дело происходило утром, светозарным и холодным утром, когда левый берег Сены заполняли муравьиные полчища растерянных самураев и англосаксов в спортивных тапочках и с романом Хемингуэя в руках, куда вместо закладки был непременно заложен билет метро. А еще тут были дамы с корзинками, откуда торчали baguettes и зеленые листья салата, и сновали стройные девушки с неестественно ровными носами — служащие галерей, которые, пользуясь законным перерывом, спешили в кафе. У витрины дорогой колбасной лавки стояла очень привлекательная девица под руку с солидным господином, похожим разом и на антиквара и на сутенера, хотя, возможно, он являлся и тем и другим. А еще там были мотоцикл "Харлей Дэвидсон", сверкающий хромированными частями, злобный фокстерьер, привязанный у дверей роскошного винного магазина, и юноша в гусарском облачении, который играл на флейте у входа в бутик. За соседним с Корсо столиком неспешно целовалась парочка хорошо одетых африканцев, и проделывали они это так, словно впереди у них было сколько угодно времени, а ядерная угроза, СПИД, озоновая дыра — всего лишь забавные нелепицы, которые не имели абсолютно никакого значения в это солнечное парижское утро.

Он увидел, как она появилась в конце улицы Мазарини, на углу повернув в сторону кафе, где он ее ждал; похожая на мальчика, джинсы, расстегнутая куртка, глаза как яркие фонарики на загорелом лице, глаза, которые привлекали внимание издали — даже в толпе, под затопляющими улицу потоками света. Чертовски хороша, наверняка сказал бы Фланвио Ла Понте, откашливаясь и поворачивая лицо тем боком, где, на его взгляд, борода была гуще и кудрявее. Но Корсо не был похож на Ла Понте, поэтому он ничего не сказал и ни о чем таком не подумал. Он лишь неодобрительно глянул на официанта, который именно в этот момент ставил на стол рюмку джина — "pas d'Bols, m'sieu"[1], поэтому Корсо сунул ему в руку ровно ту сумму, какая значилась в счете — чаевые compris[2], парень, — а потом вновь уставился на приближающуюся девушку. Нет, слишком глубокую рану оставила по себе Никон. С него довольно. К тому же Корсо не был так уж уверен, что лицо его с одной стороны выглядело лучше, чем с другой. Да и вообще не был уверен, что выглядел хорошо хоть с какой-нибудь стороны. И это его, черт возьми, никогда не волновало.

Он снял очки и принялся протирать стекла платком. Улица тотчас сделалась расплывчатой, а лица людей — смазанными. Но одна фигура

продолжала выделяться среди прочих и по мере приближения вырисовывалась все отчетливее, хотя совсем резких контуров так и не обрела. Короткая стрижка, стройные ноги, белые теннисные тапочки — но все это он разглядел как следует, лишь когда она села на свободный стул рядом с ним.

— Я видела эту лавку. Она в двух кварталах отсюда.

Он надел очки и, ничего не ответив, воззрился на нее. Они вместе прибыли сюда из Лиссабона. Старик Дюма, возьмись он рассказывать, как они, покинув Синтру, ехали в аэропорт, написал бы, что они "мчались стрелой". Уже из аэропорта Корсо позвонил Алмикару Пинту, сообщил, чем закончился бурный жизненный путь библиофила Виктора Фаргаша, и, следовательно, отменил свое задание. Что касается обещанной платы, то договор остается в силе, и Пинту получит все сполна — за беспокойство. Португалец был удивлен — звонок разбудил его среди ночи, — но новость воспринял нормально: не мое дело, Корсо, в какие игры ты играешь, но мы с тобой вчера вечером в Синтре не встречались, понял? — ни вчера, ни раньше, вообще никогда, слышишь? И все-таки он пообещал осторожно навести справки об обстоятельствах смерти Виктора Фаргаша. Только, после того, как поступит официальное сообщение о случившемся; а пока он ничего, абсолютно ничего не знает и знать не желает. Будет, конечно, вскрытие, так вот, пусть Корсо молится, чтобы причиной смерти признали самоубийство. А если его еще интересует тип со шрамом, то нужные приметы придется запустить по соответствующим каналам, объявив того подозреваемым в каком-нибудь преступлении. Связь они будут поддерживать по телефону, но он искренне советует Корсо подольше не появляться в Португалии. Да, еще одна вещь, добавил Пинту, когда по радио уже объявили посадку на самолет. В следующий раз, если он, Корсо, вздумает впутать друга в дела, где пахнет убийством, друг пошлет его к такой-то матери... Телефонный аппарат проглотил последний эскудо, и охотник за книгами постарался в двух-трех фразах доказать свою невиновность. Разумеется, ответил полицейский. Все так говорят.

Девушка ждала его в накопителе. К удивлению совершенно ошалевшего Корсо, чья способность связывать концы с концами в тот день никак не соответствовала количеству этих самых концов, которые торчали отовсюду и связываться не желали, она развила бурную деятельность, в результате чего они оба беспрепятственно поднялись на борт самолета. "А я до сих пор считал тебя бедной студенткой", — сказал Корсо, наблюдая, как она расплачивается за оба билета. "Я только что получила наследство", — буркнула она в ответ. Потом, за те два часа, что продолжался перелет из Лиссабона в Париж, она не ответила ни на один из вопросов, которые он не без труда сумел-таки сформулировать. Всему свое время, отрезала она, скользнув по нему пустым взглядом, а затем вновь погрузилась в свои мысли и вперила невидящий взор в облака, которые самолет оставлял позади — под густой полосой холодного воздуха, выбрасываемого откуда-то из-под крыльев. Затем она уснула или притворилась спящей и опустила голову ему на плечо. По ритму ее дыхания Корсо определил, что она не спит; это был лишь удобный способ избежать вопросов, на которые она не желала — или не имела права — отвечать.

Любой другой на его месте стукнул бы кулаком и высказал все, что думает по этому поводу. Но он был волком терпеливым, хорошо вышко-

ленным, с тренированными рефлексами и инстинктами охотника. В конце концов, девушка была единственным звеном, соединяющим его с реальностью, — теперь, когда он попал в какие-то совсем уж романные, нелепые и немыслимые обстоятельства. Кроме того, на данном витке развития сценария он против воли, но взял-таки на себя роль и искушенного читателя, и главного героя, ту самую роль, что некто, который, собственно, и плетет интригу, подмигнув, предложил ему. Правда, Корсо не понял, что значило это подмигивание — издевку или приглашение к соавторству.

— Кто-то решил сыграть со мной злую шутку, — произнес Корсо вслух, когда они находились на высоте девять тысяч метров над Бискайским заливом. Потом он искоса глянул на девушку, ожидая реакции, но реакции не последовало; соседка его даже не шевельнулась и продолжала размеренно и ровно дышать, то ли на самом деле заснув, то ли не расслышав реплики. Раздосадованный ее молчанием, он отдернул плечо, и голова спутницы на миг осталась без опоры. Затем девушка вздохнула и отыскала удобную позу, на сей раз она прислонила голову к иллюминатору.

— Конечно, с тобой играют злую шутку, — пробормотала она наконец сонно и презрительно, так и не разомкнув глаз. — Любой дурак уже давно догадался бы, что к чему.

— Что произошло с Фаргашем?

Она ответила не сразу. Краем глаза он увидел, как она заморгала, после чего уперла невидящий взгляд в спинку стоящего впереди кресла.

— Ты же сам знаешь. Он утонул.

— Кто это сделал?

Она медленно качнула головой — сначала в одну сторону, потом в другую. Ее левая рука, тонкая и смуглая, с короткими, без лака ногтями, медленно скользила по подлокотнику. Наконец рука замерла, точно пальцы наткнулись на незримое препятствие.

— Не важно.

Корсо скривился, казалось, он вот-вот расхохочется, но ему было не до смеха. Он лишь показал клык.

— А мне очень даже важно. Очень даже.

Девушка пожала плечами, что означало: нам с вами важными представляются совсем разные вещи.

Корсо настаивал:

— А какую роль во всей этой истории играешь ты?

— Я уже сказала — охраняю тебя.

Она повернулась к нему, и взгляд ее стал пронзительным, хотя всего секунду назад казался рассеянным. Она снова двинула руку по подлокотнику, словно пытаясь сократить расстояние, отделявшее ее от Корсо. И теперь рука была совсем близко, так что охотник за книгами невольно отпрянул, ощутив досаду и даже смущение. В душе его, там, где оставила свою мету Никон, зашевелились какие-то смутные, забытые и очень тревожные чувства. Начала вкрадчиво наплывать былая боль — ощущение пустоты; а все оттого, что в глазах девушки, немых и беспамятных, отражались старые призраки, воскресшие из небытия.

— На кого ты работаешь?

Ресницы опустились, точно закрылась страница в книге. И сразу ничего не осталось — только пустота. Девушка сердито наморщила нос:

— Как ты мне надоел, Корсо.

Она отвернулась к иллюминатору и уставилась наружу. Большое голубое пятно с вплетенными в него тончайшими белыми нитями упиралось вдалеке в охряную полосу. Уже показалась земля. Франция. Пункт назначения — Париж. Пункт назначения или следующая глава? Продолжение, обещанное в следующем номере. Поединок прерван, тайна не раскрыта — вот прием, обычный для романтического повествования с продолжением. Корсо подумал о вилле "Уединение", вспомнил фонтан, пруд, тело Фаргаша среди водорослей и осенних листьев. Его кинуло в жар, он вздрогнул. Сейчас он чувствовал себя — и с полным на то основанием — человеком, который вынужден спасаться бегством. Нелепость крылась в другом: он бежал не по собственной воле — его вынудили сделать это.

Корсо еще раз скользнул взглядом по девушке, прежде чем попытаться без лишних эмоций вглядеться в себя самого. А может, он бежал не от чего-то, а к чему-то? Или спасался от тайны, скрытой в его собственном багаже? "Анжуйское вино", "Девять врат", Ирэн Адлер. Стюардесса сказала что-то, проходя мимо, и улыбнулась дурацкой профессиональной улыбкой. Корсо, погруженный в свои мысли, посмотрел на нее пустым взором. Хорошо бы узнать наверняка: записан ли уже где-нибудь конец всей этой истории? Или Корсо самолично сочиняет ее по ходу дела — главу за главой?

В тот день они с девушкой не обменялись больше ни словом. В аэропорту Орли он сделал вид, что забыл о ее присутствии, хотя в длинных переходах не переставал слышать шаги за спиной. На паспортном контроле, показав свое удостоверение личности, он слегка повернул голову в надежде углядеть, каким документом пользуется она; но напрасно. Он только и успел заметить, что паспорт лежал в черной кожаной обложке и был, разумеется, европейским, потому что она проходила через пункт контроля, предусмотренный для граждан Сообщества. Они вышли на улицу, и, когда Корсо сел в такси и привычно назвал адрес — "Лувр Конкорд", девушка скользнула на сиденье рядом с ним. До самого отеля они ехали молча, машину она покинула первой, предоставив ему право расплатиться с таксистом. У того не было сдачи, и Корсо чуть задержался. Когда он наконец пересек вестибюль, она уже получила номер и удалялась следом за посыльным, который нес ее рюкзак. Заходя в лифт, она успела на прощание махнуть Корсо рукой.

— Лавка просто замечательная. Там написано: "Книжный магазин Репленже. Автографы и исторические документы". Она открыта.

Девушка жестом показала официанту, что заказывать ничего не будет, и слегка наклонилась к Корсо. Текучая прозрачность ее глаз совсем как зеркало повторяла уличные сцены, которые отражались еще и в витрине кафе.

— Почему бы нам не отправиться туда прямо сейчас?

Утром они встретились за завтраком. Корсо сидел у окна, выходившего на площадь у Пале-Руаяль, и читал газеты. Она поздоровалась, расположилась рядом и принялась с аппетитом поглощать тосты и круассаны. Потом, не вытерев с верхней губы полоску кофе с молоком, уставилась на Корсо с видом беззаботного ребенка.

— Итак, с чего начнем?

Они сидели в двух кварталах от книжной лавки, которую девушка уже успела отыскать по собственному почину, пока Корсо приканчивал в кафе первую в этот день рюмку джина, первую, но, как он чувствовал, не последнюю.

— Так почему бы нам не отправиться туда прямо сейчас? — повторила она.

Корсо не ответил. Ночью ему приснился сон. Она, эта смуглолицая девушка, в вечерних сумерках вела его за руку через холодное пустынное поле, а на горизонте виднелись столбы дыма — то были вулканы перед извержением. Порой на пути им попадались солдаты с суровыми лицами — мертвые солдаты, — их оружие было покрыто слоем пыли, они смотрели молча, тускло и безразлично — как угрюмые троянцы в царстве Аида. От горизонта на поле надвигался мрак, дым делался все гуще, а непроницаемые, призрачные лица мертвых воинов словно предупреждали о чем-то. Корсо хотелось поскорее выбраться оттуда. Он тянул девушку за руку, чтобы она не отставала, но воздух становился все плотнее, все горячее, удушливее и темнее. И вдруг бег их превратился в падение — они все падали, падали и никак не могли достичь земли, будто это была замедленная съемка агонии. Темнота обжигала, как пламя в топке. Единственной связью с внешним миром оставалась рука Корсо, которая крепко держала руку девушки и все еще пыталась тянуть ее вперед. Последнее, что он почувствовал, — пожатие этой слабеющей, превращающейся в пепел руки. И тут же перед ним — в непроглядном мраке над пылающим полем и над его сознанием — возникли какие-то белесые пятна, похожие на мимолетные вспышки, и из них образовались фантастические очертания голого черепа.

Вспоминать сон было неприятно. Чтобы прочистить горло от пепла и стереть ужас с сетчатки глаз, Корсо допил джин. Потом повернулся к девушке. Она сидела и терпеливо, смиренно ждала, похожая на прилежную секретаршу, готовую тотчас выполнить любые распоряжения шефа. Неправдоподобно спокойная, как должное принявшая свою роль в этой истории. И поза ее выражала теперь обескураживающую и необъяснимую преданность.

Когда Корсо встал и закинул на плечо свою холщовую сумку, она тоже немедленно вскочила. Они неспешно спустились к Сене. Девушка шла по тротуару со стороны домов и время от времени останавливалась у витрин, если внимание ее привлекала какая-нибудь картина, или гравюра, или книга. Она на все таращила глаза с жадным любопытством, но в уголках ее губ застыло что-то печальное, а непроизвольная улыбка выглядела ностальгической. Казалось, в старинных вещах она искала свой собственный отпечаток; как будто в каком-то уголке памяти ее прошлое связывалось с прошлым этих малых числом обломков кораблекрушения, которые прибивало сюда течение после каждой неизбежной в Истории катастрофы.

Они увидели две книжные лавки — одну напротив другой, по обе стороны улицы. Лавка Ашиля Репленже была старинной, с деревянным фасадом и изысканной витриной под вывеской “Livres anciens, autographes et documents historiques”. Корсо велел девушке дожидаться снаружи, и она безропотно подчинилась. Направляясь к дверям, он заметил ее отражение в витринном стекле — наполовину заслоненная его плечом, она стояла на противоположном тротуаре и пристально смотрела ему вслед.

Он толкнул дверь, зазвенел колокольчик. Дубовый стол, книги на стеллажах, папки с гравюрами и дюжина старых деревянных картотечных шкафов. На ящиках — латунные кружки с изящно выгравированными буквами, расположенными в алфавитном порядке. На стене в рамке — рукописный лист, под которым значилось: "Фрагмент 'Тартюфа' Мольера". Рядом — три очень недурных гравюры: Виктор Гюго, Флобер, а посередине — Дюма.

Ашиль Репленже стоял у стола. Это был здоровяк с багровым лицом, пышными седыми усами и двойным подбородком, свисающим на ворот рубашки. Одним словом, персонаж, весьма похожий на Портоса. Одет он был дорого, но небрежно: английский пиджак, с трудом сходившийся на толстом животе, фланелевые брюки — чуть спущенные и мятые.

— Корсо... Лукас Корсо, — он вертел в толстых и сильных пальцах визитную карточку Бориса Балкана и морщил лоб. — Да, припоминаю, он звонил мне. Что-то связанное с Дюма.

Корсо опустил сумку на пол и достал папку с пятнадцатью страницами "Анжуйского вина". Букинист впился глазами в рукопись и поднял бровь.

— Любопытно, — сказал он тихо. — Очень даже любопытно. — Разговаривал он прерывисто и одышливо, как астматик. Он вынул из кармана пиджака очки с бифокальными стеклами и надел, но сперва метнул цепкий взгляд на посетителя. Потом склонился над рукописью. Когда он поднял голову, лицо его сияло восторгом.

— Невероятно, — вскричал он. — Я готов купить это немедленно.

— Рукопись не продается.

Букинист не сумел скрыть удивления. Он разочарованно надул губы:

— Но я понял...

— Речь идет лишь об экспертизе. Разумеется, ваши услуги будут оплачены.

Ашиль Репленже мотнул головой — дело вовсе не в деньгах. Он выглядел раздосадованным и пару раз недоверчиво глянул на посетителя поверх очков. Потом снова склонился над рукописью.

— Жаль, — вымолвил он наконец и снова с любопытством воззрился на Корсо, словно раздумывая, каким образом она попала к тому в руки. — Откуда это у вас?

— Наследство. Умерла старая тетушка, понимаете ли... А вы не видели эту рукопись раньше?

Все еще не поборов подозрительности, букинист бросил взгляд через витринное стекло на улицу, будто какой-нибудь случайный прохожий мог вдруг растолковать ему смысл неожиданного визита. Хотя, скорее всего, он просто подыскивал ответ. Наконец он потрогал усы — так, точно те были наклеены и он проверял, на месте ли они, потом уклончиво улыбнулся:

— Здесь у нас, в Латинском квартале, никогда не знаешь наверняка, что ты уже видел, а что — нет... Район всегда был удобен для торговли книгами и гравюрами... Вокруг все непрерывно что-то покупают и продают, порой книга несколько раз проходит через одни и те же руки, — он сделал паузу, чтобы глотнуть воздуха: три коротких вдоха, потом метнул на Корсо изучающий взгляд. — Нет, думаю, что нет. Раньше я этой рукописи не видел, — он снова посмотрел на улицу; кровь прилила у него к лицу, оно побагровело. — Уж ее-то я запомнил бы.

— Надо понимать, что это подлинник? — гнул свое Корсо.

— Ну... Думаю, да, — букинист, отдуваясь, провел кончиками пальцев по голубым листам; казалось, он прикасался к ним с опаской. Затем взял одну страницу двумя пальцами. — Полукруглые буквы, средний нажим, без вставок между строками и без помарок... Почти нет знаков препинания, зато много лишних прописных букв. Несомненно, это Дюма в зрелые годы, где-то в середине жизни, когда он писал "Трех мушкетеров"... — букинист начал заводиться. Но вдруг он замолк, подняв палец вверх, и Корсо увидел улыбку, проклюнувшуюся из-под усов, знак того, что хозяин принял решение. — Подождите минутку!

Он шагнул к картотечному шкафу с буквой "Д" и вытащил папку цвета слоновой кости.

— Тут все написано рукой Александра Дюма-отца.

В папке лежала дюжина каких-то документов, одни без подписи или помеченные инициалами А. Д.; под другими стояла полная подпись. По большей части это были короткие записки, адресованные издателям, письма к друзьям, приглашения.

— Вот один из его американских автографов... — пояснил Ашиль Репленже. — Автограф попросил у него Линкольн. Дюма послал десять долларов и целых сто автографов — их продали в Питсбурге на благотворительном аукционе... — он показывал Корсо свои сокровища со сдержанной, но явной профессиональной гордостью. — А это, взгляните, приглашение на ужин в замок "Монте-Кристо", который он построил для себя в Марли-ле-Руа. Иногда он ставил лишь инициалы, а случалось, пользовался псевдонимами... Хотя не все известные автографы являются подлинными. В газете "Мушкетер", которая принадлежала Дюма, служил некий Вьелло, умевший подделывать почерк хозяина. К тому же последние три года жизни у Дюма сильно дрожали руки, приходилось диктовать.

— А почему бумага голубая?

— Он получал ее из Лилля, от фабриканта, который был его горячим поклонником и изготовлял бумагу специально для своего кумира... И почти всегда такого вот цвета, особенно для романов. На статьи чаще шла розовая, на стихи — желтая... Дюма писал разными перьями, в зависимости от жанра. И терпеть не мог синих чернил.

Корсо указал на четыре белых листа с пометками и помарками:

— А эти?

Репленже нахмурился:

— Маке. Соавтор Дюма — Огюст Маке. Это исправления, сделанные Дюма в первом варианте, — букинист провел пальцем по усам, потом наклонился над рукописью и принялся громко и театрально читать: — "Ужасно! Ужасно! — шептал Атос, между тем как Портос бил бутылки, а Арамис отдавал приказание — правда, несколько запоздавшее — привести духовника", — букинист со вздохом прервался на полуслове и, удовлетворенно кивнув, протянул Корсо лист. — Посмотрите сами! Маке написал просто: "И он испустил дух на глазах у онемевших от ужаса друзей д'Артаньяна". Дюма эту строку зачеркнул, а сверху написал несколько своих фраз, вставил новые реплики.

— А что вы можете сообщить мне о Маке?

Букинист с сомнением пожал мощными плечами.

— Немного, — тон его снова стал уклончивым. — Он был десятью годами моложе Дюма, рекомендовал его писателю их общий друг Жерар де Нерваль. Маке сочинял исторические романы, но безуспешно, и при-

нес Дюма набросок одного из них – "Добряк Бюва, или Заговор Селламара". Дюма превратил это в "Шевалье д'Арманталь" и напечатал под своим именем. А Маке получил за работу тысячу двести франков.

– А вы могли бы определить дату написания "Анжуйского вина" по почерку и стилю письма?

– Конечно! Тут полное совпадение с другими рукописными документами тысяча восемьсот сорок четвертого года, когда шла работа над "Тремя мушкетерами"... Белые и голубые листы – тоже его обычай. Дюма с помощником работали неутомимо. Из "Мемуаров господина д'Артаньяна" Куртиля они позаимствовали имена для своих героев, путешествие в Париж, историю миледи и образ жены галантерейщика, которой Дюма придал черты своей любовницы Белль Крельсамер, чтобы госпожа Бонасье вышла поживее... Из "Мемуаров" господина де Ла Порта, доверенного лица Анны Австрийской, появился эпизод похищения Констанции. А у Ларошфуко и из книги Редерера "Политические и галантные интриги французского двора" они почерпнули знаменитую историю про алмазные подвески... В ту пору они писали не только "Трех мушкетеров", но еще и "Королеву Марго" и "Шевалье де Мезон-Руж".

Репленже снова замолчал, пытаясь отдышаться. Давая пояснения, он все больше и больше краснел, кровь опять прилила у него к лицу. Последние фразы он проговорил совсем быстро и сбивчиво. Он боялся утомить собеседника, но в то же время хотел предоставить ему как можно больше фактов.

– С "Шевалье де Мезон-Руж", – продолжил он, глотнув воздуха, – связан забавный анекдот... Уже было объявлено о публикации романа-фельетона под названием "Шевалье де Ружвиль", но тут Дюма получил негодующее письмо от некоего маркиза, носящего ту же фамилию. В итоге автор изменил название, но вскоре получил новое письмо. "Глубокочтимый господин Дюма, – писал аристократ, – называйте свой роман, как Вам заблагорассудится. Я – последний представитель рода и через час намерен застрелиться"... И действительно, маркиз де Ружвиль покончил с собой из-за какой-то любовной истории.

Он опять судорожно глотнул воздух. По его губам пробежала улыбка, словно он просил прощения за свой недуг. Сильная рука опиралась на стол рядом с голубыми листами. Он напоминает выбившегося из сил великана, подумал Корсо. Портос в пещере Локмария.

– Борис Балкан не сказал мне, что вы специалист по Дюма. Теперь понятно, на чем основана ваша дружба.

– Мы уважаем друг друга. Но я делаю свое дело, не более того. – Репленже, слегка смутившись, опустил голову. – Я просто-напросто трудолюбивый эльзасец, занимаюсь книгами с авторскими пометками, а также автографами. И заметьте, исключительно французских авторов девятнадцатого века... Так вот, подумайте, как бы я оценивал то, что попадает в поле моего зрения, если бы не умел с точностью определить, чья это рука и какова история появления рукописи или документа. Надеюсь, вы понимаете...

– Разумеется, понимаю, – ответил Корсо. – Это и отличает профессионала от обычного барахольщика.

Репленже посмотрел на него с благодарностью:

– Сразу видно, что мы с вами люди одной профессии.

– Да, – криво ухмыльнулся Корсо, – древнейшей в мире.

Хозяин лавки расхохотался, что вызвало у него новый приступ удушья. Корсо воспользовался паузой, чтобы снова перевести разговор на дело Маке.

— Расскажите, как они работали, — попросил он.

— Система была сложной, — Репленже махнул руками в сторону стола со стульями, словно именно там все и происходило. — Дюма набрасывал план произведения и обсуждал этот план с помощником, которому предстояло отыскать нужные документальные материалы и выстроить сюжетную схему или даже написать первый вариант романа — на белых листах... Потом Дюма все переписывал — на голубых... Работал он обычно утром или вечером и никогда — днем. Сидел в одной рубашке... Не пил ни кофе, ни спиртного, только сельтерскую воду. И почти не курил. Он работал без передышки, а издатели требовали еще и еще... Маке отправлял ему свои заготовки почтой, и Дюма раздражался из-за задержек. — Букинист вытащил из папки листок и положил на стол перед Корсо. — Вот вам пример — записка, посланная во время работы над "Королевой Марго". Как видите, Дюма сетует: "Все идет великолепно, несмотря на те шесть-семь страниц, посвященных политике, с которыми мы должны смириться, чтобы поддержать интерес публики... Если дело не продвигается вперед быстрее, дорогой мой, вина в том Ваша: со вчерашнего дня, с девяти часов, я сижу сложа руки... — букинист прервался, наполнил легкие воздухом и указал на "Анжуйское вино". — Наверняка эти четыре белые страницы, исписанные рукой Маке и с правкой Дюма, мэтр получил с большим опозданием — номер "Сьекль" пора было отправлять в типографию, потому и приходилось довольствоваться малым, делать исправления спешно — прямо поверх чужого текста.

Он сложил все бумаги в папку и поставил ее в шкаф под буквой "Д". Корсо успел еще раз глянуть на листок, где Дюма требовал от своего помощника новые материалы. Не только почерк совпадал полностью, но и бумага была идентичной — голубой в тонкую клетку; точно такой же, как в его рукописи "Анжуйского вина". Для записки использовалась половинка листа, так что один край был не таким ровным, как три остальные. Кто знает, может, все листы лежали на столе у писателя вместе, в одной стопке.

— Так кто же на самом деле написал "Трех мушкетеров"?

Репленже старательно запирал шкаф и отозвался не сразу:

— Тут я с ответом затрудняюсь — вы поставили вопрос слишком категорично. Маке был человеком эрудированным, знал историю, много читал... Но таким талантом, как у Дюма, не обладал.

— Думаю, добром между ними не кончилось...

— Ваша правда. А жаль! Знаете, они ведь даже вместе ездили в Испанию на свадьбу Изабеллы Второй... Дюма потом напечатал путевые заметки "От Мадрида до Кадиса" в форме писем... Что касается Маке, то какое-то время спустя он обратился в суд и потребовал, чтобы его признали автором восемнадцати романов, подписанных Дюма, но судьи решили, что работа Маке была не более чем подготовительной... Теперь он считается посредственным писателем, который воспользовался славой Дюма, чтобы хорошо заработать. Но некоторые видят в нем несчастную жертву эксплуатации: "негра" на службе у гиганта...

— А вы?

Репленже скользнул взглядом по портрету Дюма, что висел над дверью.

— Я ведь уже сказал вам, что не считаю себя таким серьезным специалистом, как мой друг господин Балкан... Я всего лишь книготорговец, букинист, — он на мгновение задумался, сопоставляя степень взаимозависимости профессии и личных вкусов. — Но хочу обратить ваше внимание вот на что: с тысяча восемьсот семидесятого по восемьсот девяносто четвертый год во Франции было продано три миллиона томов и восемь миллионов романов-фельетонов с продолжениями — и везде на обложке стояло имя Александра Дюма. Эти романы писались до Маке, при Маке и после Маке. Наверное, это о чем-то да говорит.

— По крайней мере, о прижизненной славе, — добавил Корсо.

— Тут спорить не о чем. Целых полвека он оставался кумиром Европы. Обе Америки направляли корабли с единственной целью — доставить его романы, которые читали и в Каире, и в Москве, и в Стамбуле, и в Шандернагоре... Дюма взял от жизни все, что мог, выпил до дна чашу наслаждений, популярности... Он умел радоваться жизни, побывал на баррикадах, бился на дуэлях, судился, фрахтовал суда, назначал пенсии из своего кармана, любил, чревоугодничал, танцевал, заработал десять миллионов и промотал двадцать, а умер тихо, во сне, как ребенок... — Репленже кивнул на правку в рукописи Маке. — Ведь это можно назвать по-разному: талант, гений... Но как ни назови, просто так взять и выжать это из себя нельзя и нельзя украсть у других. — Он похлопал себя по груди, совсем как Портос. — Это таится вот здесь. Ни один писатель не знал при жизни такой славы. А Дюма запросто добился всего — словно заключил союз с Господом Богом.

— Да, — отозвался Корсо. — Или с дьяволом.

Корсо пересек улицу и оказался у той книжной лавки, что расположилась напротив. В дверях, под козырьком, на переносных лотках лежали груды книг. Девушка рылась в них, перебирала стопки гравюр и старинных почтовых открыток. Она стояла против света, солнце пряталось у нее за спиной и золотило волосы на макушке и висках. Когда Корсо приблизился, она даже головы не повернула в его сторону.

— Ну, а какую бы выбрал ты? — спросила она, в нерешительности держа перед собой две открытки: одну цвета сепии, на которой обнимались Тристан и Изольда, и другую с "Искателем гравюр" Домье.

— Возьми обе, — посоветовал Корсо, наблюдая краешком глаза, как другой покупатель остановился перед лотком и протянул руку к толстой пачке открыток, перетянутых резинкой. У Корсо сработал охотничий рефлекс, и он молниеносным рывком перехватил открытки, можно сказать, почти что вырвал из рук соперника. Потом принялся изучать свои трофеи, слыша над ухом сердитое ворчание незадачливого конкурента. Он нашел несколько картинок на наполеоновскую тему: императрица Мария-Луиза, семейство Буонапарте, смерть Императора и последняя победа: польский солдат с копьем и два конных гусара перед Реймсским собором во время кампании 1814 года размахивают знаменами, отнятыми у врага. Чуть поколебавшись, он добавил туда же маршала Нея в парадном мундире и портрет старого Веллингтона, позирующего для Истории. Удачливая старая скотина.

Девушка отложила еще несколько открыток. Ее длинные смуглые руки уверенно перебирали тонкий белый картон и выцветшие гравюры:

изображения Робеспьера и Сен-Жюста, изысканный портрет Ришелье в кардинальском облачении, с орденом Святого Духа на шее.

— Очень кстати, — язвительно прокомментировал Корсо.

Она ничего не ответила, продолжая что-то искать среди книг, и солнце скользило по ее плечам и золотым туманом окутывало Корсо. Ослепленный, он закрыл глаза, а когда снова открыл их, девушка показывала ему толстый том ин-кварто, извлеченный из кучи прочих.

— Ну как?

Он глянул: "Три мушкетера" с иллюстрациями Лелуа, переплет из ткани и кожи, хорошее состояние. Когда он перевел взгляд на нее, она, улыбаясь уголками губ, испытующе смотрела ему в глаза и ожидала ответа.

— Красивое издание, — только и сказал он. — Ты что, собираешься это читать?

— А как же! Только, умоляю, не рассказывай, чем там кончится дело.

Корсо против воли тихонько рассмеялся.

— Я и сам был бы рад, — заметил он, складывая в стопку открытки, — если бы мог рассказать тебе, чем все кончится.

— А у меня для тебя подарок, — сказала девушка.

Они шагали по Левому берегу мимо лотков букинистов, мимо выставленных на продажу гравюр в пластиковых или целлофановых конвертах, мимо подержанных книг, разложенных прямо на парапете. Bateau-mouche[3] медленно плыл вверх по течению, здорово просев под тяжестью толпы японцев — не менее пяти тысяч, прикинул Корсо, и ровно столько же видеокамер "Сони". На другой стороне улицы, за стеклами роскошных витрин с рекламой "Виза" и "Американ Экспресс", неприступно гордые антиквары бросали едва приметные взгляды поверх толпы, за горизонт, в ожидании, когда появится какой-нибудь кувейтец, русский спекулянт или министр из Экваториальной Гвинеи, которым можно будет всучить, скажем, биде — расписной фарфор, месье, Севр — Евгения Гранде. При этом произношение их, естественно, отличалось четкой артикуляцией.

— Я не люблю подарков, — хмуро буркнул Корсо. — Было дело, кое-кто принял в дар деревянного коня. На этикетке стояло: ахейская ручная работа. Те идиоты и обрадовались.

— И что, диссидентов там не нашлось?

— Только один — со своими детьми. Но из моря повылезли какие-то твари, и получилась великолепная скульптурная группа. Если я правильно помню, эллинистическая. Родосская школа. В ту пору боги были слишком пристрастны.

— Они были такими всегда, — девушка смотрела на мутную воду, будто река несла с собой воспоминания. Корсо увидел задумчивую и вялую улыбку на ее губах. — Я никогда не знала ни одного беспристрастного бога. Или дьявола, — она резко повернулась к охотнику за книгами. Казалось, ее недавние раздумья унесло вниз по течению. — Ты веришь в дьявола, Корсо?

Он пытливо посмотрел на нее, но река унесла и те образы, что всего несколько секунд назад еще жили в ее глазах. Там остались только текучая зелень и свет.

— Я верю в глупость и невежество, — устало улыбнулся он. — И считаю, что лучший удар кинжалом — вот сюда, видишь? — Он показал на пах. — У бедренной кости. Когда тебя при этом обнимают.

— Чего ты боишься, Корсо? Что я обниму тебя?.. Что небо обрушится тебе на голову?

— Я боюсь деревянных коней, дешевого джина и красивых девушек. Особенно когда они являются с подарками. И присваивают себе имя женщины, сумевшей победить Шерлока Холмса.

Они продолжали свой путь и теперь шли по деревянному настилу моста Искусств. Девушка остановилась рядом с уличным художником, продающим крошечные акварели.

— Мне нравится этот мост, — сказала она. — Потому что здесь нет машин. Только влюбленные парочки, старушки в шляпках и праздная публика. Это мост, лишенный абсолютно всякого практического смысла.

Корсо не ответил. Он провожал взглядом баржи с низкими покосившимися мачтами, они проплывали мимо, между опорами, которые поддерживали всю железную конструкцию. Когда-то на этом мосту звучали шаги Никон — рядом с его собственными. Он помнил, как она точно так же остановилась рядом с художником, может, с тем же самым, как наморщила нос, потому что фотометр был расположен неудобно для нее и свет бил диагонально, слишком сильно, он падал на башни Нотр-Дам. Они купили foie-gras[4] и бутылку бургундского, это и составило их ужин в гостиничном номере. Поели они в постели при свете телевизионного экрана, где разгорались дебаты — из тех, которые просто обожают французы, — в них участвует много народа и произносят много слов. А прежде, еще на мосту, Никон тайком сфотографировала его — в чем и призналась, жуя хлеб с foie-gras; при этом губы ее были влажными от бургундского, и она кончиком босой ноги поглаживала бедро Корсо. Я знаю, что тебе это не нравится, Лукас Корсо, ты злишься, но там ты стоишь в профиль и смотришь на проплывающие внизу баржи, и мне удалось почти что сделать из тебя красавца, сукин ты сын. Никон была еврейкой с большими глазами, из ашкеназов, отец ее в Треблинке носил номер 77843, и спас его гонг в последнем раунде; теперь, когда на экране появлялись израильские солдаты на своих огромных танках, она голая выпрыгивала из постели и целовала экран, глаза ее блестели от слез, она шептала: "Шалом, Шалом" — так же нежно, как произносила имя Лукас... Но однажды она это имя словно забыла. Он так никогда и не увидел ту фотографию, где он стоит, опершись на перила моста Искусств, и смотрит на баржи, стоит в профиль и на сей раз кажется почти красивым, сукин сын.

Когда он поднял глаза, Никон уже исчезла. Рядом с ним шла другая девушка. Высокая, загорелая, с короткой мальчишеской стрижкой и глазами цвета свежевымытого винограда, почти прозрачными. В растерянности он на секунду зажмурился, чтобы вернуться в реальный мир. И настоящее прочертило четкую, как след скальпеля, линию. Тот Корсо, что стоял в профиль на черно-белой фотографии — Никон делала только черно-белые снимки, — извиваясь полетел в реку и уплыл вниз по течению, вместе с опавшей листвой и дерьмом, которое попадало в воду с шаланд и из канализационных стоков. И другая девушка, а вовсе не Никон, держала в руках переплетенную в кожу книжицу и протягивала ему.

— Надеюсь, тебе понравится.

"Влюбленный дьявол" Жака Казота, издание 1878 года. Корсо раскрыл книгу и узнал гравюры — те же, что и в первом издании, факсимиле в виде приложения: Альвар в магическом круге стоит пред дьяволом,

который вопрошает “Che vuoi?”[5]; Бьондетта, распутывающая пальцами волосы; красивый паж у клавесина... Корсо открыл какое-то место наугад и прочел:

Человек был сотворен из горсти грязи и воды, почему же женщина не может быть соткана из росы, земных испарений и солнечных лучей, из сгустившихся остатков радуги? Где возможное?.. И невозможное?..

Он захлопнул книгу и, подняв глаза, встретился с ликующим взглядом девушки. Там, внизу, солнечные блики искрились в пенном следе, оставленном каким-то корабликом, и трепетные переливы пробегали по ее лицу, будто отблески бриллиантовых граней.

— “Из сгустившихся остатков радуги”, — повторил Корсо. — А ты-то что об этом знаешь?

Девушка провела рукой по волосам и, прикрыв веки, подняла лицо к солнцу. Все в ней было светом: отблески реки, утренняя прозрачность, две зеленых заводи под темными ресницами.

— Мне известно то, что мне рассказали давным-давно... Радуга — мост, соединяющий землю и небо. Когда наступит конец света, она обрушится — после того как дьявол усядется на нее верхом.

— Неплохо. Так рассказывала твоя бабушка?

Она отрицательно помотала головой. И снова глянула на Корсо — серьезно и задумчиво.

— Нет, один приятель, Билето, — произнеся это имя, она на миг запнулась и наморщила лоб, как маленькая девочка, открывающая страшную тайну. — Он любит коней и вольный ветер... Другого такого оптимиста я не встречала... Он все еще верит, что вернется на небеса!

Они прошли почти весь мост. У Корсо возникло странное ощущение, будто чудища с водостоков Нотр-Дам следили за ними. А ведь и они, эти чудища, тоже были подделкой, как и столько прочих вещей. Их не было там — не было их адских гримас, рогов и унылых козлиных бород, — когда степенные мастера, закончив работу, потные и гордые, выпили по стакану крепкого питья и глянули наверх. Их не было там, когда Квазимодо метался по звоннице, страдая от несчастной любви к цыганке Эсмеральде. Но теперь, после Чарльза Лоутона с его целлулоидным уродством, после Джины Лоллобриджиды, которую казнили на площади под их сенью, — вторая версия, техноколор, непременно подчеркнула бы Никон, — уже трудно было представить собор без этих мрачных неосредневековых часовых. Корсо вообразил, какая картина открылась бы ему с высоты птичьего полета: Новый мост, дальше — узкий, темнеющий в свете прозрачного утра мост Искусств над серо-зеленой лентой реки, а на нем — две крошечных фигурки, которые незаметно движутся к правому берегу. Мосты и черные лодки Харона, неспешно проплывающие под каменными сводами и арками. Мир — это берега и реки, текущие меж ними, мужчины и женщины, которые пересекают реки по мостам либо вброд, не догадываясь о последствиях сего акта, не оборачиваясь назад и не глядя под ноги, не бросив монетки лодочнику.

Они вышли к Лувру и постояли перед светофором, прежде чем перейти улицу. Корсо поправил лямку своей холщовой сумки на плече и рассеянно глянул сначала направо, потом налево. Машин было множество, и он по чистой случайности обратил внимание на одну, которая как

раз в этот миг пролетала мимо. И Корсо буквально окаменел, уподобившись чудовищам с Нотр-Дам.

— Что случилось? — спросила девушка, когда зажегся зеленый свет, а Корсо все не двигался с места. — Ты что там, привидение увидел?

Да, он увидел привидение. Но не одно, а целых два. Оба расположились на заднем сиденье улетавшего прочь такси и оживленно беседовали, поэтому Корсо не заметили. Женщина — очень привлекательная блондинка; он тотчас узнал ее, несмотря на шляпу с короткой вуалью, опущенной на глаза. Это была Лиана Тайллефер. А рядом с ней, обняв ее за плечи, сидел Флавио Ла Понте, который демонстрировал свой неотразимый профиль и кокетливо поглаживал кудрявую бородку.

1. “Болса” нет, месье” (*франц.*).
2. “Включены в счет” (*франц.*).
3. Речной трамвай (*франц.*).
4. Гусиная печенка (*франц.*).
5. “Чего ты хочешь?” (*итал.*).

X. Номер Три

Они подозревали, что у него нет сердца.
Р. Сабатини. *Скарамуш*

Корсо был из числа людей, наделенных редким даром: он умел мгновенно находить себе преданных помощников — иногда за деньги, иногда просто в обмен на улыбку. Как мы уже убедились, было в нем что-то — полунаигранная неуклюжесть, гримаса своенравного и симпатичного кролика, рассеянный и беспомощный вид, совершенно не соответствующий его нраву, — из-за чего люди готовы были оказывать ему всяческое содействие. Некоторые из нас, знакомясь с Корсо, испытали это на себе. Не стал исключением и Грюбер, портье из "Лувр Конкорд", с которым Корсо имел дело уже лет пятнадцать. Грюбер был человеком суровым и замкнутым, с бритым затылком, и в уголках губ его застыли складки, отличающие игроков в покер. Во время немецкого отступления 1944 года он, шестнадцатилетний хорватский волонтер, рядовой 18-й мотопехотной дивизии вермахта "Хорст Вессель", получил русскую пулю, которая задела ему позвоночник. Итог — Железный крест второй степени и три неподвижных позвонка. Вот почему он так напряженно и замедленно двигался на своем посту — словно торс его сковывал стальной корсет.

— Мне нужна помощь, Грюбер.

— Я всегда в вашем распоряжении.

Корсо почудилось, что вставший по стойке смирно портье щелкнул каблуками. Форменная куртка цвета бордо с золотыми ключиками на лацканах придавала старому отставнику еще более бравый вид, что очень нравилось тем клиентам из Центральной Европы, которые после крушения коммунизма и раскола восточного лагеря приезжали в Париж, чтобы рассеянно осмотреть Елисейские Поля, а в душе мечтали о четвертом рейхе.

— Ла Понте, Флавио. По национальности испанец. А также Эрреро, Лиана Эрреро; хотя она может зарегистрироваться под фамилией Тайллефер или де Тайллефер... Я хотел бы знать, не остановились ли они в одной из парижских гостиниц.

Он написал имена на карточке и передал ее Грюберу, приложив пятьсот франков. Корсо, когда давал чаевые или подкупал кого-то, умел особым образом пожать плечами — мол, нынче я тебе, завтра ты мне, — отчего все дело обретало форму дружеского взаимообмена, почти сообщничества, и трудно было понять, кто и кому в действительности оказывает услугу. Грюбер привык иметь дело с испанцами из "Евроколор Иберия", итальянцами в отвратительных галстуках и американцами с сумочками TWA[1] и в бейсболках — и бормотал вежливое "merci' m'sieu", получая от них жалкие десять франков. Теперь же он, не моргнув глазом и не поблагодарив, описал рукой изящный полукруг и сунул в карман весьма крупную купюру. На лице его появилась непроницаемая маска крупье, которую он приберегал для тех немногих, кто, как Корсо, еще помнил правила игры. Грюбер ремесло свое осваивал в ту пору, когда

клиенту достаточно было поднять бровь, чтобы служащие отеля безошибочно поняли, чего именно тот хочет. Но теперь настали иные времена, и дорогой его сердцу мир старых европейских гостиниц помнили лишь немногие посвященные.

— Господин и дама проживают вместе?

— Не знаю, — Корсо скривился, вообразив, как Ла Понте выходит из ванной комнаты в расшитом халате, а вдова Тайллефер полулежит на постели в шелковой рубашке. — Но эта деталь меня тоже интересует.

Грюбер слегка склонил голову — всего на несколько миллиметров.

— Мне понадобится несколько часов, господин Корсо.

— Знаю, — Корсо прогулялся взглядом вдоль коридора, соединяющего холл с рестораном; девушка стояла там — куртка под мышкой, руки в карманах джинсов — и разглядывала витрину с духами и шелковыми косынками. — Что касается ее...

Портье достал из-под стойки карточку.

— Ирэн Адлер, — прочитал он, — британский паспорт, выдан два месяца назад. Девятнадцать лет. Адрес: Лондон, Бейкер-стрит, 221б.

— Вы шутите, Грюбер.

— Разве я посмел бы, господин Корсо. Так значится в паспорте.

Губы старого солдата СС тронула легчайшая, почти неразличимая улыбка. Правда, по-настоящему улыбающимся Корсо видел его лишь однажды: в тот день, когда пала Берлинская стена. Охотник за книгами глянул на коротко подстриженные седые волосы, на неподвижную шею, на кисти рук, симметрично опущенные на стойку. Старая Европа — или то, что от нее осталось. Ему слишком много лет, чтобы, рискнув всем, возвратиться домой и уже на месте убедиться, что в воспоминаниях многое почему-то было другим — и колокольня в Загребе, и светловолосые приветливые крестьянки, от которых пахло свежеиспеченным хлебом, и зеленые равнины с реками, и мосты через реки, мосты, которые он дважды видел взорванными — в юности, когда убегал от партизан Тито, и по телевизору осенью девяносто первого (они взлетели на воздух перед самым носом у сербских четников). Именно так он все это себе и представлял, когда в своей комнате перед выцветшим портретом императора Франца Иосифа снимал бордовую куртку с золотыми ключиками на лацканах — так же торжественно, как снимал бы мундир австро-венгерской армии. Он наверняка ставил пластинку с "Маршем Радецкого", потом наливал себе стакан красного вина и мастурбировал, смотря по видео фильмы с Сисси.

Девушка оторвала взгляд от витрины и теперь смотрела на Корсо. Бейкер-стрит, 221б, мысленно повторил он и чуть не расхохотался во всю глотку. Его бы ни капли не удивило, появись здесь и сейчас посыльный с приглашением от леди Винтер на чай в замок Иф или во дворец Рюритания к Ришелье, профессору Мориарти и Руперту из Хентцау[2]. Раз уж в дело вмешалась литература, и такое запросто могло произойти.

Он попросил телефонную книгу и отыскал номер баронессы Унгерн. Потом, не обращая внимания на девушку, зашел в телефонную кабинку в холле и побеседовал с баронессой, которая назначила ему встречу на следующий день. После чего Корсо набрал толедский номер Варо Борхи. Но его телефон не отвечал.

По телевизору шел фильм с выключенным звуком: Грегори Пек среди тюленей, драка в танцевальном зале какой-то гостиницы, две шхуны бок

о бок летят на всех парусах куда-то на север, к настоящей свободе, которая начинается в десяти милях от ближнего берега. А по эту сторону телевизионного экрана на ночном столике несла караул бутылка "Болса", и содержимое ее давно опустилось ниже ватерлинии. Бутылка стояла между "Девятью вратами" и папкой с рукописью Дюма и напоминала старого пьяницу-гренадера, который готовится к жаркому бою.

Лукас Корсо снял очки и потер глаза, покрасневшие от табачного дыма и джина. На постели с археологической тщательностью были разложены остатки экземпляра номер Два, спасенные из камина в доме Виктора Фаргаша. Не так уж и много: переплет, который благодаря коже обгорел меньше, и подпаленные клочки бумаги с почти нечитаемыми фрагментами текста. Он взял один такой кусочек, желтый и ломкий: "...si non obig.nem me. ips.s fecere, f.r q.qe die, tib. do vitam m.m sicut t.m..." Это явно был нижний угол страницы, и Корсо после недолгих раздумий отыскал соответствующее место в экземпляре номер Один. Страница 89 — тексты полностью совпадали. Корсо попытался проделать ту же операцию с каждым из клочков, которые сумел идентифицировать, — всего таких оказалось шестнадцать. Еще двадцать два были или слишком малы, или невозвратно испорчены, так что понять, откуда они, не представлялось возможным. Одиннадцать были остатками полей, и только на одном из них различалась перекрученная цифра 7 — третья и единственно читаемая из трех, обозначающих номер страницы. Он определил, что речь шла о странице 107.

Сигарета уже начала обжигать ему губы, Корсо ткнул окурок в пепельницу и раздавил. Потом протянул руку, схватил бутылку и сделал большой глоток прямо из горлышка. Он сидел в одной рубашке — в старой рубашке цвета хаки с большими карманами и завернутыми рукавами, а еще на нем был галстук, давно превратившийся в тряпку. На экране человек из Бостона, стоя у штурвала, обнимал русскую княгиню, оба беззвучно шевелили губами и были счастливы своей любовью под небом техноколор. Единственным звуком, нарушавшим тишину в комнате, было дребезжанье оконных стекол — всякий раз, когда внизу, по дороге, ведущей к Лувру, проезжали машины.

Фильмы со счастливым концом! Когда-то Никон тоже любила всю эту дребедень. Корсо отлично помнил: она радовалась, как восторженная девчонка, глядя на финальный поцелуй — под пение скрипок, на фоне облаков, со словом "Конец", наплывающим на лица героев. Иногда они с Корсо ходили в кино, но чаще Никон сидела перед телевизором, набив рот кусочками сыра, и, случалось, опускала голову на плечо Корсо, и он чувствовал, что она тихо плачет, не произнося ни слова и не отрывая глаз от экрана. Это мог быть Пол Хенрайд, поющий "Марсельезу" в кафе "У Рика"; Рутгер Хауэр, склонивший голову, умирающий в последних кадрах "Бегущего по лезвию бритвы"; Джон Уэйн с Морин О'Хара[3] перед камином или Мастроянни, зашедший в воду по пояс, чтобы достать женскую шляпку, раскланивающийся налево и направо, элегантный, невозмутимый, влюбленный, с черными глазами. Никон плакала, и была счастлива, и гордилась своими слезами. Ведь это значит, что я еще жива, говорила она смеясь, со все еще мокрым лицом. Что я — часть большого мира, и мне нравится быть частью мира. Кино — это для многих: вещь коллективная, щедрая, там дети хлопают в ладоши, когда появляется агент 007. Кино делает людей лучше; фильмы можно смотреть вдвоем, обсуждать. А вот твои книги — эгоисты. И одиночки. Некото-

рые из них даже и прочесть-то нельзя. И открыть нельзя, такие они старые. Кому интересны только книги, тому никто не нужен, вот что меня пугает. Никон дожевывала последний кусочек сыра и смотрела на Корсо внимательно, словно отыскивала на его лице тайные симптомы болезни, которая очень скоро проявится. Иногда ты меня пугаешь.

Фильмы со счастливым концом... Корсо нажал на кнопку дистанционного управления, и экран погас. Теперь вот охотник за книгами сидел в Париже, а Никон фотографировала детей с печальными глазами где-нибудь в Африке или на Балканах. Однажды, заглянув в какой-то бар выпить рюмку джина, он мельком увидел ее в программе теленовостей: рядом рвались бомбы, мимо бежали перепуганные люди, а она спокойно стояла — волосы заплетены в косу, на плече камера, к лицу прижат 35-миллиметровый фотоаппарат, — и силуэт ее резко выделялся на фоне дыма и пламени. Никон. Среди тех грандиозных обманов, которым она охотно и слепо верила, фильмы со счастливыми финалами были самой большой нелепостью. Там герои ели куропаток и всегда любили друг друга, и казалось, что результат уравнения просто не может не быть окончательным и бесспорным. И никаких вопросов о том, сколько же длятся любовь, счастье в этом самом "всегда", которое на самом-то деле дробится на жизни, годы, месяцы. И даже на дни. Пока не наступил неизбежный финал, их с Никон финал, она и мысли не допускала, что герой недели через две может потонуть на своем корабле, натолкнувшись на подводный риф у Гебридских островов. Или что героиню через три месяца собъет автомобиль. Или события будут развиваться совсем иначе: кто-то заведет любовника, кто-то почувствует раздражение и скуку, кто-то решит перечеркнуть прожитое. А сколько бессонных ночей, сколько слез и недомолвок, сколько одиночества последовало за тем поцелуем? Может быть, героя в сорок лет свел в могилу рак. А героиня дожила до восьмидесяти в приюте для престарелых... Красавец-офицер превратился в развалину, ведь геройские раны неизбежно оставляют по себе уродливые шрамы, а победы его забылись и никого больше не интересуют. Какие драмы переживают они, уже состарившиеся, когда у них не хватает сил ни на борьбу, ни на сопротивление, и их швыряет туда-сюда мировой ураган, и они беззащитны перед людской глупостью, жестокостью и подлостью.

Порой ты пугаешь меня, Лукас Корсо.

Без пяти минут одиннадцать он раскрыл-таки тайну камина на вилле Виктора Фаргаша, хотя до полной ясности было еще далеко. Он зевнул, потянулся и глянул на часы. Потом снова полюбовался разложенными по постели кусочками бумаги и уставился в зеркало, которое висело рядом со старинной открыткой в деревянной рамке: гусары перед Реймсским собором. Он увидел собственное отражение: встрепанный, небритый, в съехавших на нос очках — и тихонько рассмеялся. Этот волчий смех — коварный и злобный — Корсо приберегал для особых случаев. И теперь был как раз такой особый случай. Все фрагменты "Девяти врат", которые он сумел идентифицировать, соответствовали определенным страницам с текстом из целого экземпляра. От девяти гравюр и фронтисписа не осталось и следа. Чему могло быть два объяснения: первое — они сгорели в камине; второе, и более вероятное, — кто-то, разодрав книгу, унес их с собой, а то, что ему не понадобилось, швырнул в огонь. Этот кто-то, кем бы он там ни был, несомненно считал себя очень

хитрым. Или она считала себя очень хитрой. Хотя после того как Корсо совершенно неожиданно, стоя на перекрестке, увидал Ла Понте и Лиану Тайллефер, ему не следовало исключать и третье лицо множественного числа: они считали себя очень хитрыми. Теперь важно было разобраться: случайно ли были оставлены те следы, которые обнаружил Корсо, или это была ловушка. Весьма искусная, надо сказать, ловушка.

Кстати о ловушках. В дверь постучали, и когда Корсо открыл, не забыв прежде накинуть покрывало на экземпляр номер Один и рукопись Дюма, он увидал девушку. Она явилась босиком, в джинсах и белой футболке.

— Привет, Корсо. Надеюсь, ты никуда не собрался на ночь глядя.

Порог комнаты она не переступила, а стояла в прихожей, сунув большие пальцы в карманы джинсов, которые очень туго обтягивали ее бедра и длинные ноги. Потом наморщила лоб, ожидая дурных новостей.

— Можешь расслабиться и покинуть пост, — успокоил ее Корсо.

Она облегченно улыбнулась:

— До смерти хочется спать.

Корсо повернулся к ней спиной и шагнул к ночному столику с бутылкой, которая оказалась уже почти пустой. Тогда он принялся исследовать мини-бар и наконец победно выпрямился — с маленькой бутылочкой джина в руке. Он выплеснул ее содержимое в стакан и сделал глоток. Девушка по-прежнему стояла в дверях.

— Они унесли гравюры. Девять штук, — Корсо указал стаканом на фрагменты экземпляра номер Два. — Остальное сожгли — заметали следы; именно поэтому уничтожено не все. Они позаботились, чтобы кое-что осталось... Таким образом, можно официально установить, что книга сгорела.

Она наклонила голову набок и пристально смотрела на него.

— А ты умный.

— Еще бы! Поэтому меня и кинули на это дело.

Девушка сделала несколько шагов по комнате. Корсо следил за ее босыми ногами, ступившими на коврик у кровати. Она внимательно изучала обгоревшие кусочки.

— Книгу сжег не Виктор Фаргаш, — добавил Корсо. — У него бы на это рука никогда не поднялась... Что они с ним сделали? Такое же самоубийство, как у Энрике Тайллефера?

Она помедлила с ответом. Взяла клочок и попыталась разобрать печатные буквы.

— Вот и ответь на свои вопросы сам, — бросила она, не поворачивая головы. — Для того тебя и кинули на это дело.

— А ты?

Она читала, беззвучно шевеля губами, но с таким видом, будто текст был ей знаком. Когда она вернула клочок на постель, в самых краешках ее губ мелькнула печальная улыбка воспоминания, очень странная на юном лице.

— Ты уже знаешь: я здесь, чтобы охранять тебя. И я тебе нужна.

— Что мне точно нужно, так это еще джина.

Он допил то, что осталось в стакане, и процедил сквозь зубы какое-то ругательство, стараясь скрыть тревогу, а может, и смущение. Будь все проклято! Изумрудная зелень, снежная белизна, лучезарный свет, глаза, улыбка на загорелом лице, длинная обнаженная шея с нежно пульсирующей жилкой. А пошел ты... Лукас Корсо! Мало на тебя навалилось? Так

ты еще пялишься на эти смуглые руки, тонкие запястья и длинные пальцы. И на прочее... Он уперся глазами в великолепные груди, обтянутые белой футболкой, – до сих пор у него не было случая разглядеть их и оценить. Он представил себе: смуглые, тяжелые – темная кожа под белым хлопком, плоть, сотканная из света и тени. А еще он в очередной раз изумился росту девушки. Она была никак не ниже его. Даже чуть повыше.

– Кто ты?

– Дьявол, – ответила она. – Влюбленный дьявол.

И расхохоталась. Томик Казота лежал на комоде, рядом с "Мемориалом Святой Елены" и какими-то бумагами. Девушка глянула на книгу, но в руки не взяла. Потом ткнула в нее пальцем, подняв глаза на Корсо:

– Ты веришь в дьявола?

– Мне платят, чтобы я верил. Во всяком случае, до тех пор, пока не доведу эту работу до конца.

Он увидел, как она медленно кивнула головой, словно знала ответ заранее. Она наблюдала за Корсо – с любопытством, полуоткрыв рот, и казалось, напряженно ждала какого-то знака или жеста, которые только ей дано было понять и истолковать.

– Знаешь, чем мне нравится эта книга?

– Нет. Скажи.

– Тем, что герой ее искренен. Для него любовь – не примитивная ловушка, чтобы погубить очередную душу. Бьондетта такая нежная и верная... и помнишь, что ее восхищает в Альваре? Именно то, что дьявол ценит в людях: храбрость, независимость... – на миг светлые зрачки скрылись под ресницами. – А также – страсть к знаниям и ум.

– Ты хорошо разбираешься в таких делах. А что еще тебе об этом известно?

– Гораздо больше, чем ты можешь себе вообразить.

– Я ничего не собираюсь воображать. Все мои сведения о том, что дьявол любит, а что презирает, почерпнуты исключительно из литературы: "Потерянный рай", "Божественная комедия" и, разумеется, "Фауст" и "Братья Карамазовы"... – он сделал невнятный, уклончивый жест. – Мой Люцифер – из вторых рук.

Теперь она смотрела на него насмешливо:

– И какого же ты предпочитаешь? Из Данте?

– Нет уж! Слишком ужасен. Слишком средневековый, на мой вкус.

– Тогда Мефистофеля?

– Тоже нет. Слишком лощеный, с замашками лукавого и ловкого адвоката... К тому же я не доверяю тем, кто вечно улыбается.

– А тот, что появляется в "Братьях Карамазовых"?

Корсо сделал вид, что принюхивается, ища, откуда идет дурной запах.

– Мелковат. И вульгарен, как подручный в лавке старьевщика, – он на миг задумался. – Скорее всего, я отдал бы предпочтение мильтоновскому падшему ангелу, – Корсо глянул на нее вопросительно. – Именно это ты желала услышать?

Она загадочно улыбалась. И стояла все так же, сунув большие пальцы в карманы очень узких джинсов. Он впервые видел, чтобы джинсы так на ком-то сидели. Вероятно, это из-за длинных ног. Такие ноги бывают у девушек, путешествующих автостопом... Они стоят на обочине, рюкзак брошен рядом, а в зеленых глазах сквозит несказанный свет.

— А каким ты представляешь себе Люцифера?

— Не знаю, — охотник за книгами задумался, потом поспешил скроить презрительную и равнодушную гримасу. — Наверно, он угрюмый и молчаливый. Он скучает, — гримаса сделалась кислой. — Сидит на троне в пустой зале — посреди безлюдного и стылого царства, и еще очень однообразного — там никогда ничего не происходит.

Какое-то время она смотрела на него, не произнося ни слова.

— Ты удивляешь меня, Корсо, — сказала она наконец с притворным восхищением.

— Почему это? Мильтона всякий может прочесть. Даже я.

Он наблюдал, как она начала медленно двигаться вокруг кровати, при этом ни на шаг к ней не приближаясь, пока не очутилась между Корсо и лампой, освещающей комнату. Случайно или нет, но встала она так, что тень ее упала на фрагменты "Девяти врат", рассыпанные по покрывалу.

— А ведь ты только что упомянул и о цене, — теперь лицо ее пребывало во мраке, хотя очертания головы вырезывались на светлом фоне. — Гордость, свобода... Знание. Всегда и за все приходится платить, кому в начале, кому в конце. Даже за храбрость... Правда? Подумай только, сколько храбрости нужно, чтобы подняться против Бога...

Слова ее звучали тихо — шепот среди тишины, которая наводняла комнату, просачиваясь во все щели — под дверью, в окне; казалось даже, что там, снаружи, стих шум машин. Корсо смотрел по очереди то на один силуэт, то на другой — то на ее тень, означенную на покрывале и бумажных клочках, то на фигуру из плоти и крови, заслонившую собой свет. И тут охотник за книгами спросил себя, какая же из двух девушек реальнее?

— А все эти архангелы? — заговорила Ирэн Адлер, впрочем, возможно, это была ее тень. В тоне звучали пренебрежение и обида; Корсо уловил эхо с силой выпущенного из легких воздуха, так что получился вздох презрения и отчаяния. — Они такие красивые, такие совершенные. И такие дисциплинированные — прямо как нацисты.

В этот миг она выглядела не такой уж и юной. Она несла на плечах вековую усталость — мрачное наследство, чужие грехи. И он, изумившись и растерявшись, не узнавал ее. В конце концов, подумал Корсо, может быть, ни одну из двух не стоит считать настоящей: ни тень на покрывале, ни фигуру, закрывающую свет.

— В Прадо есть одна картина... Помнишь, Корсо? Мужчины, вооруженные ножами, пытаются выстоять против всадников, которые рубят их саблями. Я всегда воображала, что у падшего ангела, когда он взбунтовался, были точно такие же глаза, такой же потерянный взгляд, как у тех несчастных с ножами. Храбрость отчаяния.

Тем временем она чуть сдвинулась с места, всего на несколько сантиметров, но тень ее при этом быстро метнулась вперед и приблизилась к тени Корсо, словно действовала своевольно, по собственной прихоти.

— А что ты-то об этом знаешь? — спросил он.

— Больше, чем хотелось бы.

Теперь тень девушки накрывала собой все фрагменты книги и почти соприкасалась с тенью Корсо. Он инстинктивно отшатнулся, чтобы две тени на кровати разделяла хотя бы узкая полоска света.

— Вот, вообрази, — говорила она все так же задумчиво, — самый прекрасный из падших ангелов, один в пустом дворце, плетет свои козни...

Он добросовестно отдает все силы рутинным делам, которые сам бесконечно презирает; но они по крайней мере помогают ему скрыть отчаяние. Поражение, — девушка засмеялась тихо, безрадостно и так, словно смех ее доносился откуда-то издалека. — Ведь он тоскует по небесам.

Теперь тени их соединились и почти слились над фрагментами книги, спасенными из камина на вилле "Уединение". Два темных силуэта на покрывале заблудились среди девяти врат в царство совсем иных теней, а может, и тех же самых. Обгорелые клочки бумаги, все еще не отысканные ключи к загадке, тайна, сокрытая под многими покровами, виной чему были печатник, время и огонь. Энрике Тайллефер висел на шелковом шнуре от собственного халата и медленно вращался; Виктор Фаргаш лежал в грязном пруду. Аристид Торкья горел на костре на Кампо деи Фьори, взывая к Отцу небесному и глядя при этом не в небо, а на землю, себе под ноги. Старик Дюма писал, сидя на вершине мира, и там же, в Париже, совсем близко от места, где нынче находился Корсо, еще одна тень, тень кардинала, в чьей библиотеке было собрано подозрительно много книг о дьяволе, намечала по канве узор тайной интриги.

Девушка, а вернее, ее резко очерченный силуэт на светлом фоне, чуть подалась в сторону охотника за книгами. Всего на несколько сантиметров; но и этого оказалось достаточно, чтобы его тень сгинула под ее тенью.

— Хуже пришлось тем, кто за ним последовал, — Корсо не сразу сообразил, о ком она вела речь. — Тем, кого он, падая, увлек за собой: воинам, вестникам, служившим ему по должности и призванию. Некоторые из них были наемниками, как ты... И многие даже не поняли, что в тот миг сделали выбор между подчинением и свободой, между лагерем Создателя и лагерем людей; они просто пошли за своим командиром — на бунт и на поражение, потому что привыкли выполнять приказы не рассуждая, и еще — они были старыми верными солдатами.

— Да, они пошли за ним, как десять тысяч греков за Ксенофонтом[4], — пошутил Корсо.

Она помолчала. Как будто ее изумила точность сравнения.

— Кто знает, — прошептала она наконец, — может, они, разбросанные по свету, одинокие, все еще ждут, когда же командир велит им возвращаться домой.

Охотник за книгами нагнулся, чтобы достать сигарету, — и тотчас вновь обрел свою тень. Потом он зажег еще одну лампу — ту, что стояла на ночном столике, и темный силуэт девушки растаял, черты ее вернули себе ясность. Светлые глаза неотрывно смотрели на него. Она снова казалась очень молодой.

— Это так трогательно, — заметил Корсо, — старые солдаты, бредущие в поисках моря...

Она захлопала глазами, и ему почему-то подумалось, что теперь, когда на лицо ее падал свет, она перестала понимать, о чем он, собственно, толкует. Да и тени на кровати больше не было, а остатки книги стали просто обгорелыми клочками бумаги; стоит открыть окно, и поток ветра подхватит их и, кружа, развеет по комнате.

Она улыбалась. Ирэн Адлер, Бейкер-стрит, 221б. Кафе в Мадриде, поезд, утро в Синтре... Проигранный бой, анабиоз побежденных легионов — в свои годы она не могла столько всего запомнить. Она улыбалась совсем как маленькая девочка, испорченная и одновременно невинная,

хотя под веками ее таились едва приметные следы усталости. И еще она была сонной и теплой.

Корсо сглотнул слюну. Какая-то часть его существа уже готова была кинуться к ней, сорвать белую футболку, обнажить смуглое тело, дернуть вниз молнию на джинсах, повалить девушку на постель, прямо на обрывки книги, взывавшей к теням. Погрузиться в эту нежную плоть, сводя счеты и с Богом, и с Люцифером, и с неумолимым временем, и с его, Лукаса, собственными призраками, а также с жизнью и смертью. Но он лишь зажег сигарету и молча выпустил дым изо рта. Она смотрела на него долгим взглядом, точно ожидая чего-то: жеста ли, слова ли. Потом пожелала ему спокойной ночи и двинулась к двери. И уже на пороге резко повернулась всем телом, глянула ему в глаза и медленно подняла руку, ладонью внутрь, устремив вверх два соединенных вместе пальца — указательный и средний. И на губах ее заиграла нежная и понимающая улыбка — одновременно простодушная и мудрая. Словно у падшего ангела, с тоской указующего на небо.

Когда баронесса Фрида Унгерн улыбалась, на щеках ее появлялись две симпатичные ямочки. Вообще-то создавалось впечатление, что все последние семьдесят лет она не переставала улыбаться, и потому в глазах ее и на губах застыло несмываемое выражение доброжелательности. Корсо еще в раннем детстве успел проглотить кучу книг и отлично усвоил, что ведьмы бывают разные: мачехи, злые феи, красивые и коварные королевы и, разумеется, сердитые старухи с бородавками на носу. Но хотя он и постарался собрать побольше сведений о баронессе, ему не удалось определить, к какому из традиционных типов она относится. А может, это просто обычная семидесятилетняя старушка, из тех, что живут за границами реального, словно погрузившись в вязкий сон и не замечая неприятных сторон бытия. Правда, взгляд проницательных, умных, быстрых и недоверчивых глаз опровергал первое впечатление. Не укладывался в привычные схемы и пустой правый рукав ее вязаной кофты — рука выше локтя была у баронессы ампутирована. Перед ним стояла полноватая, миниатюрная пожилая женщина, похожая на учительницу французского языка в пансионе для благородных девиц. Из тех времен, когда вышеназванные девицы еще существовали. Так, во всяком случае, подумал Корсо, окинув взглядом ее седые волосы, собранные на затылке в пучок с помощью шпилек, ботинки, очень похожие на мужские, и короткие белые носки.

— Вы Корсо, если не ошибаюсь?.. Рада с вами познакомиться.

Она протянула ему свою единственную руку, тоже очень миниатюрную, протянула с необычной энергией, при этом ямочки у нее на щеках сделались еще глубже. По-французски она говорила с легким немецким акцентом. Корсо вспомнил, что где-то читал, будто некий фон Унгерн прославился в Маньчжурии — или в Монголии? — в начале двадцатых годов: он был своего рода благородным воином, последним из тех, что сражались с Красной армией, встав во главе оборванного войска — русских белогвардейцев, казаков, китайцев, а также дезертиров и бандитов. В этой истории было все — и броненосцы, и грабежи, и побоища, а потом эпилог — расстрел на рассвете[5]. Возможно, легендарный фон Унгерн имел какое-то отношение к баронессе.

— Да, он приходился двоюродным дедушкой моему мужу. У мужа русские корни, но их семья незадолго до революции эмигрировала во

Францию и смогла вывезти кое-какие деньги, — в тоне ее, по правде сказать, не чувствовалось ни печали, ни гордости, а выражение лица говорило: то были иные времена, иные люди. Какие-то неведомые ей персонажи, поумиравшие еще до ее рождения. — Я родилась в Германии; когда к власти пришли нацисты, мы потеряли все. Замуж я вышла здесь, во Франции, уже после войны, — она осторожно оборвала сухой лист с цветка, стоявшего у окна, и слегка улыбнулась. — Как я ненавидела запах нафталина, которым все было пропитано в семье мужа: ностальгические воспоминания о Санкт-Петербурге, тезоименитство императора. Жизнь, превращенная в вечные бдения у гроба.

Корсо бросил взгляд на письменный стол с грудой книг, на плотно заставленные стеллажи. По его прикидке, только в этой комнате находилось не меньше тысячи томов. Здесь, надо полагать, были собраны самые редкие, самые ценные экземпляры: и новые издания, и старинные — все в кожаных переплетах.

— Но вы тоже неравнодушны к старине, — кивнул он на книги.

— Это совсем другое дело; для меня они объект научного исследования, а никак не культа. Я с ними работаю.

Дурные времена настали, размышлял Корсо, раз уж ведьмы, или как их нынче называют, рассказывают о родственниках по мужу, вместо того чтобы колдовать над чугунком с волшебным зельем, и живут среди шкафов с книгами, каталожных ящиков, а также ведут посвященную бестселлерам колонку в крупных газетах. Через открытую дверь он видел, что и в других комнатах, и в холле полно книг. Книг и растений. Горшки с цветами стояли повсюду: на окнах, на полу, на деревянных подставках. Квартира была очень большой и очень дорогой, с видом на набережные Сены, и ничто здесь не напоминало о минувших временах и кострах инквизиции. За некоторыми письменными столами сидели молодые люди студенческого вида. Сквозь зеленые листья просвечивало золото старинных переплетов. Фонд Унгерна владел самой богатой в Европе библиотекой по оккультным наукам. Корсо уже успел заметить неподалеку "Daemonolatriae Libri" Никола Реми, "Compendium Maleficarum" Франческо Марии Гуаццо, "De Daemonialitate et Incubus et Sucubus" Людовико Синистрари[6]... Здесь был составлен один из лучших каталогов по демонологии, и здесь же помещалась штаб-квартира фонда, который носил имя покойного барона, ее мужа. Но кроме того, баронесса Унгерн имела большой и заслуженный авторитет как автор книг о магии и колдовстве. Ее последний труд "Исида, или Нагая дева" вот уже три года значился в списке бестселлеров. Надо добавить, что бурным спросом книга стала пользоваться после того, как Ватикан публично осудил ее за недопустимые параллели между языческой богиней и Богородицей: восемь изданий во Франции, двенадцать в Испании, семнадцать в католической Италии...

— А над чем вы работаете сейчас?

— "Дьявол: история и легенда". Своего рода биография, и я надеюсь закончить ее к началу следующего года.

Корсо остановился перед шеренгами книг, и внимание его привлек "Disquisitionum Magicarum" Мартина дель Рио[7] — три тома, первое издание; Лувен, 1599—1600, классическое сочинение по магии.

— Как вам удалось это добыть?

Фрида Унгерн помедлила с ответом, видимо прикидывая, стоит ли вдаваться в подробности.

— Я купила трехтомник в восемьдесят девятом году на аукционе в Мадриде. С немыслимым трудом отвоевала его у вашего соотечественника Варо Борхи, — она вздохнула, словно все еще не пришла в себя после той схватки. — И стоило это больших денег. Кстати, я бы ни за что не заполучила эту книгу без помощи Пако Монтегрифо[8], если вам известно это имя... Такой обаятельный человек...

Корсо криво ухмыльнулся. Он не просто знал Монтегрифо, директора испанского филиала "Клеймор", они частенько вместе проворачивали сомнительные и очень выгодные операции, скажем, продали одному швейцарскому коллекционеру "Космографию" Птолемея, готический манускрипт 1456 года, который незадолго до того загадочным образом исчез из университета Саламанки. Книга попала в руки к Монтегрифо, и тот попросил Корсо выступить посредником. Все прошло без сучка и задоринки — тихо и аккуратно; братья Сениса помогли свести печать, которая могла дать след. Корсо самолично доставил книгу в Лозанну. И получил за труды тридцать процентов комиссионных.

— Да, я с ним знаком, — он провел кончиками пальцев по горизонтальным полосам, украшающим корешки "Disquisitionum Magicarum", пытаясь угадать, сколько содрал Монтегрифо с баронессы за содействие на аукционе. — А что касается этого Мартина дель Рио, то раньше я видел подобный трехтомник лишь однажды — в библиотеке иезуитов в Бильбао... Все три тома были переплетены вместе, в кожу. Но издание то же самое.

Рассказывая, он двинул руку влево, и пальцы его коснулись книжных корешков; тут были любопытные экземпляры, в хороших переплетах — телячья кожа, шагрень, пергамен. Но встречались и вполне рядовые книги, и книги в плохом состоянии; при этом было видно, что ими часто пользовались. Из книг торчали закладки — белые картонные полоски, исписанные карандашом — острым, убористым почерком. Рабочий материал.

Рука Корсо замерла, добравшись до хорошо знакомого тома: черный переплет без названия, пять полос на корешке. Экземпляр номер Три.

— А вот это вы давно приобрели?

Корсо, разумеется, умел скрывать свои чувства. Особенно когда события развивались непредсказуемым образом. Но всю минувшую ночь он провел за работой, изучая остатки экземпляра номер Два, и, как он ни старался, баронесса уловила необычную нотку в его голосе. И взгляд ее сразу стал подозрительным, несмотря на добрые ямочки, которые придавали старушке почти что юный вид.

— "Девять врат"?.. Трудно сказать. Очень давно, — она быстро и решительно махнула левой рукой. Потом без малейшего затруднения вытащила книгу с полки и открыла первую страницу, украшенную несколькими экслибрисами, в том числе и очень старыми. На последнем стояла фамилия фон Унгерн в причудливом узоре. Сверху чернилами была написана дата. Глянув на нее, баронесса утвердительно кивнула головой, словно что-то вспомнила. — Это подарок моего мужа. Я вышла за него совсем молодой, он был старше меня почти вдвое... Он купил книгу в сорок девятом году.

Вот что было плохо у нынешних ведьм, отметил про себя Корсо: у них не осталось секретов. Жизнь на виду — довольно открыть любой "Кто есть кто" или светскую хронику в глянцевом журнале. Будь они какими угодно баронессами-разбаронессами, все у них стало предсказуе-

мым. И тривиальным. Торквемада свихнулся бы от скуки, доведись ему разбирать дела такого рода.

— Муж разделял ваше увлечение подобными материями?

— Нет, конечно. По правде сказать, за всю жизнь он не прочел ни одной книги. Ему нравилось потакать моим прихотям, играть роль джинна из волшебной лампы.

Корсо вдруг померещилось, что ампутированная рука шевельнулась в пустом рукаве.

— Ему было все равно, что дарить — дорогую книгу или колье из отборного жемчуга... — она сделала паузу и печально улыбнулась. — Но он был очень веселым человеком, легко заводил интрижки с женами лучших друзей. И умел готовить отличные коктейли с шампанским, — она опять немного помолчала и оглянулась по сторонам, словно муж мог оставить свой бокал где-то поблизости. — А все это, — она обвела рукой стеллажи, — собрала я. Книгу за книгой. И "Девять врат" отыскала сама — в каталоге одного разорившегося старика, бывшего сподвижника Петена. Муж лишь подписал чек.

— А почему все-таки дьявол?

— Однажды я его увидела. Да, своими глазами, как вас теперь. Мне было пятнадцать лет... Твердый воротничок, шляпа, трость... Он был очень красив; похож на Джона Барримора в роли барона Гайгерна в "Гранд-отеле"[9]. И я влюбилась как последняя идиотка, — она опять задумалась, сунула руку в карман кофты и улыбнулась так, будто вспомнила что-то далекое и очень дорогое. — Наверно, поэтому я так легко смирялась с изменами мужа.

Корсо посмотрел по сторонам, как если бы в комнате они были не одни, потом наклонился к ней и доверительно сообщил:

— Всего три века назад за такие рассказы вас сожгли бы на костре.

Она издала гортанный звук, заглатывая довольный смешок, затем поднялась на цыпочки, чтобы в свою очередь прошептать ему на ухо:

— Три века назад я не стала бы никому об этом рассказывать. — И добавила: — Но я знаю многих, кто и теперь с великим удовольствием отправил бы меня на костер, — она улыбнулась, и на щеках ее опять заиграли ямочки. Эта женщина улыбалась практически всегда, отметил Корсо, хотя веселые и умные глаза цепко изучали собеседника. — Да-да, в двадцатом веке...

Она протянула ему "Девять врат" и наблюдала, как он медленно перелистывает книгу. На самом-то деле он сгорал от желания поскорее проверить, какие же изменения внесены в девять гравюр, которые — вздох облегчения — оказались в полной сохранности. Но это значило, что в "Библиографию" Матеу прокралась ошибка: выходило, что последняя гравюра имелась во всех трех экземплярах. Экземпляр номер Три сохранился хуже, чем те, что принадлежали Варо Борхе и Виктору Фаргашу, до того, естественно, как его книга попала в камин. Нижняя часть, видимо, пострадала от сырости — почти на всех страницах проступили пятна. Да и переплет следовало хорошенько почистить, но книга, судя по всему, была полной.

— Хотите чаю или кофе? — спросила баронесса.

Нет уж, с сожалением подумал Корсо, не стану я пить ваше приворотное зелье.

— Кофе.

День выдался солнечный, и над башнями Нотр-Дам сияло голубое небо. Корсо подошел к окну и раздвинул занавески, чтобы лучше рассмотреть книгу. С высоты третьего этажа он увидел, что внизу, под голыми деревьями, на каменной скамейке сидела девушка в синей куртке. Она читала книгу. И Корсо знал, что это были "Три мушкетера" — ведь еще во время завтрака они лежали рядом с ней на столе. Позднее, когда охотник за книгами двинулся по улице Риволи, он не сомневался, что девушка следует за ним на расстоянии пятнадцати-двадцати шагов. Он решил не замечать ее, и она всю дорогу держалась поодаль, не сокращая разделявшей их дистанции.

Теперь она подняла глаза. И не могла не увидеть его у окна с "Девятью вратами" в руках, но никакого знака не подала, а просто продолжала равнодушно смотреть вверх, пока он не отошел в глубь комнаты. Какое-то время спустя он выглянул снова — она по-прежнему читала, склонив голову над книгой.

Между столами и книжными стеллажами сновала женщина средних лет в толстых очках, видимо секретарша, однако Фрида Унгерн сама принесла кофе — две чашки на серебряном подносе, с которым весьма ловко управлялась. При этом она так посмотрела на Корсо, что он понял: предлагать помощь не следует. Она поставила поднос на письменный стол, среди книг, цветочных горшков, бумаг и каталожных карточек. Они сели.

— Как вам пришла в голову идея учредить такой фонд?

— Это дает налоговые льготы. Кроме того, сюда приходит много людей, я нахожу помощников... — на лице ее появилась печальная мина. — Я ведь последняя ведьма, и мне было очень одиноко.

— Что вы! Вы совершенно не похожи на ведьму! — Корсо нацепил на лицо подходящую к случаю гримасу — искреннего и симпатичного кролика. — Я ведь читал вашу "Исиду".

В единственной руке она держала чашку с кофе и потому инстинктивно приподняла к склоненной голове то, что осталось от второй руки, словно собираясь поправить пучок на затылке. Порыв безотчетного кокетства — жест такой же старый, как мир.

— И вам понравилось?

Она смотрела ему в глаза поверх дымящейся чашки, которую поднесла ко рту.

— Очень.

— А вот другим она не слишком пришлась по вкусу. Знаете, что написала "Оссерваторе романо"?.. Посетовала, что нынче не существует "Индекса запрещенных книг", который когда-то составляла инквизиция. Вы правы, — она указала подбородком на "Девять врат", которые Корсо положил на стол рядом с собой. — В былые времена меня непременно сожгли бы заживо, как и беднягу, что напечатал это евангелие от Сатаны.

— А вы и вправду веруете в дьявола, баронесса?

— Не называйте меня баронессой. Это звучит смешно.

— А как прикажете вас называть?

— Не знаю. Мадам Унгерн. Или Фрида.

— Так вы верите в дьявола, мадам Унгерн?

— В достаточной степени, чтобы посвятить ему свою жизнь, свою библиотеку, этот вот фонд, много лет труда и новую книгу в пятьсот страниц... — она с интересом взглянула на него. Корсо снял очки и при-

нялся их протирать; растерянная и беззащитная улыбка лишь укрепила уже произведенное им впечатление. — А вы?

— В последнее время все, точно сговорившись, задают мне этот вопрос.

— Что же тут странного? Вы ведете расспросы про книгу, которую невозможно читать, не веруя в вещи определенного рода.

— Что касается веры... В моем случае речь идет вовсе не о вере, — Корсо рискнул подбавить в голос искренности; такая прямота обычно действовала безотказно. — По правде сказать, я работаю ради денег.

На щеках баронессы опять появились ямочки. Полвека назад она была очень красива, подумал Корсо. Особенно когда творила заговоры и тому подобное и у нее были целы обе руки. Миниатюрная и бойкая... В ней что-то еще оставалось от той поры.

— Жаль, — бросила Фрида Унгерн. — А ведь другие работали даром и слепо верили в реальность героя этой книги... Альберт Великий, Раймунд Луллий[10], Роджер Бэкон — они никогда не оспаривали существование дьявола, а только вели дискуссии о природе его свойств.

Корсо поправил очки и с аптекарской точностью отмерил дозу скепсиса в своей улыбке.

— Тогда были другие времена.

— Но не обязательно уходить так далеко. "Дьявол существует не только как символ зла, но и как физическая реальность..." Каково? Так это ведь написал папа Павел Шестой[11]. В тысяча девятьсот семьдесят четвертом году.

— Он был профессионалом, — невозмутимо бросил Корсо. — И у него, видимо, были свои резоны для таких заявлений.

— На самом деле он всего лишь подтвердил догму: существование дьявола было установлено четвертым Латеранским собором[12]. Дело было в тысяча двести пятнадцатом году... — она замолчала и поглядела на него вопросительно. — Вам интересны точные даты? Я ведь могу кого угодно замучить своим ученым занудством... — Ямочки опять заиграли. — Знаете, я всегда хотела быть в классе первой. Быть ученой лягушкой.

— И наверняка вам это удавалось. Вас награждали лентой?

— Разумеется. И другие девчонки меня ненавидели.

Они дружно рассмеялись, и охотник за книгами понял, что Фрида Унгерн прониклась к нему симпатией. Он вытащил из кармана плаща пару сигарет и одну предложил ей, но она отказалась и при этом посмотрела на него с неодобрением. Но Корсо немой укор проигнорировал и закурил.

— Двумя веками позже, — продолжала баронесса, пока Корсо закуривал, наклонившись к зажженной спичке, — булла папы Иннокентия Восьмого "Summis Desiderantes Affectibus" провозгласила, что Западная Европа наводнена бесами и ведьмами. Тогда же два монаха-доминиканца, Крамер и Шпренгер, составили "Malleus Maleficarum" — учебник для инквизиторов[13]...

Корсо поднял указательный палец вверх:

— Лион, тысяча пятьсот девятнадцатый год. Ин-октаво, готический шрифт, без имени автора. По крайней мере, в том экземпляре, который знаком мне, имени нет.

— Неплохо, неплохо... — она смотрела на него, не скрывая приятного удивления. — У меня есть более позднее издание, — она кивнула на

полку. — Можете полюбопытствовать. Тоже Лион, но напечатано в тысяча шестьсот шестьдесят девятом. А вот первое издание относится к тысяча четыреста восемьдесят шестому году... — Она досадливо прикрыла глаза. — Крамер и Шпренгер были фанатиками и глупцами; их "Malleus" — сплошной бред. Он мог бы показаться даже забавным, но... по их вине тысячи несчастных претерпели пытки и погибли на костре...

— Как Аристид Торкья.

— И он тоже. Хотя как раз он-то невинным и не был.

— А что вы о нем знаете?

Баронесса мотнула головой, допила то, что оставалось в чашке, потом опять повторила движение головой.

— Торкья — венецианская семья, состоятельные торговцы, они импортировали бумагу из Испании и Франции... Молодой человек вскоре отправился в Голландию, где учился ремеслу у Эльзевиров, которые вели дела с его отцом. Какое-то время он прожил там, а потом перебрался в Прагу.

— Я этого не знал.

— Теперь будете знать. Прага — столица магии и европейского оккультного знания, а четырьмя веками раньше такой столицей слыл Толедо... Связываете концы с концами? Торкья поселился у костела Девы Марии перед Тыном, в районе колдунов, неподалеку от Староместской площади, где стоит памятник Яну Гусу... Помните: Ян Гус на костре...

— "Из пепла моего родится лебедь, которого вам сжечь не удастся..."?

— Именно. С вами легко вести беседу. О чем вы, думаю, отлично знаете и пользуетесь этим в своей работе... — баронесса невольно вдохнула немного сигаретного дыма и глянула на Корсо с легким упреком, но гость продолжал невозмутимо курить. — Итак, где мы покинули нашего печатника?.. Ах да, Прага, второй акт: Торкья перебирается в некий дом в еврейском квартале, расположенный рядом с синагогой. В том районе некоторые окна светятся ночь напролет; там каббалисты бьются над формулой Голема[14]. Какое-то время спустя Торкья снова меняет пристанище, на этот раз он перебирается в Малую Страну... — Фрида Унгерн глянула на него с заговорщической улыбкой: — Ну, на что это похоже?

— На паломничество. Или на стажировку, как сказали бы сегодня.

— Целиком и полностью с вами согласна, — баронесса удовлетворенно кивнула головой. Корсо, уже чувствовавший себя здесь как рыба в воде, быстро набирал очки и поднимался вверх в ее личной табели о рангах. — Нельзя считать случайностью то, что Аристид Торкья побывал в трех пунктах — местах концентрации герметического знания той эпохи. К тому же речь о Праге — там улицы еще хранили эхо шагов Агриппы и Парацельса[15], там еще целы были последние манускрипты халдейских магов и описания пифагорейских чисел — все то, что было утеряно либо рассеяно по миру после бойни в Метапонте... — она наклонилась к нему и понизила голос, словно хотела что-то сказать по секрету — совсем как мисс Марпл, которая собирается поведать лучшей подруге, что обнаружила цианистый калий в остатках чая. — В той Праге, господин Корсо, в своих мрачных кабинетах еще сидели люди, знающие, что такое carmina, искусство магических слов; necromantia — искусство общения с умершими, — она помолчала, задержала дыхание и прошептала, — и goetia...[16]

— ...искусство общения с дьяволом.

– Да, – баронесса откинулась на спинку кресла, радостно возбужденная всем происходящим. Она попала в свою стихию, глаза ее блестели, слова же сыпались слишком часто, как бывает, когда надо очень многое рассказать, а времени остается мало. – Итак, какое-то время Торкья обитает там, где хранятся отдельные листы и гравюры, пережившие войны, пожары и преследования... А также остатки магической книги, которая отворяет врата знания и власти: "Delomelanicon", слово, способное долететь до царства теней.

Она произнесла все это тем же доверительным и немного театральным тоном, но с улыбкой на устах. Создавалось впечатление, что она либо сама не относилась к сказанному всерьез, либо советовала Корсо сохранить долю здорового скепсиса.

– Пройдя курс обучения, – продолжила она, – Торкья возвращается в Венецию... Обратите внимание, это очень важно: печатник покидает относительно безопасную Прагу и, подвергая себя серьезному риску, едет в родной город, а затем печатает там целую серию опасных книг, которые в конце концов и приведут его на костер... Странно, правда?

– Похоже, он выполнял чье-то поручение.

– Да. Но чье?.. – баронесса открыла "Девять врат" – титульный лист. – Вот: "С привилегией и с позволения вышестоящих". Над этим стоит задуматься, не правда ли?.. Очень вероятно, что в Праге Торкья примкнул к какому-то тайному братству, которое поручило ему распространение послания; то есть это нечто вроде апостольской миссии.

– Вы уже сказали: евангелие от Сатаны.

– Может, и так. Но дело в том, что Торкья выбрал для публикации "Девяти врат" очень уж неблагоприятный момент. Между тысяча пятьсот пятидесятым и тысяча шестьсот шестьдесят шестым годом гуманистический неоплатонизм и герметико-каббалистические течения терпели поражение за поражением, и шум вокруг них поднялся невообразимый... Такие люди, как Джордано Бруно и Джон Ди[17], шли на костер либо гибли от преследований и нищеты. С победой Контрреформации инквизиция обрела немыслимую власть и силу: она создавалась для борьбы с ересью, а стала заниматься исключительно ведьмами и колдунами, дабы оправдать свое преступное существование. И вот ей прямо в руки шел печатник, водившийся с дьяволом... Но честно признаем, сам Торкья облегчил инквизиторам задачу. Послушайте, – она наугад открыла какую-то страницу, – "Pot. m.vere im.go..." – и взглянула на Корсо. – Я многое сумела перевести; шифр не слишком сложен. "Я смогу оживлять восковые фигуры", – вот что гласит текст. "И снять луну с небес, и возвратить плоть мертвым телам..." Каково?

– Невинные забавы. И за это его сожгли? Какая глупость.

– Кто знает, кто знает... Вам нравится Шекспир?

– Местами.

– "И в небе и в земле сокрыто больше, // Чем снится нашей мудрости, Горацио"[18].

– Гамлет. Малодушный парень.

– Не все удостаиваются права, да не все и способны приблизиться к этим тайным вещам, господин Корсо. Как гласит старинное правило, знать – знай, но храни молчание.

– А Торкья хранить молчание не стал.

– Вам ведь известно, что согласно Каббале Бог обладает ужасным и сокровенным именем...

— Тетраграмматон[19].

— Совершенно верно. На его четыре буквы опираются гармония и равновесие универсума... Об этом архангел Гавриил возвещает Магомету: "Бога скрывают семьдесят тысяч покровов света и тьмы. И если поднять эти покровы, даже я буду истреблен..."[20] Но не один Бог обладает подобным именем. И у дьявола есть свое: некое сочетание букв — ужасное, гибельное, и если произнести это сочетание, можно вызвать дьявола... И последствия будут страшными.

— Тут нет ничего нового. За много веков до возникновения христианства и иудаизма это называлось ящиком Пандоры.

Она глянула на него с одобрением, словно готова была наградить дипломом с отличием.

— Превосходно, господин Корсо. Мы ведь и на самом деле тратим жизнь, тратим века, толкуя об одних и тех же вещах, которые просто выступают под разными именами: Исида и Дева Мария, Митра[21] и Иисус Христос, двадцать пятое декабря как Рождество или как праздник зимнего солнцестояния, день непобедимого солнца... Вспомните Григория Великого[22], который уже в седьмом веке учил миссионеров использовать языческие празднества, превращая их в христианские.

— Коммерческая хватка. Ведь по сути речь шла о рыночной операции: как переманить чужих клиентов... Лучше скажите мне, что вам известно о ящике Пандоры и его производных. Включая сюда и соглашения с дьяволом.

— Умение заключить дьявола в бутылку или книгу — очень древнее искусство... Гервасий из Тильбюри и Жерсон[23] упоминали о том еще в тринадцатом и четырнадцатом веках. А что касается пактов с дьяволом, так тут традиция оказывается куда более древней: от книги Еноха до святого Иеронима, включая Каббалу и отцов Церкви. Не будем забывать и епископа Феофила[24], "возлюбившего ученые штудии", исторического Фауста, а также Роджера Бэкона... Или папу Сильвестра Второго, который, по слухам, украл у сарацинов книгу, "содержавшую в себе все, что надобно знать"[25].

— Иначе говоря, речь идет об обретении знания.

— Разумеется. Никто не станет прилагать такие усилия, устремляясь за врата преисподней, только забавы ради. Ученая демонология отождествляет Люцифера с мудростью и знанием. В Книге Бытия дьявол в обличье змеи добивается, чтобы человек, бывший до того тупоумным недотепой, обрел знания и свободу воли, просветление... Вместе со страданиями и сомнениями, которые эти знание и свобода несут в себе.

Разговор получался довольно интересный, и Корсо не мог не подумать о девушке. Он взял "Девять врат" и под предлогом того, что желает еще раз взглянуть на книгу при дневном свете, подошел к окну. Девушки внизу уже не было. Он удивился, пробежал взглядом по улице, по берегу реки и по каменным скамьям под деревьями, и нигде ее не обнаружил. Странно, подумал он, но времени на размышления у него не было. Фрида Унгерн снова заговорила:

— Вам нравится разгадывать загадки? Загадки, ключ к которым надо отыскивать?.. В этом суть книги, которую вы держите в руках. Дьяволу, как и любому умному существу, нравятся игры, нравятся загадки. Нравится бег с препятствиями, когда слабые и убогие сходят с дистанции, а побеждают только высшие умы, только посвященные.

Корсо приблизился к столу, положил книгу и стал разглядывать фронтиспис — змею, обвившую дерево.

— А тот, кто видит только змею, пожирающую собственный хвост, — закончила свою мысль баронесса, — бежать дальше не достоин.

— Для чего служит эта книга? — спросил Корсо.

Баронесса прижала палец к губам, совсем как рыцарь на первой гравюре, и улыбнулась:

— Иоанн Богослов говорит, что во время царствования второго зверя, до решительной и окончательной битвы Армагеддона, "никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, что имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его". А пока мы будем ожидать того часа, рассказывает нам Лука (4, 13) в конце повествования о соблазнах, о дьяволе, трижды отвергнутом: "И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени". Но для нетерпеливых оставил несколько путей, по которым можно его найти, и даже указание, как можно до него добраться. И заключить с ним пакт.

— Продав ему душу.

Фрида Унгерн тихо и доверчиво засмеялась. Мисс Марпл судачит с приятельницами, обсуждая дьявольские проделки. Знаешь самую последнюю выходку Сатаны? Он ведь... Да, да, именно так все и было, милая Пегги.

— Дьявол получил горький урок, — сказала она. — Он был юным и наивным, а потому совершал ошибки: некоторые души смогли улизнуть от него в самый последний миг — буквально меж пальцами просочились, удрали через потайную дверь. Они спаслись благодаря любви, божественному милосердию и тому подобному. И дьявол в конце концов решил включить в пакт одну клаузулу, специальное условие о том, что по истечении условленного срока душа и тело будут передаваться ему без всяких оговорок, "и не будет никакого права на искупление, ни надежды на будущую милость Божию"... Эта клаузула, несомненно, включена в эту книгу.

— Что за мир, — бросил Корсо, — даже Люцифер должен идти на хитрости.

— А как же! Сами знаете, нынче предметом мошенничества становится все что угодно — даже душа. И клиенты дьявола норовят ускользнуть, не выполнив условий договора. Сатане это, разумеется, надоело.

— А что еще таит в себе книга?.. Что означают девять гравюр?

— В первую очередь, это загадки, которые надо разгадать, а их сочетание с текстом должно дать власть. То есть формулу для построения магического имени, которое заставит Сатану явиться.

— И что, получается?

— Нет. Сплошной обман. Книга поддельная.

— Вы сами убедились?

Казалось, Фрида Унгерн никак не ожидала от него подобного вопроса и даже слегка обиделась.

— Неужели вы и вправду можете представить меня, в моем возрасте... чтобы я стояла в магическом кругу и вызывала Вельзевула?.. Нет уж, увольте! Возможно, пятьдесят лет назад он и на самом деле походил на Джона Барримора, но... Все стареют! И потом, испытать такое разочарование, в мои годы?.. Я предпочитаю хранить верность воспоминаниям юности.

Корсо нацепил на лицо гримасу лукавого изумления:

— А я-то думал, что вы с дьяволом... Ваши читатели считают вас неутомимой и преданной своему делу ведьмой.

— Значит, они ошибаются. Дьявол — только ради денег, мои чувства тут роли не играют, — она обвела взглядом комнату. — Состояние мужа я потратила на библиотеку и теперь живу исключительно на гонорары.

— И они, смею думать, не так уж малы. Вы ведь полновластно царите на полках книжных магазинов...

— Но и жизнь нынче дорога, господин Корсо. Очень дорога, особенно если для приобретения редких книг приходится обращаться за помощью к людям вроде нашего друга господина Монтегрифо... Сатана — отличная статья доходов по нынешним временам, только и всего. Мне уже стукнуло семьдесят, и у меня не осталось времени на глупые и бесполезные фантазии, как и на посещение клубов старых дев... Надеюсь, я доходчиво объяснила?

На сей раз улыбнулся Корсо:

— Очень доходчиво.

— Иными словами, если я сказала про эту книгу, что она поддельная, значит, я ее самым тщательным образом изучила... Там явно что-то не так: есть лакуны, пробелы. Я, разумеется, выражаюсь фигурально, ведь в моем экземпляре изъянов нет... Когда-то он принадлежал мадам де Монтеспан, любовнице Людовика Четырнадцатого, а та была рьяной поклонницей Сатаны и даже сумела ввести в придворные обычаи черную мессу... Сохранилось письмо, написанное мадам де Монтеспан к ее подруге и конфидентке мадам Де Пероль, и там она жалуется на бесполезность некоей книги, которая, как она подчеркивает, "содержит все необходимое, на что указывают мудрецы, но тем не менее в ней есть какая-то неточность, есть игра со словами, которые никому и никогда не удастся выстроить в нужном порядке".

— А кому еще она принадлежала?

— Графу Сен-Жермену[26], который продал ее Казоту.

— Что, Жаку Казоту?

— Да-да. Автору "Влюбленного дьявола", казненному в тысяча семьсот девяносто втором году... Вам, конечно, эта книга знакома?

Корсо рассеянно кивнул. Связи были настолько очевидными, что начали выглядеть неправдоподобными.

— Да, когда-то я ее прочел.

В дальних комнатах зазвонил телефон, в коридоре послышались шаги секретарши. Потом опять наступила тишина.

— Так вот, следы "Девяти врат", — продолжила баронесса, — теряются здесь, в Париже, в дни революционного террора. Есть пара позднейших упоминаний, но они очень смутные. Жерар де Нерваль в одной своей статье мимоходом говорит о книге: он якобы видел ее в доме друга...

Корсо неприметно моргнул за стеклами очков.

— Его другом был Дюма, — вставил он осторожно.

— Но Нерваль не уточняет, у какого именно друга. И я уверена, что потом никто больше собственными глазами книгу не видел, пока ее не выставил на продажу сподвижник Петена, и тогда я приобрела ее...

Корсо отвлекся, отдавшись размышлениям. Согласно легенде, Жерар де Нерваль повесился на шнурке от корсажа — корсажа мадам де Монтеспан. Или на шнурке мадам де Ментенон?.. Так или иначе, но невозможно избежать неприятной ассоциации со шнуром от халата Энрике Тайллефера.

Его размышления прервала появившаяся на пороге секретарша. Кто-то просил позвать к телефону Корсо. Тот извинился и двинулся между столами, между книгами и цветочными горшками в сторону холла. На угловом столике из ореха стоял старинный металлический телефонный аппарат, трубка лежала рядом.

— Слушаю.

— Корсо?.. Это Ирэн Адлер.

— Я догадался, — он оглядел пустой холл; секретарша удалилась. — А я уж и не знал, что думать: часовой покинул свой пост... Откуда ты звонишь?

— Из табачной лавки на углу. За домом следит какой-то мужчина. Поэтому я здесь.

На миг у Корсо перехватило дыхание. Потом он зубами отыскал заусенец на большом пальце рядом с ногтем и дернул. Так, сказал он себе с шутовским смирением, рано или поздно это должно было произойти: тот тип стал частью пейзажа или, вернее, частью декораций. Потом он попросил ее, хотя заранее знал ответ:

— Опиши его.

— Смуглый, усы, большой шрам на лице, — голос девушки звучал спокойно, в нем не было и намека на волнение или страх, на чувство близкой опасности. — Он сидит в сером "БМВ", припаркованном с противоположной стороны улицы.

— Он видел тебя?

— Не знаю, но я его вижу и сейчас. Он уже час как торчит здесь и дважды выходил из машины: в первый раз посмотрел имена на табличке у двери, там, где звонки, во второй купил газеты.

Корсо выплюнул откушенный крошечный кусочек кожи, потом сунул большой палец в рот. Ему стало досадно.

— Слушай. Не знаю, чего надо этому типу. Может, вы оба из одной шайки. Но мне не нравится, что теперь он так близко от тебя. Совсем не нравится. Быстро возвращайся в гостиницу.

— Не будь дураком, Корсо. Я пойду туда, куда мне надо.

Прежде чем повесить трубку, она успела добавить: "Привет господину де Тревилю", и Корсо в ответ состроил гримасу, в которой смешались отчаяние и сарказм, потому что подумал о том же самом, и такое совпадение ему тоже не понравилось. Он несколько секунд задумчиво смотрел на трубку, потом опустил ее на рычаг. Все объясняется просто, ведь девушка сейчас сидела и читала "Три мушкетера"; именно этот роман лежал открытым у нее на коленях, когда Корсо выглядывал в окно. Глава третья, только что прибывший в Париж д'Артаньян явился на встречу к господину де Тревилю, капитану королевских мушкетеров, и видит в окно Рошфора. В следующей главе он спешит вниз по лестнице, чтобы догнать его, налетает на плечо Атоса, видит перевязь Портоса и поднимает платок Арамиса. Привет господину де Тревилю. Шутка получилась остроумной, если только все не было подстроено заранее. Но Корсо она не позабавила.

Повесив трубку, он немного постоял в полумраке холла и поразмышлял. Возможно, от него ждали именно этого — чтобы он, вытащив шпагу, ринулся вниз по лестнице, то есть клюнул на Рошфора как на приманку. Собственно, и звонок девушки мог быть частью плана или означал смену тактики и предупреждал о том, что такой план существует, если только он и вправду существует. И если она вела честную игру — а он был человеком многоопытным и руку на отсечение ни за кого не дал бы.

Дурные времена, снова повторил он про себя. Абсурдные времена. Столько информации — книги, кино, телевидение, столько возможных уровней чтения, и вот результат: нельзя с точностью установить, что перед тобой — оригинал или копия; нельзя понять, когда набор зеркал возвращает реальный образ, когда искаженный, а когда нечто среднее между тем и другим и каковы, собственно, были намерения автора. Тут одинаково легко и недоучесть что-то, и переосторожничать. Было еще нечто, заставившее его позавидовать прапрадеду Корсо, его гренадерским усам и запаху пороха на слякотных дорогах Фландрии. Тогда флаг еще оставался флагом, Император — Императором, роза — розой, да, роза — розой. В любом случае, теперь, в Париже, Корсо лишний раз убедился в том, что даже в качестве читателя второго уровня он готов принимать игру лишь до определенных пределов. Нет, у него не было ни той молодости, ни наивности, ни желания бежать и биться на территории, выбранной противником, — три дуэли, назначенные за десять минут: у монастыря Дешо или черт знает где еще. Даже если бы предстояло всего лишь сказать Рошфору: "Привет! Добрый день!", он бы заранее позаботился о безопасности, а лучше подкрался бы сзади с железным брусом в руке. Ему еще предстояло отдать Рошфору должок — и за Толедо, и за совпадение их интересов в Синтре. Корсо был из тех, кто всегда хладнокровно рассчитывается по долгам. Без суеты.

1. TWA — авиакомпания "Trans World Airlines".
2. Руперт из Хентцау — персонаж романов английского писателя Энтони Хоупа (1865—1933) "Пленник замка Зенда" (1894) и "Руперт из Хентцау" (1897).
3. Пауль Хенрейд (1908—1992) — австрийский актер; речь идет о фильме "Касабланка" (реж. М. Кертис, 1943). Рутгер Хауэр (р. 1944) — голландский актер; упоминается фильм "Бегущий по лезвию бритвы" режиссера Ридли Скотта (1982). Джон Уэйн (наст. имя Мэрион Майкл Моррисон; 1907—1979) — американский актер и режиссер. Морин О'Хара (наст. имя Морин Фитцсиммонс; р. 1920) — американская актриса.
4. Ксенофонт Афинский (430/425 — после 355 в. до н. э.) — древнегреческий писатель и историк. После поражения Кира Младшего при Кунаксе (401 до н. э.) возглавил отступление 10 тысяч греческих наемников Кира. Об этом походе он рассказал в историческом труде "Анабасис".
5. Роман Федорович Унгерн фон Штернберг (1886—1921) — барон, вел борьбу против советской власти в Забайкалье и Монголии, генерал-лейтенант (1919); в 1917—1920 гг. командовал Конно-азиатской дивизией в войсках Г. Семенова. В 1921 г. стал диктатором Монголии. Известен также своими увлечениями в области оккультных наук. Когда его войска вторглись на территорию Дальневосточной республики, попал в плен. По приговору Сибирского ревтрибунала расстрелян.
6. Никола Реми (Ремигий; 1530—1612) — французский судья, демонолог. За десять лет своей деятельности в округе Лоррен он, по некоторым данным, приговорил к смерти 900 ведьм. "Три книги о дьяволопоклонстве" были напечатаны в Лионе в 1595 г. Франческо Мария Гуаццо — итальянский ученый, книга "Компендиум зла" была напечатана в 1608 г. "О демониалитете и бестиалитете инкубов и сукубов" (*лат.*; сер. 1780 годов). Людовико-Мария Синистрари (1622—1701) — францисканец, один из самых видных итальянских богословов, некоторое время был советником при высшем суде Святой инквизиции. Русский перевод этого трактата впервые был опубликован в журнале "Изида", 1915—1916, № 1—6.
7. "Разыскания о колдовстве" (*лат.*); Мартин Антонио дель Рио (1551—1608) — испанский юрист, член ордена иезуитов, знаменитый демонолог. Книга была напечатана в 1599 г. и прославила автора, она была основана на материалах множества процессов над ведьмами и пользовалась огромным авторитетом у юристов; до середины XVIII в. издавалась 20 раз.
8. Пако Монтегрифо — персонаж, впервые появившийся в романе А. Переса-Реверте "Фламандская доска" (1990).
9. Джон Барримор (наст. фам. Блайт; 1882—1942) — американский актер. Речь идет о фильме Эдмунда Голдинга "Гранд-отель" (1932).
10. Раймунд Луллий (1235 — ок. 1315) — монах-францисканец, философ и теолог, классик каталанской литературы, поэт-лирик, автор около 300 сочинений, главным образом на каталанском и арабском языках. Совершил множество миссионерских путешествий в Северную Африку. Считалось, что Луллий занимается алхимией, изготавливая золото для английского короля, поэтому многие называли его еретиком. Написал сочинения по алхимии, в том числе ему приписывают "Свод правил или путеводитель по алхимии", "Опыты" и др.
11. Павел VI (1897—1978) — папа римский с 1963 г., в миру Джованни Баттиста Монтини. В 1966 г. отменил "Индекс запрещенных книг" (издавался Ватиканом с 1559 г.).

12. Латеранские соборы названы так по месту, где они происходили (с 649 г.), — Латеранскому дворцу в Риме, бывшему папской резиденцией. Собор 1215 г. ознаменован актом проявления папской власти. От имени папы Иннокентия III собор принял ряд суровых постановлений, определивших положение церкви и обязанности светской власти по отношению к еретикам, с чего и началось утверждение инквизиции.
13. Иннокентий VIII (1432—1492) — папа с 1484 г., в миру Джованни Баттиста Чибо. 5 декабря 1484 г. издал буллу "Summis Desiderantes Affectibus", которая положила начало практике ведовских процессов, захлестнувших Европу в XVI — начале XVII вв. Булла провозгласила неверие в колдовство величайшей ересью и призвала к искоренению ведовства, была напечатана во множестве экземпляров и разослана во все уголки Европы. "Молот ведьм" (*лат.*) — книга монахов доминиканского ордена приора Генриха Крамера (латинская фамилия — Институторис, она фигурирует в русском переводе "Молота") и декана Кёльнского университета Якоба Шпренгера, в которой обосновывается необходимость расправы над еретиками, ведьмами и колдунами. За 180 лет после выхода в свет (1486) книга выдержала 29 изданий, став своеобразным учебником для инквизиторов. Книга утвердила пытки и казнь на костре нормой ведовских процессов.
14. Голем — в еврейских фольклорных преданиях, связанных с влиянием Каббалы, оживляемый магическими средствами глиняный великан, который послушно выполняет порученную ему работу, но может вырваться из-под контроля создателя. В Праге происходит действие романа Густава Мейринка (1868—1932) "Голем" (1915).
15. Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский (1486—1535) — немецкий гуманист, врач, философ, писатель, увлекался алхимией. Был обвинен в ереси и перебрался в Англию. Вернувшись в Германию, издал свое знаменитое сочинение "О недостоверности и тщете наук" (1527), после чего вновь подвергся обвинениям и бежал во Францию. У современников Агриппа пользовался славой великого чародея и мага. Парацельс (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493—1541) — немецкий (швейцарец по происхождению) врач и естествоиспытатель, философ, занимался алхимией. Его называли Королем алхимиков и герметических философов, истинным обладателем Королевского секрета (философский камень и эликсир жизни). Автор "Оккультной философии".
16. Carmen (*лат.*) — заклинание, магическая формула; изречение оракула, пророчество; necromantia (*греч.*) — некромантия, вызывание мертвых и вопрошание их о будущем; goetia (*греч.*) — волшебство, колдовство.
17. Джон Ди (1527—1608) — английский математик, астролог, внес большой вклад в науку своего времени, затем увлекся алхимией и некромантией. Герой ряда литературных произведений (О. И. Сенковский, псевд. Барон Брамбеус; 1800—1858. "Падение Ширванского царства"; П. Акройд "Дом доктора Ди". "ИЛ", 1995, № 10 и др.).
18. "Гамлет". Акт I, сцена 5. Перев. М. Лозинского.
19. Тетраграмматон (tetragrammatos (*греч.*) — четырехбуквенный); с ним отождествлялось "заповедное имя", табуированное имя "Яхве", звучание которого было забыто; его представляли себе и как иное, совершенно неведомое речение. "Заповедное имя" Яхве — устойчивый мотив иудейской мифологии, связанный с представлением о том, что знание имени божества дает магическую власть над самим божеством.
20. Библейскому архангелу Гавриилу в мусульманской мифологии соответствует ангел Джибрил; в Коране он называется "благородным посланником", по воле Аллаха он явился Магомету для передачи текста Корана. Имя Джибрила связывается с магией и колдовством.
21. Культ Исиды повлиял на христианскую догматику и искусство. Образ Богоматери с младенцем на руках восходит к образу Исиды с младенцем Гором. Статуэтки Исиды сохранялись как реликвии в некоторых средневековых церквах. Митра — в древневосточных религиях бог солнца, один из главных индоиранских богов. Культ Митры чрезвычайно легко усваивали другие народы (например, римские легионеры), почитая его одновременно с Юпитером или отождествляя с Зевсом.
22. Григорий Великий (в православной традиции известен под именем Двоеслова; ок. 540—604) — святой, римский папа (с 590), одно время занимал должность префекта Рима. На свои средства основал несколько монастырей. В эпоху Возрождения и в начале Нового времени ходили легенды о том, что он сжег Палатинскую библиотеку, уничтожил рукописи сочинений Цицерона и Тита Ливия, разрушил памятники античной скульптуры. Обвинения эти были опровергнуты в конце XIX в. Оказал огромное влияние на все средневековье своими сочинениями.
23. Гервасий из Тильбюри (ок. 1152-?) — английский богослов, в 1176 г. перебрался во Францию, затем в Италию. Самое известное произведение — "Otia imperialia" (впервые опубликовано в 1625 г.). Жерсон (наст. имя Жан Шарлье; 1363—1429) — французский богослов и проповедник, был сперва профессором, а потом канцлером Парижского университета. Многие его сочинения носят мистический характер.
24. Епископ Феофил — герой известной средневековой легенды. Продал душу дьяволу, подписав отречение от христианской веры, но потом решил покаяться. Богоматерь, вняв его молитвам, вымолила ему прощение. Остаток жизни Феофил посвятил покаянию и умер как святой.
25. Сильвестр II, Герберт (ок. 940/45—1003) — папа с 999 по 1003 г., французский математик, философ, политик. По легенде, занимался в мусульманском Севильском университете арабскими оккультными науками; его также обвиняли в колдовстве и чернокнижии.
26. Граф де Сен-Жермен — один из самых загадочных персонажей французской истории XVIII в. (ум. в 1784). Его интересы простирались от лингвистики и музыки до химии. Помогал Ф. Месмеру в разработке его теории. Был секретным агентом ряда европейских правительств, действуя под разными именами. Считается, что он играл важную роль в активизации масонов. Сам граф нередко намекал, что выполняет приказы высших сил.

XI. Набережные Сены

...Загадку объявили неразрешенной как раз на том основании, которое помогает ее решить...

Э. А. По. *Убийство на улице Морг*[1]

— Ключ элементарный — это аббревиатуры, подобные тем, что использовались в древних латинских манускриптах. Возможно, потому что Аристид Торкья дотошно перенес большую часть текста из другой книги; скорее всего, из легендарного "Delomelanicon". Смысл первой гравюры очевиден для всякого, кто хоть немного знаком с герметическим языком: "NEM. PERV.T QUI N.N LEG. CERT.RIT" — это, конечно же, "NEMO PERVENIT QUI NON LEGITIME CERTAVERIT".

— "Никто, сражавшийся не по правилам, этого не достигнет".

Они пили уже по третьей чашке кофе, и было сразу видно, что баронесса, по крайней мере внешне, благоволила к Корсо. Вот и теперь она довольно кивнула:

— Прекрасно... А можете объяснить хоть одну деталь на этой гравюре?

— Нет, — расчетливо солгал Корсо. Он только что обнаружил в этом экземпляре одну интересную вещь: в городе, куда направлялся рыцарь, было не четыре башни, а три. — Пожалуй, только жест рыцаря — он ведь очень красноречив.

— Да, очень: рыцарь повернулся к посвященному и приложил палец к губам, то есть советует помалкивать... Это "tacere" оккультных философов. А впереди обнесенный стеной город, в центре — башни, то есть секрет. Взгляните: ворота заперты. Их нужно отворить.

Весь напрягшись, осторожно, Корсо перелистнул страницу и добрался до второй гравюры: ключи были в правой руке. Подпись гласила: "CLAUS. PAT.T.".

— "CLAUSAE PATENT", — сразу расшифровала баронесса. — "Открывают запертое", запертые двери... Отшельник означает знание, науку, мудрость. Рядом с ним, заметьте, тот же черный пес, что, согласно легенде, сопровождал Агриппу. Верный пес... От Плутарха до Брэма Стокера с его "Дракулой"[2], и, разумеется, в "Фаусте" Гёте, черная собака — то животное, в которое дьявол больше всего любит воплощаться... А фонарь, он принадлежит философу Диогену, он ведь презирал временную власть и просил у могущественного Александра только одного: чтобы тот не заслонял ему солнце, чтобы отошел подальше вместе со своей тенью.

— А буква "тет"?

— Здесь я не вполне уверена, — она легонько похлопала пальцами по картинке. — Отшельник на картах Таро очень похож на этого, иногда его сопровождает змея либо посох, который ей уподобляется. В оккультной философии змея и дракон — охранители волшебного, скажем рощи с Золотым руном, они даже спят с открытыми глазами. Они же — Зерцало Искусства.

— Ars diaboli, — брякнул Корсо наобум, и баронесса чуть улыбнулась, загадочно качнув головой, словно в знак согласия. Хотя он знал — из

Фулканелли и из других книг, – что термин "Зерцало Искусства" принадлежал не демонологии, а алхимии. Он спросил себя, сколько шарлатанства таила в себе эрудиция, которой потчевала его собеседница, и незаметно вздохнул, почувствовав себя мойщиком золота: стоит по пояс в реке с лотком в руках. В конце концов, подумал он, ей ведь надо чем-то заполнять пятьсот страниц своего бестселлера.

Меж тем Фрида Унгерн уже переходила к третьей гравюре:

– Тут девиз такой: "VERB. D.SUM C.S.T ARCAN.". То есть: "VERBUM DIMISSUM CUSTODIAT ARCANUM". А переведем мы это так: "Изроненное слово да сохранит тайну". Да и картинка символична: мост, связывающий светлый берег с темным. От классической мифологии до игры в гусёк – смысл один. Мост может соединять землю с небом или с преисподней, как и радуга... Но! Чтобы попасть на мост, нужно прежде отпереть закрывающие проход на него крепкие ворота.

– А лучник, который прячется в облаке?

На сей раз, когда он задавал вопрос, у него дрогнул голос. В экземплярах Один и Два с плеча лучника свисал пустой колчан. А вот в экземпляре Три в колчане была одна стрела. Фрида Унгерн ткнула в нее пальцем.

– Лук – оружие Аполлона и Дианы, символ высшей власти. Гнев бога – или Бога. Это враг, поджидающий всякого, кто захочет пересечь мост, – она наклонилась к Корсо и сказала тихо и доверительно: – Здесь лучник – грозное предупреждение: такими вещами играть не стоит.

Корсо кивнул, отыскивая четвертую гравюру. Он чувствовал, как в голове у него рвались паруса; двери начали раскрываться, но с очень уж зловещим скрипом. Теперь перед ними были шут и каменный лабиринт под девизом: "FOR. N.N OMN, A.QUE". Фрида Унгерн расшифровала это так: "FORTUNA NON OMNIBUS AEQUE" – "Судьба не одинакова для всех".

– Герой картинки – Шут (или Сумасшедший)[3] из колоды Таро, – пояснила она. – Сумасшедший исламского Бога. Он несет на плече посох (или символическую змею)... Это средневековый шут, джокер в колоде. Он символизирует Судьбу, случай, конец всего, ожидаемое или неожиданное завершение – обратите внимание на кости. В Средние века шуты были персонами привилегированными; им позволялось то, что запрещалось остальным, потому что задачей их было напоминать господам о смертной доле, о том, что конец их столь же неизбежен, как и у простых смертных...

– А написано совсем наоборот, – возразил Корсо, – "Судьба не одинакова для всех".

– Разумеется. Тот, кто бунтует, кто борется за свою свободу и не боится опасности, тот может добиться иной судьбы. Об этом и говорится в "Девяти вратах", поэтому здесь изображен шут – парадигма свободы. Шут – единственный по-настоящему свободный человек, и к тому же самый мудрый. В оккультной философии шут – то же самое, что Меркурий[4] для алхимиков... Посланец богов, он ведет души через царство теней.

– Лабиринт.

– Да. Вот он, – она указала на гравюру. – И, как видите, вход в него тоже на запоре.

Как и выход, подумал Корсо, невольно содрогнувшись, потом стал перелистывать страницы, отыскивая следующую гравюру.

— Тут подпись самая простая, — сказал он. — "FR.ST.A." Единственная, которую я рискнул бы расшифровать сам. По-моему, тут недостает одной U и одной R: "FRUSTRA". Что означает: "Тщетно".

— Замечательно. Абсолютно верно. И аллегория соответствует подписи. Скупец пересчитывает свое злато, не замечая смерти, которая держит в руках два символа: песочные часы и вилы.

— А почему вилы, а не косу?

— Потому что смерть косит, а вот дьявол собирает урожай.

Она застыла над шестой гравюрой: человек, подвешенный за ногу к зубцу крепостной стены. На губах Фриды Унгерн появилась гримаса скуки, словно этот случай был настолько простым, что не стоил комментариев.

— "DIT.SCO M.R." — это "DITESCO MORI", то есть "Обогащаюсь смертью". Эту фразу дьявол может произносить с чувством законной гордости. Не так ли?

— Думаю, да. В конце концов, это его ремесло, — Корсо провел по гравюре пальцем. — А что символизирует повешенный?

— Прежде всего, это аркан номер двенадцать из колоды Таро. Но возможны и другие толкования. Я склоняюсь к тому, чтобы понимать это так: перемена через жертву... Вам знакома сага об Одине?

Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзенный копьем,
посвященный Одину.[5]

— ... раз уж мы отыскиваем переклички, — продолжила баронесса, — то нельзя забывать, что Люцифер, рыцарь свободы, пострадал из-за своей любви к человеку, которому ценой самопожертвования, погубив себя самого, принес знание.

— А что вы можете сказать по поводу седьмой картинки?

— "DIS.S P.TI.R MAG." — тут с ходу догадаться непросто; но я предполагаю, что это некое традиционное изречение, которое очень любили философы-герметисты: "DISCIPULUS POTIOR MAGISTRO".

— "Ученик превосходит учителя"?

— Более или менее так. Король с нищим играют в шахматы на очень странной доске, где все клетки одного цвета, а в это время две собаки, черная и белая, Зло и Добро, рвут друг друга на части. В окно заглядывает луна, которая одновременно есть и мрак, и мать. Вспомните миф, согласно которому души после смерти находят прибежище на луне. Вы ведь читали мою "Исиду", не правда ли? Черный цвет — это мрак и тени, но черный в геральдике — это земля, ночь, смерть... Черный цвет Исиды перекликается с черным цветом Девы Марии, которая выходит из лазури и усаживается на луну... После смерти мы вернемся туда, в темноту, из которой пришли, на луну, которая в равной мере и защищает нас, и несет угрозу... Присутствие здесь луны и собак можно объяснить иначе: богиня-охотница Артемида, у римлян — Диана, была известна и тем, как она мстила влюбленным в нее или пытавшимся посягнуть на нее. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь.

Корсо, в этот момент думавший об Ирэн Адлер, медленно кивнул:

— Да. Тех, кто пялил на нее глаза, она сперва превращала в оленей, а потом науськивала на них своих псов... — он невольно сглотнул, — чтобы

псы растерзали их. — Две собаки, сцепившиеся в смертном бою, казались ему теперь ужасно злыми.

Баронесса бросила на него безмятежный взгляд, его мыслей она прочесть не могла.

— Что же касается восьмой гравюры, — сказала она, — то с ней я разобралась легко: "VIC. I.T VIR." следует читать как "VICTA IACET VIRTUS", что означает: "Добродетель лежит побежденная". Добродетель — это девушка, которую готовится обезглавить молодой красавец с мечом в руке и в доспехах, а на заднем плане крутится неумолимое колесо Фортуны, или Судьбы — оно крутится медленно, но всегда делает полный оборот. На колесе три фигуры, они символизируют три стадии, которые в Средние века обозначались словами: regno (царствую), regnavi (царствовал) и regnabo (буду царствовать).

— У нас осталась еще одна гравюра.

— Да, последняя — и с самой многозначной аллегорией. "N.NC SC.O TEN.BR. LUX" — это, разумеется: "NUNC SCIO TENEBRIS LUX" ("Теперь я знаю, что из тьмы идет свет"). На самом деле тут представлена сцена из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Снята последняя печать, тайный город пылает — пришло его время, и уже произнесено страшное имя зверя или число имени его, вавилонская блудница победно скачет на семиглавом драконе...

— Не понимаю смысла, — бросил Корсо, — тратить столько усилий, чтобы увидеть весь этот ужас.

— Да дело совсем в другом! Любая аллегория — это шифрованная композиция, загадка. Так гравюры с соответствующими надписями, если их сопоставить должным образом, позволят обнаружить определенную связь с текстом книги, некий ритуал. Ту формулу, которая оказывается магическим заклинанием. Verbum dimissum или что-то в этом роде.

— И дьявол является собственной персоной.

— Теоретически — да.

— А на каком языке должно звучать заклинание? На латыни, древнееврейском или греческом?

— Не знаю.

— И где тут неувязка, о которой писала мадам де Монтеспан?

— Я вам уже сказала, что и этого тоже не знаю. Я только сумела установить, что тот, кто берется за дело, должен очертить магический круг и разместить в нем извлеченные из текста слова, расположив их в том порядке, которого я не ведаю, но указания могут дать страницы сто пятьдесят восемь и сто пятьдесят девять "Девяти врат". Смотрите.

Она показала ему текст, состоящий из сокращенных латинских слов. В книгу была вложена картонная карточка, испещренная карандашными заметками, сделанными острым и убористым почерком.

— Вам удалось расшифровать это? — спросил Корсо.

— Да. По крайней мере, я так полагаю, — она протянула ему карточку с заметками. — Вот...

Корсо прочитал:

Зверь Уроборос[6] охраняет лабиринт,
где ты пройдешь через восемь врат прежде дракона,
который явится на заповедное слово.
Каждая дверь имеет два ключа:
первый — воздух, второй — материя,

но оба ключа — одно и то же.
Материю ты разместишь на кожу змеи
по направлению света с востока,
а в чрево ее — печать Сатурна.
Девять раз отворишь ты печать,
и в зеркале увидишь путь,
и обретешь изроненное слово,
что свет из мрака принесет.

— Ну и как вам? — спросила баронесса.

— Очень будоражит... Но я не понял ни слова... А вы?

— Я уже сказала: не так уж и много, — она нервно перевернула страницу. — Речь идет о методе, о некоей формуле. Но здесь что-то не так, не так, как должно быть. И я хочу разобраться...

Корсо молча зажег еще одну сигарету. Он уже знал ответ на этот вопрос: ключи в руке отшельника, песочные часы... Выход из лабиринта, шахматная доска, ореол... И так далее. Пока Фрида Унгерн объясняла смысл аллегорий, он обнаружил новые подтверждения своей гипотезы: да, все экземпляры различались меж собой. А он продолжал играть в эту детскую игру — искал отличия в картинках; и ему не терпелось взяться за работу. Но баронесса неотлучно находилась при нем, и это здорово мешало.

— Я бы хотел, — сказал он, — осмотреть книгу поосновательнее, без спешки.

— Да-да, конечно. У меня есть время, и я с удовольствием познакомлюсь с вашими методами работы.

От досады Корсо поперхнулся. Именно этого он и боялся.

— Знаете, мне лучше работается в одиночестве.

Он совершил промах. На чело Фриды Унгерн наплыло облачко.

— Боюсь, я неправильно вас поняла, — она с подчеркнутым недоверием оглядела холщовую сумку Корсо. — Вы хотите, чтобы я оставила вас одного?

— Я бы осмелился просить об этом. — Корсо сглотнул, стараясь как можно дольше выдержать ее взгляд. — Я делаю конфиденциальную работу.

Баронесса заморгала. Облачко готово было вот-вот разразиться настоящей бурей, и охотник за книгами почуял, что все может полететь к черту.

— Вы, конечно, можете желать чего угодно, — проговорила Фрида Унгерн таким ледяным тоном, что от него могли замерзнуть цветы в горшках, — но ведь это *моя* книга, и вы находитесь в *моем* доме.

В такой ситуации любой другой поспешил бы принести свои извинения и протрубить отбой, любой другой, но не Корсо. Он этого делать не стал. Он продолжал курить и не сводил глаз с баронессы. Наконец лукаво улыбнулся: кролик играет в семь с половиной и хочет попросить еще одну карту.

— Кажется, я неловко объяснил суть дела, — он так и не успел решить, какую из улыбок нацепить, пока доставал из сумки что-то, очень хорошо упакованное в бумагу. — Мне нужно всего-навсего немного посидеть над книгой, пользуясь моими записями, — он мягко похлопал рукой по сумке, в то время как другая рука протягивала баронессе сверток. — Посмотрите, все нужное у меня с собой.

Баронесса развернула сверток и молча глядела на то, что предстало ее глазам. Это было издание на немецком языке – Берлин, сентябрь 1943 года, толстый ежемесячник под названием "Iden", орган группы "Идус", кружка любителей магии и астрологии, близкого к правящей верхушке нацистской Германии. Закладкой была отмечена одна из страниц с фотографией: в объектив улыбалась юная, очень красивая Фрида Унгерн. По бокам стояли, держа ее под руки – а тогда у нее, естественно, были целы обе руки, – двое мужчин; тот, что справа, был в штатском. Подпись под фотографией сообщала, что это – личный астролог фюрера и что рядом с ним – его помощница, знаменитая фройляйн Фрида Вендер. Второй мужчина – в очках с металлической оправой – имел смущенный и даже робкий вид. Одет он был в черную форму СС. И без подписи каждый легко узнал бы в нем рейхсфюрера Генриха Гиммлера.

Когда Фрида Унгерн, в девичестве Вендер, подняла глаза от фотографии и их взгляды пересеклись, в ней не оставалось ничего от славной старушки. Но это длилось действительно лишь краткий миг. Затем баронесса спокойно кивнула Корсо в знак согласия, в то время как рука ее старательно выдирала страницу с фотографией и рвала на мелкие кусочки. Корсо же подумал, что даже ведьмы, даже баронессы и старушки, работающие среди книг и цветов, имеют свою цену, как и все в этом мире. "Victa iacet Virtus". А почему, собственно, должно быть иначе?

Оставшись один, Корсо вытащил из сумки бумаги и принялся за работу. Он выбрал стол у самого окна и устроился за ним. Открыл "Девять врат" на странице с фронтисписом. Но прежде глянул в окно. У противоположного тротуара стоял серый "БМВ"; упрямый Рошфор нес караул. Потом Корсо перевел взгляд на табачную лавку и девушки там не обнаружил.

Теперь его внимание было сосредоточено только на книге: тип бумаги, четкость оттиска на гравюрах, погрешности и ошибки. Он уже знал, что три экземпляра идентичны лишь на первый взгляд – черный кожаный переплет без названия, пять полос на корешке, пентаграмма, число страниц, порядок расположения гравюр... С величайшим терпением он сопоставлял страницу за страницей и заполнял свои сравнительные таблицы. На странице 81, за пятой гравюрой, он нашел еще одну карточку, исписанную рукой баронессы, – перевод одного абзаца с этой самой страницы, а лучше сказать, его расшифровка:

Ты примешь договор о союзе, который я тебе предлагаю, отдавая себя в твою власть. Ты посулишь мне любовь женщин и невинность девушек, чистоту монашек, достоинства, наслаждения и богатства сильных мира сего, светских и церковных иерархов. Стану предаваться разврату каждые три дня, и опьянение будет мне в радость. Один раз во всякий год буду отдавать тебе почести в знак подтверждения этого договора, подписанного моей кровью. И стану попирать ногами святыни церкви, и стану возносить тебе молитвы. И не буду страшиться ни веревки, ни железа, ни яда. И смогу проходить меж чумных и прокаженных, не бесчестя своей плоти. Но прежде всего обрету я Знание, из-за коего первые предки мои отказались от рая. И в соответствии с этим пактом ты сотрешь мое имя из книги жизни и внесешь его в черную книгу смерти. И с сего момента проживу я двадцать лет счастливо на этой земле людей. А потом пойду с тобой, в твое Царство, проклинать Господа.

На обороте той же карточки он нашел еще одну запись. Это была расшифровка нескольких строк с другой страницы:

Я узнаю рабов твоих, братьев моих, по знаку, запечатленному на какой-нибудь части их тела, на той либо на другой, по шраму либо печати твоей...

Корсо выругался — шепотом, но от всей души, словно произнес молитву. Потом обвел взглядом книги на стеллажах, их темные и потертые корешки, и ему показалось, что из этих книг, откуда-то изнутри, до него начал доходить странный, приглушенный шум. Каждый закрытый том был замкнутой дверью, за которой волновались тени, голоса, звуки — они пробивались к нему из глубины и мрака.

И у Корсо по коже пробежал холодок. Как у банального книжника-любителя.

Было уже совсем поздно, когда он вышел на улицу. Остановившись на пороге, глянул направо и налево и не увидел ничего подозрительного; серый "БМВ" исчез. От Сены поднимался туман, переваливался через каменный парапет и стелился по влажной брусчатке. Желтоватый свет фонаря с набережной освещал пустую скамью, где прежде сидела девушка.

Корсо дошел до табачной лавки, но так и не встретил ее; не различил ее лица среди лиц тех, кто стоял у стойки или сидел за узкими столиками в глубине зала. У него появилось смутное ощущение, что в этой головоломке какая-то деталька легла не туда, куда надо; после телефонного сообщения о новом появлении Рошфора в его мозгу неумолчно звучали прерывистые сигналы тревоги. Корсо — а его инстинкты благодаря последним событиям обострились — нутром чуял опасность: и на пустынной улице, и в сыром тумане, который поднимался от реки и доползал до дверей бара. Охотник за книгами тряхнул плечами, пытаясь освободиться от неуютного ощущения, затем купил пачку "Голуаз" и не моргнув глазом проглотил одну за другой две порции джина; тотчас нос его задышал ровно, и все вокруг постепенно встало на свои места, словно в линзе, через которую он смотрел на мир, отыскался нужный фокус. Сигнал тревоги превратился в едва слышное жужжание, а эхо звуков из внешнего мира доходило до Корсо как и положено — словно сквозь ватный фильтр. Держа в руке третью рюмку джина, он двинулся к свободному столику, расположенному рядом со слегка запотевшим окном. Уселся и оглядел улицу, берег реки, туман, который переваливался через парапет, полз по мостовой и вился клубами, когда его рассекали колеса автомобиля. Так Корсо просидел четверть часа, положив сумку на пол, между ног, в ожидании какого-то непонятного знака. В сумке лежала добрая часть ответов на вопросы Варо Борхи. Библиофил тратил свои деньги не впустую.

Для начала Корсо обнаружил отличия на восьми из девяти гравюр. В экземпляре Три сюрпризы таились на гравюрах I, III и VI. Первая гравюра: в обнесенном крепостной стеной городе, куда направлялся рыцарь, было три башни вместо четырех. Третья гравюра: у лучника из колчана торчала стрела, в то время как в экземплярах из Толедо и Синтры колчан оставался пустым. Шестая гравюра: повешенный был подвешен за правую ногу, а его близнецы из экземпляров Один и Два — за ле-

вую. Таким образом, сравнительная таблица, составлять которую он начал в Синтре, теперь выглядела так:

I	II	III	IIII	V	VI	VII	VIII	VIIII
Четыре башни	Левая рука	Без стрелы	Без выхода	Песок внизу	Левая нога	Белая доска	Без ореола	Без отличий
Четыре башни	Правая рука	Без стрелы	С выходом	Песок наверху	Левая нога	Черная доска	С ореолом	Без отличий
Три башни	Правая рука	Со стрелой	Без выхода	Песок наверху	Правая нога	Белая доска	Без ореола	Без отличий

Можно было сделать вывод: все гравюры, хоть и казались совершенно одинаковыми, имели отличия; все, кроме девятой. И различались меж собой все три экземпляра. Эта на первый взгляд причудливая странность обретала смысл при внимательном параллельном сопоставлении с марками гравера, которые соответствовали подписям “inventor” (тот, кто сделал композицию) и “sculptor” (кто вырезал): “A. T.” и “L. F.”:

	I	II	III	IIII	V	VI	VII	VIII	VIIII
Один	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)
	AT(i)	LF(i)	AT(i)	AT(i)	LF(i)	AT(i)	AT(i)	AT(i)	AT(i)
Два	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)
	AT(i)	AT(i)	AT(i)	LF(i)	AT(i)	AT(i)	LF(i)	LF(i)	AT(i)
Три	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)	AT(s)
	LF(i)	AT(i)	LF(i)	AT(i)	AT(i)	LF(i)	AT(i)	AT(i)	AT(i)

Сопоставляя обе таблицы, легко увидеть некую закономерность: в каждой гравюре, где имелись отличия по сравнению с двумя аналогичными, иными были инициалы, обозначающие “invenit”. Из чего следует, что Аристид Торкья, выступая в роли sculptor’a, вырезал на дереве все ксилографии, с которых делались гравюры. Но автором композиции он назывался лишь в девятнадцати из двадцати семи случаев. Еще восемь распределялись по трем экземплярам следующим образом: две в Первом, три во Втором и столько же в Третьем, и автор у них был другой — тот, кто обозначался инициалами “L. F.” Трудно было отделаться от мысли, что под ними скрывался Люцифер.

Башни. Рука. Стрела. Выход из лабиринта. Песок. Нога повешенного. Шахматная доска. Ореол. Вот перечень несовпадений. Восемь отличий, восемь правильных гравюр, наверняка скопированных с таинственного “Delomelanicon” — его использовали в качестве оригинала, и еще девятнадцать — с изменениями, то есть бесполезных, так что на самом деле у трех книг общими были лишь текст и внешний облик. Поэтому ни один экземпляр нельзя считать ни подделкой, ни бесспорным подлинником. Аристид Торкья рассказал своим палачам правду, но не всю. Осталась одна книга, действительно только одна. Он спрятал ее, спас от костра, но и закрыл для недостойных доступ к ней. Ключ был в гравюрах. Осталась одна книга, спрятанная в три книги, а чтобы восстановить

ее, нужно строго следовать всем правилам Искусства, и еще: ученику нужно превзойти учителя:

	I	II	III	IIII	V	VI	VII	VIII	VIIII
Один	Четыре башни	Левая рука	Без стрелы	Без выхода	Песок внизу	Левая нога	Белая доска	Без ореола	Без отличий
Два	Четыре башни	Правая рука	Без стрелы	С выходом	Песок наверху	Левая нога	Черная доска	С ореолом	Без отличий
Три	Три башни	Правая рука	Со стрелой	Без выхода	Песок наверху	Правая нога	Белая доска	Без ореола	Без отличий

	I	II	III	IIII	V	VI	VII	VIII	VIIII
Один	AT(s) AT(i)	AT(s) LF(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) LF(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)
Два	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) LF(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) LF(i)	AT(s) LF(i)	AT(s) AT(i)
Три	AT(s) LF(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) LF(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) LF(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)	AT(s) AT(i)

Он смочил губы джином и всмотрелся в темень над Сеной, куда не доставал свет фонарей, которые и набережную-то освещали кусками, оставляя глубокие черные провалы под голыми деревьями. По правде сказать, буйной радости одержанная победа ему не доставила, он не испытывал даже самого обычного удовлетворения, как положено после завершения трудной работы. Ему было знакомо такое душевное состояние — как правило, подобное холодное и ясное спокойствие опускалось на него, когда книга, за которой он долго гонялся, наконец попадала к нему в руки; или когда ему удавалось обойти соперника и заполучить экземпляр после сложной борьбы, или отыскать истинную жемчужину в груде старых бумаг и всякого хлама. Он вспомнил другие времена и другое место, вспомнил Никон, раскладывающую видеокассеты на ковре перед включенным телевизором, вспомнил, как она в такт музыке мягко колыхалась в кресле-качалке — Одри Хепбёрн, влюбленная в римского журналиста, — и при этом не сводила с Корсо больших темных глаз, которые с неизменным изумлением отражали окружающий мир. Но это была уже та эпоха, когда в глубине ее взора начали сквозить суровый упрек и предчувствие одиночества, которое кольцом сжималось вокруг каждого из них — словно неумолимо приближался срок платежа какого-то долга. Охотник, настигший добычу, сказала тогда Никон тихим голосом, будто сама изумилась собственному открытию; наверно, в тот вечер она впервые увидела его таким: Корсо — беспощадный волк, переводящий дух после долгой погони, надменно и презрительно попирающий добычу. Выносливый и жестокий захватчик, ни разу не содрогнувшийся при виде чужой крови. У него одна цель — охота, охота сама по себе. Ты мертв, как и твои жертвы, Лукас Корсо. Как эта ломкая сухая бумага, из которой ты сделал свое знамя. Ведь ты не любишь даже эти пыльные трупы, да они, кстати, тебе и не принадлежат... На самом-то деле тебе плевать и на них...

Он на миг задумался: а что бы сказала Никон о его нынешних ощущениях, об этом зуде в паху, о сухости во рту, несмотря на выпитый джин. Вот он сидит за узким столиком в баре, смотрит на улицу и не решается выйти наружу, потому что тут, в тепле и при ярком свете, в сигаретном дыму и под шум разговоров за спиной, он хоть на время чувствует себя в безопасности — хоть на время его оставило мрачное предощущение беды, которая не имела ни имени, ни формы, но, как он нутром чуял, подбиралась к нему сквозь защитный слой джина, разлившегося в его крови, подбиралась вместе с проклятым туманом. Это напоминало английский черно-белый пустынный пейзаж; и Никон сумела бы оценить это. Бэзил Ратбоун[7], застыв, слушает, как вдалеке воет собака Баскервилей.

Наконец он решился. Допил последнюю рюмку, положил на столик мелочь, повесил сумку на плечо и вышел на улицу, подняв воротник плаща. Огляделся, пересек улицу, дошел до каменной скамьи, где прежде сидела девушка, и зашагал по набережной. Мутно-желтые огни баржи, проплывающей мимо одного из мостов, осветили Корсо снизу, и грязный туман ореолом вспыхнул вокруг его силуэта.

Набережная Сены казалась совсем безлюдной, даже автомобили проезжали очень редко. Рядом с поворотом на узкую улицу Мазарини он махнул рукой вынырнувшему откуда-то такси, но оно не остановилось. Он прошел еще немного, до улицы Генего, и собирался через Пон-Нёф двинуться к Лувру. Туман и неосвещенные дома делали окружающий пейзаж мрачным, вне времени. Корсо одолевала непривычная тревога. Он, как волк, учуявший опасность, втягивал носом воздух то справа, то слева. Потом перекинул сумку на другое плечо, чтобы освободить правую руку, и, растерянно озираясь, остановился. Как раз на этом месте — глава XI "Интрига завязывается" — д'Артаньян увидел Констанцию Бонасье, которая вышла из-за угла улицы Дофина и направилась по тому же мосту в сторону Лувра, ее сопровождал мужчина, оказавшийся герцогом Бекингэмом, для которого ночное приключение могло окончиться печально — д'Артаньян собирался проткнуть его шпагой:

> Но я ведь люблю ее, милорд, и ревновал...

Возможно, предчувствие опасности было ложным; он слишком много всего прочел, и теперь, в этом фантастическом пейзаже, книжные впечатления подстроили ему ловушку. Но ведь звонок девушки и серый "БМВ" у дверей не были плодом его воображения. Где-то вдалеке начали бить часы, и Корсо шумно выдохнул. В конце концов, все это смешно.

Именно тогда на него и напал Рошфор. Он как будто материализовался из мрака, вынырнул из реки, хотя на самом деле следовал за ним по берегу — с другой стороны парапета, и теперь поднялся наверх по каменной лестнице. Про лестницу Корсо догадался, когда кубарем покатился по ней же вниз. Никогда раньше он так не падал, и сперва ему почудилось, что падение будет длиться вечно — ступенька за ступенькой, — совсем как в кино; но продолжение последовало довольно быстро. Правда, до падения он получил первый крепкий удар кулаком в правое ухо, очень профессиональный удар, и ночь сразу куда-то поплыла, и все внешние ощущения стали пробиваться к нему совсем издалека, как после бутылки джина. Благодаря чему он не почувствовал резкой боли, катясь по каменным ступенькам с острыми краями; приземлился он чуть живой, но в со-

знании; пожалуй, его даже удивило, что до него не донеслось то самое конрадовское звукоподражательное "splash", которое звучит при падении тела в воду. Абсурдно, конечно, но именно такая ассоциация возникла у Корсо. Голова его покоилась на каменных плитах, ноги — на последних ступенях лестницы. Он глянул вверх и увидел расплывчатый черный силуэт Рошфора — тот, перескакивая через три ступени, мчался к нему.

Конец тебе, Корсо. Это была единственная мысль, мелькнувшая у него в голове. После чего он сделал две вещи: во-первых, попытался ударить нападающего ногой, когда тот ринулся на него. Но сил не было, и вялый удар угодил в пустоту. Так что остался только один старый способ: сомкнуть ряды — и пусть огонь противника тонет во мраке. Почувствовав вблизи речную сырость и сообразив, что темнота вокруг сгустилась еще и потому, что в стычке он потерял очки, Корсо скорчил гримасу. Гвардия умирает, но не... а еще она катится по лестнице. Так что он и на самом деле поспешил сомкнуть ряды, вернее, сжался в комок, чтобы защитить сумку, которая все еще висела у него на плече. Наверно, прапрадед Корсо оценил такое решение, наблюдая сцену с другого берега Леты. Труднее было понять, оценил ли ее Рошфор. Во всяком случае, тот, подобно Веллингтону, действовал в традициях британской практичности. И когда противник нанес Корсо чистый и точный удар по почкам, охотник за книгами уловил далекий крик боли — у него даже появилось подозрение, что кричит он сам.

В общем, надеяться было не на что, и Корсо покорно закрыл глаза, в ожидании, когда некто перевернет и эту, последнюю, страницу. Он чувствовал прямо над собой дыхание Рошфора, который наклонился над ним и сначала рылся в сумке, а потом со всей силы дернул за лямку, крепко сидевшую у Корсо на плече. Отчего охотник за книгами снова открыл глаза, и в поле его зрения опять попала часть лестницы. Но так как лежал он лицом вниз, то и лестница виделась ему горизонтально, словно перевернутая набок, и слегка расплывчато. Поэтому поначалу он даже как следует не разобрал, поднимается девушка или спускается; он только уразумел, что двигается она очень быстро, невероятно быстро — длинные, обтянутые джинсами ноги перескакивали через ступеньки, а синяя курточка, которую она сбросила на ходу, летела по воздуху куда-то в угол экрана, сквозь клубы тумана, как плащ призрака Оперы[8].

Он быстро заморгал, пытаясь лучше разглядеть происходящее, и чуть повернул голову в сторону девушки. Это помогло ему заметить краешком глаза, как Рошфор, тоже перевернутый, подскочил от неожиданности, а девушка, преодолев последние ступеньки, кинулась на него с коротким резким криком, пронзительным и острым, как осколок стекла. Послышался глухой звук — то ли "паф", то ли "тумп", — и Рошфор исчез из поля зрения Корсо, будто его вытолкнуло пружиной. Теперь охотник за книгами мог видеть только опрокинутую пустую лестницу, потом с трудом, плотно прижав левую щеку к каменной плитке, стал поворачивать голову в сторону реки. Картина оставалась перевернутой — с одного бока земля, с другого — темное небо, внизу — мост, сверху — река. Но теперь он, по крайней мере, убедился в том, что девушка и Рошфор были тут. Какую-то долю секунды Корсо видел, как она стояла недвижно, ее силуэт четко вырисовывался в свете мутных фонарей с моста: она стояла широко расставив ноги и выставив руки с повернутыми вперед ладонями, как будто просила минуты тишины, чтобы послушать далекую мелодию, чьи звуки долетали до нее каким-то особым, неведомым для

других путем. Перед ней, уперев одну коленку и кисть одной руки в землю, похожий на боксера, который никак не может решиться и встать на ноги, пока рефери считает: “Восемь”, “девять”, “десять”, — застыл Рошфор. Свет с моста освещал шрам, и Корсо успел разглядеть на лице врага выражение крайнего изумления, но тут девушка повторила тот же сухой, острый, как кинжал, крик, потом повернулась на одной ноге, а другой без видимых усилий описала в воздухе полукруг и нанесла ею мощный удар Рошфору прямо в лицо.

1. Перев. Р. Гальпериной.
2. По роману Брэма Стокера в 1922 г. был снят знаменитый фильм “Гость Дракулы” (в совр. прокате “Вампир Носферату”; реж. Ф. В. Мурнау, 1922).
3. Шут (Сумасшедший) — XXII (последний) аркан колоды Таро.
4. Меркурий — планетный бог, символизируемый ртутью. Алхимики отождествляли Меркурия с понятиями подвижности и превращения, а его субстанцию — самопревращение — с “живой планетой”, то есть с богом, чей металл является белым и явственно лунным.
5. “Старшая Эдда” (“Речи высокого”). Перев. А. И. Корсуна. Один — верховный бог в скандинавской мифологии; пронзенный копьем, он девять дней висел на дереве Иггдрасиль (Мировое древо), что являлось разновидностью шаманской инициации.
6. Уроборос — змей (или дракон), кусающий свой хвост, символизирует самооплодотворение, или первобытную идею самодостаточности природы, которая вечно возвращается к собственному началу.
7. Бэзил Ратбоун (1892–1967) — южноамериканский актер, исполнитель роли Шерлока Холмса в фильмах “Собака Баскервиллей” (1937) и “Приключения Шерлока Холмса” (1939).
8. “Призрак Оперы” (1925) — знаменитый фильм Руперта Джулиана с Лоном Шейни.

XII. Бекингэм и миледи

То преступление было совершено при участии женщины.

Эса ди Кейрош. *Тайна дороги на Синтру*

Корсо сидел на нижней ступени лестницы и пытался зажечь сигарету. Он еще не пришел в себя, голова шла кругом, и ему никак не удавалось свести вместе спичку и конец сигареты. Кроме того, одно стекло в очках оказалось разбитым, и приходилось зажмуривать этот глаз, чтобы видеть другим. Когда огонь по спичке добрался до пальцев, охотник за книгами бросил спичку под ноги, сунул сигарету в рот и стал смотреть, как девушка собирает с земли содержимое сумки; потом она подошла к нему и помогла прикурить.

— Как ты? В порядке?

Вопрос прозвучал безразлично, в нем не слышалось ни заботы, ни сочувствия. Очевидно, ее здорово разозлило его легкомыслие, ведь она по телефону предупредила Корсо об опасности, а он все равно угодил в ловушку, как мальчишка. В ответ Корсо пристыженно и смущенно кивнул головой. Правда, его в какой-то мере утешало воспоминание о выражении, мелькнувшем на лице Рошфора в тот миг, когда он увидал перед собой девушку. Она ударила его точно и безжалостно, но глумиться над поверженным врагом не стала — он какое-то время полежал на спине, потом со стоном, но не проронив ни слова, перевернулся и уполз в сторону. А она, потеряв к нему всякий интерес, занялась сумкой. Будь на то воля Корсо, он кинулся бы следом за Рошфором и бил бы его смертным боем, пока негодяй не расскажет все, что знает; но Корсо был слишком слаб и не мог подняться на ноги, к тому же он сомневался, что девушка одобрит такой поступок. Она вывела из игры Рошфора, и теперь ее волновали только сумка и Корсо.

— Почему ты позволила ему уйти?

Силуэт Рошфора еще маячил вдалеке, но мог вот-вот исчезнуть за поворотом, во мраке среди пришвартованных к берегу баркасов, похожих на корабли-призраки над туманными волнами. Корсо представил себе, как его враг бредет прочь — спотыкаясь, с разбитым носом, так и не взяв в толк, как это девушка сумела с ним сладить, и у Корсо в груди вспыхнула мстительная радость.

— Надо было побеседовать с этим подонком, — с упреком добавил он.

Девушка искала свою куртку. Потом села на ступеньку рядом с Корсо, но с ответом не спешила. Выглядела она обессиленной.

— Никуда он от нас не денется, — сказала она наконец, скользнув взглядом по Корсо, потом уставилась на реку. — А ты постарайся в следующий раз быть поосторожнее.

Он вынул изо рта мокрую сигарету и принялся рассеянно крутить ее.

— Я думал, что...

— Все мужчины думают, что... Пока им не расквасят физиономию.

И тут он заметил, что девушка ранена. Ерунда, конечно: струйка крови стекала из носа на верхнюю губу, потом от уголка рта — к подбородку.

— У тебя кровь идет из носа, — сообщил он с дурацким видом.

— Знаю, — ответила она совершенно спокойно, только тронула нос и посмотрела на испачканные кровью пальцы.

— Это он тебя?

— Можно сказать, что я сама себя, — она вытерла пальцы о брюки. — Когда кинулась на него, врезалась носом.

— А где ты научилась таким штукам?

— Каким еще штукам?

— Я же видел, как ты его там, на берегу, — Корсо неуклюже повторил движение ее рук, — отметелила...

Она вяло улыбнулась, поднимаясь и отряхивая сзади джинсы.

— Как-то раз мне случилось биться с одним архангелом. Победил, правда, он, но кое-какие приемы я у него переняла.

Из-за струйки крови на лице она выглядела совсем юной. Девушка повесила холщовую сумку себе на плечо и протянула руку, чтобы помочь Корсо подняться. И он поразился скрытой в этой руке силе. Кстати сказать, только теперь он почувствовал, что у него болит каждая косточка.

— Надо же! А я всегда считал, что оружие архангелов — копья и мечи.

Она откинула голову назад и втягивала носом кровь. Потом покосилась на него и с досадой бросила:

— Ты, Корсо, слишком часто разглядывал гравюры Дюрера. Вот в чем твоя беда!

Они шли к гостинице через Пон-Нёф, потом мимо Лувра, и все вокруг было спокойно. Когда они оказались в хорошо освещенном месте, Корсо заметил, что из носа у девушки по-прежнему течет кровь. Он вытащил из кармана платок и поднес было к ее лицу, но она выхватила платок и сама приложила к носу. Вид у нее был отрешенный, она о чем-то размышляла, но о чем именно, Корсо, разумеется, не мог даже догадываться. Он только поглядывал на нее исподтишка: длинная обнаженная шея, точеный профиль, матовая при блеклом свете фонарей кожа. Девушка шагала, слегка наклонив голову вперед, с сумкой на плече, вид у нее был решительный и упрямый. Когда им приходилось поворачивать за угол, а угол был плохо освещен, она тревожно озиралась по сторонам, отрывала руку с платком от кровоточащего носа и твердо опускала на бедро. Они добрались до более светлой улицы Риволи, и девушка немного расслабилась. Да и кровотечение у нее остановилось, так что она вернула Корсо запачканный платок. Ее настроение улучшилось, и она явно перестала дуться на Корсо за то, что он вел себя недавно как последний идиот. Пару раз она даже положила руку ему на плечо, и движение это выглядело непроизвольным и очень естественным, словно они были двумя старыми товарищами и возвращались с дальней прогулки. Хотя, возможно, она просто устала и нуждалась в опоре. Жест ее сперва понравился Корсо, которому ходьба возвращала понемногу ясность ума, потом стал раздражать. Прикосновение ее руки пробудило в нем необычное ощущение, не сказать чтобы неприятное, но довольно неожиданное. Словно внутри у него что-то начало размягчаться и таять, как карамель на солнце.

В тот вечер внизу дежурил Грюбер. Заметив необычный вид постояльцев, он позволил себе кинуть в их сторону короткий пронзительный взгляд: на Корсо был грязный мокрый плащ и очки с разбитым стеклом, у девушки все лицо перемазано кровью. Но никаких эмоций на физиономии Грюбера не отразилось. Он только учтиво поднял бровь и безмолвно склонил голову, отдавая себя в полное распоряжение Корсо, но тот знаком показал, что все нормально. Тогда портье передал ему вместе с двумя ключами запечатанный конверт. Они вошли в лифт, и Корсо хотел было вскрыть конверт, но увидел, что из носа у девушки снова пошла кровь. Он сунул конверт в карман и протянул ей носовой платок. Когда лифт остановился на ее этаже, Корсо предложил вызвать врача, но девушка отрицательно покачала головой и вышла из кабины. Мгновение поколебавшись, охотник за книгами двинулся следом за ней по коридору. Маленькие капли крови оставляли след на ковровом покрытии. В комнате Корсо усадил девушку на кровать, а сам пошел в ванную за мокрым полотенцем.

— Приложи к затылку и откинь голову назад.

Она молча сделала, как он велел. Казалось, энергия, которую она излучала на берегу реки, иссякла. Наверно, кровотечение лишило ее последних сил. Он снял с нее куртку и тапочки, потом помог лечь и подложил под спину свернутую валиком подушку; девушка подчинялась, как ослабевший от болезни ребенок. Корсо погасил все лампы, кроме той, что была в ванной, но прежде огляделся вокруг. Из вещей, принадлежащих девушке, — не считая зубной щетки, тюбика с пастой и флакончика с шампунем, которые стояли на полочке под зеркалом, — он обнаружил только куртку, расстегнутый рюкзак на кресле, открытки, купленные накануне вместе с "Тремя мушкетерами", серый шерстяной свитер, пару футболок и белые трусики, сушившиеся на батарее. Потом он в некотором смущении посмотрел на девушку, прикидывая, куда ему лучше сесть: рядом с ней на край кровати или куда-нибудь еще. То ощущение, что накатило на Корсо на улице Риволи, не покидало его — оно притаилось где-то в области желудка... Но уйти отсюда, пока она не почувствует себя лучше, он не мог. И в конце концов решил вообще не садиться, а просто постоять. Он сунул руки в карманы плаща, и одна из них тотчас нащупала пустую фляжку. Он бросил взгляд на мини-бар с еще не тронутой гостиничной наклейкой и подумал, что жизнь бы отдал за глоток джина.

— Там, у реки, ты мне здорово помогла, — сказал он; чтобы нарушить молчание. — Я ведь еще не успел тебя поблагодарить.

Она слегка улыбнулась, будто в полудреме; но глаза с расширившимися от темноты зрачками следили за каждым движением Корсо.

— Что все-таки происходит? — спросил охотник за книгами.

Какое-то время она с легкой иронией смотрела ему в глаза, давая понять, насколько глуп его вопрос.

— Надо думать, они хотят заполучить что-то, что находится у тебя.

— Рукопись Дюма?.. "Девять врат"?..

Девушка еле слышно вздохнула. Всем видом своим она показывала: возможно, дело и не в том и не в другом.

— Ты ведь такой умный, Корсо, — произнесла она наконец. — Должна же у тебя быть какая-нибудь версия.

— Чего-чего, а версий у меня навалом. Не хватает главного — подтверждений и доказательств.

— А разве всегда нужны доказательства?

— Это только в детективах Шерлоку Холмсу или Пуаро достаточно решить в уме загадку — кто убийца и как именно совершено преступление, и на этом делу конец. Потом они додумывают остальное и рассказывают историю так, словно все события происходили у них на глазах. Чем приводят в полный восторг Ватсона или Гастингса, те аплодируют с криками: "Браво, маэстро, все в точности так и было". А убийца сознается. Как последний идиот...

— Я тоже готова аплодировать.

На сей раз в ее реплике не было ни тени иронии. Она смотрела на Корсо пристально, напряженно, ловя каждое его слово и жест.

Он смущенно дернулся и буркнул:

— Знаю.

Девушка по-прежнему смотрела ему прямо в глаза, как будто ей и вправду нечего было скрывать.

— Только не пойму почему, — он хотел было добавить: "Это ведь не детективный роман, а настоящая жизнь", но удержался, потому что в нынешних обстоятельствах граница, разделяющая действительность и вымысел, сделалась, на его взгляд, совсем призрачной. Корсо, живой человек из плоти и крови, с настоящими документами, где было обозначено его гражданство, имеющий постоянное место жительства, не утративший физических ощущений, что подтверждалось болью в костях после падения с лестницы... так вот, этот самый Корсо все больше поддавался соблазну — считать себя реальным персонажем в ирреальном мире. И тут не было ничего приятного, потому что оставался всего один шаг до мысли: ты ирреальный персонаж, который только воображает, что он реальный в ирреальном мире... Кстати, этот шаг и отделял нормальное умственное состояние от помешательства. Корсо задумался: а не случилось ли так, что кто-нибудь — скажем, писатель-романист с перекрученными мозгами или пьянчуга-сценарист, сочиняющий дешевые истории, — как раз сейчас придумывает его, Корсо, *ирреального* героя, который мнит себя *ирреальным* в *ирреальном* мире. Так! Стоп...

От таких мыслей у него совсем пересохло во рту. Он стоял перед девушкой, сунув руки в карманы, и чувствовал, что язык ему словно натерли наждачной бумагой. Будь я ирреальным, подумал он с облегчением, у меня волосы встали бы дыбом от подобных мыслей; я вскричал бы: "О, проклятый рок!", — и лоб мой покрылся бы испариной. Зато жажда меня, разумеется, не мучила бы. Я пью, следовательно, существую. И он метнулся к мини-бару, сорвал наклейку, достал бутылочку джина и залпом осушил. Наклоняясь, чтобы закрыть бар, он не мог сдержать улыбку, будто закрывал дарохранительницу. И тотчас все в этом мире встало на свои места.

В комнате было почти совсем темно. Слабый свет падал только из ванной, освещая часть постели, где лежала девушка. Он увидел босые ноги, джинсы, майку с засохшими каплями крови. Потом задержал взгляд на обнаженной шее — длинной, смуглой. На полуоткрытых губах и белеющей в темноте полоске зубов. Увидел прикованный к нему взгляд. Тронул лежащий в кармане ключ от своей комнаты, сглотнул слюну. Пора уносить отсюда ноги.

— Тебе лучше?

Она молча кивнула. Корсо глянул на часы, хотя точное время ему было вроде бы и ни к чему. Он не помнил, чтобы, входя, включал радио, но

теперь откуда-то лилась музыка. Грустная песня на французском языке. Девушка из портового кабачка влюбилась в незнакомого моряка.

— Ладно, мне пора.

По радио женский голос продолжал раскручивать печальную историю. Морячок тот снялся с якоря и исчез навсегда, а девушка все смотрела и смотрела на пустой стул и мокрый круг, оставленный его стаканом. Корсо подошел к ночному столику, взял свой носовой платок, выбрал край почище и вытер целое стекло в очках. И тут он заметил, что у девушки снова пошла носом кровь.

— Ну вот, опять, — сказал он.

Тонкая струйка, как и прежде, стекала к верхней губе, потом — к углу рта. Девушка поднесла руку к лицу и, разглядывая красные пальцы, стоически улыбнулась.

— Пускай.

— Надо бы все-таки позвать врача.

Она чуть прикрыла глаза и отрицательно покачала головой — очень мягко. Теперь, в полутьме, на подушке, усеянной большими темными пятнами, она выглядела совсем беспомощной. Так и не надев очки, он сел на край кровати и протянул руку с платком к ее лицу. И когда он наклонился, его тень, прорисованная в косой полоске света, падающего из ванной на стену, нерешительно дрогнула, как будто выбирала между светом и мраком, а потом растаяла в углу.

И тут девушка сделала нечто неожиданное. Не обращая внимания на платок, который он ей протягивал, она подняла испачканную кровью ладонь, коснулась лица Корсо и прочертила пальцами четыре линии — ото лба к подбородку. Но после этой необычной ласки не отняла теплой влажной руки, и он чувствовал, как капли крови текут по четырехполосному следу, оставленному на его коже. В прозрачных зрачках девушки сквозил свет, лившийся в комнату из приоткрытой двери, и Корсо вздрогнул, разглядев в них удвоенное отражение своей потерянной тени.

По радио звучала уже другая песня, но они перестали слушать. От девушки пахло теплом, вернее, лихорадочным жаром, и под тонкой кожей на обнаженной шее билась нежная жилка. В комнате струйки света и темнота перемежались сизым полумраком, где предметы теряли свои очертания. Она прошептала что-то невнятное, очень тихо, и глаза ее переливчато блеснули, а рука скользнула к затылку Корсо, размазывая свежую кровь вокруг его шеи. Он почувствовал вкус крови во рту и склонился к девушке, коснулся призывно приоткрытых губ, из которых едва пробивался стон, такой слабый, точно долетел он сюда из далеких-далеких времен, — долгий, тягучий и вековечный. На краткий миг в биении этой плоти ожили воспоминания о всех предыдущих смертях Лукаса Корсо, словно их принесло течением темной и неспешной реки, воды которой были так величаво покойны, что казалось, их покрыли лаком. И он пожалел, что у девушки нет имени, которое запечатлелось бы в его сознании вместе с этим мгновением.

Но уже через секунду на лицо его вернулась досадливая гримаса; охотник за книгами вдруг увидал сцену со стороны: он сидит на краю кровати, прямо в плаще, все еще во власти наваждения, а она тем временем, чуть выгнув спину, как красивое молодое животное, расстегивает пуговицу на джинсах. Он наблюдал за ней и в душе снисходительно ухмылялся, преисполнившись ироничного и усталого благодушия, кото-

рое порой умел напускать на себя. И наблюдал скорее с любопытством, чем с желанием. Девушка дернула молнию вниз, и открылся треугольник смуглой кожи на фоне белого хлопка, затем белая ткань поползла вниз вместе с джинсами. Он увидел ее длинные загорелые ноги, вытянутые на кровати, и они лишили Корсо — обоих Корсо — рассудка, как чуть раньше удар одной из этих ног лишил Рошфора нескольких зубов. Потом она подняла руки, чтобы снять майку, и движение ее было абсолютно естественным, в нем не чувствовалось ни кокетства, ни заученности; при этом она не сводила с Корсо спокойных и нежных глаз — пока майка не закрыла ей лицо. Тогда контраст стал еще сильнее: опять белый хлопок, на сей раз скользящий вверх, и загорелая кожа, упругая, теплая плоть, тонкая талия, тяжелые прекрасные груди — их очертания четко вырисовывались на фоне светящейся двери; ложбинка у изгиба шеи, полуоткрытый рот и снова глаза, в которых сиял похищенный у неба свет. А в самой глубине глаз — плененная тень Корсо, словно душа, замкнутая в два одинаковых стеклянных шара или изумруда.

Но тут-то он и понял, что у него ничего не получится. Это было одно из тех мрачных предчувствий, которые предваряют некоторые события и отмечают их еще до того, как они случились, вещим знаком неминуемой катастрофы. А если сказать проще, то, швыряя последнюю одежду на пол, туда, где уже валялся плащ, Корсо обнаружил, что начавшаяся было эрекция решительно шла на спад. Так что — зелен виноград! Или, как выразился бы его прапрадед-бонапартист, "la Garde recule" — "Гвардия отступает". Окончательно и бесповоротно. Он вдруг почувствовал нахлест тоски, хотя понадеялся, что его несвоевременная и досадная слабость какое-то время останется незамеченной. С некоторыми предосторожностями он лег ничком рядом с нежным смуглым телом, которое ждало его в темноте, решив прибегнуть к методу, который Император, завязший в грязи Фландрии, назвал "тактическим косвенным приближением", — то есть к изучению местности на приличном расстоянии и отказу от контактов в опасной зоне. Выбрав эту благоразумную тактику, он решил немного потянуть время — на всякий случай, а вдруг подоспеет Груши с подкреплением, — и начал неспешно целовать девушку в губы и шею. Напрасные надежды. Груши не появлялся; видно, этот подстрекатель гонялся где-то за пруссаками, стараясь держаться подальше от поля боя. Но тревога Корсо обернулась настоящей паникой, когда девушка прижалась к нему, просунула стройную, крепкую и горячую ногу между его ног — и тотчас обнаружила, какая беда с ним стряслась. Он увидел, как она растерянно улыбнулась. Но это была подбадривающая улыбка из серии "браво, боец, я уверена, что ты справишься". Потом она как-то особенно нежно поцеловала его и протянула своевольную руку, чтобы помочь делу. Но именно в тот миг, когда Корсо почувствовал прикосновение ее руки к самому эпицентру драмы, он окончательно пошел ко дну. Как "Титаник". Камнем. На палубе играет оркестр. Женщины и дети в первую очередь. Следующие двадцать минут можно было назвать агонией — в такие моменты человек начинает припоминать, что плохого он сделал в жизни. Героические атаки разбиваются о стойкие ряды шотландских стрелков. Пехота начала готовиться к штурму, едва забрезжила надежда на победу. Импровизированные вылазки стрелков и пехотинцев, тщетно мечтающих застать противника врасплох. Выстрелы гусар и мощные залпы кирасиров. Но все попытки кончались одинаково: Веллингтон ликовал, укрепившись в малень-

кой и неприступной бельгийской деревушке, и его главный волынщик играл марш Серых шотландцев под самым носом у Корсо, а Старая Гвардия, вернее, то, что от нее осталось, сжав челюсти и задыхаясь в простынях, с отчаянием поглядывала на часы, которые Корсо, к несчастью, не снял с руки. Капли пота размером с кулак стекали у него по волосам. А потерянный взгляд блуждал по комнате — поверх плеча девушки — в поисках пистолета. Охотник за книгами желал пустить себе пулю в лоб...

Девушка спала. Очень осторожно, чтобы не разбудить ее, Корсо протянул руку к плащу и достал сигареты. Закурив, приподнялся на локте и стал смотреть на нее. Она лежала на спине, голая, откинув голову назад — на испачканную уже засохшей кровью подушку, и тихо дышала полуоткрытым ртом. От нее по-прежнему пахло лихорадочным жаром и теплой плотью. При слабом свете, льющемся из ванной комнаты, Корсо мог любоваться неподвижным прекрасным телом. Вот, сказал он себе, шедевр генной инженерии. Потом задумался о том, какие тайны — вернее, какие смешения кровей, слюны, кожи, семени и случайностей — сошлись во времени, чтобы соединить звенья той цепочки, которую она собой завершала. Ведь здесь, в этом восемнадцати — или двадцатилетнем — теле были представлены все женщины, все существа женского пола за всю историю рода человеческого. Он уловил биение жилки у нее на шее, различил едва приметные удары сердца, скользнул взглядом по нежной линии, которая вела от спины к талии и округлялась на бедрах. Он нежно тронул кончиками пальцев маленький, покрытый завитками треугольник, где кожа была чуть светлее и где Корсо так и не сумел разбить как положено свой бивак. Девушка разрешила ситуацию с безупречным тактом — она ничем не выдала разочарования и, едва поняв, что на штурм Корсо идти не готов, превратила все в легкую игру. Зато обстановка разрядилась; по крайней мере, ему не пришлось за неимением пистолета — ведь загнанных лошадей пристреливают? — биться головой об угол ночного столика, хотя и такой вариант успел мелькнуть в его помраченном мозгу; правда, дело кончилось полумерой — он незаметно саданул кулаком по стене, чуть не разбив себе костяшки; и девушка, почувствовав резкое движение, а затем внезапную напряженность его тела, с изумлением глянула на Корсо. Честно говоря, боль и усилие, которое он прилагал, чтобы не завыть, помогли ему немного успокоиться, и Корсо даже удалось овладеть собой настолько, чтобы изобразить кривую улыбку и сказать девушке, что такое с ним происходит только в первые тридцать раз. Она расхохоталась, прижалась к нему и принялась нежно и радостно целовать его глаза и губы. Какой ты идиот, Корсо, мне это безразлично. Абсолютно безразлично. Так что он сделал единственное, что в таких обстоятельствах мог сделать: ограничился добавлением приправ — умелые пальцы в нужном месте, что дало если и не триумфальные, то, во всяком случае, приемлемые результаты. Переведя дух, девушка долго молча смотрела на него, потом поцеловала неспешным и старательным поцелуем, который постепенно стал слабнуть — она заснула.

Огонек сигареты высветил пальцы Корсо. Продержав сколько хватило сил дым в легких, он разом выдохнул его и теперь наблюдал, как серое облачко плыло над кроватью через освещенную часть пространства. Он уловил, что дыхание девушки вдруг сбилось с ритма, и внимательно посмотрел на нее. Она наморщила лоб и еле слышно застонала, совсем как ребенок, которому приснился страшный сон. Потом, все еще не

проснувшись, перевернулась на бок и оказалась лицом к нему. Теперь она лежала на боку, одну руку спрятав под обнаженные груди, а другую устроив у самого лица. Так кто же ты такая, черт возьми, в который уж раз беззвучно спросил он, а потом наклонился и поцеловал неподвижное лицо. Он нежно погладил короткие волосы, провел пальцами по линии талии, по бедрам, теперь четко вычерченным на фоне светлого дверного проема. В этом мягком изгибе было больше красоты, чем в любой мелодии, скульптуре, стихотворении или картине. Он придвинулся, чтобы вдохнуть аромат ее тонкой шеи, и тотчас почувствовал, как его собственный пульс застучал крепким молотом, будя плоть. Спокойно, приказал он себе. Хладнокровие и никакой паники. Итак, приступим. Он не знал, надолго ли это, и потому поспешно погасил сигарету, сунул окурок в пепельницу на ночном столике и прижался к девушке, убеждаясь, что теперь его организм реагировал на прикосновение как положено. Он раздвинул ей ноги и безоглядно ринулся во влажный, радушный рай, который казался сделанным из горячих сливок с медом. Он заметил, что девушка в полудреме шевельнулась, потом ее руки обвились вокруг его спины, хотя до конца она так и не пробудилась. Он поцеловал ее в шею, потом в губы, из которых уже рвался долгий и неописуемо нежный стон, и почувствовал, что бедра ее ожили и прильнули к его бедрам, подхватив их ритм. И когда он погрузился в самую глубь ее плоти и в самую глубь себя самого, без труда прокладывая путь к затерянному в его памяти месту, откуда он, как ему подсказывало чутье, вел свое начало, она уже открыла глаза и глядела на него изумленно и счастливо — и зеленое мерцание пробивалось сквозь длинные влажные ресницы. Я люблю тебя, Корсо. Люблютебялюблютебялюблютебя. Я люблю тебя. Чуть позже, в некий миг он буквально прикусил себе язык, чтобы не ляпнуть такую же чертову глупость. Он видел себя со стороны — видел с изумлением и едва узнавал: теперь он зависел только от нее, от ее трепета, ее движений, угадывал ее желания и открывал тайные калитки, отыскивал сокровенные ключи к этому нежному и одновременно напряженно упругому телу. Так прошло больше часа. И наконец Корсо задал ей естественный в такой ситуации вопрос, но она сказала, чтобы он не беспокоился, что у нее все под контролем. Тогда он целиком, до немыслимых пределов, погрузился в нее, до самого ее сердца.

Он проснулся, когда начало светать. Девушка спала, прижавшись к нему, и Корсо какое-то время лежал неподвижно, боясь разбудить ее, и старался не думать о том, что произошло и что будет дальше. Он прикрыл глаза и с наслаждением расслабился, радуясь окутавшей его приятной беззаботности. Он чувствовал на своей коже дыхание девушки. Ирэн Адлер, Бейкер-стрит, 221б. Влюбленный дьявол. Ее фигура в тумане перед Рошфором. Синяя куртка, раскрывшись парашютом, медленно летит на землю. Тень Корсо в глубине глаз девушки. Теперь она спала безмятежно и мирно, от всего отрешившись, и он никак не мог установить логические связи, которые могли бы упорядочить мелькавшие в памяти картины. Но как раз сейчас ему меньше всего нужна была логика; он отдался во власть ленивой неги. Положил руку в теплоту между ее бедер и долго не отнимал. По крайней мере, это обнаженное тело уж точно было реальным.

Вскоре он тихонько встал и пошел в ванную. Глянул в зеркало и увидел следы засохшей крови на лице, а также — следы схватки с Рошфором и ударов о лестницу: синяк на левом плече, еще один между ребрами, ко-

торые, когда он их пощупал, отозвались острой болью. Он быстро умылся и пошел за сигаретой. Сунул руку в карман плаща и наткнулся на записку Грюбера.

Он чертыхнулся сквозь зубы, проклиная собственную забывчивость, но поправить оплошность было уже нельзя. Корсо вскрыл конверт и возвратился в ванную, чтобы прочитать записку при свете. Сообщение было совсем коротким — два имени, адрес и номер. Оно вызвало у Корсо жестокую улыбку. Он снова оглядел себя в зеркало: взъерошенные волосы, потемневшие от щетины щеки. Потом надел очки с разбитым стеклом и проделал это так, словно водрузил на голову шлем с забралом; на лице его появилась гримаса злого волка, который учуял добычу. Он бесшумно собрал свою одежду, подхватил холщовую сумку и бросил прощальный взгляд на спящую девушку. Кто знает, может, новый день окажется удачным. Во всяком случае, Бекингэму и миледи Корсо завтрак испортит.

Отель "Крийон" был слишком дорогим, чтобы Флавио Ла Понте сам платил за номер; по всей видимости, расходы взяла на себя вдова Тайллефер. Именно об этом раздумывал Корсо, когда выходил из такси на площади Согласия, пересекал вестибюль, отделанный сиенским мрамором, поднимался по лестнице и отыскивал комнату под номером 206. На двери висела табличка "Просьба не беспокоить", за дверью царила мертвая тишина. Корсо громко постучал костяшками пальцев — три раза.

Были сделаны три надреза в языческой плоти, и так был закален гарпун для Белого Кита...

Видимо, Братство гарпунеров из Нантакета прямо сейчас и будет распущено, и Корсо не знал, жалеть о том или нет. Когда-то они с Ла Понте вместе сочинили новый вариант "Моби Дика": Измаил записывает всю историю, кладет рукопись в законопаченный гроб и тонет вместе с экипажем "Пекода". А спасается не он, а Квикег, гарпунер-дикарь, лишенный каких бы то ни было интеллектуальных претензий. Со временем он учится читать и в один прекрасный день знакомится с текстом, составленным его товарищем, обнаруживая, что та версия и его собственные воспоминания о случившемся не имеют между собой ничего общего. И тогда он записывает свой вариант истории. "Зовите меня Квикег", — так он начинает, а заголовок дает простой — "Кит". С точки зрения профессионального гарпунера, правдиво рассказать историю Измаилу помешала его ученость, и он здорово перемудрил: Моби Дик ни в чем виноват не был, обычный кит, как любой другой, все дело в обезумевшем капитане, который на первое место ставил сведение счетов ("Какая разница, кто оторвал ему ногу", пишет Квикег), а не заботу о том, как наполнить бочки маслом. Корсо помнил, какая сцена разыгралась тогда за их столиком в баре: Макарова, мужеподобная, по-балтийски суровая, внимательно слушала Ла Понте, который объяснял, как важно было тщательно законопатить деревянный гроб, сделанный корабельным плотником, а Зизи бросала на него из-за прилавка убийственно ревнивые взгляды. Это были те времена, когда Корсо, набирая номер домашнего телефона, непременно слышал голос Никон и тотчас представлял, как она выходит из темной комнаты и поспешно вытирает мокрые от фиксажа руки. В тот вечер, когда они придумывали новый вариант "Моби Дика", он тоже позвонил ей, и позднее вся компания

завалилась к ним домой. И они смотрели по видео фильм Джона Хьюстона[1] и распили еще несколько бутылок. И выпили тост за старину Мелвилла в тот самый миг, когда "Рахиль", блуждая в поисках своих пропавших детей, нашла еще одного сироту.

Так все было. И теперь, стоя перед дверью комнаты номер 206, Корсо не чувствовал злобы, какую должен испытывать человек, готовый обвинить друга в предательстве; возможно, в глубине души охотник за книгами считал, что в политике, бизнесе и сексе предательство всего лишь вопрос времени. О политике здесь речи идти не могло, оставалось выяснить, чем именно — бизнесом или сексом — объяснялось присутствие Ла Понте в Париже. Наверно, так сложились обстоятельства. Во всяком случае, даже теперь, сильно разозлившись, Корсо и мысли не допускал, что Флавио впутался в сомнительную историю только ради денег. Он без труда восстановил в памяти образ Лианы Тайллефер, какой она была во время краткой схватки у него дома: красивая и чувственная, с широкими бедрами, белотелая, изнеженная, пышущая здоровьем — роковая женщина в стиле Ким Новак; Корсо поднял бровь, словно в знак того, что понимал мотивы книготорговца. Кстати, дружба проявляется как раз в таких мелочах. Возможно, именно поэтому возникший в двери Ла Понте и не заметил на лице Корсо враждебности. Флавио стоял на пороге с заспанным лицом, босой, в пижаме. Он успел лишь широко открыть рот от изумления, но Корсо сильным ударом кулака тотчас закрыл его, так что Ла Понте кубарем покатился в дальний угол комнаты.

При других обстоятельствах Корсо, надо думать, получил бы удовольствие от такой сцены: номер люкс, в окне обелиск Согласия, на полу толстый ковер, огромная ванная комната. Ла Понте лежит на ковре и потирает разбитый подбородок, пытаясь при этом сконцентрировать поплывший от удара взгляд. Большая кровать, на подносе — завтрак на две персоны. В постели сидит Лиана Тайллефер — белокурая, неотразимая, пышные белые груди — одна вылезла наружу из выреза шелковой ночной рубашки, в руке — надкусанный тост. Соски диаметром сантиметров пять, бесстрастно прикинул Корсо, закрывая за собой дверь.

— Доброе утро, — сказал он.

Потом шагнул к кровати. Лиана Тайллефер, застыв от неожиданности, по-прежнему с тостом в руке, тупо следила глазами, как он сел рядом с ней, бросил холщовую сумку на пол, окинул взглядом поднос и налил себе чашку кофе. Так прошло полминуты, а может, и больше. И никто не проронил ни слова. Наконец Корсо отпил глоток кофе и улыбнулся вдове.

— Помнится, — небритые щеки Корсо казались еще более впалыми, чем обычно; а улыбка напоминала лезвие кинжала, — при последней нашей встрече я вел себя грубовато.

Она не ответила. Только положила недоеденный тост на поднос и заправила грудь в вырез рубашки. Лиана Тайллефер смотрела на Корсо невыразительно — без страха, вызова или злости; скорее даже безразлично. А охотник за книгами, после того что случилось у него дома, ожидал найти в ее глазах ненависть. Вас убьют за то, что вы сделали, и так далее... Кстати, им это почти удалось. Но голубая сталь в глазах Лианы Тайллефер выражала не больше, чем выражали бы две лужицы, затянутые льдом, и это встревожило Корсо сильнее, чем если бы он натолкнулся на вспышку гнева. Он без труда представил себе, как она бесстрастно рассматривает труп мужа, повесившегося на крюке от люстры в гости-

ной. Корсо вспомнил фотографию бедняги — в фартуке, с поднятым вверх блюдом, где лежит молочный поросенок по-сеговийски, которого Энрике готовится разрезать. Что ж, все вместе они сочинили для него отличный приключенческий роман.

— Сволочь, — пробормотал Флавио, который все еще лежал на полу. Наконец он смог сфокусировать взгляд на приятеле. Потом начал неловко подниматься, хватаясь за мебель. Корсо с любопытством наблюдал за ним.

— А ты вроде бы и не рад встрече, Флавио.

— Не рад? — торговец книгами потирал подбородок и время от времени поглядывал на свою ладонь, словно опасаясь найти там осколок зуба. — Ты сошел с ума. Окончательно.

— Пока еще нет, но очень скоро ты мне в этом пособишь. Ты и твои сообщники, — он указал пальцем на Лиану Тайллефер, — включая сюда и безутешную вдову.

Ла Понте двинулся к нему, но остановился на безопасном расстоянии.

— Может, ты потрудишься объяснить мне, о чем речь?

Корсо поднес руку к носу книготорговца и принялся загибать пальцы:

— Речь о рукописи Дюма и о "Девяти вратах". О Викторе Фаргаше, утопленном в Синтре. О Рошфоре, который превратился в мою тень, — неделю назад он пытался прикончить меня в Толедо, а вчера — здесь, в Париже. — Корсо снова ткнул пальцем в сторону Лианы Тайллефер. — О миледи. И о тебе, разумеется, какую бы роль в этой истории ты ни играл.

Ла Понте не сводил глаз с пальцев Корсо, пока тот считал, и моргал в такт счету — пять раз подряд. Затем опять погладил подбородок, но жест этот теперь выражал задумчивость. Он уже готов был пуститься в объяснения, но передумал. И прежде обратился к Лиане Тайллефер:

— Какое мы имеем ко всему этому отношение?

Она презрительно пожала плечами. Меньше всего ей были нужны пустые разговоры, да и помогать ему она не собиралась. Вдова по-прежнему полулежала на подушках, рядом стоял поднос с завтраком; пальцы с кроваво-красными ногтями крошили ломтик поджаренного хлеба; от дыхания едва заметно поднималась и опускалась пышная грудь, которую глубокий вырез щедро выставлял напоказ. А вообще-то она глядела на Корсо так, как глядят на противника — в ожидании, что карты первым раскроет все-таки он; и на происходящее реагировала с безразличием сырого окорока.

Ла Понте почесал голову — в том месте, где светлели остатки волос. Вид он имел весьма жалкий: стоял посреди комнаты в помятой полосатой пижаме, левая щека снизу распухла от полученного удара. Глаза Флавио растерянно перебегали с Корсо на Лиану, а потом опять на Корсо. Наконец взгляд его остановился на охотнике за книгами.

— Я требую объяснений, — сказал Ла Понте.

— Какое совпадение. Ведь и я пришел сюда за тем же.

Ла Понте молчал, вопросительно взирая на Лиану Тайллефер. Он чувствовал себя униженным, и не без оснований. Изучив одну за другой все три пуговицы на своей пижаме, Флавио опустил глаза на босые ноги. Вид его не слишком соответствовал драматическому накалу ситуации. В конце концов он мотнул головой в сторону ванной комнаты.

— Пошли туда, — Ла Понте постарался придать голосу побольше достоинства, но распухшая щека мешала четко произносить согласные. — Поговорим.

Женщина сохраняла полное спокойствие, на лице ее не отражалось ни тени тревоги; она по-прежнему неподвижно полулежала и с вялым интересом наблюдала за ними, словно по телевизору на ее глазах раскручивался какой-то скучнейший конкурс. Корсо подумал, что оставлять ее вот так, не приняв мер предосторожности, не следовало, но не мог сообразить, что именно надо сделать. После короткого колебания он схватил с пола свою сумку и прошествовал с ней в ванную, Ла Понте последовал за ним и закрыл за собой дверь.

— Можно полюбопытствовать, за что ты меня ударил?

Он говорил очень тихо, чтобы вдова со своего ложа ничего не расслышала. Корсо поставил сумку на биде, проверил, чисты ли полотенца, поинтересовался, что стоит на туалетной полочке перед зеркалом, и только после этого с наигранным спокойствием повернулся к Ла Понте.

— За то, что ты интриган и предатель. Ты утаил, что замешан в это дело. А значит, не без твоей помощи меня обманули, за мной следили и, наконец, избили.

— Ни во что я не замешан. Единственный же избитый — это я, — Ла Понте тщательно осмотрел свою физиономию в зеркале. — Боже! Глянь, что ты натворил! Ты меня просто изуродовал.

— Я тебя изуродую по-настоящему, если ты не расскажешь все по порядку.

— Все по порядку?.. — Ла Понте погладил раздутую щеку и уставился на Корсо так, словно тот окончательно рехнулся. — А тут и нет никаких секретов. Мы с Лианой... — он запнулся, словно подыскивал подходящее слово, — гм... ну, ты же сам видел...

— Вы с Лианой крепко подружились...

— Именно.

— Когда?

— В тот самый день, когда ты уехал в Португалию.

— А кто сделал первый шаг?

— Фактически я.

— Фактически?

— Ну, более или менее. Я нанес ей визит.

— С чего это?

— Чтобы обсудить продажу библиотеки ее мужа.

— И это пришло тебе в голову вдруг, ни с того ни с сего?

— Видишь ли, она мне позвонила. Я ведь тебе когда-то уже рассказывал.

— Да, рассказывал.

— Она хотела вернуть рукопись Дюма, которую ее покойный муж продал мне.

— И как она это желание объяснила?

— Сентиментальными причинами.

— А ты, конечно, поверил.

— Да.

— Вернее, тебе было все равно.

— По правде говоря...

— Вот-вот... Главным для тебя было затянуть ее в койку.

— Не без того.

— И она тебе уступила.

— Как миленькая.

— Понятно. И вы решили устроить себе медовый месяц в Париже.

— Не совсем так. У нее были здесь какие-то дела.

— ... и она пригласила тебя сопровождать ее.

— Угадал.

— Неожиданная идея, правда?.. Все расходы за ее счет, чтобы продлить идиллию.

— Приблизительно так.

Корсо зло осклабился:

— До чего прекрасна любовь, Флавио! Когда любишь по-настоящему...

— Перестань паясничать. Ты ведь циник... Она такая необыкновенная! Ты представить себе не можешь...

— Могу.

— Не можешь.

— А я говорю, что могу.

— Ты выдаешь желаемое за действительное. Такую женщину...

— Не будем отвлекаться, Флавио. Итак, все мы собрались здесь, в Париже.

— Да, конечно.

— И какие планы были у вас относительно меня?

— Никаких планов не было. Мы думали сегодня-завтра попробовать отыскать тебя. И попросить, чтобы ты вернул рукопись.

— По-хорошему.

— Разумеется, а как же еще?

— А вам не приходило в голову, что я могу заартачиться?

— Лиана такой вариант учитывала.

— А ты?

— Я — нет.

— Ты — нет... Почему же, позволь спросить?

— Я не вижу тут никаких проблем. В конце концов, мы с тобой друзья. И не забывай, "Анжуйское вино" принадлежит мне.

— Теперь я вижу: ты для нее — последнее средство.

— На что ты намекаешь? Лиана божественная женщина! И без ума от меня.

— Да, я вижу, как она влюблена.

— Правда?

— Дурак ты, Флавио! Тебя ведь надули, как, впрочем, и меня.

И вдруг Корсо услышал в глубине мозга пронзительный сигнал тревоги — настоящую сирену и, резко отодвинув Ла Понте в сторону, кинулся в спальню. Лиана Тайллефер уже успела встать и как была, полураздетая, спешно швыряла вещи в чемодан. Он поймал брошенный на него ледяной взгляд — взгляд леди Винтер, — и понял, что все то время, что он, как последний дурак, фанфаронил перед приятелем, она, затаившись, ждала чего-то — знака или звука. Словно паук в центре своей паутины.

— Прощайте, сеньор Корсо.

Он ясно разобрал три эти слова — она произнесла их низким, чуть хрипловатым голосом, который он так хорошо помнил. Но, разобрав, Корсо не понял, означают ли они еще что-нибудь, кроме того, что она собирается улизнуть. Он сделал шаг в ее сторону, хотя и сам не знал, с ка-

кой целью, и в этот самый миг почувствовал, что в комнате находится кто-то еще: слева притаилась какая-то тень, кто-то стоял, прижавшись к дверному косяку. Он начал поворачивать голову, чтобы встретить опасность лицом, хотя уже понял, что опять совершил оплошность и упустил нужный момент. Охотник за книгами еще слышал смех Лианы Тайллефер — так в кино смеются белокурые и злые вампирши. Что касается удара — второго за последние двенадцать часов, то он снова пришелся ему в ухо, в то же самое место. Но Корсо еще успел увидеть мутнеющим взглядом, как Рошфор кинулся вон из комнаты.

На пол охотник за книгами рухнул уже без сознания.

1. Джон Хьюстон (1906–1987) — американский режиссер, речь идет о его фильме "Моби Дик" (1956).

XIII. *Интрига завязывается*

> В этот момент вас начинает бить дрожь от предчувствия охоты. Но разве дрожали бы вы, если бы я был точен, как железнодорожный справочник?
>
> А. Конан Дойл. *Долина ужаса*

Сначала откуда-то издалека до него донесся голос, невнятный шепот, но слов он не разобрал. Он сделал усилие и сообразил, что обращаются к нему, что речь ведут о его виде. Корсо понятия не имел, какой у него вид, и его это не волновало. Зато ему было очень удобно лежать вот так — на спине; и он не желал открывать глаза. В первую очередь из страха, что тогда усилится боль, сжимавшая виски.

Он ощутил легкое похлопывание по щекам и против воли открыл один глаз. Флавио Ла Понте в тревоге склонился над ним. Он по-прежнему был в пижаме.

— Не трогай мое лицо, — огрызнулся Корсо.

Ла Понте с облегчением выпустил воздух, который удерживал в груди.

— Я думал, ты уже помер, — признался он.

Корсо открыл второй глаз и попробовал приподняться. И тут же почувствовал, что мозги его колыхнулись в черепе, как желе на тарелке.

— Да, досталось тебе, — зачем-то сообщил Ла Понте, помогая ему встать.

Опершись на его плечо, чтобы сохранить равновесие, Корсо обвел взглядом комнату. Лиана Тайллефер и Рошфор испарились.

— Ты успел разглядеть того, кто меня ударил?

— Да. Высокий, смуглый. Шрам на лице.

— А раньше ты его когда-нибудь видел?

— Нет, — торговец книгами в отчаянии наморщил лоб. — Но мне показалось, что она отлично его знает... Ведь только она могла открыть ему дверь, пока мы спорили в ванной... Кстати, у этого типа здорово разбита губа. И замазана меркурхромом, — Флавио тронул собственную щеку, где опухоль уже начала спадать, и мстительно засмеялся. — Я смотрю, тут досталось всем.

Корсо, напрасно искавший свои очки, глянул на него с упреком:

— Одного понять не могу: почему они тебя-то не тронули?

— Было у них такое намерение... Но я сказал, что им это ни к чему. Мне до них дела нет. Я — простой турист и оказался тут по чистой случайности.

— Но ведь ты мог...

— Я? Слушай! Мне вполне хватило того, что я получил от тебя. Поэтому я сложил из пальцев две буквы "V" — знак мира, видишь?.. Потом опустил крышку унитаза и сидел себе там посиживал, тихо и спокойно. Пока они не убрались.

— Ты у нас герой!

— Знаешь, лучше "на всякий случай", чем "кто бы мог подумать". Да, взгляни-ка, — он протянул ему сложенную пополам карточку. — Уходя, они оставили это под пепельницей с окурком сигары "Монте-Кристо".

Корсо с трудом зацепился взглядом за карточку. Текст был написан чернилами, красивым — английским — почерком, заглавные буквы со сложными завитками:

Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства.

3 декабря 1627 года[1]
Ришелье

Вопреки всему Корсо чуть не расхохотался. Это была та самая бумага, которую во время осады Ла-Рошели получила миледи, просившая голову д'Артаньяна. Потом бумагу у нее под дулом пистолета отобрал Атос: "Теперь, когда я вырвал у тебя зубы, ехидна, кусайся, если можешь". А в самом конце истории, после казни миледи, записка послужила оправдательным документом д'Артаньяну... Нет, с какой стороны ни глянь, но для одной-единственной главы — явный перебор. Пошатываясь, Корсо направился в ванную комнату, открыл кран и сунул голову под горячую воду. Потом посмотрел на себя в зеркало: опухшие глаза, щетина, стекающие струи. И еще он постоянно слышал звон в ушах, будто попал в осиное гнездо. Теперь бы сюда фотографа, подумал он. В общем, день начался отлично.

В зеркале рядом с собой он увидел Ла Понте, который протягивал ему полотенце и очки.

— А вот сумку твою они, надо полагать, прихватили с собой.

— Ну и сволочь же ты!

— Послушай, не пойму, что ты, собственно, против меня имеешь. Если мне в этом фильме и досталась какая-то роль, то, разумеется, роль простака.

Корсо нервничал. Он шел через гостиничный вестибюль и старался соображать побыстрее, но с каждой секундой вероятность того, что ему удастся настигнуть беглецов, уменьшалась. Осталось только одно звено в цепи — экземпляр номер Три. Им они пока не завладели, что давало шанс выйти на злоумышленников, если, конечно, Корсо будет действовать не мешкая. Он зашел в телефонную будку и, пока Ла Понте оплачивал счет за комнату, набрал номер Фриды Унгерн. Занято. Поколебавшись секунду, он позвонил в отель "Конкорд" и попросил соединить его с комнатой Ирэн Адлер. Корсо не был уверен, что на этом фланге все пройдет без осложнений, но, едва он услышал голос девушки, на душе у него сразу стало спокойнее. В нескольких словах он передал суть случившегося и сказал, что будет ждать ее у дома баронессы Унгерн. Потом повесил трубку. К нему как раз спешил Ла Понте, который в большом расстройстве прятал чековую книжку в бумажник.

— Эта негодяйка смылась, не заплатив за номер.

— Что ж, поделом тебе! Впредь будешь умнее!

— Я ее удавлю собственными руками. Клянусь!

Отель был из самых дорогих, и предательство вдовы с каждой минутой казалось Ла Понте все более чудовищным; он уже не считал, как пол-

часа назад, что во всей этой истории был лицом сторонним. Теперь он сделался мрачнее тучи — и напоминал пылающего местью Ахава[2]. Они сели в такси, и Корсо дал шоферу адрес баронессы. По дороге он рассказал другу всю историю, с самого начала: поезд, девушка, Синтра, Париж, три экземпляра "Девяти врат", смерть Фаргаша, схватка на берегу Сены... Ла Понте слушал, кивая головой, сначала недоверчиво, потом все более угрюмо.

— Я жил со змеей, — простонал он.

Корсо пребывал в дурном настроении и в ответ лишь заметил, что змеи очень редко кусают кретинов. Ла Понте, казалось, взвешивал услышанное. Но решил не обижаться.

— И все-таки она — отчаянная женщина. А уж тело у нее, скажу тебе! Настоящая королева!

Несмотря на материальные потери, Ла Понте приободрился; глаза его снова похотливо заблестели, он довольно потирал подбородок.

— Настоящая королева, — повторил он с дурацкой ухмылкой.

Корсо смотрел в окошко на проезжавшие мимо машины.

— То же самое сказал герцог Бекингэм.

— Бекингэм?

— Да. В "Трех мушкетерах". В самом конце истории с алмазными подвесками. Ришелье поручил миледи убить герцога, но тот заключил ее в крепость, едва она появилась в Лондоне. Там миледи соблазнила своего тюремщика Фельтона, такого же идиота, как ты, только он был фанатиком-пуританином. Потом она уговорила его помочь ей бежать, а заодно убить Бекингэма.

— Я подзабыл этот эпизод. И что случилось с этим Фельтоном?

— Он всадил в герцога нож. Потом его казнили; не знаю, правда, за убийство или за глупость.

— Но его не заставили оплачивать счет в отеле...

Такси ехало по набережной Конти. Неподалеку отсюда у Корсо случилась стычка с Рошфором. В этот самый миг Ла Понте кое-что припомнил:

— Слушай, а не было ли у миледи знака на плече?

Корсо кивнул. Они как раз проезжали мимо лестницы, по которой минувшей ночью он катился вниз.

— Да, — ответил он, — клеймо преступницы, наложенное палачом. Оно уже было у нее, когда она стала женой Атоса... Д'Артаньян обнаружил его, оказавшись с ней в постели, и открытие это едва не стоило ему головы.

— Любопытно, любопытно. А ты знаешь, что у Лианы тоже имеется некий знак?

— На плече?

— Нет, на бедре. Маленькая татуировка, очень красивая — цветок лилии.

— Не врешь?

— Клянусь!

Корсо татуировки не помнил, ведь во время бурной встречи с Лианой Тайллефер — казалось, с тех пор прошли годы — у него не было времени разглядывать такие детали. Теперь его тревожило другое: ясно, что ход событий он уже не контролировал. И речь шла не о случайных забавных совпадениях, а о тщательно разработанном плане — слишком сложном и опасном, чтобы к выкрутасам вдовы и ее подруч-

ного со шрамом можно было отнестись как к невинной пародии. Это был настоящий заговор, и он разыгрывался по всем правилам жанра, а значит, должен существовать кто-то, кто дергает за ниточки. Серый кардинал — лучше не назовешь. Корсо тронул карман, где лежало письмо Ришелье. Нет, это уж слишком. Тем не менее именно в необычности дела, в литературности событий могла крыться разгадка. Он вспомнил однажды прочитанное — то ли у Эдгара Аллана По, то ли у Конан Дойла: "Загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, какое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем".

— Пока трудно сказать, что это — грандиозная шутка или игра случая, — произнес он вслух, подводя итог своим размышлениям.

Ла Понте нашел крошечную дырочку в искусственной коже, обтягивающей сиденье, и теперь нервно расковыривал ее пальцем.

— Называй как знаешь, но все это слишком подозрительно, — Флавио говорил очень тихо, несмотря на то что от водителя их отделяло защитное стекло. — Надеюсь, ты хотя бы знаешь, что делать дальше.

— Если бы! Это хуже всего: у меня нет уверенности в том, что я действую правильно.

— А почему бы нам не пойти в полицию?

— И что мы им скажем?.. Что, дескать, миледи и Рошфор, агенты кардинала Ришелье, украли у нас рукопись одной из глав "Трех мушкетеров", а также книгу, с помощью которой можно вызывать Люцифера? Что в меня влюбился дьявол и воплотился в двадцатилетнюю девушку, чтобы сделаться моим телохранителем?.. Ну, как бы ты поступил, будь ты комиссаром Мегрэ, а я пришел бы к тебе с такими баснями?

— Я бы заставил тебя подышать в трубочку и проверил, не пьян ли ты... Вот...

— Ага!

— А Варо Борха?

— Это другая история, — Корсо тоскливо замычал. — Даже думать не хочу о том, что будет, когда он узнает о пропаже книги.

Машин, как обычно по утрам, было много, и такси с трудом пробивалось вперед. Корсо нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец они доехали до бара, где он сидел накануне вечером, и увидели, что на тротуарах стояли группки зевак, а на углу красовались знаки, запрещающие проезд. Выходя из машины, Корсо заметил также полицейский фургон и пожарную машину. Скрипнув зубами, он громко выругался, и Ла Понте вздрогнул от неожиданности. Итак, экземпляр номер Три тоже увели — прямо у них из-под носа.

Девушка вышла к ним из толпы. Маленький рюкзачок за спиной, руки в карманах куртки. Над крышей дома еще вился тонкий дымок.

— Квартира загорелась в три утра, — сообщила она, не обращая внимания на Ла Понте, словно его тут и не было. — Пожарные еще внутри.

— А баронесса Унгерн? — спросил Корсо.

— Тоже внутри, — она сделала какой-то неопределенный жест; он означал не столько безразличие, сколько покорность судьбе, фатализм. Словно все это уже было где-то и кем-то предначертано. — Обгоревший труп нашли в кабинете. Именно там начался пожар. Случайное возгорание, по мнению соседей, плохо погашенный окурок...

— Баронесса не курила, — заметил Корсо.

— Значит, вчера вечером закурила.

Охотник за книгами глянул поверх голов тех, кто толпился у полицейского ограждения. Но увидел немного: верхнюю часть пожарной лестницы, приставленной к стене, частые вспышки мигалки на крыше санитарной машины у двери. Кепи полицейских и каски пожарных. Пахло горелым пластиком. Среди зевак обращали на себя внимание два американских туриста: они фотографировали друг друга рядом с охранявшим проход жандармом. Где-то завыла сирена, но тотчас умолкла. В толпе загалдели — выносят труп, но увидеть ничего не удалось. Да и что, собственно, там разглядывать, подумал Корсо.

Он встретился глазами с девушкой; она смотрела на него пристально, но во взгляде ее не было и намека на события минувшей ночи. Сосредоточенный, деловой взгляд — солдат на подступах к полю боя.

— Что произошло? — спросила она.

— Я надеялся услышать это от тебя.

— Я о другом, — она будто только теперь заметила Ла Понте. — Кто это?

Корсо объяснил. Потом сделал короткую паузу, прикидывая, поймет ли его друг.

— А это та девушка, о которой я тебе говорил. Ее зовут Ирэн Адлер.

Но Ла Понте ничего не понял. Он в растерянности переводил взгляд с девушки на приятеля и обратно и наконец протянул ей руку. Правда, девушка руки не заметила или сделала вид, что не заметила. Она не отрывала глаз от Корсо. Потом полувопросительно бросила:

— Ты без сумки...

— Как видишь. Рошфор наконец заполучил ее. И скрылся вместе с Лианой Тайллефер.

— Кто такая Лиана Тайллефер?

Корсо метнул на девушку инквизиторский взгляд, но в ее глазах обнаружил полнейшее спокойствие.

— Ты разве не знакома с безутешной вдовой?

— Нет.

Ответ прозвучал совершенно искренне, в нем не проскользнуло ни тревоги, ни удивления. И Корсо против воли готов был поверить ей.

— Ладно, это не так уж важно, — сказал он, помолчав. — Главное, они упорхнули.

— Куда?

— Не имею понятия, — на лице его сперва появилась гримаса отчаяния, потом — подозрительности, и сразу наружу вылез клык, — я ведь надеялся, что ты что-нибудь знаешь.

— Нет, о Рошфоре я ничего не знаю. И о той женщине тоже, — сказала она равнодушно, давая понять, что все это ее абсолютно не касается.

Корсо совсем растерялся. Он ждал хоть какого-нибудь выражения чувств; черт возьми, ведь она сама назначила себя защитницей его интересов. Ну упрекнула бы: мол, что, думал, ты умней всех? Вот сам себя и перехитрил... Но девушка и не собиралась упрекать его. Она крутила головой по сторонам, словно искала в толпе знакомое лицо, и Корсо пытался угадать: то ли она раздумывала о случившемся, то ли мысли ее бродили совсем в ином месте, далеко отсюда, от нынешней драмы.

— И что теперь делать? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь.

Честно говоря, он окончательно перестал ориентироваться в ситуации. Убийства, нападение на него самого... Кроме того, почти что у него на глазах один за другим исчезли три экземпляра "Девяти врат", а также рукопись Дюма. В этом деле уже было три трупа, если, конечно, приплюсовать сюда и самоубийство Энрике Тайллефера. А куча денег, которую уже успел потратить Корсо? Пусть это были деньги Варо Борхи... "Вар, Вар, верни мне мои легионы!"[3] Да пропади она пропадом, его деловая репутация! Сейчас он желал бы иметь лет на тридцать пять меньше, тогда можно было бы сесть на тротуар и выплакаться всласть.

— А что, если нам выпить кофе, — предложил Ла Понте.

Он произнес это игривым тоном, с улыбочкой типа "Ничего, ребята, прорвемся!" И Корсо понял, что бедняга еще не сообразил, в какую фантастически скверную историю они попали. Но само по себе предложение показалось ему вполне своевременным. В такой ситуации ничего лучше нельзя было придумать.

— Подождите, подождите! Если я правильно понял, — капля кофе с молоком скатилась у Ла Понте по бороде, пока он успел снова макнуть в чашку кусочек круассана, — Аристид Торкья в тысяча шестьсот шестьдесят шестом году сумел утаить от инквизиции один экземпляр книги — но совершенно особый экземпляр. Так сказать, страховочную копию, спрятанную в три книги... Так? Поэтому на восьми гравюрах из девяти имеются отличия. И надо соединить все три тома вместе, чтобы заговор действовал, — он проглотил кусок круассана и вытер рот бумажной салфеткой. — Верно я излагаю?

Они втроем сидели на террасе кафе, перед церковью Сен-Жермен-де-Пре. Ла Понте отыгрывался за прерванный в "Крийоне" завтрак, а девушка, которая сохраняла отсутствующий вид, пила через соломинку апельсиновый сок и молча слушала. Перед ней лежал раскрытый том "Трех мушкетеров", изредка она переворачивала страницу, рассеянно скользила глазами по тексту и снова поднимала голову, прислушиваясь к разговору. Что касается Корсо, то у него от всего случившегося в горле стоял ком, и потому он не мог заставить себя хоть что-нибудь проглотить.

— Ты излагаешь верно, — повернулся он к Ла Понте. Потом откинулся на спинку стула и застыл — руки в карманах плаща, взгляд устремлен на колокольню. — Но существует еще одна возможность: допустим, полное издание, то, что было уничтожено инквизицией, тоже состояло из трех серий книг с отличающимися между собой гравюрами, и только истинные знатоки, только посвященные могли соединить три экземпляра должным образом... — он поднял брови, досадливо наморщив лоб. — Но этого нам уже никогда не узнать.

— А кто сказал, что их было только три? Возможно, он напечатал четыре — или девять — различных серий...

— В таком случае затея потеряла бы всякий смысл. Известны только три книги.

— Ясно одно: кто-то хочет восстановить оригинальный вариант. И старается завладеть полным набором гравюр... — Ла Понте говорил с набитым ртом, весьма активно расправляясь с завтраком. — Важно, что сами по себе эти экземпляры не имеют для него библиофильской ценности. Как только ему удается заполучить нужные гравюры, ос-

тальное он уничтожает. И убивает владельцев. В Синтре — Виктора Фаргаша. Здесь, в Париже, — баронессу Унгерн. В Толедо — Варо Борху... — тут он запнулся и, так и не дожевав уже засунутый в рот кусок круассана, разочарованно посмотрел на Корсо. — Знаешь, тут цепочка не получается. И рушится очень красивая версия. Ведь Варо Борха пока жив.

— Потому что его книга у меня. А на мне-то они уже постарались отыграться — и вчера вечером, и нынче утром.

Но его слова, видимо, до конца Ла Понте не убедили.

— Вот ты сейчас сказал: "Постарались отыграться"... А почему Рошфор не убил тебя?

— Не знаю, — Корсо развел руками. Он и сам задавал себе тот же вопрос. — У него дважды была такая возможность, но он ею не воспользовался... А что касается Варо Борхи... то есть жив он или нет... Я бы не спешил с выводами. На мои телефонные звонки он не отвечает.

— Поэтому его можно считать кандидатом в покойники. Или в подозреваемые... По логике, Варо Борху следует отнести к главным подозреваемым. Именно он располагает необходимыми средствами, чтобы все это организовать, — Флавио кивнул на девушку, которая продолжала читать, вроде бы не вникая в их спор. — А вот она, если бы захотела, могла бы нам кое-что прояснить.

— А она не хочет...

— Значит, ты должен пойти и донести на нее. Когда совершаются убийства, такая позиция имеет свое название — соучастие.

— Донести, говоришь?.. Да ведь я и сам по уши увяз в этой истории, Флавио. Как и ты, между прочим.

Девушка прервала чтение и невозмутимо посмотрела сперва на одного, потом на другого, но рот открыла только для того, чтобы взять в зубы соломинку и снова заняться соком. В глазах ее отразились по очереди Корсо, затем Ла Понте. В конце концов она остановила взгляд на Корсо.

— А ты и вправду ей доверяешь? — спросил Ла Понте.

— Зависит от обстоятельств. Вчера она дралась за меня, и у нее это отлично получилось.

Книготорговец уставился на девушку и скорчил недоверчивую мину. Скорее всего, он пытался представить ее в роли телохранителя. А еще он наверняка прикидывал, какие отношения у них с Корсо. Корсо сразу заметил, как его приятель, поглаживая бородку, опытным взглядом оценил то, что в данный момент не было скрыто курткой. Сомневаться не приходилось: Ла Понте готов был тотчас начать атаку и идти до победного конца, если только девушка даст ему хоть малейший повод, — несмотря на то, что она вызывала у него серьезные подозрения. Даже в такие, очень непростые, минуты бывший генеральный секретарь Братства гарпунеров Нантакета мечтал об одном — вернуться к истокам, к лону. К любому лону.

— Слишком красивая, — Ла Понте тряхнул головой, словно вынес окончательный приговор. — И слишком молодая. Слишком... для тебя.

Корсо улыбнулся:

— Ты бы удивился, если бы увидел, какой старой она порой выглядит.

Книготорговец недоверчиво причмокнул:

— Такие подарки с неба не падают.

Девушка молча следила за разговором. И наконец в первый раз за весь день улыбнулась, словно услыхала забавную шутку.

— Ты слишком много говоришь, Флавио Как-Там-Тебя-Зовут, — обратилась она к Ла Понте, который от неожиданности часто заморгал. Но тут ее улыбка сделалась ехидной, как у злого мальчишки. — И запомни, не твое дело, было что между мной и Корсо или нет.

Она впервые заговорила с книготорговцем. Стряхнув изумление, Ла Понте повернул голову к другу, напрасно ища у него поддержки — Корсо только улыбнулся.

— Кажется, я здесь лишний, — Ла Понте сделал вид, что хочет подняться, но не поднялся, а остался сидеть, глядя на них в нерешительности, пока Корсо не хлопнул его по плечу — примирительно и дружелюбно.

— Не будь идиотом. Она на нашей стороне.

Ла Понте несколько успокоился, но с сомнениями окончательно не распрощался.

— Так пусть она это докажет. Пусть выкладывает все, что знает.

Корсо перевел взгляд на девушку и увидел полуоткрытые губы, нежную, манящую шею. Ему захотелось проверить, пахнет ли она по-прежнему теплом и лихорадочным жаром, и он на миг окунулся в воспоминания. Два зеленых зеркальца, в которых отразился весь утренний свет, как всегда невозмутимо и спокойно выдержали его взгляд. Но улыбка, еще минуту назад обращенная к Ла Понте и преисполненная презрения, теперь стала совсем иной. В ней опять мелькнула едва заметная энергия — молчаливый знак поддержки и солидарности.

— Мы вели речь о Варо Борхе, — обратился к ней Корсо. — Ты его знаешь?

Мимолетное выражение преданности тотчас стерлось с ее лица; перед ними опять сидел усталый, ко всему безразличный солдат. Охотнику за книгами даже померещилась искорка пренебрежения в ее глазах. Корсо положил руку на мраморный стол.

— Возможно, он просто использовал меня в своих целях. А тебя пустил по моему следу, — такое предположение и самому Корсо показалось нелепым. Чтобы библиофил-миллионер обратился за помощью к этой девушке, желая заманить Корсо в ловушку... — Не исключено, что миледи и Рошфор — его агенты.

Она ничего не ответила и снова уткнулась в "Трех мушкетеров". Зато упоминание о миледи разбередило рану Ла Понте; тот залпом допил свой кофе и поднял вверх указательный палец:

— Тут я совсем ничего не могу понять. Какое отношение ко всему этому имеет Дюма? При чем тут моя рукопись "Анжуйского вина"?

— "Анжуйское вино" попало к тебе в руки совершенно случайно, — Корсо снял очки и теперь проверял на свет их чистоту, спрашивая себя, долго ли выдержит разбитое стекло. — Это весьма и весьма темный эпизод, пожалуй, самый темный; и в нем есть интересные совпадения: кардиналу Ришелье, злому гению из "Трех мушкетеров", нравились оккультные науки. Договоры с дьяволом дают власть, а Ришелье был самым могущественным человеком во Франции. Чтобы покончить с dramatis personae[4], добавим: в романе Дюма у кардинала есть два верных агента, выполняющих его приказания, — шевалье де Рошфор и леди Винтер. Она — белокурая, коварная, с цветком лилии на плече. Он — смуглый, на лице шрам... Улавливаешь? И у нее, и у него есть свой знак. А если искать

параллели, сразу вспоминается, что согласно Апокалипсису, слуги дьявола узнают друг друга по знаку Зверя.

Девушка, не поднимая головы от книги, пила сок, зато Ла Понте вздрогнул, словно учуял, что запахло жареным, и на лице его было написано: одно дело любовная интрижка с пышной блондинкой и уж совсем другое — спутаться с ведьмой. Он нервно заерзал на стуле.

— Проклятье! Остается надеяться, что я не подцепил какой-нибудь заразы.

Корсо глянул на него без тени сочувствия:

— Ну что? Слишком много совпадений, не правда ли?.. Но есть и другие, — он подышал на стекла очков и протер целое стекло бумажной салфеткой. — В "Трех мушкетерах" миледи, как выяснилось, была женой Атоса, друга д'Артаньяна. Когда Атос обнаружил у нее на плече клеймо, он решил, что должен казнить ее сам. И повесил, посчитал, что она умерла, но та выжила и так далее... — он нацепил очки на нос. — А теперь кто-то от души развлекается...

— Я понимаю Атоса, — бросил Ла Понте, нахмурившись и, вне всякого сомнения, вспомнив гостиничный счет. — Мне тоже не терпится встретиться с ней. И повесить. Как Атос свою жену.

— Или как Лиана Тайллефер своего мужа. Мне не хочется ранить твое самолюбие, Флавио, но поверь, ты ее ни капельки не интересовал. Она хотела только одного — получить обратно рукопись, которую продал тебе Энрике.

— Дрянь! — зло прошептал Ла Понте. — Все это ее рук дело. А этот, с усами и шрамом, только помогал ей.

— Чего я по-прежнему не могу понять, — продолжал Корсо, — так это связи между "Тремя мушкетерами" и "Девятью вратами"... Единственное объяснение: Александр Дюма тоже решил достичь вершин мироздания... У него было все, что только может пожелать человек: успех и власть, слава, деньги и женщины. Все у него в жизни получалось, как будто он пользовался какими-то особыми привилегиями, которые давал ему некий договор. Знаете, когда он умер, сын, другой Дюма, сказал о нем любопытную вещь: "Он умер так же, как и жил, — не заметив этого"[5].

Ла Понте с явным недоверием взглянул на Корсо:

— Ты что, намекаешь, что Александр Дюма продал душу дьяволу?

— Ни на что я не намекаю. Просто пытаюсь расшифровать смысл романа, который кто-то сочиняет, сделав меня главным героем... Очевидно одно: интрига завязалась в тот миг, когда Энрике Тайллефер решил продать рукопись Дюма. Вот где начинается загадка. Его мнимое самоубийство, мой визит к вдове, первое столкновение с Рошфором... И поручение Варо Борхи.

— А что такого особенного содержится в этой рукописи... Почему и кого она так беспокоит?

— Понятия не имею, — Корсо посмотрел на девушку. — Может, она нам что-нибудь объяснит...

Но та только устало пожала плечами и даже не подняла глаз от книги.

— Это, Корсо, твоя история, — нехотя промолвила она. — И, насколько я понимаю, ты получаешь за свою работу деньги.

— Но ты каким-то образом со всем этим связана...

— Отчасти, — она сделала рукой неопределенный жест, из тех, что абсолютно ничего не поясняют, потом перевернула страницу. — Только отчасти.

Задетый за живое Ла Понте наклонился к Корсо:

— Слушай, а ты не пробовал хоть раз ей врезать?

— Молчи, Флавио.

— Вот именно, молчи, — подхватила девушка.

— Смешно ведь! — пожаловался торговец книгами. — Она ведет себя как королева. А ты, вместо того чтобы поставить ее на место, терпишь. Я тебя не узнаю, Корсо. Знаешь, какой бы красоткой-раскрасоткой она ни была, не думаю, что... — он замолк, подыскивая подходящее слово. — Откуда у нее столько гонора?

— Однажды она вступила в поединок с архангелом, — пояснил охотник за книгами. — А вчера вечером я видел, как она разбила морду Рошфору... Понял? Тому самому Рошфору, который сегодня утром тряс меня как грушу, пока ты отсиживался на биде.

— На унитазе.

— Ага, большая разница... — Корсо было не до шуток. — Да, отсиживался в своей роскошной пижаме. Прямо принц Данила из "Императорских фиалок"[6]. А я, кстати, и не знал, что ты для интимных встреч надеваешь пижаму.

— Не твое дело, — Ла Понте бросал на девушку смущенные взгляды, явно желая замять тему. — Если хочешь знать, я по ночам мерзну и часто простужаюсь. И вообще, мы ведь вроде говорили об "Анжуйском вине", — было очевидно, что он ухватился за Дюма как за соломинку. — Что ты разузнал про эту главу?

— Она подлинная. Писали ее два человека, потому и два почерка, сам Дюма и его помощник Огюст Маке.

— А про этого типа ты что-нибудь выяснил?

— Про Маке? А там и выяснять особо нечего. Они с Дюма рассорились — Маке обращался в суд и требовал денег. Но есть одна любопытная деталь: Дюма все растратил при жизни и умер нищим; а вот Маке состарился в богатстве и даже стал владельцем замка. Так что у обоих дела шли неплохо — у каждого на свой лад.

— Значит, эту главу они написали вдвоем?

— Маке сделал первоначальный набросок, первый вариант — очень незамысловатый, а Дюма отшлифовал его, превратил в произведение искусства... Правил он прямо поверх текста помощника. Сюжет ты знаешь: миледи пытается отравить д'Артаньяна.

Ла Понте нервно рассматривал свою пустую чашку.

— И что мы имеем в итоге?

— Я бы сформулировал так: некто, считающий себя, скажем, реинкарнацией Ришелье, сумел завладеть всеми гравюрами из "Delomelanicon" и главой Дюма, в которой каким-то образом, хотя понятия не имею каким, можно отыскать ключ ко всему, что теперь происходит. И возможно, как раз в этот миг он пытается вызвать Люцифера. В итоге ты остался без рукописи, Варо Борха — без книги, а я попал в очень скверное положение.

Он достал из кармана письмо Ришелье, чтобы еще раз взглянуть на него. Казалось, Ла Понте был с ним полностью согласен.

— Потеря рукописи — ерунда, — добавил он. — Я, конечно, заплатил за нее Тайллеферу, но не так уж и много, — он фальшиво захихикал. — Во всяком случае, с Лианы я получил натурой. Но вот тебе не позавидуешь, ты действительно попал в переделку.

Корсо метнул взгляд на девушку, которая продолжала молча читать:

— Может, она нам скажет, в какую именно переделку я попал? — Он скорчил гримасу, а потом стукнул костяшками пальцев по столу, совсем как игрок, у которого кончились карты и который смирился с поражением.

Но и на сей раз ответа не последовало.

Ла Понте с упреком прорычал:

— Не могу я понять, ну почему ты ей доверяешь?

— Он тебе уже объяснил, — лениво и словно нехотя бросила девушка. Потом вынула соломинку из стакана и положила между страницами книги вместо закладки. — Я его охраняю.

Корсо радостно закивал, хотя особого повода для радости не наблюдалось:

— Вот-вот, слышишь? Она мой ангел-хранитель!

— Правда? Тогда она могла бы охранять тебя получше. Где она была, когда Рошфор украл у тебя сумку?

— Зато ты был рядом.

— Я — другое дело, я тихий торговец книгами. И мирный. Антипод человека действия. Если бы я явился на конкурс трусов, судьи наверняка дисквалифицировали бы меня. За трусость...

Корсо слушал его рассеянно. Дело в том, что он только что сделал открытие. Тень от колокольни падала на пол рядом с ними. Широкая темная полоса медленно ползла в противоположном движению солнца направлении. Он заметил, что крест с вершины колокольни лежал теперь у ног девушки, совсем близко, но не касаясь ее. Тень креста опасливо держалась от нее на расстоянии.

Корсо позвонил в Лиссабон, чтобы разузнать, как продвигается дело Виктора Фаргаша. Новости были не слишком обнадеживающими. Пинто сумел получить доступ к отчету судмедэксперта: тот установил, что речь шла о насильственной смерти, жертву в пруду утопили. Полиция Синтры пришла к выводу, что, по всей видимости, убийство было совершено с целью ограбления. Неизвестным или неизвестными. Радовало только то, что пока никто не связывал Корсо с убийством. Еще португалец сообщил, что запустил по цепочке приметы субъекта со шрамом — на всякий случай. Но Корсо ответил, что о Рошфоре можно забыть. Птичка упорхнула.

Казалось, хуже дела идти просто не могли. Но к полудню ситуация осложнилась еще больше. Едва они втроем вошли в вестибюль гостиницы, как Корсо почуял неладное. Грюбер стоял за стойкой регистрации, и сквозь всегдашнее выражение невозмутимого спокойствия из его глаз навстречу Корсо полетел сигнал тревоги. Подходя к стойке, Корсо заметил, как портье будто случайно скользнул взглядом по крючку с номером его комнаты, а потом поднес руку к лацкану куртки и чуть приподнял его — смысл такого сообщения был бы понятен в любой стране.

— Не останавливайтесь, — бросил Корсо через плечо своим спутникам.

Но ему пришлось едва ли не силой тянуть за собой растерявшегося Ла Понте, а вот девушка, не задавая вопросов, как ни в чем не бывало обогнала их и решительно направилась по узкому коридору в сторону кафе, выходившего на площадь Пале-Руайяль. Проходя мимо стойки портье, Корсо успел заметить, как Грюбер положил руку на телефонный аппарат, стоявший сбоку от него.

Они снова очутились на улице, и Ла Понте принялся нервно оглядываться:

— Что случилось?

— Полицейские, — бросил Корсо. — В моей комнате.

— Откуда ты знаешь?

Девушка ни о чем не спрашивала. Она смотрела на Корсо в ожидании указаний. А тот вытащил из кармана конверт со штампом отеля, который накануне вечером ему передал портье, достал оттуда записку с адресом гостиницы, где остановились Ла Понте и Лиана Тайллефер, и вложил в конверт пятисотфранковую банкноту. Он проделал все это неспешно, изо всех сил стараясь казаться спокойным, — чтобы спутники не заметили, как дрожат у него пальцы. Он заклеил конверт, потом зачеркнул свое имя, написал имя Грюбера и вручил девушке.

— Передай это любому гарсону в кафе, — руки у Корсо были влажными, и он вытер их о подкладку карманов. Затем кивнул на телефонную кабину, стоявшую на другой стороне площади. — Меня найдешь вон там.

— А я? — спросил Ла Понте.

Несмотря на все неприятности, Корсо едва не расхохотался прямо ему в лицо. Но совладал с собой и только улыбнулся:

— А ты свободен — ступай на все четыре стороны. Но боюсь, Флавио, что тебе придется пожить в подполье.

Он, лавируя между машинами, зашагал через площадь к телефонной будке и ни разу не оглянулся, чтобы проверить, следует за ним Ла Понте или нет. Но когда за Корсо закрылась стеклянная дверца и он сунул карточку в щель, в нескольких метрах от кабины остановился и торговец книгами — с несчастным и беспомощным видом он озирался по сторонам.

Корсо набрал номер отеля и попросил соединить его с портье.

— В чем дело, Грюбер?

— Явились два полицейских, господин Корсо, — голос бывшего солдата СС звучал приглушенно, но как всегда невозмутимо, не выдавая его чувств. — Они все еще наверху, в вашей комнате.

— А какие-нибудь объяснения дали?

— Никаких. Спросили, какого числа вы прибыли и не знаем ли мы, где вы были приблизительно в два часа ночи. Я ответил, что ничего не знаю, и порекомендовал обратиться к моему напарнику по дежурству. А еще они попросили описать вас, потому что не знают, как вы выглядите. Я обещал, как только вы появитесь, известить их. И теперь я намерен это сделать.

— Что вы им скажете?

— Естественно, чистую правду. Что вы на миг зашли в вестибюль и тотчас повернули назад и что с вами был незнакомый бородатый господин. Что касается мадемуазель, то они ею не интересовались, так что мне незачем о ней упоминать.

— Спасибо, Грюбер, — Корсо сделал паузу и добавил, улыбаясь в трубку. — Я ни в чем не виноват.

— Разумеется, господин Корсо. Клиенты нашего заведения никогда ни в чем не бывают виноваты, — послышался звук разрываемой бумаги. — А! Мне как раз передали конверт от вас.

— Мы еще увидимся, Грюбер. Подержи за мной комнату пару дней; надеюсь забежать за своими вещами. Если возникнут проблемы, можешь воспользоваться номером моей кредитной карточки. И, конечно, спасибо.

— Всегда к вашим услугам.

Корсо повесил трубку. Девушка уже шла обратно и в этот момент как раз поравнялась с Ла Понте. Корсо вышел из кабины и присоединился к ним.

— Полиции известно мое имя. А это значит, что кто-то им его сообщил.

— На меня можешь не смотреть, — сказал Ла Понте. — Я уже сыт по горло твоей историей.

Корсо вдруг с горечью подумал, что сам он тоже сыт ею по горло. И даже выше. Все шло наперекосяк, корабль потерял управление и шарахался из стороны в сторону.

— У тебя есть какой-нибудь план? — спросил он девушку.

Это была единственная ниточка, оставшаяся у него в руках, последняя надежда.

Девушка смотрела поверх плеча Корсо на снующие туда-сюда машины и на решетки Пале-Руайяля. Потом сняла с плеча рюкзак и бросила к ногам. Она раздумывала о чем-то — как всегда молча, напряженно, с отсутствующим видом. Меж бровей у нее залегла маленькая морщинка. Теперь девушка напоминала упрямого мальчишку, который ни за что не желает делать то, чего все от него ждут. На губах Корсо мелькнула улыбка усталого волка.

— Я не знаю, что делать, — признался он.

Он увидел, как девушка медленно кивнула головой, словно наконец, хорошенько все обдумав, пришла к какому-то решению. А может, она просто подтверждала: да, он и на самом деле не знает, что делать.

— Твой злейший враг — это ты сам, — проговорила она равнодушно. Вид у нее тоже был утомленный, почти как минувшей ночью, когда они вернулись в гостиницу. — Тебе не хватает воображения, — она ткнула указательным пальцем себя в лоб. — За деревьями ты не видишь леса.

Ла Понте застонал:

— Умоляю, давай оставим уроки ботаники до более подходящего случая, — он все больше нервничал и все чаще оглядывался по сторонам, будто ждал, что вот-вот из-за угла выскочат полицейские и кинутся на них. — Пора уносить отсюда ноги. Я могу по своим документам арендовать автомобиль. Если поспешить, то можно уже завтра переправиться через границу. Кстати, завтра будет первое апреля.

— Закрой клюв, Флавио, — Корсо вглядывался в глаза девушки, надеясь найти ответ там. Но, как в зеркале, увидел только отражения: залитая светом площадь, проезжающие мимо машины, его собственная физиономия — искаженная, карикатурная. Итак, ландскнехт сражение проиграл. Но нынче почетных и героических поражений уже не бывает. Давно не бывает.

И тут в лице девушки случилась перемена. Она смотрела на Ла Понте так, словно впервые заметила в нем что-то заслуживающее внимания.

— Ну-ка, повтори, что ты сказал.

Книготорговец разинул рот от неожиданности, потом запинаясь пробормотал:

— Про машину? Но ведь это элементарно. Если ты садишься в самолет, тебя заносят в список пассажиров. В поезде могут проверить паспорт...

— Да я не о том. Скажи еще раз, какое завтра число.

– Первое апреля. Понедельник, – Ла Понте растерянно поправил галстук. – Мой день рождения.

Но девушка уже забыла о нем. Она нагнулась к рюкзаку и что-то там искала. Потом выпрямилась. В руке она держала "Три мушкетера".

– Ты невнимательно читаешь, – упрекнула она Корсо и протянула ему книгу. – Глава первая, строка первая.

Корсо никак не мог сообразить, к чему она клонит, но книгу взял и открыл в указанном месте. Глава называлась "Три дара г-на д'Артаньяна-отца". Он прочел первую строку и тотчас понял, где следовало искать миледи.

1. Неточность в цитате, у Дюма – "5 августа 1628 года" (гл. XV. "Супружеская сцена").
2. Ахав – персонаж "Моби Дика" Г. Мелвилла, капитан "Пекода", который всю жизнь свою подчинил одной цели – отомстить белому киту.
3. Римский историк Светоний в "Жизни двенадцати цезарей" ("Август", 23) рассказывает, что император Август, получив сообщение о поражении его полководца Вара в Тевтобургском лесу, когда отборные римские легионы были истреблены германцами (9 г. н. э.), воскликнул: "Квинтилий Вар, верни легионы!"
4. Действующие лица (*лат.*).
5. Почти то же самое Ж. Санд написала в "Ревю де дё монд": "Он был гением жизни, он не почувствовал смерти".
6. "Императорские фиалки" (1958) – роман чешского писателя Владимира Неффа (1909–1983).

XIV. Подвалы Менга

Ночь была жуткой.
П. дю Террайль. *Рокамболь*

Ночь была жуткой. Луара бесновалась, и вода поднялась так высоко, что в любой миг могла перехлестнуть через старые дамбы, защищающие небольшой городок Менг. Гроза разразилась перед самыми сумерками, и до сих пор кромешную тьму над громадой замка то и дело прорезали молнии; огненные зигзаги, словно хлысты, щелкали над каменной пустыней — средневековыми улочками, по которым лупил ливень. Вдалеке, на другом берегу реки, сквозь порывы ветра, несущего содранные с деревьев листья, и сквозь стену дождя можно было увидеть огни, беззвучно летящие по автостраде Тур — Орлеан; и казалось, что ненастье проложило границу между недавним прошлым и незапамятным настоящим.

В гостинице "Сен-Жак", единственной в Менге, светилось только одно, распахнутое настежь, окно. Оно выходило на маленькую террасу, куда легко было попасть прямо с улицы. В комнате перед зеркалом одевалась очень красивая высокая блондинка с собранными на затылке волосами. Она только что застегнула молнию на юбке, и теперь никто бы не догадался, что на бедре у нее вытатуирован маленький цветок лилии. Заведя руки за спину, она пыталась справиться с застежкой бюстгальтера, обтягивающего пышные, пенно-белые груди, которые мягко колыхались при каждом ее движении. Потом она надела шелковую блузку, сдержанно улыбнулась и, пока руки ее занимались пуговицами, внимательно изучала собственное отражение. И, по всей видимости, осталась им довольна. Как можно было догадаться, женщина собиралась на свидание, ведь никто не станет наряжаться в одиннадцать часов вечера, не условившись с кем-нибудь о встрече. Что касается победной и слегка жестокой улыбки, с которой женщина поглядывала в зеркало, то она, возможно, относилась еще и к новой кожаной папке, лежавшей на кровати. Из папки высовывались страницы рукописи "Анжуйского вина" Александра Дюма-отца.

Близкая молния осветила маленькую террасу у окна. Там, под коротким козырьком, с которого стекали потоки воды, стоял Лукас Корсо. Он сделал последнюю затяжку, отшвырнул промокшую сигарету и поднял воротник плаща, чтобы хоть как-то защититься от ливня и ветра. Снова сверкнула молния, и, будто при вспышке гигантского фотоаппарата, охотник за книгами разглядел мертвенно-бледное лицо Флавио Ла Понте. Промельки света и тени, а также струйки воды, сбегавшие по его шевелюре и бороде, делали книготорговца похожим не то на изнуренного монаха, не то на Атоса — мрачного, как само отчаяние, и сурового, как Божья кара. Потом вспышки прекратились, но Корсо чувствовал близость еще одного существа; рядом с ним под козырьком притаилась Ирэн Адлер, закутанная в свою неизменную курточку. И когда наконец новая молния наискось резанула небесный свод и удар грома прокатился по шиферной крыше, из-под капюшона, скрывавшего лицо девушки, сверкнули два зеленых огонька.

До Менга они добрались очень быстро, но далось им это нелегко. Они мчались на арендованном Ла Понте автомобиле: сначала по шоссе Париж – Орлеан, потом шестнадцать километров в сторону Тура. Корсо сидел за рулем, Ла Понте – на переднем сиденье рядом с ним и при свете зажигалки "Бик" изучал мишленовскую карту, купленную на бензозаправке. Ла Понте совсем запутался: да, осталось совсем немного, кажется, мы едем правильно... Да, правильно. Девушка устроилась на заднем сиденье и всю дорогу молчала. Но когда фары встречных автомобилей освещали их, Корсо видел в зеркальце прикованный к нему взгляд. Ла Понте, разумеется, ошибся. Они проскочили нужный поворот, не заметив указателя, и двигались в сторону Блуа. Потом спохватились и какое-то время, выбираясь на автостраду, ехали, нарушая все мыслимые правила. Так что Корсо, вцепившись в руль, молил Бога, чтобы гроза подольше держала жандармов в участках. Божанси. Ла Понте твердил, что им надо пересечь реку и повернуть налево, но, к счастью, они его не послушались, а проехали назад по национальному шосее № 152 и повторили маршрут, который д'Артаньян проделал в первой главе. Но теперь их сопровождали жестокие порывы ветра и ливень, а справа неслась Луара – черным ревущим потоком. Дворники бегали туда-сюда, и в свете фар встречных автомобилей сотни крошечных темных точек плясали по лицу Корсо. Но тут за окошком появились пустынные улицы, старинные дома со средневековыми крышами, фасады с мощными балками в форме мельничных крыльев или в форме креста. Менг-на-Луаре. Конец пути.

– Она сейчас улизнет, – прошептал Ла Понте. Он насквозь промок, и голос его дрожал. – Чего тянуть?

Корсо чуть высунулся из-под навеса и заглянул в окно. Лиана Тайллефер надела на блузку обтягивающий свитер, который великолепно подчеркивал достоинства ее фигуры, потом извлекла из шкафа накидку, похожую на карнавальное домино. Корсо видел, как она чуть помедлила, озираясь по сторонам, набросила накидку на плечи и взяла с постели папку с рукописью. Затем повернула голову и шагнула к окну, решив закрыть его.

Корсо быстро выдвинул вперед руку. Как раз в этот миг сверкнула молния – почти над самой его головой – и высветила мокрое от дождя лицо, всю фигуру и вытянутую вперед руку, которая словно грозно указывала на окаменевшую от неожиданности женщину. И тут миледи испустила дикий крик, крик безумного ужаса, как будто перед ней предстал сам дьявол.

Она перестала кричать лишь после того, как Корсо перемахнул через подоконник и дал ей пощечину. Женщина отлетела к кровати, рассыпав листы рукописи по полу. Из-за перемены температуры у Корсо запотели очки, поэтому он быстро снял их и положил на ночной столик, а затем метнулся следом за Лианой Тайллефер, которая уже дергала ручку двери, пытаясь выбраться в коридор. Корсо успел схватить вдову сперва за ногу, потом за талию и снова швырнул на кровать, где она теперь и лежала, извиваясь и дрыгая ногами. Она была сильной женщиной, и он не мог понять, какого черта Ла Понте и девушка медлят и не спешат ему на подмогу? Он удерживал Лиану Тайллефер за кисти рук и уворачивал лицо, потому что она норовила пустить в ход ногти. Они катались по кровати, запутавшись в покрывале, Корсо просунул колено между ее ног и

нос его уткнулся в упругую пышность огромного бюста, который при близком контакте и благодаря тонкому шерстяному свитеру снова показался ему невероятно мягким. Он почувствовал явные признаки эрекции и сквозь зубы зло чертыхнулся, стараясь усмирить эту самую миледи, у которой плечи были такими же широкими, как у олимпийской рекордсменки по плаванию брассом. Да где вы там? Сколько можно медлить? — подумал он раздраженно. И тут подскочил Ла Понте, стряхивающий с себя воду, словно мокрый пес. Он жаждал отомстить за свою поруганную гордость, но главное, за гостиничный счет, который лежал у него в бумажнике, буквально прожигая кожу. Теперь схватка стала напоминать суд Линча.

— Надеюсь, насиловать ее вы не будете, — подала голос девушка. Она сидела на подоконнике, так и не откинув капюшона, и наблюдала за происходящим. Лиана Тайллефер сопротивляться перестала; она лежала недвижно, придавленная телом Корсо, а Ла Понте держал ее за ногу и за руку.

— Свиньи, — очень громко и отчетливо произнесла вдова.

— Сука, — прорычал Ла Понте, еще не отдышавшийся после сражения.

Короткий обмен любезностями всех немного успокоил. Мужчины считали, что теперь миледи не убежать, и потому позволили ей сесть. Она же, пылая гневом, растирала запястья и переводила уничтожающий взор с Ла Понте на Корсо, который занял позицию между пленницей и дверью. А девушка по-прежнему сидела спиной к окну, уже закрытому. Она наконец-то сняла капюшон и с презрительным любопытством разглядывала вдову Тайллефер. Ла Понте вытер краем покрывала голову и бороду, затем принялся собирать рассыпанные по всей комнате страницы рукописи.

— Пришла пора немного потолковать, — сказал Корсо. — Мы ведь люди разумные.

Лиана Тайллефер готова была испепелить его взглядом.

— Нам не о чем толковать.

— Ошибаетесь, красавица. Мы вас все-таки зацапали, и я могу обратиться в полицию. Выбирайте, с кем вам приятней вести беседу — с нами или с жандармами.

Она наморщила лоб, озираясь, словно загнанный зверь. Зверь, который высматривает хоть какую-нибудь щелочку, чтобы вырваться из западни.

— Осторожно, — предупредил Ла Понте. — Она что-то замышляет.

Глаза женщины напоминали два стальных клинка. Корсо скривился, правда немного театрально.

— Лиана Тайллефер, — торжественно произнес он, — хотя мы могли бы называть ее и Анной де Бейль, и графиней де Ла Фер. А еще она пользовалась именами Шарлотты Баксон, баронессы Шеффилд и леди Винтер. Она предавала своих мужей и любовников. Была убийцей и отравительницей, а еще — агентом Ришелье... Но чаще всего ее называли просто миледи.

Он вдруг прервал речь, зацепившись ногой за лямку своей сумки, которая высовывалась из-под кровати. Корсо потянул за лямку, не сводя при этом глаз с Лианы Тайллефер и не выпуская из поля зрения дверь, к которой пленница была готова кинуться при первой возможности. Он сунул руку в сумку, проверяя содержимое, и издал громкий

вздох облегчения, так что все, включая вдову, взглянули на него с изумлением. "Девять врат", экземпляр Варо Борхи, лежал там в целости и сохранности.

— Есть! — торжественно провозгласил он, показывая книгу присутствующим.

Ла Понте сделал победный жест, как если бы Квикег попал гарпуном в кита; но девушка даже не шелохнулась, будто происходящее ничуть ее не касалось.

Корсо убрал книгу обратно в сумку. За окном, у которого сидела девушка, свистел ветер. Вспышки молнии время от времени вычерчивали ее силуэт. Потом в комнату долетали раскаты грома, но уже ослабленные и приглушенные, хотя и от них дребезжали залитые дождем стекла.

— Подходящая ночь, — обратился Корсо к вдове. — Как видите, миледи, мы решили не пропускать свидания... И прибыли, чтобы вершить правосудие.

— Да, ночью, целой оравой, как последние трусы, — ответила она, презрительно выплевывая слова. — С той поступили так же. Не хватает только палача из Лилля.

— Всему свое время, — вставил Ла Понте.

Женщина пришла в себя и временами держалась довольно уверенно. О палаче упомянула бесстрастно и на их взгляды отвечала с вызовом.

— Как вижу, — добавила она, — вы хорошо вошли в свои роли.

— Чему же тут удивляться? — отозвался Корсо. — Вы со своими сообщниками позаботились об этом... — Он скривил рот и сразу стал похож на жестокого волка, не знающего пощады и не расположенного к шуткам. — И все мы от души повеселились.

Женщина сжала губы. Рука с кроваво-красными ногтями скользнула по покрывалу. Корсо следил за ее движением как зачарованный, словно там таилось смертоносное жало. Он содрогнулся, подумав, что во время схватки рука эта несколько раз оказывалась у самого его лица.

— Вы слишком много себе позволяете, — промолвила вдова после паузы. — К тому же вы самозванцы.

— Ошибаетесь. Мы — участники игры, как и вы.

— Да, но вот правил этой игры вам знать не дано.

— Снова ошибаетесь, миледи. И доказательством тому наше присутствие здесь, — Корсо огляделся по сторонам, отыскивая очки, и наконец обнаружил их на ночном столике. Потом надел, подправив указательным пальцем. — Как раз это и было самым сложным: усвоить характер игры, примерить на себя вымысел, погрузиться в сюжет, перенять его логику, ту, которой требует текст, и отказаться от логики внешнего мира... И тогда продолжать уже легко, потому что, если в реальности многое происходит случайно, в литературе почти все подгоняется под логические законы.

Красный ноготь Лианы Тайллефер застыл в неподвижности.

— И в романах тоже? — спросила она.

— В романах прежде всего. Там, если главный герой наделен логикой преступника, он неизбежно возвращается в исходную точку. Именно поэтому в финале обязательно происходит встреча героя и предателя, сыщика и убийцы, — он улыбнулся, довольный своими рассуждениями. — Разве не так?

— Великолепно! — с иронией заметила Лиана Тайллефер.

Между тем Ла Понте глядел на Корсо раскрыв рот, и его изумление было вполне искренним.

— Брат Вильгельм Баскервильский[1], полагаю...

— Какая банальность, миледи. Вы забыли, например, Конан Дойла и Эдгара Аллана По. И даже самого Дюма. А я ведь было принял вас за весьма начитанную даму.

Женщина пристально глянула на охотника за книгами.

— Теперь вы убедились, что не стоит растрачивать на меня ваши таланты, — процедила она язвительно. — Мне их все равно не оценить.

— Знаю. Но мы явились сюда, чтобы вы устроили нам встречу с тем, кто их оценит, — он посмотрел на наручные часы. — До первого понедельника апреля остается чуть больше часа.

— Хотелось бы мне знать, как вы до этого додумались?

— Это не я, — Корсо повернулся в сторону девушки, которая по-прежнему сидела у окна. — Она сунула мне под нос книгу... А ведь когда нужно до чего-нибудь докопаться, книга поможет скорее, чем реальный мир: в книгах все раз и навсегда закреплено и не зависит от досадных случайностей. Вспомните лабораторию Шерлока Холмса.

— Хватит распускать хвост, Корсо, — раздраженно бросила девушка. — Ты уже и так произвел на нее впечатление.

Женщина подняла бровь и глянула на него так, словно видела впервые:

— Кто это?

— А разве вы ее не знаете?.. И никогда раньше не встречали?

— Никогда. Мне говорили, что существует какая-то девчонка, но откуда она взялась, не объяснили.

— И кто же вам про нее говорил?

— Один друг.

— Высокий, смуглый, с усами и шрамом на лице? И еще у него разбита губа... Славный Рошфор! Честно признаюсь, мне бы очень хотелось узнать, где он теперь. Думаю, не слишком далеко... Вы выбрали двух достойных героев.

Почему-то именно эта фраза окончательно вывела из себя Лиану Тайллефер. Кроваво-красный ноготь впился в покрывало, как будто это было тело Корсо, а глаза вдруг оттаяли, но миг спустя засверкали бешеной ненавистью.

— А что, другие герои этого романа вам нравятся больше? — миледи высокомерно вскинула голову и обвела взглядом присутствующих. — Атос — пьяница, Портос — идиот, Арамис — ханжа-заговорщик.

— И это справедливо... С вашей точки зрения... — согласился Корсо.

— Да замолчите вы! Не вам судить о моей точке зрения!.. — Лиана Тайллефер немного помолчала, выставив вперед подбородок и впившись взглядом в Корсо, словно настал черед вынести суждение о нем самом. — Что касается д'Артаньяна, то этот хуже всех... Бретер? Умелый фехтовальщик? Да ведь в "Трех мушкетерах" описано только четыре его дуэли, при этом де Жюссака он побеждает, когда тот делает неудачный выпад, а потом выпрямляется... А Бернажу? Безрассудно кидается в атаку и напарывается на его шпагу. В схватке с англичанами он всего лишь обезоруживает барона. И ему понадобилось трижды ранить графа де Варда, прежде чем тот рухнул на землю. Он щедр? — тут она презрительно повела подбородком в сторону Ла Понте. — Д'Арта-

ньян еще больший скряга, чем ваш приятель. Ведь он впервые пригласил своих друзей на пирушку уже в Англии, после дела Монка[2]. Тридцать пять лет спустя.

— Как вижу, вы тут эксперт, хотя этого следовало ожидать. В вашем доме хранилось столько романов-фельетонов, которые вы якобы ненавидели... Поздравляю! Вы отлично сыграли роль вдовы, сытой по горло экстравагантными увлечениями мужа.

— Я ни капли не притворялась. Он ведь собирал старые, никому не нужные и посредственные книжонки. И сам Энрике был таким же — посредственностью: он так и не научился читать между строк, отделять золото от пустой породы... Он был из числа тех идиотов, что всю жизнь мотаются по миру и собирают фотографии всяких достопримечательностей, даже не пытаясь что-то о них разузнать.

— А вы, разумеется, не из таких.

— Конечно! Знаете, какие две книги были самыми первыми в моей жизни? "Маленькие женщины"[3] и "Три мушкетера". Обе потрясли меня, но каждая по-своему.

— Ах, как трогательно!

— Перестаньте! Вы задали мне несколько вопросов, и я пытаюсь на них ответить... Бывают наивные читатели — такие, как бедный Энрике. И читатели, которые хотят копнуть поглубже и восстают против стереотипов: д'Артаньян — храбрый, Атос — рыцарь, Портос — добродушный, Арамис — верный... Господи, не смешите меня! — тут и на самом деле раздался ее театральный и зловещий, как у миледи, хохот. — Если бы вы только знали... Из всего этого я сохранила в душе один образ — он всегда безмерно восхищал меня... Белокурая дама, в любой ситуации верная себе самой и тому, кому она взялась служить. Она боролась в одиночку, надеялась только на себя, и вот ее-то подло убили четыре картонных храбреца... А загадочный сын, сирота, выходящий на сцену двадцать лет спустя! — она склонила голову, не в силах справиться с чувствами, и во взгляде ее вспыхнула такая ненависть, что Корсо чуть не попятился назад. — Я так отчетливо помню ту гравюру, как будто она и теперь лежит передо мной: река, ночь, четыре негодяя стоят на коленях, но милосердие чуждо их сердцам... А с другой стороны — палач; он поднял обе руки и занес широкий меч над обнаженной шеей женщины...

Вспышка молнии внезапно осветила искаженное лицо Лианы Тайллефер, нежно-белую шею, зрачки, впитавшие в себя трагическую сцену, которую она вспоминала теперь так, словно видела когда-то на самом деле. Потом громыхнул гром и снова задрожали стекла.

— Негодяи, — повторила она отрешенно, тихим голосом, и Корсо не мог понять, говорила она о нем и его спутниках или о д'Артаньяне с друзьями.

Сидевшая на подоконнике девушка порылась в своем рюкзаке и достала "Трех мушкетеров". Затем очень спокойно и неспешно стала перелистывать, что-то отыскивая. Она по-прежнему вела себя как сторонняя наблюдательница. Найдя нужное место, молча кинула открытую книгу на постель. Это была описанная Лианой Тайллефер гравюра.

— "Victa iacet virtus", — пробормотал Корсо, вздрогнув, потому что иллюстрация поразительно напоминала восьмую гравюру из "Девяти врат".

Заглянув в книгу, женщина как-то сразу успокоилась. Она только повела бровью — холодно, надменно. Иронично.

— Так оно и есть, — согласилась она. — Вы ведь не скажете, что эту добродетель воплощает в себе д'Артаньян. Изворотливый гасконец... А что до его любовных подвигов... На протяжении всего романа он соблазняет трех женщин, двух из них — обманом. Его великая любовь — галантерейщица с не очень изящными ножками, которая служит кастеляншей у королевы. Еще одна — английская горничная, и он ее подло использует, — теперь смех Лианы Тайллефер звучал оскорбительно. — А его любовные истории в "Двадцать лет спустя"?.. Связь с хозяйкой постоялого двора... Лишь ради того, чтобы не платить за комнату... Хорош герой-любовник! Весь улов — служанки, горничные да трактирщицы!

— Зато он соблазнил миледи, — ехидно вставил Корсо.

И снова лед в глазах Лианы Тайллефер был разбит вспышкой гнева. Если бы взгляд мог убивать, охотник за книгами тотчас рухнул бы бездыханным к ее ногам.

— Да ведь это не его заслуга, — ответила вдова. — Верно, негодяй побывал в ее постели, но обманом, выдав себя за другого, — она несколько успокоилась, хотя голубая сталь ее взгляда по-прежнему напоминала отточенный клинок. — Вы бы с ним составили замечательную парочку! Два гнусных негодяя!

Ла Понте слушал очень внимательно; казалось, еще немного и будет слышно, как шевелятся мысли у него в голове. Вдруг он наморщил лоб:

— Подождите, подождите, так вы что?..

Он повернулся к девушке, ища поддержки; до него всегда все доходило с опозданием. Но девушка по-прежнему сидела отчужденно и глядела на них так, словно дела эти ее не касались.

— Какой же я болван! — Ла Понте подошел к окну и стал биться головой о раму.

Лиана Тайллефер с презрительной миной посмотрела на него, потом повернулась к Корсо:

— Зачем вам понадобилось тащить его сюда?

— Болван! Болван! — повторял Ла Понте, и удары его становились все сильнее.

— Он воображает себя Атосом, — пояснил Корсо, желая оправдать друга.

— Скорее Арамисом. Самовлюбленный фат... Знаете, когда он был со мной в постели, он все время косился на свою тень на стене — на очертания собственного профиля...

— Надо же!

— Уж поверьте!

Ла Понте решил наконец отойти от окна.

— Вам не кажется, — бросил он с досадой, — что мы отклоняемся от темы?

— Он прав, — признал Корсо. — Итак, миледи, мы вели речь о добродетели. И вы просвещали нас, давая свое толкование поступкам д'Артаньяна и его друзей.

— А разве я не права? Разве много достоинств можно найти у этих фанфаронов, которые используют женщин, принимают от них деньги, мечтают только о карьере и богатстве? Миледи — умная и отважная, она берет сторону Ришелье и служит ему верой и правдой, готова отдать за него жизнь...

— И, служа ему, убивает других.

— Вы же сами недавно сказали: существует внутренняя логика повествования.

— Внутренняя?.. Это зависит от точки, в которую мы себя поставим. Вашего мужа убили вовсе не в романе... И смерть его была вполне реальной.

— Вы сошли с ума, Корсо! Моего мужа никто не убивал. Энрике сам повесился.

— А Виктор Фаргаш тоже сам утопи́лся?.. А баронесса Унгерн? Она что, неосторожно обращалась с микроволновой печью?

Лиана Тайллефер повернулась к Ла Понте, потом — к девушке, словно не верила своим ушам и желала, чтобы они подтвердили, что она правильно все расслышала. С того мига, как они проникли через окно в комнату, она впервые выглядела по-настоящему растерянной.

— О чем вы говорите?

— О девяти подлинных гравюрах из "Девяти врат в царство теней".

Через закрытое окно, сквозь шум дождя и ветра до них долетел бой башенных часов. И тотчас одиннадцать ударов эхом отозвались в доме, внизу, куда вели коридор и лестница.

— В этой истории слишком много сумасшедших, — сказала Лиана Тайллефер. При этом глаза ее были прикованы к двери. С последним ударом часов в коридоре послышался шум, и взор вдовы победно вспыхнул.

— Берегись! — прошептал вдруг Ла Понте, хотя Корсо и сам уже сообразил, что́ именно должно сейчас произойти. Краешком глаза он заметил, как девушка вскочила с подоконника и напряглась, будто готовясь к прыжку. Охотник за книгами почувствовал, как в кровь его хлынули потоки адреналина.

Все смотрели на дверную ручку. Она поворачивалась очень медленно, совсем как в фильмах ужасов.

— Всем добрый вечер, — произнес Рошфор.

На нем были наглухо застегнутый, блестевший от воды дождевик и фетровая шляпа, из-под которой сверкали темные неподвижные глаза. Шрам наискось пересекал смуглое лицо — лицо южанина, что подчеркивалось еще и пышными черными усами. Секунд пятнадцать он стоял на пороге распахнутой двери — так и не вытащив руки из карманов дождевика, в луже воды, которая успела образоваться под его ботинками. Никто не проронил ни слова.

— Рада видеть тебя, — нарушила наконец молчание Лиана Тайллефер.

Вновь прибывший отвесил легкий поклон в ее сторону, но ничего не ответил. Вдова, все еще сидевшая на кровати, указала на Корсо:

— Они слишком много себе позволяют.

— Надеюсь, мы все уладим, — ответил Рошфор.

Он говорил так же вежливо и любезно, с тем же неуловимым акцентом, как и на шоссе в Синтре. Он продолжал спокойно стоять в двери, вперив взор в охотника за книгами, словно ни Ла Понте, ни девушки вообще не существовало. Нижняя губа его все еще была распухшей — со следами меркурхрома, два шва стягивали свежую рану. Сувенир с набережной Сены, зло подумал Корсо, краем глаза следя за тем, как реагирует на появление гостя девушка. Но она, выказав сначала легкую ото-

ропь, снова выбрала роль зрительницы, которую мало интересовал ход событий на сцене.

Не теряя из виду Корсо, Рошфор обратился к миледи:

— Как они здесь оказались?

Женщина неопределенно махнула рукой.

— Нам попались сметливые ребята, — она скользнула взглядом по Ла Понте и уставилась на Корсо, — по крайней мере один из них оказался очень сообразительным.

Рошфор снова кивнул. Он чуть прищурился и, видимо, обдумывал ситуацию.

— Это осложняет дело, — сказал он наконец. Потом снял шляпу и бросил на кровать. — Очень осложняет.

Лиана Тайллефер придерживалась того же мнения. Она поправила юбку и с глубоким вздохом встала. Корсо дернулся было в ее сторону, но как поступить, не знал. Между тем Рошфор вынул руку из кармана, и охотник за книгами понял, что тот левша. А понять было не так уж и трудно: именно в левой руке он сжимал револьвер с коротким стволом — маленький, иссиня-черный. Лиана Тайллефер подошла к Ла Понте и забрала у него рукопись Дюма.

— А теперь попробуй повтори, как ты меня обозвал. Сука? — вдова стояла совсем близко от Ла Понте и смотрела на него с таким презрением, что казалось, вот-вот плюнет ему в лицо. — Ты ведь такой смелый...

Ла Понте смелым не был. Инстинкт самосохранения действовал у него безотказно, а замашки неустрашимого гарпунера он придерживал до моментов пьяной эйфории. И потому повторять он, конечно, ничего не стал.

— Я, собственно, здесь случайно, просто проходил мимо, — заявил он вдруг самым мирным тоном, рыская глазами в поисках посудины, в которой можно было бы умыть руки — и разом откреститься от всей этой истории.

— Эх, Флавио, — медовым голосом произнес Корсо, — что бы я без тебя делал?

Ла Понте скорчил сочувственную гримасу и стал извиняться.

— Ты несправедлив, — он обиженно наморщил лоб и перебрался поближе к девушке; видимо, место у окна показалось ему самым безопасным в комнате. — Ведь если разобраться, это ты искал приключений, Корсо... К тому же для таких, как ты, смерть — ничто, пустяк... За что тебе и платят кучу денег... А в жизни и без того полно неприятностей, — он как завороженный смотрел на пистолет в руке Рошфора. Потом обнял девушку и печально вздохнул: — Надеюсь, ты выкрутишься, Корсо. Но если с тобой что-нибудь случится, знай: на нашу долю выпадет тяжкое испытание — жить дальше без тебя.

— Свинья. Предатель.

Ла Понте посмотрел на него с горечью:

— Знаешь, дружище, я постараюсь забыть твои слова. Ты нервничаешь...

— Да, я нервничаю, помойная крыса.

— И это тоже я пропущу мимо ушей.

— Сукин сын.

— Ты мой старый товарищ, Корсо, и я готов стерпеть многое. В таких вот мелочах и проявляется дружба.

— Приятно видеть, — язвительно заметила миледи, — как вы прямо горой стоите друг за друга.

Корсо старался побыстрей шевелить мозгами, хотя в такой ситуации от любой мыслительной операции толку было мало. Силой мысли не вырвешь оружие из руки прицелившегося в тебя человека; и хотя Рошфор ни в кого конкретно не целился, да и револьвер держал как-то вяло, важно было, что он этот самый револьвер вообще держал. С другой стороны, Корсо конечно же горел желанием заставить человека со шрамом заплатить ему по кое-каким просроченным счетам, но он отлично понимал, что той физической ловкостью, которая необходима для молниеносной атаки, он не обладает. Ла Понте из игры вышел. Оставалась одна надежда — на девушку, только она могла изменить соотношение сил. Хотя на нее, видимо, надеяться не стоило, во всяком случае, достаточно было взглянуть на Ирэн Адлер, чтобы всякая надежда испарилась. Если только девушка не была гениальной актрисой. Ирэн Адлер сбросила со своих плеч руку Ла Понте, снова присела на подоконник и наблюдала за сценой с необъяснимым безразличием. Как это ни абсурдно, но казалось, что она решила до конца оставаться только зрительницей.

Лиана Тайллефер приблизилась к Рошфору с рукописью Дюма в руках, очень довольная тем, что сумела так быстро получить ее обратно. Корсо с удивлением обнаружил, что она почему-то не проявляла такого же интереса к "Девяти вратам" — книга продолжала лежать в холщовой сумке, которая валялась на полу у кровати.

— И что нам теперь делать? — услышал он тихий вопрос миледи, обращенный к Рошфору.

Как ни странно, Рошфор явно пребывал в нерешительности. Он водил револьвером туда-сюда, словно не зная, в кого же наконец прицелиться. Потом они с миледи обменялись долгим и полным тайного смысла взглядом, после чего он вынул из кармана правую руку и провел ею по лицу.

— Нет, здесь их оставлять нельзя, — решил он.

— Что же, тащить их с собой? — возразила женщина.

Рошфор очень медленно кивнул. Потом глянул на револьвер, словно тот мог подсказать выход из положения. Корсо заметил, что оружие вдруг словно окаменело в руке человека со шрамом, и теперь дуло было направлено прямо в живот охотнику за книгами. Корсо ощутил, как напряглись его брюшные мышцы, пока он пытался по всем правилам синтаксиса — подлежащее, сказуемое, дополнение — сформулировать протест. Но сумел выдавить из себя лишь бессвязный горловой стон.

— Надеюсь, вы не станете убивать его, — вмешался Ла Понте, пользуясь случаем, чтобы снова подчеркнуть: в этой истории он лицо постороннее.

— Флавио, — с трудом выговорил Корсо пересохшими губами. — Если я выкручусь, я разобью тебе морду. Сильно разобью...

— Я что? Я только хотел помочь.

— Лучше помогай своей мамаше... сучье отродье.

— Раз так, я молчу...

— Вот-вот, молчи, — вмешался Рошфор с угрозой в голосе. Он снова обменялся взглядом с Лианой Тайллефер и, видимо, принял какое-то решение. Запер дверь, к которой до сих пор стоял спиной, потом, не переставая целиться в Корсо, положил ключ в карман дождевика. Проигравших — в реку, сказал себе охотник за книгами, чувствуя беше-

ные толчки крови в висках и запястьях. Барабан Ватерлоо начал отбивать дробь в каком-то уголке его сознания, и Корсо совершенно ясно — как бывает перед отчаянным поступком — понял, что просчитывает расстояние, отделяющее его от пистолета, а также время, потребное на то, чтобы преодолеть это расстояние, и еще он прикидывал, в какой именно миг прозвучит первый выстрел и куда попадет пуля. Шанс выйти из переделки целым был минимальным, но, скорее всего, секунд через пять не останется и минимального. Так что корнет трубил сбор. Последний залп — и Ней, храбрец из храбрецов, под усталым взором Императора бросается вперед. Правда, тут вместо Серых шотландцев был Рошфор, но — пуля она и есть пуля она и есть пуля она и есть... Все ерунда, сказал себе Корсо в предпоследнюю секунду перед тем, как... И еще он успел подумать: а та смерть, которая через крошечный отрезок времени ударит его в грудь, она-то будет реальной или ирреальной, и где ему будет суждено после этого плавать — в ничто или в Вальхалле[4], уготованной для павших в бою бумажных героев. И может, эти светлые глаза, взгляд которых он чувствовал спиной, — глаза Императора? влюбленного дьявола? — будут ждать во мраке, чтобы перевести его на другой берег реки теней.

Но тут Рошфор повел себя весьма странно. Он поднял свободную руку, как будто просил всех чуть обождать, хотя в данных обстоятельствах жест этот выглядел абсурдно, и сделал вид, что убирает пистолет обратно в карман. Но тотчас передумал и снова выставил дуло вперед, правда как-то робко. И Корсо, у которого кровь неслась по жилам со скоростью горного потока, а мускулы сделались железными в предчувствии неминуемой схватки с врагом, к удивлению своему, понял что час его смерти пока не пришел.

Все еще не веря своим глазам, он наблюдал, как Рошфор пересек комнату, подошел к телефону и набрал номер, затем еще один — более длинный. Со своего места Корсо слышал далекие сигналы, затем их прервал короткий щелчок.

— Корсо здесь, — сказал Рошфор. И замолчал. Казалось, на другом конце линии воцарилось точно такое же молчание. Теперь дуло револьвера смотрело в какую-то неопределенную точку пространства. Человек со шрамом дважды кивнул головой, опять помолчал, послушал, пробормотал "Ладно", после чего положил трубку на рычаг.

— Он хочет его видеть, — сообщил Рошфор миледи.

Оба посмотрели на Корсо; женщина — в бешенстве, Рошфор — озабоченно.

— Какая нелепость! — воскликнула она.

— Он хочет его видеть, — повторил мужчина.

Миледи пожала плечами и сделала несколько шагов по комнате, сердито перебирая страницы "Анжуйского вина".

— А что касается нас... — снова заговорил Ла Понте.

— Вы останетесь здесь, — приказал Рошфор, махнув в его сторону револьвером. Потом тронул рукой распухшую губу. — Вместе с девушкой.

Несмотря на рану, он, по всей видимости, не держал на нее зла. Корсо даже уловил искру любопытства в обращенном к ней взгляде. Потом Рошфор повернулся к Лиане Тайллефер и передал револьвер ей.

— Они не должны выходить отсюда.

— А почему бы тебе не побыть с ними?

— Он хочет, чтобы я сам привел этого. Так будет надежнее.

Миледи угрюмо кивнула. Нынче ночью она явно готовилась сыграть совсем другую роль, но, как и миледи из романа, была дисциплинированным агентом. В обмен на оружие она вручила Рошфору рукопись Дюма. Потом с беспокойством оглядела Корсо:

— Надеюсь, он не станет скандалить...

Рошфор самоуверенно улыбнулся, достал из кармана большой автоматический нож и выразительно покрутил в руке — будто только теперь вспомнил о нем. Белые зубы Рошфора сверкнули на смуглом лице, пересеченном шрамом.

— Думаю, не станет, — ответил он миледи, убирая нож в карман и даже не открыв. Потом послал Корсо улыбку — одновременно дружелюбную и зловещую. Взял с кровати свою шляпу, повернул ключ в замке и, сделав карикатурно почтительный поклон, указал охотнику за книгами на дверь так, будто в руке у него была широкополая шляпа с перьями.

— Его высокопреосвященство ожидает вас, сеньор, — проговорил он. И засмеялся — звонко, коротко и сухо, смехом вышколенного слуги.

У двери Корсо оглянулся на девушку. Она повернулась спиной к миледи, которая направила револьвер на нее и Ла Понте, и по-прежнему не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Она смотрела в окно, зачарованная бушующими снаружи ветром и дождем, и при вспышках молнии ее силуэт резко вырисовывался на фоне неба.

Они вышли на улицу и нырнули в бурю. Рошфор сунул папку с рукописью Дюма под дождевик, чтобы уберечь от воды, и теперь вел Корсо по улочкам, которые тянулись в старую часть города. Ливень мотал ветви деревьев, струи шумно колотили по лужам и брусчатке; крупные капли текли у Корсо по волосам и лицу. Он поднял воротник плаща. Вокруг царил мрак и не было ни души; только вспышки молнии время от времени освещали улицы, и тогда удавалось различить крыши средневековых зданий, мрачный профиль Рошфора под обвисшими полями шляпы, силуэты двух мужчин, которые шагали по улице и дружно втягивали головы в плечи при раскатах грома, когда он с дьявольским грохотом обрушивался на клокочущую Луару.

— Прекрасная ночь, — заметил Рошфор, повернувшись к Корсо и стараясь перекричать шум ненастья.

Он, видимо, хорошо знал городок. Шагал уверенно, иногда оглядывался, чтобы убедиться, что спутник не отстал. Мера вполне бессмысленная, потому что Корсо в данных обстоятельствах последовал бы за ним хоть до адских врат; да, собственно, его не слишком удивило бы, если бы именно там и завершилось их зловещее путешествие. Вспышка молнии осветила средневековую арку, мост через старинный ров, вывеску "Булочная-кондитерская", пустынную площадь, островерхую башню и чугунную решетку с табличкой "Замок Менг-на-Луаре. XII—XIII век".

За решеткой они увидели светящееся окно, но Рошфор свернул направо, и Корсо сделал то же. Они шли вдоль поросшей мхом стены, пока не наткнулись на потайную калитку. Рошфор вытащил огромный старинный железный ключ и вставил в замочную скважину.

— Этой калиткой пользовалась Жанна Д'Арк, — сообщил он, поворачивая ключ, и тут очередная молния осветила ступеньки, которые спускались во тьму. А еще Корсо успел рассмотреть улыбку Рошфора, темные глаза, сверкнувшие под полями шляпы, бледный шрам на щеке. Что ж, подумал охотник за книгами, по крайней мере, это достойный про-

тивник; да и весь спектакль был задуман и разыгран безупречно. Мало того, Корсо против воли начал испытывать к этому типу, кем бы он ни был, своего рода симпатию, ведь он очень усердно и с полной отдачей играл доставшуюся ему сволочную роль. Александр Дюма радовался бы как ребенок, расскажи ему кто эту историю.

У Рошфора в руке появился фонарик, он осветил им длинную и узкую лестницу, терявшуюся далеко внизу.

— Ступайте вперед, — приказал он.

Их шаги звонко отдавались на маленьких площадках, где лестница круто поворачивала. Какое-то время спустя Корсо вздрогнул под мокрым плащом: снизу на них повеяло холодным и затхлым воздухом, вековой сыростью. Луч света позволял разглядеть стертые ступени, пятна на сводах. Лестница привела их к узкому коридору, вход туда был забран ржавой решеткой. Рошфор на миг осветил круглую яму слева.

— Это старинные подземелья епископа Тибо д'Оссиньи[5], — пояснил он. — Через этот колодец трупы спускали в Луару. Именно здесь сидел Франсуа Вийон.

И он принялся декламировать сквозь зубы, шутливо:

Ayez pitié, ayez pitié de moi...[6]

Он, вне всякого сомнения, был негодяем начитанным. Очень самоуверенным и склонным к дидактике. Правда, Корсо не смог с ходу решить, ухудшало это его собственное положение или улучшало; к тому же теперь его занимала совсем иная мысль. Она засела у него в голове в тот самый миг, когда они ступили в коридор. Ведь финал-то все равно один: проигравших — в реку... Надо заметить, что шутка не очень его развеселила.

Они продвигались вперед под сводами, с которых частыми каплями стекала вода. Вдруг в конце галереи блеснули глаза крысы, но она тотчас с писком растворилась во мраке. Затем проход расширился и превратился в круглый зал, где потолок поддерживался стрельчатыми нервюрами, а в самом центре — мощной колонной.

— Это подземная часовня, — пояснил Рошфор, становясь все более словоохотливым. Он поводил лучом по сторонам. — Двенадцатый век. Во время осады замка здесь прятались женщины и дети.

Очень познавательно. Однако Корсо был не в состоянии переварить сведения, полученные от необычного чичероне; он был сосредоточен на другом и с напряжением ожидал удобного момента, чтобы исполнить задуманное. Теперь они поднимались по винтовой лестнице, и узкие окошки пропускали полосы света при вспышках молний, а также шум бури, все еще гулявшей за толстыми стенами.

— Нам осталось всего несколько метров, — предупредил Рошфор. Он шел за Корсо и теперь находился чуть ниже; луч его фонаря освещал ступени под ногами Корсо. Рошфор говорил мирным тоном: — Вот-вот наступит развязка этой истории, и я должен сказать вам одну вещь: свою работу вы выполнили очень хорошо. И главное тому доказательство — ваше появление здесь... Надеюсь, вы не таите на меня зла за то, что случилось на бе́регу Сены и в отеле "Крийон". Издержки профессии.

Он не уточнил, какую именно профессию имел в виду, да теперь это и не имело значения. Потому что в тот самый миг Корсо приостановился и обернулся к Рошфору, словно хотел что-то ответить или, наоборот,

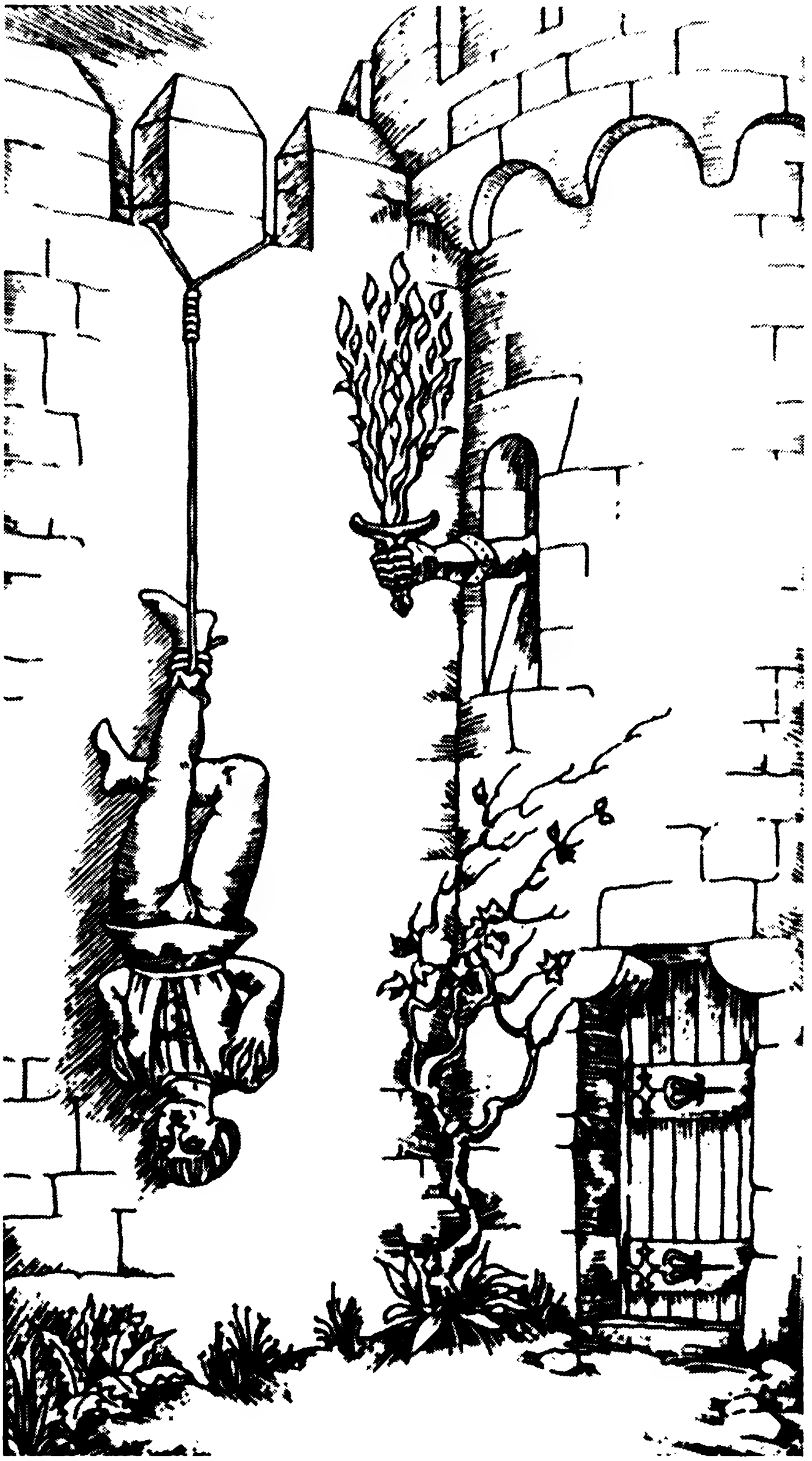
спросить. Движение было вполне естественным, в нем не таилось ничего подозрительного, хотя Рошфор, собственно, и не успел бы его предупредить. Видимо, поэтому он не среагировал должным образом, когда Корсо, продолжая начатый поворот, обрушился на него, постаравшись не дать увлечь себя вниз. Рошфор не смог устоять на ногах; ступени были узкими, стена гладкой, ухватиться было не за что, к тому же он не ожидал нападения. Фонарь чудом остался цел и, катясь вниз по лестнице, осветил отдельные сцены: Рошфор с выпученными от изумления глазами, Рошфор летит вверх тормашками, хватаясь за пустоту, Рошфор, исчезающий за поворотом винтовой лестницы, шляпа Рошфора катится по ступеням и вдруг замирает на одной из них... Наконец где-то внизу раздался глухой удар — "крак-к-к!" Или "пуф"... И Корсо, который застыл, раскинув руки и ноги и прижавшись к стене, чтобы не последовать за врагом и не повторить неприятное путешествие, вдруг опять обрел подвижность. Сердце у него бешено колотилось, когда он, перепрыгивая через ступеньки, мчался вниз. На бегу он схватил с пола фонарь и несколько секунд спустя добрался до подножия лестницы, где, сжавшись в комок, лежал едва живой Рошфор.

— Издержки профессии, — прокомментировал Корсо, направив луч фонарика на собственное лицо, чтобы враг мог увидеть с пола его дружелюбную улыбку.

Потом он с размаху ударил Рошфора ногой в висок и услышал, как его голова, мотнувшись, с глухим треском ударилась о самую нижнюю ступеньку. Он поднял было ногу, чтобы нанести второй удар — для страховки, но, глянув вниз, понял, что нужды в этом нет: Рошфор лежал с открытым ртом, и из уха у него текла струйка крови. Корсо наклонился, чтобы проверить, дышит ли тот, и убедился, что да, дышит, после чего распахнул его дождевик и принялся обыскивать карманы, забрав оттуда нож, бумажник с деньгами и документы, свидетельствующие о французском гражданстве. Папку с рукописью Дюма Корсо убрал под свой плащ — и для надежности даже сунул под брючный ремень. Затем направил луч фонаря на винтовую лестницу и снова поднялся — на сей раз до самого верха. Там находилась небольшая площадка, на ней — железная дверь, украшенная гвоздями с шестиугольными шляпками; из-под двери пробивалась тонкая полоска света. Корсо постоял перед дверью — полминуты, не более, только чтобы отдышаться и приглушить удары сердца. За дверью крылась разгадка тайны, и он хотел шагнуть ей навстречу, полностью овладев собой, — и пусть в одной руке у него будет фонарь, а в другой нож Рошфора, который Корсо тотчас раскрыл с угрожающим механическим щелчком.

Именно так все и случилось. Нож в руке, взъерошенные мокрые волосы, глаза, сверкающие убийственным пламенем, — таким я увидел Корсо, когда он переступил порог библиотеки.

1. Брат Вильгельм Баскервильский — персонаж романа Умберто Эко "Имя розы" (1980).
2. После завершения "дела генерала Монка" д'Артаньян пригласил на обед не трех своих друзей, а только Атоса: "С тех пор как я дружу с вами, — сказал д'Артаньян, — я еще ни разу не расплачивался в трактирах. Портос платил часто, Арамис иногда, и почти всегда после десерта вынимали кошелек вы. Теперь я богат и хочу попробовать, приятно ли платить" ("Виконт де Бражелон. Часть I, гл. XXXVII).
3. "Маленькие женщины" (1868) — автобиографический роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (1832—1888).



4. Вальхалла ("чертог убитых", *др.-исл.*) — в скандинавской мифологии находящееся на небе жилище павших в бою храбрых воинов, где они пребывают в веселии и довольстве.
5. Тибо д'Оссиньи (?—1473) — епископ Орлеанский, отличался суровостью и непреклонностью; есть версия, что это он расстриг Вийона.
6. "Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои..." (*франц.*) — реминисценция из Библии (Иов, 19, 21), первая строка "Послания к его друзьям" Франсуа Вийона (1431—после 1463). Послание было, вероятно, написано во время пребывания в епископальной тюрьме города Менга (Вийон был посажен в темное подземелье).

XV. *Корсо и Ришелье*

И я, соорудивший о нем маленький роман,
от начала до конца ошибался.

Сувестр и Аллен. *Фантомас*[1]

Пришло время объяснить позицию, с какой велось наше повествование. Я остался верен старому принципу: во всякого рода таинственных историях читатель должен располагать той же информацией, что и главный герой. Поэтому я постарался увидеть события глазами Лукаса Корсо и сделал исключение лишь в двух случаях: сам я вышел на сцену только в первой и пятой главе этой книги — иначе никак не получалось. В тех эпизодах — и точно так же я намерен поступить теперь, в третий и последний раз, — я для большей связности использовал первое лицо; ведь нелепо цитировать себя самого, называя при этом "он", — рекламный трюк, который, правда, неплохо поработал на имидж Гая Юлия Цезаря во время военной кампании в Галлии; но в моем случае такой прием выглядел бы — и не без основания — пустым педантизмом. Есть и еще одна причина, на посторонний взгляд, может, и странная: рассказывать историю так, как это делал доктор Шеппард[2] в беседе с Пуаро, ход, по-моему, не столько остроумный — сейчас этот прием используют все кому не лень, — сколько забавный. Ведь, в конце-то концов, люди пишут ради развлечения, чтобы пережить новый опыт, чтобы покрасоваться и полюбить себя еще больше, а также чтобы завоевать любовь других. И у меня, в общем-то, цели такие же. Как писал старина Эжен Сю, злодеи, вырубленные, так сказать, из одного куска камня, явление очень редкое. Если предположить — а такое предположение, наверно, грешило бы преувеличением, — будто я на самом деле злодей.

Дело в том, что это я, то есть пишущий эти строки Борис Балкан, сидел в библиотеке, ожидая гостя, и вдруг увидел на пороге Корсо с ножом в руке и взором, пылающим праведным гневом. Я заметил, что он явился без сопровождающих, и это меня встревожило, хотя я постарался сохранить на лице приличную случаю маску невозмутимости. В остальном я хорошо продумал эффект: полумрак библиотеки, свет канделябров, стоящих на столе, за которым сижу я — с томом "Трех мушкетеров" в руках... И даже одет я был — совершенно случайно, но как нельзя более кстати — в красную бархатную куртку, которая напоминала пурпур кардинальского облачения.

Мое большое преимущество заключалось в том, что я-то знал, что увижу Корсо — одного или с кем-то, а вот он никак не предполагал увидеть именно меня; поэтому я и решил воспользоваться эффектом неожиданности. Но нож и грозное выражение его лица мне не нравились. Поэтому я решил не тянуть с объяснениями.

— Поздравляю вас, — сказал я, захлопнув книгу, словно его приход прервал чтение. — Вы смогли довести игру до конца.

Он стоял у порога и смотрел на меня. Не стану скрывать: я искренне и от всей души наслаждался изумлением, застывшим у него на лице.

— Игру? — выдавил он из себя хриплым голосом.

— Да, игру. Напряжение, поиски нужного варианта, находчивость, ловкость... Знаете, свобода действий в рамках неукоснительных правил самоценна и щекочет нервы, радует возможностью поступать не так, как принято в повседневной жизни... — Честно говоря, все это придумал не я, о чем Корсо незачем было знать. — Устраивает вас такое определение?.. Ведь сказано во второй книге Самуила: "Пусть явятся дети и играют пред нами..." Дети живут игрой, и они — самые лучшие читатели: они все делают с величайшей серьезностью. По сути, игра — это единственная по-настоящему серьезная вещь; в ней нет места скепсису, не так ли?.. Верь — не верь, но коли хочешь участвовать, будь добр подчиняться правилам. Только тот, кто соблюдает эти правила или по крайней мере знает их и учитывает, может уповать на победу... То же самое происходит при чтении книги: надо поверить и в интригу, и в персонажей, чтобы повествование доставило удовольствие, — я замолк, полагая, что поток моего красноречия произвел на него нужный мне успокаивающий эффект. — Кстати, вы ведь не могли добраться сюда в одиночку... А где же тот, другой?

— Рошфор?.. — Корсо зло скривил губы. — С ним произошел несчастный случай.

— Вы зовете его Рошфором?.. Остроумно и весьма уместно. Вижу, что вы из числа тех, кто принимает правила... Хотя чему уж тут удивляться...

Корсо засмеялся, но смех его меня не успокоил.

— А вот он вроде бы очень удивился, когда я его покидал.

— Вы пугаете меня, — фальшиво улыбнулся я, и на самом деле встревожившись. — Надеюсь, с ним не случилось большой беды?

— Он упал с лестницы.

— Да что вы!

— Ага! Но можете не беспокоиться. Когда я уходил, ваш агент еще дышал.

— Слава богу! — я попытался опять улыбнуться, чтобы скрыть волнение; все это выходило за рамки намеченного плана. — Значит, вы слегка проучили его?.. Перехитрили? Что ж... — я великодушно развел руки. — Не переживайте.

— А я и не переживаю. Зато у вас повод к тому имеется.

Я сделал вид, что не расслышал его реплики.

— Самое важное — добраться до финиша, — продолжал я, ухватив прерванную было мысль. — А что касается всякого рода уловок, то у нас есть замечательные предшественники... Тесей выбрался из лабиринта благодаря нити Ариадны, Ясон похитил руно с помощью Медеи... Кауравы в "Махабхарате" хитростью выиграли игру в шашки, а ахейцы облапошили троянцев, подсунув им деревянного коня... Так что ваша совесть может быть спокойной.

— Спасибо. О своей совести я позабочусь сам.

Он вытащил из кармана сложенное вчетверо письмо миледи и кинул на стол. Я, разумеется, сразу узнал собственную руку — слишком тщательно выведенные прописные буквы. "Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию..." и т. д.

— Надеюсь, — сказал я, поднося лист бумаги к пламени свечи, — игра вас по крайней мере позабавила.

— В отдельные моменты.

— Рад, очень рад, — мы оба смотрели, как письмо горит в пепельнице, куда я его кинул. — Если все замешано на литературе, то умный чита-

тель может получить удовольствие даже от таких сюжетных ходов, где он становится жертвой. А я из числа людей, полагающих, что желание поразвлечься — отличный повод для игры. Как и для того, чтобы взяться за чтение истории или чтобы написать ее.

Я встал, не выпуская из рук "Трех мушкетеров", сделал несколько шагов по комнате и глянул исподтишка на часы — до двенадцати оставалось двадцать долгих минут. Золоченые корешки старинных переплетов тускло поблескивали на полках. Я полюбовался ими, делая вид, что забыл о Корсо, потом повернулся к нему.

— Вот они, — я обвел рукой библиотеку. — Можно подумать, что книги стоят себе тут недвижно и беззвучно, но ведь они переговариваются между собой, хотя и кажется, что друг друга не знают. Поддерживать беседу им помогают их авторы — так яйцо использует курицу, чтобы получилось новое яйцо.

Я поставил "Трех мушкетеров" на прежнее место на полке. Дюма попал в хорошую компанию: с одной стороны "Пардайяны" Зевако, с другой — "Рыцарь в желтом камзоле" Лукуса де Рене[3]. Времени у нас было достаточно, поэтому я открыл последнюю книгу и громко прочел:

Часы в Сен-Жермен д'Оксеруа пробили полночь, в это время по улице Астрюс двигались вниз три всадника, закутанные в плащи, и вид у них был не менее решительный, чем поступь их лошадей.

— Первые строки, — произнес я. — Первые строки почти всегда бывают замечательными... Помните нашу беседу о "Скарамуше"? "Он появился на свет с обостренным чувством смешного..." Бывают начальные фразы, которые помнишь всю жизнь, согласитесь... Например, "Пою оружие и героя"... А вы никогда не играли в такую игру с кем-нибудь из очень близких вам людей? "Скромный молодой человек в разгар лета направлялся..." Или: "Давно уже я привык укладываться рано". И, разумеется, вот это: "15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан..."

Корсо скривился:

— Вы забыли ту, что привела меня сюда: "В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менга, где некогда родился автор "Романа о розе", казалось взволнованным так..."

— Да, действительно, первая глава, — подтвердил я. — Вы все проделали отлично.

— То же самое сказал Рошфор, прежде чем упал с лестницы.

Наступило молчание, нарушенное ударами часов, которые отбивали три четверти двенадцатого.

Корсо кивнул в сторону лестницы:

— Осталось пятнадцать минут, Балкан.

— Да, — согласился я. Этот тип обладал дьявольской интуицией. — Пятнадцать минут до первого понедельника апреля.

Я поставил "Рыцаря в желтом камзоле" на прежнее место и прошелся по библиотеке. Корсо продолжал наблюдать за мной, не трогаясь с места и не выпуская ножа из рук.

— Нож пора бы убрать, — прозрачно намекнул я.

Он чуть помедлил, но лезвие закрыл, а нож сунул в карман, правда, при этом глаз с меня не спускал. Я одобрительно улыбнулся и снова указал на книги.

— Мы никогда не остаемся с книгой наедине, не правда ли? — проговорил я, только чтобы не молчать. — Каждая страница напоминает нам

какой-нибудь из прожитых дней и помогает воскресить те чувства, что наполняли его. Счастливые часы отмечены мелом, печальные — углем... Где именно я тогда находился? Какой принц назвал меня своим другом, какой нищий — братом?.. — я немного помолчал, подыскивая новые слова, чтобы закруглить болтовню.

— Какой сукин сын — товарищем... — подсказал Корсо.

Я глянул на него с упреком. Этот зануда решил испортить всю мою речь, сбив высокий пафос, который я ей придал.

— Зачем вы лезете на рожон?

— Я веду себя так, как мне нравится, ваше высокопреосвященство.

— В этом "высокопреосвященстве" я улавливаю иронию, — он задел меня за живое. — Из чего делаю вывод, сеньор Корсо, что вы остались во власти предрассудков... Это Дюма превратил Ришелье в злодея, хотя злодеем тот никогда не был... Дюма руководствовался литературными соображениями... Ведь я объяснял вам это во время нашей последней встречи в мадридском кафе.

— Грязный трюк, — возразил Корсо, не уточнив, кого имел в виду: Дюма или меня.

Я решительно поднял вверх указательный палец, вознамерившись закончить свою мысль.

— Это вполне законный прием, подсказанный чутьем и талантом самого великого сочинителя историй из всех, какие только существовали в нашем мире. И все же... — тут я горько улыбнулся, с искренней печалью. — Сент-Бёв уважал его, но не признавал как писателя. Виктор Гюго, его друг, отдавал должное умению Дюма выстраивать драматическое действие — и не более того. Плодовитый и расточительный, говорили о нем. Не владеющий стилем. Его упрекали за то, что он не копался в печалях и невзгодах, одолевающих человеческое существо, а также — в недостатке тонкости и проницательности... Недостаток тонкости! — я провел ладонью по корешкам серии о мушкетерах, которая стояла на полке. — Я согласен с добрым папашей Стивенсоном: не найти другого гимна дружбе — столь же длинного, полного приключений и прекрасного, как этот. Вспомните "Двадцать лет спустя": сперва герои вроде бы даже сторонятся друг друга; это зрелые, эгоистичные люди, погрязшие в мелочах, навязанных им жизнью, они даже принадлежат к враждующим лагерям... Арамис и д'Артаньян врут и притворяются, Портос боится, что у него попросят денег... Условившись встретиться на Королевской площади, они берут с собой оружие и готовы пустить его в ход. А в Англии, когда из-за неосторожности Атоса все они попадают в опасную переделку, д'Артаньян отказывается пожать ему руку... В "Виконте де Бражелоне" в истории с железной маской Арамис и Портос выступают против старых друзей... Но это случается потому, что они живые, полные противоречий человеческие существа. Хотя всегда, в некий высший момент, снова побеждает дружба. Великая вещь — дружба! А у вас, Корсо, есть друзья?

— Хороший вопрос!

— Для меня дружбу всегда воплощал в себе Портос в пещере Локмария: гигант погиб под скалой, чтобы спасти товарищей... Помните его последние слова?

— "Чересчур тяжело"?

— Точно!

Признаюсь, я даже слегка растрогался. Совсем как и тот молодой человек, которого в клубах табачного дыма описывал капитан Марлоу[4],

Корсо был одним из наших. Но, к сожалению, он оказался упрямым, злопамятным типом и ни за что не желал дать волю эмоциям.

— Вы, — заявил он вдруг, — любовник Лианы Тайллефер.

— Да, — признал я, хотя мне хотелось еще поговорить о Портосе. —Великолепная женщина, не правда ли? У нее, конечно, есть свои пунктики... Но она так же прекрасна и верна, как миледи из "Трех мушкетеров". Любопытная вещь! В литературе есть выдуманные персонажи, способные обрести самостоятельное существование; мало того, они близки миллионам людей, многие из которых даже не читали тех книг, где герои эти появляются. В Англии таких трое: Шерлок Холмс, Ромео и Робинзон. В Испании два: Дон Кихот и Дон Жуан. Во Франции один: д'Артаньян. Что касается меня, заметьте...

— Вы сейчас опять уйдете в сторону, Балкан...

— Не уйду, не бойтесь. Я только хотел сказать, что готов поставить миледи в один ряд с д'Артаньяном. Фантастическая женщина. Лиана той же породы... Муж в подметки ей не годился.

— Это вы об Атосе?

— Нет, о бедном Энрике Тайллефере.

— Поэтому вы его и убили?

Думаю, мое изумление выглядело вполне искренним. Но оно и было искренним.

— Энрике убили?.. Не говорите глупостей. Он повесился. Это было самоубийство. Я уверен, что, при его взглядах на вещи, он посчитал такой шаг неким героическим решением. Жаль, очень жаль.

— Не слишком верится.

— Ваше дело. К тому же его смерть легла в основу всей этой истории и косвенным образом привела вас сюда.

— Ну так расскажите мне все поподробнее.

Честно сказать, право на это он завоевал. Я ведь уже упомянул, что Корсо был одним из наших людей, хотя сам он о том и не подозревал. Я глянул на часы: до полуночи оставались считанные минуты.

— "Анжуйское вино" у вас с собой?

Корсо посмотрел на меня с опаской, пытаясь угадать мои намерения, но потом, как мне показалось, решил не артачиться. Неохотно вытащил из-под плаща папку, показал мне и снова спрятал.

— Отлично, — сказал я, — а теперь следуйте за мной.

Наверно, он ждал, что в библиотеке есть потайная дверь, какой-нибудь черный ход, где ему устроена дьявольская ловушка. Я ведь заметил, как он сунул руку в карман с ножом.

— Нож вам не понадобится, — успокоил я его.

Словам моим он не вполне поверил, но удержался от комментариев. Я поднял канделябр повыше, и мы двинулись по коридору в стиле Людовика XIII, на одной из стен которого висел великолепный гобелен: Улисс только что прибыл на Итаку, в руке у него лук, Пенелопа и собака радуются, узнав его, на заднем плане пьют вино женихи, не ведая, что их ожидает.

— Замок очень старый, он полон легенд, — начал объяснять я. — Его грабили англичане, гугеноты, революционеры... А немцы во время войны устроили здесь командный пункт. Замок пришел в полный упадок, но тут его приобрел нынешний владелец — британский миллионер, очаровательный человек и истинный джентльмен; он провел реставрацию и

обставил все с изысканным вкусом. Мало того, открыл доступ сюда туристам.

— А что же делаете тут вы? Время для экскурсий явно неподходящее.

Поравнявшись с окном, я бросил взгляд на улицу. Гроза отступала, и молнии сверкали уже далеко за Луарой, на севере.

— Один раз в году делается исключение, — пояснил я. — В конце концов, Менг — особое место. Не во всяком городе начинается действие такого романа, как "Три мушкетера".

Деревянный пол скрипел под нашими ногами. Там, где коридор поворачивал, стояли доспехи, настоящие доспехи XVI века, и при свете канделябра на полированной поверхности кирасы заиграли матовые блики. Корсо, проходя мимо, недоверчиво осмотрел их, словно кто-то мог спрятаться внутри.

— Я расскажу вам длинную историю, началась она десять лет назад, — сказал я, — на аукционе в Париже, где были выставлены на продажу некие документы, не занесенные в каталоги... Я тогда писал книгу о популярном французском романе девятнадцатого века, и те пыльные папки случайно попали мне в руки. Я просмотрел их и установил, что они выплыли из старых архивов газеты "Сьекль". В большинстве своем там были корректурные оттиски, никакой ценности не представляющие. Но одна папка с голубыми и белыми листами привлекла мое внимание: это был текст, написанный рукой Дюма и Маке, — текст "Трех мушкетеров". Шестьдесят семь глав, готовые к отправке в типографию. Кто-то, скорее всего Бодри, издатель газеты, сохранил рукопись после того, как был сделан набор, а потом забыл о ее существовании...

Я замедлил шаг и остановился посреди коридора. Корсо держался спокойно, и свет канделябра падал ему на лицо сверху, отчего в глазных впадинах у него плясали мрачные тени. Казалось, он был поглощен моим рассказом и больше ни о чем не думал, даже о том, что в любой миг с ним могла произойти какая-нибудь неожиданность; теперь его занимало лишь одно — разгадка тайны, в поисках которой он сюда явился. Но правую руку охотник за книгами из кармана так и не вынул.

— Мое открытие, — продолжил я свой рассказ, притворяясь, будто не вижу, что он держит руку в кармане с ножом, — имело чрезвычайную важность. Нам были известны некоторые фрагменты первоначального текста, а вот о существовании полной рукописи сведений не было... Сперва я собирался опубликовать находку в виде факсимильного комментированного издания, но столкнулся с одним серьезным препятствием морального порядка.

Свет и тени чуть сдвинулись на лице Корсо, теперь рот его пересекала черная линия. Он улыбался.

— Да что вы говорите! С препятствием морального порядка? В наше время?

Я качнул канделябр, чтобы убрать с его лица недоверчивую улыбку, но у меня ничего не получилось.

— Да, в наше время, — ответил я, и мы снова тронулись в путь. — Изучив рукопись, я убедился, что истинным сочинителем истории был Огюст Маке... Он работал с документами, выстроил в общих чертах все повествование, а потом Дюма, писатель огромного таланта, вдохнул жизнь в эти заготовки и превратил их в шедевр. Но такие выводы, для меня очевидные, могли заронить сомнения в души хулителей Дюма и его творений, — свободной рукой он сделал резкое движе-

ние, словно перечеркнул разом всю эту компанию. — Нет, я не мог по доброй воле бросить камень в святилище, которому поклонялся... Сегодня, когда повсюду царит серость и люди утратили способность фантазировать... Когда никто уже не восхищается чудесами, как публика былых эпох, читавшая романы-фельетоны, та публика, что в театре освистывала предателей и устраивала овации рыцарям без страха и упрека, — я печально тряхнул головой. — К несчастью, таких аплодисментов нам больше не услышать, теперь так воспринимают искусство лишь дети и простаки.

Корсо слушал с наглой, издевательской ухмылкой. Может, он и разделял мою точку зрения, но был человеком язвительным, и показать, что признает за мной моральную правоту, не желал.

— И в конечном итоге, — договорил он за меня, — вы решили уничтожить рукопись.

Я самодовольно улыбнулся. Тоже мне умник нашелся!

— Не говорите глупостей. Нет, я придумал кое-что похлеще — решил материализовать мечту.

Мы остановились перед запертой дверью. Из-за нее доносились приглушенные звуки — музыка и людские голоса. Я поставил канделябр на консоль. Корсо снова глядел на меня недоверчиво, он наверняка пытался угадать, какая еще злая шутка уготована для него. Я понял одно: он никак не мог поверить, что мы и на самом деле подступали к разгадке тайны.

— А теперь позвольте представить вам, — произнес я, распахивая дверь, — членов Клуба Дюма.

Почти все гости уже прибыли; последние из них входили в зал через большие стеклянные двери, распахнутые на эспланаду замка. Звучала тихая музыка, в воздухе плавал сигарный дым, собравшиеся громко переговаривались. В центре стоял покрытый белой льняной скатертью стол с холодными закусками. Бутылки анжуйского, сосиски и амьенский окорок, устрицы из Ла-Рошели, коробки с сигарами "Монте-Кристо". Гости стояли группами, пили, беседовали на разных языках. Всего здесь собралось около полусотни мужчин и женщин, и я видел, как Корсо несколько раз тронул рукой очки, будто проверяя, на месте ли они. Некоторые лица были ему хорошо знакомы — по прессе, кино, телевидению.

— Вы удивлены? — спросил я, стараясь по виду его определить, какой эффект все это на него произвело.

Он угрюмо и растерянно кивнул. Кое-кто подходил ко мне поздороваться, и я пожимал руки, рассыпался в любезностях, шутил. Атмосфера была приятной и непринужденной. Корсо не отходил от меня. На лице его застыло такое выражение, будто он ждет, когда же ему удастся наконец проснуться, и я искренне потешался. Я даже представил его некоторым гостям, и сделал это со злым удовольствием, потому что он отвечал на приветствия смущенно, явно чувствуя себя не в своей тарелке. От его обычной самоуверенности не осталось и следа, так что отчасти я взял реванш. Ведь, честно говоря, он сам явился ко мне с "Анжуйским вином" под мышкой и нарвался на неприятности.

— Позвольте представить вам господина Корсо... Бруно Лостиа, миланский антиквар. Позвольте... Да-да, это и на самом деле Томас Харви, конечно, Харви Джойерос, Нью-Йорк-Лондон-Париж-Рим... А вот граф фон Шлоссберг: у него самая знаменитая в Европе частная коллекция

живописи. Здесь вы встретите кого угодно, вот нобелевский лауреат из Венесуэлы, аргентинский экс-президент, наследный принц из Марокко... Кому придет в голову, что его отец — большой почитатель Александра Дюма? А посмотрите туда... Вы его узнали, правда?.. Профессор семиотики из Болоньи... Теперь с ним беседует светловолосая дама, это Петра Нойштадт, самый влиятельный литературный критик в Центральной Европе. А в той группе рядом с герцогиней Альба стоит финансист Рудольф Виллефос и английский писатель Харольд Бёрджесс, Амайя Эускаль, группа Альфа-Пресс, самый крупный издатель Соединенных Штатов, Джон Кросс из "О & О" Пейперс, Нью-Йорк... А Ашиля Репленже, парижского букиниста, вы, надеюсь, помните.

Этим я его добил окончательно. Глядя на растерянное лицо Корсо, я смаковал эффект, хотя готов был и посочувствовать ему. Репленже держал в руке пустой бокал и дружески улыбался нам из-под мушкетерских усов, так же, как во время экспертизы рукописи Дюма в магазине на улице Бонапарта. Меня он принял в свои объятия — объятия огромного медведя, потом ласково похлопал Корсо по плечу и отправился за новым бокалом вина, пыхтя и отдуваясь, совсем как жизнерадостный толстяк Портос.

— Черт возьми! — процедил Корсо сквозь зубы, повернувшись ко мне, чтобы никто другой этого не услышал. — Что здесь происходит?

— Я же сказал: это длинная история.

— Так расскажите мне ее...

Мы подошли к столу. Я налил две рюмки вина, но он отрицательно покачал головой.

— Джин, — пробормотал он. — А джина тут нет?

— Я указал на бар в конце зала, и мы двинулись туда. По дороге мы несколько раз останавливались, я снова с кем-то здоровался: известный кинорежиссер, ливанский миллионер, испанский министр внутренних дел... Наконец Корсо завладел бутылкой "Бифитера" и наполнил свой стакан до самых краев, потом одним глотком выпил половину. Он еле заметно вздрогнул, и глаза его за стеклами очков — одно стекло разбитое, другое целое — заблестели. Он прижал бутылку к груди, словно боялся, что кто-нибудь ее у него отнимет.

— Итак, вы собирались рассказать мне...

Я направился к террасе за стеклянной дверью, где мы могли побеседовать без помех. Корсо опять наполнил свой стакан и последовал за мной. Гроза ушла; над нашими головами проклюнулись звезды.

— Я весь внимание, — объявил он, снова прикладываясь к стакану.

Я облокотился на перила, еще мокрые после дождя, и поднес к губам бокал анжуйского.

— Когда ко мне в руки попала рукопись "Трех мушкетеров", я подумал: а почему бы не создать литературное общество, что-то вроде клуба горячих поклонников Александра Дюма и классического романа-фельетона, а также приключенческой литературы? По роду своей профессиональной деятельности я был знаком с несколькими подходящими кандидатами... — я кивнул в сторону освещенного зала. Через стеклянную дверь было хорошо видно гостей, которые прохаживались туда-сюда и дружески беседовали. Какой успех! Вот оно, доказательство того, что я попал в точку, мне трудно было сдержать торжествующую улыбку. Авторское самолюбие... — Общество, целью которого является изучение книг такого рода, которое призвано отыскивать забытых авторов и произве-

дения, способствовать их изданию и распространению под издательским знаком, возможно хорошо вам знакомым — "Дюма & К°".

— Да, я его знаю, — подтвердил Корсо. — Они базируются в Париже и только что напечатали полного Понсона дю Террайля. А год назад — "Фантомаса"... Понятия не имел, что вы с этим связаны.

Я польщенно улыбнулся:

— Таково правило: не упоминать имен, не называть участников проекта... Как вы сами можете судить, затея эта носит научный характер, но в ней есть и что-то детское; литературная игра, дань ностальгии... В результате из забвения извлекаются старые книги, и мы возвращаемся к себе самим, какими были когда-то — возвращаемся к утраченной наивности. Человек взрослеет, делается флоберианцем или стендалианцем, выбирает Фолкнера, Лампедузу, Гарсиа Маркеса, Даррелла или Кафку... Мы расходимся во мнениях, порой дело доходит до стычек. Но стоит упомянуть определенных авторов и некоторые волшебные книги, как мы снова чувствуем себя сообщниками. Эти книги открыли нам литературу, не навязывая догм и ложных правил. Они — воистину наша общая родина; они не о том, что человек видит, а о том, о чем он мечтает.

Произнеся эти слова, я сделал паузу, ожидая какой-нибудь реакции. Но Корсо всего лишь поднял стакан с джином и глянул сквозь него. Его родина находилась внутри этого стакана.

— Так было раньше, — возразил он после паузы. — Теперь и дети, и молодежь, да и все остальные, черт возьми, — это люди без родины, которые вечно пялятся в телевизор.

Я отрицательно покачал головой. Нет, он был не прав. Всего пару недель назад в литературном приложении к журналу "АБЦ" я написал об этом заметку.

— Ошибаетесь! Они тоже идут по старым дорожкам, сами того не ведая. Возьмем кино, которое показывают по телевидению, — оно помогает сохранять какие-то традиции. Там не забывают и старые фильмы... Даже Индиана Джонс[5] не порывает со всем этим.

Корсо скривился, глянув в сторону освещенных окон.

— Может, и так, но если говорить о собравшихся здесь людях... Хотел бы я знать, как вам удалось их... завербовать.

— Тут нет никакого секрета, — ответил я. — Вот уже десять лет, как я возглавляю это избранное общество, Клуб Дюма, который именно в Менге проводит свое ежегодное собрание. Сами видите: члены общества прибывают к месту встречи изо всех уголков планеты, причем неукоснительно... И все они без исключения — первоклассные читатели...

— Читатели чего? Романов-фельетонов? Не смешите меня!

— А я и не собираюсь вас смешить, Корсо. Почему вы морщитесь? Вы сами прекрасно знаете, что роман или фильм, сделанные на потребу публике, могут превратиться в превосходное произведение. Вспомните "Пиквика" или, скажем, "Касабланку" и "Голдфингера"[6]... Они построены на архетипах — публика идет на них, чтобы насладиться, кто сознательно, а кто и нет, все теми же сюжетами, их слегка измененными вариантами; ей важно не столько dispositio, сколько elocutio...[7] Поэтому роман-фельетон и даже самый тривиальный телесериал могут стать объектом культа не только для наивной публики, но и для искушенной. Кто-то переживает, следя за тем, как Шерлок Холмс рискует своей жизнью, а вот другим нужны трубка, лупа и знаменитое "Элементарно, Ватсон", хотя слов этих, заметьте, Конан Дойл никогда не писал. Все эти улов-

ки — схемы, вариации и повторы — настолько стары, что даже Аристотель упоминает их в своей "Поэтике". Ну скажите, разве телесериал по сути своей это не современная разновидность античной трагедии, великой романтической драмы или александрийского романа?.. Потому-то интеллигентный читатель и получает большое удовольствие от всего этого, исключительное удовольствие. Ведь есть исключения, основанные на правилах.

Мне показалось, что Корсо слушает меня с интересом; но тут я увидел, как он отрицательно мотнул головой — совсем как гладиатор, который отказывается перейти на опасную территорию, куда его оттесняет противник.

— Оставим лекции по литературе и вернемся к Клубу Дюма, — потребовал он раздраженно. — Вернемся к рукописи Дюма... Куда подевалось остальное?

— Остальные главы? Да вот они, перед вами, — ответил я, обведя зал взглядом. — Шестьдесят семь глав рукописи — это шестьдесят семь членов общества, и больше их быть не может. Каждому вручено по главе — как своего рода акции. Любые изменения в составе членов общества требуют одобрения совета директоров, который возглавляю я... Имя каждого кандидата придирчиво обсуждается, и только потом мы принимаем решение.

— А как происходит передача акций?

— Акции ни при каких условиях не могут передаваться. В случае смерти одного из членов Клуба или когда кто-то покидает общество, соответствующая глава должна вернуться в Клуб. Только совет директоров может вручить ее новому кандидату. А рядовой член общества не имеет права распоряжаться текстом по своему усмотрению.

— А Энрике Тайллефер попытался это сделать?

— Отчасти. Сперва он был идеальным кандидатом. Потом — образцовым членом Клуба Дюма, но в конце концов он нарушил правила.

Корсо допил остатки джина. Поставил стакан на покрытые мхом перила и долго молчал, не сводя глаз с дверей ярко освещенного зала. Чуть погодя он с сомнением покачал головой.

— Это не повод убивать человека, — произнес он тихим голосом, будто убеждая себя самого. — И я никогда не поверю, что такие люди... — он глянул на меня в упор, — а все они прежде всего персоны очень известные и уважаемые, стали бы участвовать в подобном деле.

Я едва сдержал нетерпеливый жест:

— Вы норовите все перевернуть с ног на голову... Мы с Энрике были давними друзьями. Нас объединяло общее увлечение — книги этого жанра, хотя его литературные вкусы оставляли желать лучшего по сравнению с энтузиазмом... Он преуспел как издатель кулинарных сборников, что позволяло ему тратить и время, и деньги на свое увлечение. И честно говоря, если кто и имел право стать членом нашего общества, так это он. Поэтому я горячо поддержал его кандидатуру. Повторяю: вкусы у нас были, безусловно, разными, но страсть — общей.

— И страсть не только к книгам...

На губах у Корсо вновь появилась саркастическая улыбка, и это меня взбесило.

— Я мог бы ответить, что это не ваше дело, — бросил я в сердцах. — Но я хочу все вам объяснить... Лиана не только очень красивая женщина, она — незаурядная женщина. К тому же с раннего возраста обожала

читать... Знаете, в шестнадцать лет она сделала себе на бедре татуировку — цветок лилии... Правда, не на плече, как у леди Винтер — ее идола... Чтобы никто не заметил — ни домашние, ни монахини, у которых она воспитывалась... Здорово?

— Потрясающе...

— Не похоже, чтобы это вас потрясло. Тем не менее уверяю — она восхитительная женщина... Дело в том, ну... Короче, мы были любовниками. Когда-то раньше я говорил о том, что родина для каждого человека — это потерянный рай детства, помните? Так вот, родина для Лианы — "Три мушкетера". Она находилась под таким впечатлением от них, что решила выйти замуж за Энрике, после того как они случайно познакомились на каком-то празднике и весь вечер обменивались цитатами из романа. К тому же в ту пору он уже был очень богатым издателем.

— Иначе говоря, вспыхнула любовь с первого взгляда, — не преминул съязвить Корсо.

— Не пойму, почему вы говорите в таком тоне. Вступая в брак, они искренне любили друг друга. Просто со временем занудство Энрике сделалось непереносимым, и самые благие намерения его жены разбивались о... С другой стороны, мы с ним оставались друзьями, я часто бывал у них в доме. Лиана... — я поставил бокал на перила рядом с его пустым стаканом. — В конце концов... Легко вообразить, что произошло в конце концов.

— Еще бы!

— Да я не о том! Она стала мне отличной помощницей, и я помог ей вступить в общество. Это случилось четыре года назад. Она владеет главой тридцать семь — "Тайна миледи". Она сама ее выбрала.

— Зачем вы пустили ее по моему следу?

— Не торопитесь. Все по порядку. Итак, в последнее время Энрике стал доставлять нам неприятности, иначе говоря, возникли проблемы... Вместо того чтобы продолжать заниматься весьма выгодным делом и издавать кулинарные книги, он вбил себе в голову, что должен написать приключенческий роман. Но то, что выходило из-под его пера, было ужасно. Поверьте мне, просто кошмарно. Он нагло воровал куски из чужих текстов. Роман назывался...

— "Рука мертвеца".

— Именно так! Даже название придумал не он. Но хуже было другое: он имел неслыханное нахальство претендовать на то, чтобы книгу напечатала издательская фирма "Дюма & К". Я, разумеется, отказал ему. Этот идиот никогда не получил бы одобрения совета. Кроме того, у Энрике было достаточно денег и он мог издать книгу за свой счет, о чем я ему и заявил.

— Смею предположить, что такой ответ Энрике не понравился. Я видел его библиотеку.

— Не понравился? Слышали бы вы... Спор случился в его кабинете. Вся сцена и по сей день стоит у меня перед глазами: как он поднялся на цыпочки, маленький и пузатый... Его чуть не хватил удар, он смотрел на меня безумным взором. Очень неприятная сцена. Он, видите ли, посвятил сочинению всю свою жизнь. И кто я такой, чтобы судить его творение. И книга принадлежит вечности. И я — необъективный критик, несносный резонер. И еще — я спал с его женой... Последняя реплика меня огорошила; я не думал, что он о чем-то догадывается. Но, как оказалось, Лиана разговаривала во сне и не только осыпала проклятиями д'Артань-

яна и его друзей, которых ненавидела всеми силами души, словно они были реальными людьми, нет, она еще протранслировала мужу историю наших отношений... Весь сериал... Представляете мое положение?

— Да, положение незавидное.

— Уж чему тут завидовать! Но худшее было впереди. Энрике пошел в атаку: ладно, пусть он плохой писатель, а Дюма? Много лучше? Что бы делал Дюма без Огюста Маке, которого подло эксплуатировал? И вот оно доказательство: белые и голубые страницы с "Анжуйским вином", которые хранятся у него в сейфе... Мы перешли на крик. Он обозвал меня ловеласом, совсем как в старинных драмах, а я его — безграмотным болваном, прибавив несколько едких комментариев по поводу кулинарно-издательской деятельности. И наконец, я сравнил его с кондитером Сирано...[8] "Я отомщу тебе! — пригрозил он, изображая из себя графа Монте-Кристо. — Я выведу на чистую воду твоего обожаемого Дюма, который ставил собственное имя под чужими романами. Я сделаю достоянием публики рукопись, и все увидят, как стряпал свои тексты этот интриган и лицемер. Да, я наплюю на правила Клуба, глава принадлежит мне, и я продам ее кому пожелаю. Так что, Борис, берегись..."

— Сильный удар!

— Никто не знает, на что способен автор, когда задевают его самолюбие, пренебрегают его творением. Итак, Энрике выставил меня за дверь. Потом я узнал от Лианы, что он позвонил этому книготорговцу, Ла Понте, и предложил рукопись. По его разумению, он вел себя хитро и предусмотрительно, как Эдмон Дантес. Он ведь вознамерился раздуть скандал так, чтобы самому остаться в стороне. И тут в историю вмешались вы. Вообразите мое изумление, когда я увидел вас на пороге с главой романа под мышкой.

— Но вы чувств своих не выдали.

— Разумеется! Ведь после смерти Энрике мы с Лианой посчитали рукопись безвозвратно утраченной.

Я наблюдал, как Корсо роется в кармане плаща, достает оттуда мятую сигарету... Он сунул ее в рот и, забыв зажечь, сделал несколько шагов по террасе.

— Ваша история нелепа и абсурдна, — заключил он. — Эдмон Дантес никогда не покончил бы с собой, не отомстив обидчикам.

Я кивнул в знак согласия, хотя в этот миг он повернулся ко мне спиной и кивка моего видеть не мог.

— Дело на этом не кончилось, — сказал я. — На следующий день после нашего объяснения Энрике явился, чтобы сделать последнюю попытку уговорить меня... Чаша моего терпения переполнилась — как вы понимаете, шантажа я простить не мог. И вот, выйдя из себя, я достал козырную карту: сказал, что его роман не только очень дурно написан, нет, суть в другом, читая его, я находил там подозрительно знакомые вещи... Тут я сходил в свой кабинет и отыскал старый-престарый том "Народного иллюстрированного романа". Редкое и мало кому известное издание конца прошлого века. Я открыл книгу на первой странице — сочинение было подписано неким Амори из Вероны — именно так! — и озаглавлено "Анжелина де Гравайяк, или Незапятнанная честь". Я прочитал вслух первый абзац — Энрике побледнел, словно из могилы поднялся призрак этой самой Анжелины. В сущности нечто подобное и произошло. Понадеявшись, что никто не помнит этой книги, он переписал роман почти дословно — за исключением одной главы, которую

целиком украл у Фернандеса-и-Гонсалеса. Эта глава, кстати, была лучшей в тексте Энрике... Я тогда пожалел, что не имел под рукой фотоаппарата и не запечатлел своего гостя: он поднес руку к челу и воскликнул: "Проклятие! Все кончено!" Больше я не услышал от него ни слова, только какие-то астматические хрипы – он буквально задыхался. Потом резко развернулся и кинулся домой. И там повесился.

Корсо уставился на меня. Во рту у него по-прежнему торчала сигарета, которую он так и не зажег.

– После чего все окончательно запуталось, – продолжал я, не сомневаясь, что теперь-то он начинал мне верить. – Рукопись попала к вам, и ваш приятель Ла Понте никак не желал с ней расстаться. Сам я не мог уподобиться Арсену Люпену – мне дорога моя репутация. Поэтому я поручил Лиане заняться рукописью; к тому же приближалась дата ежегодного собрания и надо было утвердить кандидатуру нового члена Клуба – вместо Энрике. Но Лиана совершила ряд ошибок. Сначала она отправилась к вам, – тут я досадливо закашлялся, не желая входить в детали. – Потом решила переманить на свою сторону Ла Понте и заставить его забрать у вас "Анжуйское вино". Она не подозревала, каким упрямым вы порой бываете... Но подвело ее другое: она всю жизнь мечтала поучаствовать в каком-нибудь опасном приключении, как ее любимая героиня, – чтобы было много препятствий, любовных интриг и преследований. А новый поворот дела открыл перед ней в этом смысле богатейшие возможности. И она самозабвенно пустилась по вашему следу. "Я принесу тебе рукопись переплетенной в кожу Корсо", – пообещала она... Я, правда, просил ее не перегибать палку, но главную ошибку, признаюсь, совершил я сам – подстегнул ее фантазию, выпустил на волю дух миледи, который таился в груди у Лианы с той самой поры, как она впервые прочла "Трех мушкетеров".

– Могла бы прочитать и что-нибудь еще. Например, "Унесенные ветром". Вообразила бы себя Скарлетт О'Хара и гонялась бы за Кларком Гейблом[9], а не за мной.

– Спорить не стану, она немного перестаралась – приняла все слишком всерьез.

Корсо почесал затылок. И нетрудно было угадать, о чем он подумал: на самом деле, если кто и отнесся ко всему слишком всерьез, так это тот, другой, – субъект со шрамом.

– А кто такой Рошфор?

– Его зовут Ласло Николаевич. Актер, вечно игравший роли второго плана... В том числе Рошфора в сериале, который Андреас Фрей пару лет назад снял для британского телевидения. Тут надо добавить, что он сыграл роли почти всех негодяев-бретеров: Гонзаго в "Лагардере", Левассёра в "Капитане Бладе", Ла Тура д'Азир в "Скарамуше", Руперта де Хентцау в "Пленнике замка Зенда"... К тому же он обожает приключенческие романы и мечтает вступить в Клуб Дюма. Лиана очень полагалась на него. Это она настояла, чтобы мы подключили его к нашему делу.

– Что ж, ваш Ласло вложил в роль всю душу...

– Боюсь, что да. Подозреваю также, что он хотел заработать очки для вступления в Клуб... А иногда играл еще и роль героя-любовника, – я выдавил светскую улыбку, надеясь, что она получится убедительной. – Лиана молода, красива и чувственна. Можно сказать, что я занимаюсь интеллектуальной стороной ее личности, мирными всплесками ее ро-

мантических чувств, а Ласло Николаевич, как легко догадаться, — более прозаическими гранями ее темпераментной натуры.

— Что еще?

— Да почти ничего. Николаевич-Рошфор пообещал, что при первом удобном случае отберет у вас рукопись. Поэтому он последовал за вами из Мадрида в Толедо и Синтру, а Лиана поехала в Париж, прихватив с собой Ла Понте — на всякий случай, вдруг у Рошфора ничего не получится и вы заупрямитесь. Остальное вам известно: рукопись мы не получили, миледи и Рошфор выбыли из игры, а вы явились сюда. — Я задумался. — Знаете что? Мне в голову пришла мысль: а не предложить ли вам стать членом Клуба вместо Ласло Николаевича?

Он даже не спросил, в шутку я говорю или всерьез. Снял свои разбитые очки и стал машинально протирать стекла — с таким видом, словно находился за тысячу километров отсюда.

— И это все? — услышал я наконец.

— Разумеется, — я кивнул в сторону зала. — И вот вам доказательство.

Он снова нацепил очки и глубоко вздохнул. А мне очень не понравилось выражение его лица.

— А "Delomelanicon"?.. И какое отношение имеет Ришелье к "Девяти вратам в царство теней"?.. — он подошел почти вплотную и принялся тыкать мне в грудь пальцем, отчего я даже попятился. — Вы что, за идиота меня принимаете? Скажите еще, что понятия не имеете, что общего между Дюма и этой вот книгой, что ничего не знаете о пакте с дьяволом и прочих вещах — убийстве Виктора Фаргаша в Синтре, пожаре в квартире баронессы Унгерн в Париже. А кто донес на меня в полицию? Вы сами? И что вы скажете о книге, спрятанной в трех разных экземплярах? О девяти гравюрах, выполненных Люцифером и перепечатанных Аристидом Торкьей после возвращения из Праги "с привилегией и с позволения вышестоящих"... Обо всем этом чертовом клубке?

Вопросы свои он буквально выплеснул мне в лицо. Он орал, выставив вперед подбородок и сверля меня злыми глазами. Я отступил еще на шаг и глядел на него раскрыв рот.

— Вы сошли с ума, — выкрикнул я с возмущением. — Объясните же наконец, о чем идет речь?

Он достал коробок спичек и зажег сигарету, защищая огонек ладонями и не переставая при этом глядеть на меня сквозь очки, в которых отражалось маленькое пламя. А потом изложил свою версию событий.

Когда он кончил говорить, мы оба какое-то время молчали. Мы стояли рядышком, опершись на влажные перила, и смотрели на сверкающие в зале огни. Рассказ Корсо длился столько, сколько ему понадобилось, чтобы выкурить сигарету. После чего он бросил окурок на пол и придавил каблуком.

— По логике вещей, теперь мне следует признаться: "Да, это правда!" и протянуть руки, чтобы вы надели на них наручники... — сказал я. — Вы и впрямь ожидаете чего-то подобного?

Он чуть помедлил с ответом. Изложив свою версию, он, видимо, и сам почувствовал ее шаткость.

— И все же, — прошептал он, — связь существует.

Я уперся взглядом в узкую тень, которую он отбрасывал на мраморные плиты террасы. Прямоугольники света из зала разрезали тень на части и вытягивали ее так, что она стелилась по ступеням до самого сада.

— Боюсь, — добавил я, — воображение сыграло с вами злую шутку.

Он медленно покачал головой:

— Разве это плод моего воображения: Виктор Фаргаш, утопленный в пруду, баронесса Унгерн, сгоревшая вместе со своими книгами?.. Все это случилось на самом деле. И две истории переплетаются между собой.

— Вы сами сказали — две истории. А может, и связи тут чисто литературные? То есть интертекстуальные...

— Оставьте ваши литературоведческие термины. Но ведь именно с этой главы Дюма все и началось, — он с обидой посмотрел на меня. — С вашего проклятого Клуба. С ваших забав и игрушек.

— Тут нет никакого преступления. Играть никому не запрещено. Если бы это была не реальная история, а художественное произведение, вы как читатель были бы главным виновником.

— Не говорите глупостей.

— Нет, это не глупости. Из всего рассказанного вами я могу заключить, что вы тоже сплели воедино реальные факты с известными литературными сюжетами, сотворили теорию и пришли к ложным выводам. Но факты — вещь объективная, и на них нельзя свалить вину за свои ошибки. История "Анжуйского вина" и история этой таинственной книги, "Девяти врат", никак между собой не связаны.

— Вы сами подтолкнули меня к мысли...

— Мы, то есть Лиана Тайллефер, Ласло Николаевич и я, ни к чему вас не подталкивали. Вы по собственному почину заполнили пробелы, словно речь шла о романе, построенном на всякого рода ловушках, а вы, Лукас Корсо, были читателем, который решил, что он тут самый умный... Никто и никогда не говорил вам, что в действительности все происходило именно так, как вы себе вообразили. Поэтому ответственность целиком ложится на вас, друг мой... И главная ваша беда — чрезмерная тяга к интертекстуальности, вы устанавливаете искусственные связи между разноплановыми литературными явлениями.

— А что еще мне оставалось делать? Чтобы двигаться, нужен какой-то план, какая-то стратегия, не мог же я спокойно сидеть и ждать, чем все кончится. Любая стратегия предполагает, что должен быть выработан некий образ противника, он и определяет дальнейшие шаги... Так действовал Веллингтон, думая, что Наполеон думает, что он сделает именно это. А Наполеон...

— Наполеон тоже совершил ошибку, приняв Блюхера за Груши, потому что военная стратегия чревата не меньшим риском, чем литературная... Послушайте, Корсо, наивные читатели уже повывелись. Перед печатным текстом всяк проявляет свою испорченность. Читатель формируется из того, что он прочел раньше, но также из кино и телепередач, которые он посмотрел. К той информации, которую предлагает ему автор, он непременно добавляет свою собственную. Тут и кроется опасность: из-за избытка аллюзий может получиться неверный или даже вовсе не соответствующий действительности образ противника.

— Значит, информация была ложной.

— Не обязательно. Информация, которую дает вам книга, обычно бывает объективной. Хотя злонамеренный автор может представить ее в таком виде, что читатель поймет ее превратно, но сама по себе информация никогда не бывает ложной. Это сам читатель прочитывает книгу неверно.

Он глубоко задумался. Потом снова облокотился на перила, повернувшись лицом к саду, где властвовали тени.

— Тогда появляется еще один автор, — процедил Корсо сквозь зубы и очень тихо.

Какое-то время он стоял неподвижно. Затем достал из-под плаща папку с "Анжуйским вином" и положил ее рядом, на покрытые мхом перила.

— У этой истории два автора, — упрямо пробурчал он.

— Возможно, — сказал я, забирая рукопись Дюма. — И один, видимо, оказался настоящим злодеем... Но моя забота — роман-фельетон. Если вас интересуют детективы — поиск следует вести в ином месте.

1. Роман Марселя Аллена и Пьера Сувестра "Фантомас" публиковался с 1911 по 1914 г. с продолжениями — по 450 страниц в месяц.
2. Доктор Шеппард — персонаж романа Агаты Кристи "Убийство Роджера Экройда".
3. Лукус де Рене — псевдоним, которым отец Артуро Переса-Реверте подписал свой роман "Рыцарь в желтом камзоле" (опубликован не был).
4. Капитан Марлоу — персонаж романа Дж. Конрада "Лорд Джим" (1900).
5. Индиана Джонс — главный герой серии фильмов С. Спилберга и Дж. Лукаса, участник невероятных приключений; его имя стало нарицательным (роль исполнял американский актер Харрисон Форд).
6. "Касабланка" (1943, "Оскар") — фильм американского режиссера Майкла Кертиса (наст. имя Михай Кертес; 1888—1962). "Голдфингер" (1964) — фильм американского режиссера Теренса Янга по мотивам романа Я. Флеминга.
7. Dispositio — расстановка, расположение; elocutio — способ изложения, слог, стиль (*лат.*).
8. Речь идет о персонаже комедии Эдмона Ростана (1868—1918) "Сирано де Бержерак" (поставлена в 1897 г.) — кондитере Рагно.
9. Скарлетт О'Хара — героиня романа Маргарет Митчелл (1900—1949) "Унесенные ветром" (1936). Кларк Гейбл (1901—1960) — американский актер, в фильме В. Флеминга (1883—1949) "Унесенные ветром" (1939) сыграл роль Ретта Батлера.

XVI. В*озвращение к готическому роману*

> – Проклятие! Вот уж затруднение, – сказал Портос. – В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались, потому что дрались.
>
> А. Дюма. *Виконт де Бражелон*

Лукас Корсо сидел на водительском месте, откинув голову на спинку кресла, и глядел в окошко. Автомобиль стоял на маленькой придорожной площадке – там, где шоссе делало последний поворот перед спуском к городу. Старая его часть, окруженная древними стенами, плыла в поднимающемся с реки тумане и казалась голубоватым призрачным островком. Это был какой-то промежуточный мир, лишенный и света, и теней, – иначе говоря, обычный кастильский рассвет, холодный и робкий, когда первые проблески дня начинают вычерчивать на востоке линии крыш, труб и колоколен.

Он хотел узнать время, но еще в Менге в часы его попала вода, так что теперь стекло запотело и циферблата видно не было. Корсо поднял взгляд к зеркалу и наткнулся на собственные усталые глаза. Менг-на-Луаре, канун первого апрельского понедельника... Сейчас Корсо находился за много километров оттуда, и уже успел наступить вторник. Обратный путь был долгим, и чудилось, что далеко позади остались, вернее, отстали и Балкан, и Клуб Дюма, и Рошфор, и миледи, и Ла Понте. Тени завершенного рассказа, после того как перевернута последняя страница и автор нанес последний удар – поставил точку, легонько стукнув по клавиатуре "Кверти" – вторая клавиша внизу справа. И этим вполне необязательным поступком напомнил, что речь идет всего лишь о строках на собранных в стопку печатных листах, о равнодушной бумаге. О судьбах, которые вдруг тоже сделались посторонними.

Этот рассвет, так похожий на пробуждение, Корсо встретил с покрасневшими глазами и трехдневной щетиной на щеках; в парусиновой сумке лежал последний экземпляр "Девяти врат". И все, ничего больше у охотника за книгами не осталось. Нет, еще девушка. Только это выкинул на берег прибой. Рядом раздался стон, Корсо повернулся и глянул на нее. Она спала на соседнем сиденье, накрывшись курткой, положив голову на правое плечо Корсо. Она тихо дышала приоткрытым ртом и порой чуть вздрагивала. И снова еле слышно стонала, и тогда меж бровями у нее появлялась маленькая морщинка, делавшая ее похожей на обиженную девочку. Рука, высунувшаяся из-под синей куртки, была повернута ладонью вверх, пальцы полураскрыты, словно мгновение назад что-то упорхнуло из них или они готовились что-то принять.

Корсо опять обратился мыслями к Менгу. Вспомнил их путешествие, Бориса Балкана, который стоял рядом с ним на мокрой от дождя террасе. Он держал в руках папку с рукописью "Анжуйского". Ришелье улыбнулся Корсо, как старый враг, который восхищается вами и одновременно сочувствует: "Вы удивительный человек, друг мой"... Это были прощальные слова – нечто среднее между утешением и на-

путствием; они еще имели какой-то смысл, но за ними последовало приглашение присоединиться к гостям, прозвучавшее не слишком искренне. Не потому, что Балкану была неприятна его компания — нет, он был скорее огорчен тем, что они расстаются, — просто Борис предвидел, что Корсо откажется идти с ним в зал. Корсо и на самом деле долго стоял на террасе, облокотившись на перила, и вслушивался в отголоски собственного поражения. Потом медленно пришел в себя, огляделся по сторонам, пытаясь поточнее определить, куда двигаться, и зашагал прочь от освещенных окон. Он неспешно возвратился в гостиницу, наугад отыскивая дорогу на темных улицах. Ему больше не довелось увидеть Рошфора, а в гостинице "Сен-Жак" он узнал, что и миледи спешно отбыла. Оба они уходили из его жизни, чтобы вернуться в те зыбкие миры, откуда и явились; они вновь стали вымышленными персонажами, которые, как фигуры на шахматной доске, передвигает чья-то рука. Что касается Ла Понте и девушки, то они так и сидели в номере. Ему, честно говоря, было наплевать на Ла Понте, но он сразу успокоился, увидев там девушку. Корсо подозревал — и боялся этого, — что потерял ее, как и других героев истории. Он кинулся к ней, схватил за руку, пока она тоже не растаяла в пыли библиотеки замка Менг; и потащил к машине. А Ла Понте с тревогой наблюдал эту сцену. Его они бросили — теперь он был лишь отражением в автомобильном зеркальце; несчастный Флавио стоял на дороге и понапрасну заклинал Корсо их старой и поруганной дружбой. Он не понимал, что происходит, и не осмеливался задавать вопросы. Утративший доверие и никому больше не нужный гарпунер, предатель, которого пускают по воле волн, дав галету и трехдневный запас воды: постарайтесь доплыть до Батавии, господин Блай[1]. Однако в самом конце улицы Корсо нажал на тормоз. Он сидел, держа руки на руле и глядя на освещенный фарами асфальт впереди; при этом испытующий взгляд девушки был прикован к его профилю. Но ведь и Ла Понте не был реальным персонажем, поэтому, тяжело вздохнув, Корсо дал задний ход и подобрал книготорговца, который за весь день и всю следующую ночь не проронил ни слова, пока его не высадили у светофора на какой-то мадридской улице. Он даже не возмутился, услышав от Корсо, что с рукописью Дюма должен распрощаться навсегда. Да и что, собственно, мог он на это сказать?

Корсо скользнул взглядом по холщовой сумке, лежавшей у девушки в ногах. Его, разумеется, не отпускало горькое чувство поражения, зудящее, как ножевой шрам на совести. Досадно от того, что он хоть и играл по правилам, legitime certaverit, но двигался в ложном направлении. Так что радость победы угасла в самый момент победы — неполной и сомнительной. Выдуманной. Все равно как если бы он сумел одолеть призраков, колотил кулаками по ветру или кричал в тишину. Видимо, поэтому Корсо с таким недоверием созерцал плывущий в тумане город, ожидая, пока он наконец опустится на твердую почву. И только тогда можно будет ступить в него.

Он слышал ритмичное и тихое дыхание девушки, прикорнувшей рядом. Видел обнаженную шею под курткой; потом протянул левую руку и убедился, что в ее пальцах мягко пульсировала жизнь. От девушки, как всегда, пахло юной плотью и лихорадочным жаром. Память и воображение помогли ему представить стройное с мягкими изгибами тело — до са-

мых кончиков босых ног, рядом с которыми стояли белые теннисные тапочки и валялась его сумка. Ирэн Адлер. Он так и не узнал, как же ее на самом деле зовут; но помнил ее наготу в полумраке, линию бедер, вырезанную на фоне светящейся двери, полуоткрытые губы. Невыразимо красивая и безмятежная, сосредоточенная на собственной молодости и в то же время спокойная, словно тихая заводь, таящая в себе вековую мудрость. А в глубине светлых глаз, которые пристально смотрели на него из мрака, темное отражение самого Корсо – в сиянии света, похищенного у небес.

Теперь ее глаза снова наблюдали за ним – изумрудные под длинными ресницами. Девушка проснулась, сонно потянулась и потерлась щекой о его плечо; потом резко выпрямилась, покрутила головой по сторонам и уставилась на Корсо.

– Привет, Корсо, – куртка скользнула к ногам; белая футболка обтягивала великолепную упругую грудь, тело прекрасного юного животного. – Что мы тут делаем?

– Ждем, – он указал на город, словно паривший в густом речном тумане. – Пока он не станет реальным.

Она посмотрела в том же направлении, не сразу поняв смысл его слов. Потом спокойно улыбнулась.

– Может, ему никогда не суждено стать реальным.

– Значит, мы так и будем здесь стоять. В конце концов, место недурное... Мы – наверху, а внизу, у наших ног – ирреальный мир, – он повернулся к девушке, чуть помолчал, а потом добавил: – "Она повела бы меня к славе, богатству, знанию. А я составил бы ее блаженство..."[2] Ты не собираешься предложить мне нечто подобное?

Улыбка девушки была полна нежности. Она задумчиво наклонила голову, затем подняла взор и посмотрела Корсо прямо в глаза:

– Нет. Я бедная.

– Знаю, как же, – Корсо не лгал, и ему не было нужды читать то, что было написано в прозрачной ясности ее глаз. – Твой багаж, тот вагон в поезде... Забавно. Я всегда верил, что где-то там, на краю радуги, у тебя хранятся несметные сокровища, – он улыбнулся, словно открыл лезвие ножа – того, что лежал у него в кармане. – Мешок с золотом, как у Петера Шлемиля[3], и тому подобное.

– Ты ошибаешься, – теперь она упрямо сжимала губы, – все, что у меня есть, – это я сама.

Что тоже было правдой, и Корсо знал о том с самого начала. Она никогда не врала. Простодушная и мудрая, верная и влюбленная девушка, пустившаяся в погоню за тенью.

– Вижу, вижу, – он покрутил в воздухе рукой, как будто писал воображаемой ручкой. – А ты не предложишь мне поставить подпись под каким-нибудь договором?

– Договором?

– Да. Пактом, как говорили прежде. Теперь это называют договором, и он должен быть плотно заполнен мелкими буквами, так? "В спорном случае стороны решают разногласия в судебном порядке..." Смешно! Хотелось бы мне знать, какой суд занимается такими делами, как наше.

– Не говори глупостей.

– Почему ты выбрала именно меня?

— Я свободна, — она грустно вздохнула, будто успела дорого заплатить за право на эти слова. — И могу выбирать. Выбирать может каждый.

Корсо пошарил в карманах плаща в поисках мятой пачки. Там осталась только одна сигарета; он достал ее и нерешительно повертел, но до рта так и не донес, а сунул обратно в пачку. На случай, если позднее ему захочется курить больше, чем сейчас. Наверняка захочется.

— Ты ведь с самого начала знала, — сказал он, — что это две никак не связанные между собой истории. Поэтому тебя не волновала рукопись Дюма... А миледи, Рошфор, Ришелье — к ним ты относилась как к участникам карнавала. Теперь я понимаю твое странное безразличие; наверно, ты чудовищно скучала. Перелистывала "Мушкетеров", пока я забавлялся этой головоломкой...

Она смотрела через ветровое стекло на затянутый голубым туманом город. И начала было поднимать руку в знак протеста, но передумала, и рука снова опустилась, как будто то, что она хотела сказать, не имело никакого значения.

— Я могла всего лишь сопровождать тебя, — ответила она после паузы. — Каждому положено проделать некий путь в одиночестве. Ты никогда не слыхал о свободе воли?.. — Она грустно улыбнулась. — Кое-кто платит за это непомерно высокую цену.

— Но ведь ты не всегда держалась в стороне. В ту ночь на берегу Сены... Почему ты помогла мне в схватке с Рошфором?

Он увидел, как она тронула холщовую сумку босой ногой.

— Он хотел завладеть рукописью Дюма, но ведь там же находились и "Девять врат". Надо было избежать нелепых осложнений, — она пожала плечами. — К тому же мне не понравилось, что он тебя бьет.

— А в Синтре? Ведь это ты сообщила мне о том, что случилось с Фаргашем.

— Конечно. Там дело шло о книге.

— А ключ к встрече в Менге...

— Я ничего не знала; просто прочла роман и сделала выводы.

Корсо раздраженно скривился:

— А я посчитал вас всеведущими.

— Ты ошибаешься, — теперь она смотрела на него гневно. — И я не понимаю, почему ты, обращаясь ко мне, пользуешься множественным числом. Я уже давно одна.

Века, с уверенностью подумал Корсо. Века одиночества; в этом он не сомневался. А ведь он обнимал ее нагое тело, окунался в прозрачную ясность глаз. Он был внутри этого тела, упивался нежной кожей, ловил губами слабое биение жилки на шее, слышал тихие стоны — испуганная девочка или падший ангел, одинокий, истосковавшийся по теплу. И он видел, что она спала, сжав кулачки, — во сне ее мучали кошмары: белокурые, сияющие архангелы в доспехах, неумолимые и неуступчивые, как сам Господь Бог, который заставлял их маршировать гусиным шагом.

Теперь, узнав девушку, — хоть это и случилось слишком поздно, — он лучше понимал Никон, ее фантазии и отчаянное желание покрепче уцепиться за жизнь. Ее страхи, ее черно-белые фотографии, напрасные попытки убить воспоминания, переданные ей вместе с генами тех, кто выжил в Освенциме, номер на руке ее отца, "Черный орден"[4], в котором не было ничего нового, он был таким же древним, как дух человека и проклятие человека. Потому что Бог и дьявол могли быть едины, и каждый человек толковал это единство на свой лад.

Однако Корсо оставался таким же жестоким, как и во времена Никон. Ноша оказалась для его плеч непосильной, а благородным сердцем Портоса он наделен не был.

— Значит, это и было твоей миссией? — спросил он девушку. — Охранять "Девять врат"?.. Что ж, медали ты не заслужила.

— Ты несправедлив, Корсо.

Почти те же слова. Снова Никон, плывущая по воле волн, маленькая и ранимая. К кому она прижимается теперь ночами, чтобы спастись от кошмаров?

Он посмотрел на девушку. Может, воспоминание о Никон и было придуманным специально для него наказанием, но он не собирался покорно принимать его. Корсо скосил глаза на свое отражение в зеркальце и увидел недоверчивую и горькую складку у губ.

— Несправедлив? Мы потеряли две из трех книг. А эти нелепые смерти — Фаргаша и баронессы, — на самом-то деле судьба их была Корсо безразлична, но складка у губ стала еще глубже. — Ты могла бы предотвратить их.

Она отрицательно качала головой, продолжая очень серьзно глядеть ему в глаза.

— Есть вещи, которые нельзя предотвратить, Корсо. Есть замки, которым суждено сгореть, и есть люди, которым суждено быть повешенными; есть собаки, которые непременно разорвут друг друга, и добродетели, которые будут развенчаны; и врата, которые надо открыть, чтобы вошел в них кто-то другой... — она наморщила лоб и опустила голову. — Моей миссией, как ты выражаешься, было увериться, что ты пройдешь весь путь целым и невредимым.

— Что ж, дорога была слишком длинной, чтобы закончить ее в пункте отправления, — Корсо указал на город, парящий в тумане. — А теперь я должен войти туда.

— Ты ничего не должен. Тебя никто не заставляет. Ты можешь забыть все и повернуть назад.

— Не узнав ответа?

— Не ища доказательств. Ответ ты носишь в себе самом.

— Какая красивая фраза. Выбей ее на моем надгробном камне, когда я буду гореть в преисподней.

Она стукнула его по коленке — беззлобно, почти дружески.

— Не будь идиотом, Корсо. Куда чаще, чем принято думать, вещи являются такими, какими человек хочет их видеть. Даже дьявол может надевать разные личины. И менять свою сущность.

— И выбрать, скажем, раскаяние.

— Да. Но также знание и красоту, — она снова тревожно глянула на город. — Или власть и богатство.

— Но в любом случае конечный результат один — вечное проклятие, — он повторил прежний жест, словно подписывая в воздухе воображаемый договор. — В оплату идет невинность души.

Она опять вздохнула:

— Ты уже давно расплатился, Корсо. И продолжаешь платить. Забавная привычка — откладывать все на конец, чтобы было похоже на последний акт в трагедии... Ведь каждый тащит на себе свое проклятие с самого начала. Что касается дьявола, то это сердечная боль Господа Бога, и только Его; ярость тирана, угодившего в собственные сети. История, рассказанная с позиции победителей.

— Когда это случилось?

— Так давно, что ты и вообразить не можешь. И дело было очень тяжким. Я билась сто дней и сто ночей — без надежды на победу и пощаду... — слабая, едва заметная улыбка мелькнула в уголке ее губ. — Только этим я и могу гордиться, Корсо: я сражалась до конца. И отступила, не показав спины, вместе с теми, что тоже падали с высот... Я охрипла, крича от ярости, страха и усталости... Потом, уже после боя, я поняла, что бреду по безлюдному голому полю; и была я так же одинока, как холодна вечность... Еще и сейчас я порой нахожу след того боя или встречаю старого товарища, который проходит мимо, не смея поднять глаз.

— Но почему я? Почему ты не выбрала кого-то из другого лагеря, из тех, что всегда побеждают?.. Ведь я выигрываю сражения только в масштабе 1:5000.

Девушка снова была далеко. В этот миг проглянуло солнце, и первый горизонтальный луч прорезал утро тонкой красноватой иглой, которая впилась прямо ей в глаза. И когда она опять повернулась к Корсо, у него закружилась голова от моря света, отраженного в зеленом взоре.

— Потому что мудрость никогда не побеждает. А кому же интересно соблазнять глупца...

И тут она приблизила свои губы и поцеловала его — неспешно и с бесконечной нежностью. Словно вечность ждала мига, когда сможет наконец это сделать.

Туман начал лениво рассеиваться. Словно наконец-то город, паривший в воздухе, решил обосноваться на земле. Рассвет уже очертил охрой и серым громаду Алькасара, колокольню собора и каменный мост с утонувшими в темной речной воде опорами, так похожий на ненадежную руку, протянутую от берега к берегу.

Корсо повернул ключ зажигания, и машина тронулась. Потом она заскользила вниз по склону пустынной дороги. Они спускались все ниже, а рассветное солнце тем временем поднималось, оставаясь сзади, прямо за их спиной. Город плыл навстречу, и они неспешно окунались в мир холодных тонов и необъятного одиночества, которое пряталось в последних клочьях сизого тумана.

На мост Корсо въехал не сразу, он притормозил в самом его начале, под каменной аркой; охотник за книгами сидел, не снимая рук с руля, чуть наклонив голову вперед и крепко сжав челюсти, и напоминал напружинившегося, готового к схватке зверолова. Он снял очки и без особой надобности принялся протирать стекла, очень медленно, упёрев взор в мост, который преображался в широкую дорогу с нечеткими, тревожными очертаниями. Он не желал смотреть на девушку, хотя чувствовал, что она рядом и ловит каждое его движение. Он надел очки, подправив их указательным пальцем, и картина сразу обрела резкость, но более мирной не стала. Другой берег отсюда выглядел далеким и мрачным; темная река под мостом напоминала черные воды времени и Леты. Ощущение опасности было конкретным и острым, как стальная спица, которая застряла в остатках ночи, никак не желавшей умирать. Корсо почувствовал биение крови в запястье, когда положил правую руку на рычаг переключения скоростей. У тебя еще есть время повернуть назад, сказал он себе. И тогда ничего из того, что произошло, никогда не произойдет, и ничего из того, чему суждено случиться, никогда не случится. А что касается практических достоинств “Nunc scio”, “Теперь знаю”, вычеканен-

ного Богом или дьяволом, то на поверку мысль оказывалась весьма спорной. Он скривил рот. В любом случае, это пустые фразы. Он знал, что через пару минут будет на другом конце моста, на другом берегу реки. "Verbum dimissum custodiat arcanum". Он даже поднял глаза к небу, высматривая лучника со стрелами — или без стрел — в колчане, потом включил первую скорость и мягко нажал на акселератор.

Выйдя из машины, он почувствовал холод и поднял воротник плаща. Не оглядываясь пересек улицу, постоянно ощущая на спине взгляд девушки. Под мышкой он нес "Девять врат". Она не предложила сопровождать его, и по каким-то смутным резонам он понял, что так будет лучше. Нужный ему дом занимал целый квартал — серая каменная махина возвышалась над тесной площадью, среди средневековых зданий, чьи запертые окна и двери придавали им вид неподвижных статистов, слепых и немых. Фасад был из серого камня, на козырьке над входом — четыре фигурных водостока: козел, крокодил, горгона и змея. В арке в стиле мудехар[5] была еще и звезда Давида на кованой решетке, закрывавшей проход во внутренний дворик, а дальше — два мраморных венецианских льва рядом с колодцами, накрытыми металлическими крышками. Все это охотник за книгами уже не раз видел, но никогда прежде не ступал он сюда с тем ощущением опасности, какое овладело им теперь. На память ему пришло старое изречение: "Возможно, мужчины, которых ласкали многие женщины, гораздо меньше раскаиваются в былых грехах, пересекая долину теней, или испытывают меньше страха..." Видимо, так оно и было, а вот его ласкали недостаточно: рот у него совсем пересох, и он продал бы душу за полбутылки "Болса". Что до "Девяти врат", то книга казалась такой тяжелой, точно в нее было вставлено не девять гравюр, а девять свинцовых пластин.

За железной калиткой царила нерушимая тишина. Даже подошвы его ботинок, касаясь каменных плит, которые покрывали патио и были истерты ногами давно умерших людей и вековыми ливнями, не производили никакого шума. Узкая и крутая лестница начиналась прямо там, под полукруглыми сводами. В конце лестницы виднелась тяжелая, обитая массивными гвоздями, темная запертая дверь: последняя дверь. И тут Корсо непонятно кому подмигнул — просто так, пустоте, самому себе, и потом скривил рот, и стал виден клык недоверчивого волка, против воли ставшего разом и автором, и жертвой собственной шутки — или собственной ошибки. Но к ошибке его намеренно подтолкнула коварная рука, ведь все было тщательно спланировано — в том числе ложная просьба о помощи. Правда, сперва он вел себя осмотрительно, но потом увлекся и только в самом конце убедился, что его подозрения подтверждались самим текстом. Если бы все это, черт возьми, было романом, но нет... А если все-таки?.. Зато уж точно реальным было его лицо, которое он увидел отраженным в блестящей металлической табличке, привинченной к двери: искривленное отражение человека, имевшего имя и фамилию, а не только неподвижные очертания. На фоне бьющего из-за спины света. Свет шел из арки у подножия лестницы, где начиналось патио. Корсо сделал последнюю остановку в этом странном путешествии к обратной стороне теней.

Он нажал на звонок. Раз, два, три — безрезультатно. Латунный звонок онемел и на нажатие не отзывался. Рука Корсо, лежавшая в кармане плаща, нашупала там смятую пачку с последней сигаретой. Но он опять

поборол соблазн. И нажал на звонок в четвертый раз. Потом — в пятый. Потом ударил по двери кулаком: два раза. Только тогда она отворилась. Без зловещего скрипа, бесшумно, на хорошо смазанных петлях. Никаких театральных эффектов не было, на пороге как ни в чем не бывало стоял Варо Борха.

— Привет, Корсо.

Казалось, при виде гостя он ничуть не удивился. На лысине и на лбу у него блестели капли пота, он был небрит... Рубашка с засученными по локоть рукавами, расстегнутый жилет... Он выглядел уставшим, вокруг глаз, словно после бессонной ночи, лежали черные круги; зато глаза блестели по-особенному, лихорадочно и исступленно. Он не спросил Корсо, почему тот явился в неурочный час, и равнодушно глянул на книгу, торчавшую у того под мышкой. Он мгновение постоял неподвижно, с видом человека, которого оторвали от требующей полной сосредоточенности работы или от грез и который мечтает только об одном — чтобы его оставили в покое.

Да, именно он и был нужен Корсо. И охотник за книгами мысленно удовлетворенно кивнул, видя, как материализовалась его собственная глупость. Конечно, это Варо Борха — миллионер, книготорговец международного класса, авторитетный библиофил и серийный убийца. С почти научным любопытством Корсо принялся рассматривать лицо человека, с которым расстался не так давно. Он пытался выделить черты, признаки, которые еще в самом начале должны были бы насторожить его. Не замеченные прежде на этой вульгарной физиономии следы безумия, ужаса или мрака. Но Корсо ничего такого не обнаружил — только лихорадочный, пустой взгляд, совершенно равнодушный, прикованный к картинам, никак не связанным с неурочным визитом гостя, колотившего в дверь. Но ведь Корсо держал под мышкой его экземпляр проклятой книги. И это он, Варо Борха, крался за Корсо по пятам и убил Виктора Фаргаша и баронессу Унгерн. И не только ради того, чтобы заполучить все двадцать семь гравюр и составить из них девять нужных, нет, он хотел уничтожить все следы — и тогда никто больше не сумеет решить загадку, замысленную печатником Торкьей. Во всей этой интриге Корсо был нужен ему для подтверждения некоей гипотезы, которая оказалась верной: книга разбита на три экземпляра. Кроме того, именно на Корсо должны были пасть подозрения полиции. Только теперь Корсо оценил собственную интуицию; ведь еще там, на вилле "Уединение", когда он стоял под расписным потолком и созерцал сцену жертвоприношения Авраама, его кольнуло странное чувство: жертва на самом деле выбрана — и это ему, Корсо, суждено сыграть ее роль. Конечно же тем книготорговцем, что раз в полгода являлся к Виктору Фаргашу и покупал одно из его сокровищ, был Варо Борха. Когда Корсо посетил Фаргаша, тот, другой, уже прибыл в Синтру и затаился, шлифуя детали плана, выжидая, пока подтвердится его теория о том, что для разрешения загадки печатника Торкьи необходимы все три экземпляра. Это ему адресовалась недописанная расписка. Поэтому Корсо и не мог связаться с ним по телефону, а позднее, тем же вечером, прежде чем отправиться на последнее свидание с Фаргашем, Варо Борха сам позвонил Корсо в гостиницу, подстроив все так, что это выглядело как международный звонок. Но охотник за книгами не только подтвердил его подозрения, он вплотную

приблизился к разгадке тайны и тем самым подписал приговор как Фаргашу, так и баронессе Унгерн. Теперь Корсо с отчаянной ясностью видел, как части головоломки вставали на места. Если исключить случайные обстоятельства – ложные связи и пересечения с интригой Клуба Дюма, – то Варо Борха был тем ключом, который помогал распутать необъяснимые узлы другой сюжетной линии – дьявольской. Очень смешно! Прямо умора! Только вот смеяться никак не хотелось.

– Я принес вашу книгу, – сказал Корсо, показывая Варо Борхе "Девять врат".

Тот рассеянно кивнул и не глядя забрал том. Он стоял, чуть склонив голову набок, словно прислушивался к чему-то, словно ждал, что у него за спиной, в глубине дома вот-вот раздастся какой-то звук. Миг спустя он снова уставился на Корсо и удивленно заморгал, обнаружив, что тот еще не ушел.

– Вы отдали мне книгу... Что еще?

– Деньги за работу.

Варо Борха вонзился в него непонимающим взором. Мысли его, как легко было понять, витали где-то далеко. Наконец он пожал плечами, показывая, что до Корсо ему больше дела нет, и двинулся обратно вглубь дома, предоставив гостю право выбирать: войти, стоять на пороге или отправиться восвояси.

Корсо последовал за ним – до комнаты, которую отделяла от коридора и вестибюля массивная дверь. Жалюзи были опущены, чтобы свет снаружи не проникал в помещение, мебель отодвинута к стенам, так что в центре черного мраморного пола образовалось свободное пространство. Дверцы некоторых книжных шкафов распахнуты. Комнату освещало несколько дюжин почти истаявших свечей. Все было закапано воском – каминная полка, мебель, пол, прочие предметы. Повсюду разливался красноватый, мерцающий свет, который колыхался от каждого дуновения воздуха, от каждого движения присутствующих. Пахло как в церкви или в подземной часовне.

По-прежнему не обращая внимания на Корсо, Варо Борха остановился в центре комнаты. Там, где мелом был вычерчен круг – приблизительно в метр диаметром, – а в круге – квадрат, в свою очередь разделенный на девять клеток. За границами квадрата были написаны римские цифры и лежали странные предметы: кусок веревки, клепсидра, ржавый нож, серебряный браслет в форме дракона, золотое кольцо, тлеющий уголь на маленькой металлической жаровне, стеклянная лампочка, горстка земли, камень. Но на полу лежало и кое-что еще. И Корсо брезгливо поморщился. Многие из тех книг, которыми он не так давно восхищался, созерцая их стройные ряды, застывшие за стеклами, теперь валялись у его ног – грязные, разорванные, с исчерканными страницами, покрытыми рисунками и странными знаками, отдельные листы были и вовсе выдернуты. Над книгами стояли свечи, проливая на них огромные капли воска; некоторые свечи догорели, и бумага под ними была подпалена. На полу среди разоренных томов Корсо увидел и гравюры из "Девяти врат", принадлежавших Виктору Фаргашу и баронессе Унгерн. Они лежали вперемешку с другими бумагами – тоже испачканными воском, с загадочными пометами.

Корсо наклонился, чтобы получше разглядеть все эти жалкие остатки. Он отказывался верить собственным глазам – слишком грандиозен был масштаб катастрофы. Одна гравюра из "Девяти врат", номер VI, с

повешенным за правую — а не за левую — ногу человеком, наполовину сгорела вместе с умирающей свечой. Два варианта гравюры номер VII — на одном шахматная доска была белой, на другом черной — лежали рядом с лишенными переплета останками "Theatrum diabolicum" 1512 года[6]. Еще одна гравюра, номер I, высовывалась из тома "De magna imperfectaque opera"[7] Валерио Лорены, редчайшей инкунабулы, которую библиофил совсем недавно торжественно показывал Корсо, позволив до нее лишь дотронуться, а теперь она лежала на полу безвозвратно погубленная.

— Ничего не трогайте, — услышал он голос Варо Борхи. Тот стоял перед кругом и сосредоточенно листал свой экземпляр "Девяти врат", хотя казалось, что он смотрит не на страницы, а за книгу — на меловой круг, на квадрат или еще дальше — в самую глубь земных недр.

Несколько секунд Корсо пристально вглядывался в него — так взирают на человека, которого встретили впервые. Потом медленно выпрямился, при этом пламя свечей заколебалось.

— Тут трогай — не трогай, все одно, — проговорил он, кивком указывая на книги и бумаги, покрывавшие пол. — После того, что вы сами учинили...

— Вы ничего не знаете, Корсо... Думаете, что знаете, а на самом деле — нет. Вы невежественны и очень глупы. Из тех, кто считают, что хаос носит случайный характер, и не ведают о существовании тайного порядка.

— Не заговаривайте мне зубы. Вы все погубили, но у вас не было на это никакого права. Ни у кого нет такого права.

— Ошибаетесь. Это ведь прежде всего мои книги. Но важнее другое: они имели утилитарную функцию. Скорее практическую ценность, чем художественную или эстетическую... Продвигаясь вперед по избранной дороге, человек должен убедиться, что никто другой не следует тем же путем. Эти книги уже выполнили свою миссию.

— Проклятый безумец! Вы с самого начала обманывали меня.

Казалось, Варо Борха не слышал его. Он застыл с последним экземпляром "Девяти врат" в руках и внимательно рассматривал страницу с гравюрой номер I.

— Обманывал?.. — заговорив, он даже не оторвал глаз от книги и не взглянул на Корсо, чем подчеркнул презрение, звучавшее в его словах. — Вы слишком высокого о себе мнения. Я вас нанял, не посвящая в свои планы и не делясь своими соображениями; слуге незачем знать замыслы того, кто ему платит... Вы должны были приложить усердие, а я — воспользоваться результатами ваших трудов. Кроме того, вам пришлось бы взвалить на себя некоторые технические последствия неизбежных актов. Думаю, сейчас полиция Португалии и Франции идет по вашему следу.

— А вы?

— Я? Я далек от всего этого, мне уже ничего не угрожает. Очень скоро мало что будет иметь для меня значение.

Замолчав, он на глазах у изумленного Корсо вырвал лист с гравюрой из "Девяти врат".

— Что вы делаете?

Варо Борха невозмутимо продолжал раздирать книгу.

— Я сжигаю свои корабли, разрушаю мосты, оставшиеся за спиной. И готовлюсь ступить на terra incognita... — он вырвал из книги одну за

другой все гравюры, пока в руках у него не оказались девять листов. Теперь он внимательно изучал их. — Жаль, что вы не можете сопровождать меня... Как гласит надпись на четвертой гравюре, судьба не для всех одинакова.

— А куда вы, собственно, собрались?

Библиофил швырнул изуродованный том на пол. Он переводил взгляд с девяти гравюр на меловой круг, проверяя наличие таинственных соответствий.

— На встречу кое с кем, — ответил он загадочно. — Чтобы отыскать камень, который отверг Великий Архитектор и который должен был встать во главу угла; лечь в фундамент философской системы. А также в фундамент власти. Знаете, Корсо, ведь дьяволу нравятся метаморфозы: вспомните черного пса, сопровождавшего Фауста, или мнимого ангела света, который попытался сломить сопротивление святого Антония. Но вот претит ему больше всего глупость, он ненавидит однообразие... Будь у меня время и желание, я предложил бы вам заглянуть в некоторые из книг, что валяются у ваших ног. Во многих повторяется древнее предание: явление Антихриста случится на Иберийском полуострове, в городе, где смешались три культуры, на берегу реки, глубокой, как след от топора... А ведь речь-то идет о Тахо.

— Это вы и пытаетесь сделать?

— Это мне вот-вот удастся сделать. Брат Торкья указал путь: "Tenebris Lux".

Варо Борха наклонился над кругом и принялся раскладывать за меловой линией отдельные гравюры, другие были ему не нужны, он их комкал или рвал и отбрасывал прочь. Пламя свечей освещало его лицо снизу, отчего он походил на привидение, в глазницах зияли темные бездны.

— Надеюсь, все ляжет как надо, — прошептал он после короткой паузы; на лицо его упала тень, и оно будто бы исказилось гримасой. — Старые учителя магического искусства, которые передали печатнику Торкье самые ужасные и важные тайны, знали путь в царство ночи... "И зверь Уроборос кольцом обвил то место"... Понимаете? Уроборос греческих алхимиков: змея с фронтисписа, магический круг, источник мудрости. Круг, куда вписано все, все...

— Я хочу получить свои деньги.

Варо Борха слов Корсо не услышал.

— А вас не влекли подобные вещи? — продолжал он, глядя на охотника за книгами бездонными темными дырами. — Скажем, исследовать смысл неизменной цепочки дьявол-змея-дракон, которая с подозрительным постоянством повторяется во всех текстах такого рода, начиная с Античности.

Он взял стеклянный сосуд, который стоял у круга, чашу с ручками в виде двух переплетенных змей, поднес к губам и сделал несколько глотков. Жидкость, как заметил Корсо, была темной. Почти черной, как очень крепкий чай.

— "Serpens aut draco qui caudam devoravit"[8], — Варо Борха послал в пустоту улыбку и вытер рот тыльной стороной руки; бурый след остался и на руке, и на его левой щеке. — Они сторожат сокровища: древо познания в Раю, яблоки Гесперид, Золотое руно... — он говорил отрешенно, словно описывал сон, который еще продолжается. — Этих самых змей и драконов древние египтяне изображали в виде круга: они заглатывают

собственный хвост в знак того, что происходят от единого начала и самодостаточны... Недреманные стражи, гордые и мудрые; непостижимые драконы, они убивают недостойных и позволяют прельстить себя лишь тому, кто в бою не посягнул на извечные правила. Стражи изроненного слова – магической формулы, которая отворяет взор и позволяет сравняться с Богом.

Корсо выдвинул вперед челюсть. Он стоял спокойно, и при пламени свечей, плясавшем в его прищуренных глазах, небритые щеки казались совсем провалившимися. Он держал руки в карманах: одна сжимала пачку с последней сигаретой, другая – закрытый нож, лежавший рядом с полной джина фляжкой.

– Я сказал: отдай мне мои деньги. Я хочу уйти отсюда.

В голосе его зазвучала угроза, но трудно было понять, уловил ли ее Варо Борха. Хотя Корсо видел, как тот медленно и с явной досадой возвращается к реальности.

– Деньги?.. – он глянул на Корсо почти с отвращением. – О чем вы говорите, Корсо? Вы и впрямь не понимаете, *что* сейчас, да, сейчас, должно произойти?.. Здесь тайна, о которой веками грезили тысячи людей... Знаете, сколько их шло на костер, на пытки – ради того, чтобы чуть приблизиться к тому, что вы вот-вот увидите?.. Естественно, вам не удастся последовать за мной. Вы будете просто тихо стоять и смотреть. Но даже самый подлый из наемных убийц радуется победе хозяина.

– Заплатите мне! И убирайтесь к дьяволу.

Варо Борха не удостоил его даже взглядом. Он двигался по линии круга и трогал некоторые предметы, размещенные рядом с цифрами.

– Это очень кстати – послать меня к дьяволу. Очень милая шутка, и совсем в вашем стиле. Я бы даже отблагодарил вас за нее улыбкой, если бы не был так занят. Хотя вы невежда и потому допустили неточность: это дьявол явится ко мне, – Варо Борха остановился и склонил голову набок, словно уже слышал далекую поступь. – И я чую его приближение.

Он цедил слова сквозь зубы, перемежая реплики странными гортанными молитвами; адресуясь попеременно то к Корсо, то к какому-то третьему лицу – неведомой персоне, находившейся где-то поблизости, в затемненной части комнаты.

– "Ты пройдешь через восемь врат прежде дракона..." Понимаете? Восемь врат ведут к зверю, который сторожит слово – номер девять, где и скрыта последняя тайна... Дракон спит с открытыми глазами, и он есть Зерцало Познания... Восемь гравюр плюс одна. И это не случайно совпадает с числом, которым святой Иоанн Богослов обозначает Зверя – 666.

Корсо увидел, как тот встал на колени и принялся куском мела писать цифры на мраморном полу:

6 6 6
6 + 6 + 6 = 18
1 – 8
1 + 8 = 9

Потом поднялся с победным видом. На миг свет упал на его глаза. Зрачки у него были сильно расширены: вне всякого сомнения, темная

жидкость содержала какой-то наркотик. Кроме того, зрачки сделались совсем черными, прежний цвет радужной оболочки почти исчез, роговица отражала красноту, царившую в комнате.

– Девять гравюр, или девять врат, – снова тень, словно маска закрыла его лицо. – И не всякому они отворятся... "Каждая дверь имеет два ключа", каждая гравюра дает цифру, магический элемент и слово-ключ – если взглянуть на все это в свете разума, Каббалы, оккультного искусства, истинной философии... Латынь в сочетаниях с греческим и древнееврейским, – он показал Корсо лист, заполненный какими-то значками и странными сопоставлениями. – Взгляните-ка, ежели желаете. Вам бы никогда в этом не разобраться:

Aleph	Eis	I	ONMA	Воздух
Beth	Duo	II	CIS	Земля
Gimel	Treis	III	EM	Вода
Daleth	Tessares	IIII	EM	Золото
He	Pente	V	OEXE	Веревка
Vau	Es	VI	CIS	Серебро
Zayin	Epta	VII	CIS	Камень
Cheth	Octo	VIII	EM	Железо
Teth	Ennea	VIIII	ODED	Огонь

На лбу и вокруг рта у него блестели капли пота, можно было подумать, что пламя свечей жгло его изнутри. Он принялся ходить по кругу – медленно и сосредоточенно. Пару раз остановился, наклонившись, чтобы поправить положение какого-то предмета: ржавого ножа, потом серебряного браслета в форме дракона.

– "Разместить элементы на коже змеи..." – продекламировал он, не глядя на Корсо. Он вел палец над меловой линией, не касаясь ее. – Девять элементов располагаются вокруг, по направлению "света с востока" – справа налево.

Корсо шагнул к нему:

– Повторяю. Отдайте мне мои деньги.

Варо Борха не шелохнулся. Он стоял к Корсо спиной и указывал пальцем на квадрат, вписанный в круг:

– "Змея проглотит печать Сатурна..." Печать Сатурна – самый простой, самый древний из магических квадратов: девять первых цифр помещаются в девять клеток таким образом, что каждый ряд – вертикальный, горизонтальный и по диагонали – в сумме дают одно и то же число.

Он нагнулся и стал вписывать в квадрат мелом девять цифр:

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Корсо шагнул к нему и наступил на лист бумаги, заполненный цифрами:

4 + 9 + 2 = 15	4 + 3 + 8 = 15	4 + 5 + 6 = 15
3 + 5 + 7 = 15	9 + 5 + 1 = 15	2 + 5 + 8 = 15
8 + 1 + 6 = 15	2 + 7 + 6 = 15	

Одна из свечей погасла, осыпав искрами уже подпаленный фронтиспис "De occulta Philosophia" Корнелия Агриппы. Варо Борха по-прежнему был занят только кругом и квадратом. Он стоял, скрестив руки на груди и уперев подбородок в грудь, похожий на шахматиста, который обдумывает следующий ход перед необычной шахматной доской.

— Тут есть одна деталь, — сказал он, обращаясь вроде бы не к Корсо, а к себе самому; казалось, что, проговаривая мысли вслух, он лучше соображает. — Древние ее не предусмотрели, по крайней мере, не упомянули о ней. Складывая числа в любом из направлений, сверху вниз, снизу вверх, слева направо или справа налево, мы получим один и тот же результат — 15, но если воспользоваться каббалистическими шифрами, у нас получится уже 1 и 5, а эти числа в сумме дают 6... И так на каждой стороне магического квадрата — будь то змея, дракон или Зверь, какое название ни выбери.

Корсо не стал проверять правильность расчетов. Подтверждение лежало на полу — еще один лист бумаги, заполненный цифрами и знаками:

	6	6	6	
6	4	9	2	6
6	3	5	7	6
6	8	1	6	6
	6	6	6	

Варо Борха встал на колени перед кругом и наклонился. На лице его блестели капли пота, и в них отражалось пламя горевших рядом свечей. В руке он держал еще один лист бумаги и сверялся с порядком написанных там странных слов:

— "Девять раз отворишь ты печать", говорится в тексте Торкьи... Значит, отысканные нами ключевые слова надо поместить в клетку, соответствующую номеру слова. Тогда у нас получится следующая цепочка:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ONMAD	CIS	EM	EM	OEXE	CIS	CIS	EM	ODED

— ...Теперь впишем слова вместо цифр в змею, или дракона, — он стер числа в клетках, заменив нужными словами, — и вот что мы имеем, в укор Господу:

EM	ODED	CIS
EM	OEXE	CIS
EM	ONMAD	CIS

— Все свершилось, — прошептал Варо Борха, написав последние буквы. Рука у него дрожала, капля пота скатилась со лба на нос, а потом слетела на пол — прямо на меловые знаки. — Согласно тексту Торкьи, надо, чтобы "зеркало отразило дорогу", и тогда будет найдено изроненное слово, которое несет свет из мрака... Фразы эти написаны на латыни. Сами по себе они ничего не значат; но внутри их заключена сущность "Verbum dimissum", формула, которая заставляет явиться Сатану — нашего предшественника, наше зеркало и нашего сообщника.

Он стоял на коленях в центре круга, окруженный знаками, предметами и словами, вписанными в квадрат. Руки его дрожали так сильно, что он сцепил их вместе, переплетя пальцы, вымазанные мелом, чернилами и воском. Он засмеялся совершенно безумным смехом — сквозь зубы, высокомерно и самоуверенно. Но Корсо уже знал, что сумасшедшим Борха не был. Корсо огляделся, понимая, что времени у него не остается, и шагнул в сторону библиофила. Но не отважился переступить меловую линию и проникнуть в круг.

Варо Борха бросил на него злой взгляд, угадав причину нерешительности.

— Что, Корсо?.. Не желаете, как вижу, читать вместе со мной? — Свет и тени очень быстро замелькали по лицу Борхи, словно сама комната начала вращаться вокруг него; но комната оставалась неподвижной. — И вам не хочется узнать, что таят в себе эти слова? На обороте картинки, которая торчит из тома Валерио Лорены, вы найдете перевод на испанский. Поднесите страницу к зеркалу, как велят учителя. И вы, по крайней мере, узнаете, ради чего погибли Фаргаш и баронесса Унгерн.

Корсо глянул на книгу — в пергаменовом переплете, очень старом и потрепанном. Потом опасливо нагнулся, словно между страницами таилась смертельная опасность, и двумя пальцами вытащил заложенную в книгу гравюру. Это была гравюра номер I из экземпляра Три, принадлежавшего баронессе Унгерн: три башни вместо четырех. На обороте Варо Борха написал девять слов:

OGERTNE	EM	ISA
OREBIL	EM	ISA
ONEDNOC	EM	ISA

— Ну же, Корсо, смелей, — резким и противным голосом приказал библиофил. — Вам нечего терять. Поднесите их к зеркалу.

Зеркало лежало тут же, на полу, закапанное воском. Старинное зеркало, оправленное в серебро, с причудливой витой ручкой и пятнами старости на ртутной стороне. Оно лежало так, что Корсо отражался в нем словно издалека и в такой странной перспективе, как будто стоял в конце длинного коридора, заполненного дрожащим розоватым маревом. Портрет и двойник, герой и его бесконечная усталость, агонизиру-

ющий Бонапарт, прикованный к скале на острове Святой Елены. Вам нечего терять, сказал Варо Борха. Скорбный и студеный мир, где гренадеры Ватерлоо превратились в одинокие скелеты и несут караул на темных и забытых дорогах. Он увидел себя самого пред последними вратами: с ключом в руке, как отшельник со второй гравюры, и буква "Тет" змеей вилась вокруг его плеча.

Он наступил на зеркало, и оно хрустнуло под его башмаком. Наступил медленно, без злобы; зеркало треснуло с острым писком. Теперь Корсо отражался в многочисленных осколках — в несчетных маленьких темных коридорах, в конце которых стояло несчетное количество его двойников; и они были слишком далекими и неузнаваемыми, чтобы судьба их беспокоила его.

— Черна выучка ночи, — услышал он голос Варо Борхи. Тот по-прежнему стоял на коленях в середине круга, повернувшись к Корсо спиной и забыв о нем.

Корсо наклонился к свече и поджег край листа с гравюрой номер I и девятью перевернутыми словами, написанными на обороте. Потом понаблюдал, как горели башни замка, сбруя, лицо рыцаря, который, повернувшись к зрителям, призывал их хранить молчание. Чуть погодя он выпустил из пальцев последний клочок бумаги, тот вмиг обратился в пепел и взмыл вверх, подхваченный потоком горячего воздуха. И тогда Корсо шагнул в круг — к Варо Борхе.

— Я хочу получить свои деньги. Немедленно.

Библиофил не обращал на него внимания, заплутав во мраке, который, казалось, порабощал его все больше. Вдруг он в тревоге, словно усомнившись, в нужном ли порядке разложены по полу предметы, наклонился и принялся что-то поправлять. Затем, чуть поколебавшись, затянул роковую молитву, нанизывая одно слово на другое:

— Admai, Aday, Eloy, Agla...

Корсо схватил его за плечо и сильно встряхнул, но Варо Борха никак на это не отреагировал. Он даже не пытался защищаться. А лишь продолжал вращать глазами, как сомнамбула или как мученик, который творит молитву, не слыша львиного рыка или не замечая орудия палача.

— В последний раз говорю. Мои деньги!

Все напрасно. Корсо всматривался в абсолютно пустые глаза, мрачные колодцы, которые отражали его фигуру, не видя ее; они ничего не выражали и были устремлены к вершинам царства теней.

— Zatel, Gebel, Elimi...

Он взывает к бесам, догадался ошеломленный Корсо. Встав посреди круга, отрешившись от всего, не обращая внимания на присутствие в круге другого человека и его угрозы, Варо Борха выкрикивал имена бесов, словно это было самым обычным делом:

— Gamael, Bilet...

Только получив первый удар, он замолчал — голова его качнулась к левому плечу. Населенные тенями глаза метались, стремясь зацепиться за неведомое место в пространстве.

— Zaquel, Astarot...

После второго удара струйка крови побежала у него из угла рта к подбородку. Корсо брезгливо отдернул испачканную красным руку. Ему показалось, что удар пришелся во что-то вязкое и влажное. Охотник за книгами пару раз вздохнул, потом замер, отсчитывая десять толчков сердца, затем сжал зубы, сжал кулаки и ударил снова. Из разбитого рта библио-

фила кровь теперь лила струей. Но тот продолжал шептать свои заклинания, а на изуродованных губах застыла мечтательная, нелепая улыбка наслаждения. Корсо схватил его за ворот рубашки, чтобы силой выволочь за пределы круга. Только тут из уст Варо Борхи вырвался животный стон, стон тоски и боли, он отбивался ногами и, ускользнув, с неожиданным проворством, на четвереньках пополз обратно в круг. Трижды Корсо вытягивал его оттуда, и трижды он упрямо возвращался назад. Капли крови падали на знаки и буквы, вписанные в печать Сатурна.

— Sic dedo me...[9]

Но что-то было не так. При мерцающем свете свечей Корсо видел, как библиофил растерянно запнулся, умолк и стал проверять порядок расположения предметов в магическом кругу. Клепсидра отсчитывала последние секунды, так что срок, отведенный Варо Борхе, видимо, был ограниченным. Он еще раз повторил последние слова, уже настойчивее, и тронул по очереди три клетки из девяти:

— Sic dedo me...

Корсо ощутил резкий привкус во рту и с отчаянием огляделся по сторонам, вытирая запачканную красным руку о полы плаща. Новые и новые свечи искрясь гасли, и дым от обугливших фитилей спиралями вился в красноватой полутьме. Дым-Уроборос, с горькой иронией подумал Корсо. Потом кинулся к письменному столу, вместе с другой мебелью сдвинутому в угол; резким движением смахнул мешавшие ему предметы на пол, порылся в ящиках. Денег не было, как и чековой книжки. Ничего.

— Sic exeo me...[10]

Библиофил продолжал свое заклинание. Корсо бросил последний взгляд на него, на магический круг. Варо Борха стоял на коленях в центре, склонив вниз разбитое лицо, на котором застыло выражение экстаза. Варо Борха отворял последние из девяти врат с улыбкой безрассудного счастья; темная дьяволова черта — окровавленный рот — пересекала ему лицо, все равно что рана, нанесенная кинжалом ночи и мрака.

— Сукин сын, — сказал Корсо. И решил считать договор на этом расторгнутым.

Он спускался по лестнице в сторону светлого полукруга, который вырисовывался внизу, под аркой, соединявшей последнюю ступеньку с патио. Там он остановился — рядом с колодцем, мраморными львами, решетчатой изгородью, остановился и глубоко вздохнул, наслаждаясь свежим и чистым утренним воздухом. Потом порылся в кармане, вытащил из мятой пачки последнюю сигарету и не зажигая сунул в рот. Несколько мгновений он простоял неподвижно, пока луч восходящего солнца, красный, горизонтальный, который Корсо, въезжая в город, оставил за спиной, добрался до него, пробиваясь сквозь фасады домов из серого камня, застывших на площади, и луч этот отпечатал у него на лице рисунок кованой решетки, и Корсо прикрыл глаза, полные бессонницы и усталости. А луч набрал силу и, медленно двигаясь, залил светом патио вокруг венецианских львов, которые склонили мраморные гривы, словно благосклонно принимали утреннюю ласку. И тот же свет, сначала красноватый, потом сияющий, окружил Корсо облаком золотой пыли. И в этот миг на самом верху лестницы, за последней дверью в царство теней, там, куда никогда не проник бы свет мирной зари, раздался крик. Душераздирающий, нечеловеческий вопль — вопль ужаса и отчаяния, в котором с трудом можно было узнать голос Варо Борхи.

Даже не обернувшись, Корсо толкнул калитку и вышел на улицу. Казалось, каждый шаг навсегда отдаляет его от того, что оставалось за спиной, точно он в обратном порядке и всего за несколько секунд повторил долгий путь, на который когда-то ему понадобилось очень много времени.

Он замер посреди площади, ослепленный, окруженный искрящимся солнечным облаком. Девушка по-прежнему сидела в машине, и охотник за книгами вздрогнул от эгоистической радости, убедившись, что она не растаяла вместе с остатками ночи. И он увидел, как она мягко улыбнулась — немыслимо молодая и красивая, с мальчишеской стрижкой, загорелая, и спокойный взгляд в ожидании устремился к нему. И вся вызолоченная светозарность утра, совершенная, отраженная в зеленых озерах ее глаз, ясность, пред которой отступали сумеречные закоулки древнего города, силуэты колоколен и стрельчатые арки площадей, вспыхнула от этой улыбки, когда Корсо шагнул навстречу девушке. Он шел, глядя в землю, покорный, готовый распрощаться с собственной тенью. Но у ног его никакой тени не было.

А там, сзади, в доме, охраняемом четырьмя чудовищами водостоков, Варо Борха уже не кричал. А может, и кричал, но в каком-то другом месте — мрачном и очень далеком, так что крики его до улицы не долетали. "Nunc scio": теперь я знаю. А Корсо задумался; интересно, что использовали братья Сениса — резину или дерево, — чтобы восстановить утраченную гравюру в экземпляре номер Один, утраченную из-за детской шалости или варварства коллекционера. Хотя, вспоминая их бледные ловкие руки, он склонился ко второму варианту: они сделали гравюру на дереве, воспроизведя ее, конечно же, по "Библиографии" Матео. Потому-то Варо Борха и не мог свести концы с концами: в трех экземплярах последняя гравюра была поддельной. "Ceniza sculpsit". Из любви к искусству.

Он засмеялся сквозь зубы — совсем как жестокий волк, и склонил лицо, зажигая последнюю сигарету. Что ж, книги преподносят нам подобные сюрпризы, подумал он. И каждый получает такого дьявола, какого заслуживает.

Ла-Навата. Апрель 1993 г.

1. Отсылка к американскому фильму Ф. Ллойда (1889–1960) "Мятеж на 'Баунти'" (1935), в основу которого легла реальная история: команда корабля подняла мятеж против своего жестокого капитана по фамилии Блай, его посадили в шлюпку и оставили одного в открытом море. В главных ролях Чарльз Лоутон и Кларк Гейбл. Позднее по этому же сюжету было снято еще два фильма.
2. Жак Казот. Влюбленный дьявол. Перев. Н. А. Сигал.
3.. Имеется в виду герой повести немецкого писателя Адельберта фон Шамиссо (1781–1838) "Необычная история Петера Шлемиля" (1814).
4. "Черный орден" (нем. Schutzstaffel, сокр. SS) — элитные охранные отряды (СС), организация германских фашистов.
5. Мудехар (от мудехары — мусульманское население, которое оставалось на территории Пиренейского полуострова, отвоеванной у арабов в ходе Реконкисты) — в искусстве Испании XII–XVI вв. стилевое направление, в котором слиты основы мавританского искусства с романскими, готическими, а позднее также ренессансными мотивами и элементами.
6. Известна другая книга: «Theatrum Diabolorum» — анонимная компиляция, изданная в 1575 г. (Франкфурт-на-Майне).
7. "О великих и несовершенных деяниях" (*лат.*).
8. "Змей сиречь дракон, пожирающий свой хвост" (*лат.*).
9. Так предаюсь (*лат.*).
10. Так освобождаюсь (*лат.*).

Фазыл Хюсню Дагларджа

Стихи из цикла "Пьяница"

Перевод с турецкого Фазиля Искандера

"Турецкий язык — мое звучащее знамя". Так определяет место родного языка в своей жизни поэт Дагларджа, занимающий совершенно особое место в турецкой поэзии как мастер языка, как его созидатель, как автор образных, ярких, оригинальных стихов.

Много лет назад во время беседы в редакции "Иностранной литературы" широко известный в России турецкий писатель Азиз Несин сказал: "Есть у нас поэт, который в день пишет минимум десять стихотворений, из них пять — великолепны, три — превосходны и два — прекрасны. Имя этого поэта Фазыл Хюсню Дагларджа".

Кажется, что для Дагларджи стихи — не труд, они будто сами рвутся наружу, а ему надо только успеть их записать. Ответить на вопрос, о чем пишет Дагларджа, очень просто — о жизни. О жизни во всех ее аспектах, от политического до бытового. Вот он наблюдает за маленькой девочкой, которая бегает по комнате, спотыкается, падает, встает, снова бежит, но ее ловят и сажают в кресло. Она не знает, куда девать ставшие вдруг ненужными ноги. Дагларджа тут же берет ручку и пишет четверостишие:

Почему, когда я бегаю,
У меня так мало ног?
Почему, когда я сижу,
У меня их так много?

© Ф. Искандер. Перевод, 2001
© В. Феонова. Вступление, 2001

О чем бы ни писал Дагларджа, его стихи всегда отражение точного, неравнодушного и необычайно глубокого взгляда поэта на окружающий мир; стихи эти бывают серьезными, шутливыми, иногда могут показаться странными, но всегда интересны.

Не потому ли Фазиль Искандер, не занимающийся переводом, второй раз (первый — см. "Иностранная литература", 1972, № 3) взялся перевести стихи турецкого тезки?

Вера Феонова

Причина развода

Сели на двух лошадей,
Помчались в разные стороны.
На каких лошадях?
Одна — водка. Другая — вино.
На водке быстрее доскачешь.

Неверно платить за все

Сам я пью только первый глоток.
Остальное пьет
Мой первый глоток.
Я ни при чем.

Главная истина

Питейный дом —
Это увеличительное стекло.
Увеличивает и человека и осла,
Чтобы не путали.

Большеголовый

Когда пьешь,
Ты вроде умный.
На улицу выходишь —
Дурак дураком.
Что за черт! Не вернуться ли, чтобы поумнеть.

Общее дело

Я похож
На работника кабака.
Он приносит спиртное,
Я – уношу.

Выпить ночь

Хотел выпить ночь
До самого дна,
А мне подали водку.
Ну и дела!

Стол воспоминаний

Чем закусывает тот,
Что пьет всегда в одиночестве?
Закусывает собственной печенью.

Самый короткий путь

Самый короткий путь – водка.
Только шагнул,
Глядь – в нужном месте.

Оттачивать слово

Пока не смотришь –
Нет красоты небес.
Нет красоты спиртного –
Пока не пьешь.

Комментарий

Алкоголь способствует близорукости,
Но усиливает дальнозоркость.

Толстое стекло

Бутылка
Говорит, что опустела.
Пьющий не слышит
И трясет ее, дергает, как теленок пустое вымя.

Меня любят

Когда я поднимаюсь,
Рука последней рюмки
Поддерживает меня до самого дома,
Потому что нет другой руки.

Как жизнь?

Непьющий не слышит,
Что пьющий, чокаясь с пьющим,
Спрашивает: “Как жизнь?”

Слегка

Когда я умру,
Прикройте меня слегка,
Чтобы могли вылететь
Птицы моей души.

Постигать

Что-то устанавливает мысль.
Что-то устанавливает воспоминанье.
Но и бутылка что-то устанавливает.

Что слышится в полночь?

Если бы у водки
Был рот,
Что бы она сказала?
Сказала бы: “Давай выпьем”.

Стать другим

Выходя из кафе,
Не узнают свое пальто.
Но не знают,
Что и пальто их не узнает.

Глаз видит красоту

Видит
Человек за столиком,
Что остался глоток водки
В стакане за соседним столиком.
Надо бы исправить непорядок: допить.

Меры предосторожности

Почему запрещают спиртное
В день выборов?
Ясно — чтобы выпивший не почувствовал себя президентом.

Фредерик Бегбедер

Рассказики под экстази

Перевод с французского И. Васюченко и Г. Зингера

От редакции

В свои тридцать шесть лет Фредерик Бегбедер, начинавший как литературный критик, стал одной из самых заметных фигур в современной французской прозе. Каждая его книга производит впечатление, схожее с шоком. Тех, кто ценит гротеск и юмор, пусть жестокий, почти "висельный", рассказы и романы Бегбедера чаще всего приводят в восторг. Другие, в основном люди старшего поколения, привыкшие думать, что хотя бы какие-то ограничения и табу в искусстве все-таки необходимы, читая Бегбедера, испытывают чувство, близкое к возмущению. Впрочем, именно этого автор и добивается. Его повествование всегда провокативно — в сущности, цель Бегбедера прежде всего та, чтобы читатель ни в коем случае не остался безразличен к его тексту. Пусть негодует, пусть со вздохом вспоминает времена, когда существовала цензура, — все предпочтительнее, чем бесстрастный взгляд, который скользит по гладко, мастеровито сделанной книжке, каких на французском рынке тысячи и тысячи.

Автор в своем предуведомлении напоминает читателю, что экстази — наркотик сильного действия, и стало быть, все те абсурдные и жестокие картины, которые предстанут перед открывшими книгу, выпущенную почтеннейшим парижским издательством "Галлимар", надо воспринимать как видения персонажей, приверженных этому наркотику (включение в их число самого Бегбедера — разумеется, литературная игра). У этой темы: наркомания и даруемый ею "искусственный рай" (так назвал свою книгу о курильщиках гашиша Бодлер) — давняя литературная традиция. Имена писателей, которые представляют эту традицию, названы у Бегбедера. Громкие имена: де Куинси, Кокто, Хаксли, Кастанеда, Том Вулф...

© Éditions Gallimard, 1999
© И. Васюченко, Г. Зингер. Перевод, 2001

После "Рассказиков под экстази" (1999) Бегбедера следует рассматривать как еще одного мэтра такой литературы. Но вряд ли — как типичную для нее фигуру. Прежде в этой литературе преобладали тоска, даже отчаяние, или, напротив, медитация, ощущение открывшегося нового горизонта, который влечет к себе непреодолимо. Тональность Бегбедера совсем другая: жесткая, насквозь ироничная, сюрреалистическая. Для его героев в состоянии экстази весь мир превратился в нескончаемый порнофильм с подробностями, которые выглядели бы просто отталкивающими, если бы не злая насмешка, с которой они поданы. Можно не принимать подобный ракурс изображения, но ведь никто не отменил закона, требующего судить писателя по тем законам, которые он сам над собой признает.

Дельфине
По фамилии Валлетт,
Проживающей на улице Мазарини,
В доме тридцать семь, привет.

Летняя ночь подходит к концу; молодая женщина отослала всех слуг. Скоро рассветет. Осталась только одна большущая неподвижная звезда, она мерцает рядом с Эйфелевой башней. Меж тем закраины ночи уже потихоньку светлеют.

Ален-Фурнье
8 июня 1913 года

Предуведомление

В 80-е годы новый наркотик, МДМА, прозванный "экстази", распространился в местах, где развлекаются полуночники. Это "любовное зелье" вызывает странный и непредсказуемый эффект: приступы жара, готовность всю ночь дрыгаться под "техно" и обнимать каждого встречного-поперечного, зубовный скрежет, стремительное обезвоживание, экзистенциальную тоску, желание то ли покончить с собой, то ли предложить руку и сердце. Это тяжелый наркотик, от которого взлет сменяется падением, словно на американских горках или в рассказах некоторых писателей из Штатов. Теперь автор этих строк его больше не употребляет и всем прочим не советует: не только из-за того, что пилюли эти запрещены, но и потому, что от них протухают мозги, доказательство чему — этот сборничек текстов, написанных под экстазийным кайфом. И потом, неужто так уж необходимо специальное снадобье, чтобы поведать о своей жизни незнакомым людям? Для чего же тогда печатный станок?

Ф. Б.

Хандра в аэропорту Руасси–Шарль де Голль

ЗАГЛОТИЛА? Заглотила? Заглотилазаглотилазаглотила? А кто вы? Почему мы говорим, прижав нос к носу? А вы точно прочли мою книгу? Можете гарантировать, что я не БРЕЖУ? Разве бывают такие красивые красные губки? Разве РАЗУМНО быть такой стройненькой, иметь всего двадцать один год от роду и мини-юбку размера XXXS? Вы отдаете себе отчет, чем рискуете, делая мне комплименты и поощряя меня такими голубенькими глазками?

Почему я потею свою ладонь в вашей? Почему ваши коленки побуждают меня изобретать новые переходные глаголы? И прежде всего, который теперь час? А не скажешь ли, как ваше имя? А не желаете ли ты выйти за меня замуж? И где мы, собственно, интересно бы у вас, у тебя узнать? Что за торпеду ты подсунула нам под язычок? И откуда здесь лазерные лучи, вон те, что режут на куски слои жидкого воздуха? И кто запускает стодитровые бутылки шампанского, эти вот, что свищут у нас над головами? И сколько времени надо, чтобы человек пожалел, что появился на свет? А знаешь, у тебя красивые глазки, знаешь? Почему вы плачете? Ну когда же ты меня поцелуешь? А хотите, принесу еще одну водку? А когда мы снова поцелуемся? И почему ты уже не танцуете? И кто все эти люди? Они твои друзья или враги? Не снимете ли вы твой пуловерчик? Ну пожалуйста! А сколько ты хочешь детей? Как бы вам хотелось их назвать?

А что теперь будем делать? Не подышать ли свежим воздухом? Что? Мы уже дышим? К тебе пойдем или ко мне? Вы позволите мне взять такси? Предпочитаешь пешком? К чему нам на Елисейские Поля? Ты сняла мокасины, чтобы шлепать босиком по асфальту, ну разве это серьезно? Интересно, можно разогреть ложечку с кайфом над вечным огнем на могиле Неизвестного Солдата? А у тебя есть парень? Почему мне приходят в голову те же, что у тебя, мысли? Ты много видела людей, которые одновременно говорят одинаковые слова? Чего вон тот легавый на нас пялится? И зачем все эти машины кружат и кружат вокруг Триумфальной арки? Почему бы им не отправиться по домам? А нам? Не пора ли нам домой? Сколько можно торчать тут, на Этуаль, и целоваться попусту, когда на улице всего два по Цельсию, вместо того чтобы нормально трахаться в постели, как все порядочные люди?

Думаешь, мы правильно сделали, умыкнув его кепи? Ты уверена, что полицейские бегают не так быстро, как мы? А этот мотоцикл, он что, твой? Уверена, что можешь водить в таком состоянии? Сбросить скорость не хочешь? Зачем мы свернули на кольцевую? Думаешь, стоит под таким лихим углом крутить виражи на 180-ти в час? А это не нарушение правил — твой слалом между грузовиками в шесть утра? Ну сегодня-то солнце еще встанет, а завтра? Чего мы потеряли в аэропорту Руасси-Шарль де Голль? А когда сменишь город, жизнь тоже меняется? Для чего путешествовать по однообразному миру? Тебе не холодно? Значит, только у меня одного прихватило яйца? Что? Тебе ничего не слышно из-за шлема? Тогда кому я говорю? Выходит, могу орать что угодно? Петь "I wanna hold your hand"?[1] Продолжать врать, оглаживая твою спину под

1. Известная песня Битлз. (*Здесь и далее прим. перев.*)

пуловером, а затем и грудь поверх лифтяшки, потом засунуть руку тебе в трусики — может, хоть это заставит тебя ехать помедленнее, мартышка чертова?

Куда нам приткнуть мотик? Перед первым терминалом или на платной стоянке? Почему над нашим отсеком табличка 135? Раз, три, пять. Похоже на "растрепать", ведь так? Я в растрепанных чувствах: сколько действует твоя пилюля? Почему двери открываются до того, как их тронешь? Отчего под этим бледным неоном мерещится, будто скачешь козлом по луне? Мы действительно сигаем на шесть метров при каждом прыжке или нам только кажется? Ты можешь снова меня, пожалуйста, немножечко поцеловать? Тебе будет очень неприятно, если я останусь у тебя во рту? Ты позволишь нам пройтись в сортир, а там я полижу тебя в самом интересном месте?

Хорошо было? Это ведь было очень, очень, очень хорошо? Все это потрясно, но вот который теперь час? Почему ночи ВСЕГДА сменяются днями? А что, если вместо того, чтобы шагать против движения по транспортерам в этих плексигласовых кишках, обшарпанных, построенных еще в семидесятые, — они смахивают на трубки искусственного дыхания, которые суют в рот пострадавшим в дорожных авариях, эй, ты слушаешь? — что, если перестать валять дурака здесь, в Руасси, и сесть в самолет? В первый попавшийся? Куда угодно, лишь бы подальше отсюда? Чтобы это все никогда не кончалось? Может, махнем куда-нибудь в Венесуэлу, в Белоруссию или, скажем, в Шри-Ланку, а то и во Вьетнам, а? Туда, где теперь садится солнце? Видишь, как новые буковки выскакивают на их допотопном табло? Дублин? Кёльн? Оран? Токио? Шанхай? Амстердам? Мадрид? Эдинбург? Коломбо? Осло? Берлин? Разве каждый город — сам по себе не вопрос? Тебе не жаль самолетиков, которые только что взлетели с летной полосы? А там, наверно, голубенькие стюардессы уже подают первые подносы с едой в целлофане бизнесменам, притрахнутым лексомилом? Слышишь объявления об отлете? Их цедит на одной ноте грустная администраторша, и каждый раз музыкально побрякивает электроника, слышишь? Можно мне еще раз потрогать твои губки, перед тем как убраться? Кто из нас отвалит первым? Почему, ну пооочемууу каждый раз приходится прощаться?

Тебя тоже, как и меня, угнетают аэропорты? Ты не находишь, что в них есть своя поэзия? Меланхолия расставания? Лирика новых обретений? Какое-то сгущение воздуха, заряженного эмоциями, пропущенными через кондиционер? Сколько времени занимает посадка? А наша любовь, выживет ли она, когда кончится этот химический отпуск? И когда же мы, наконец, прекратим молчать, уставясь на рассветные окна в этом пустом кафетерии? Почему все газетные киоски еще на замке, а игровые автоматы не включены? Ты не завидуешь менеджерам среднего звена, которые ждут вылета в застеленных линолеумом залах, развалясь на оранжевых диванах и попивая растворимый кофе? Что приходит в голову при виде вон того таможенника, у которого так несет изо рта, или этого работяги, таскающего за собой грохочущий мусоросборник на роликах, а что скажешь вон о тех бомжах, храпящих на сиреневых пластиковых банкетках? Что все это нам говорит? Что бежать больше некуда? Что нельзя удрать от самих себя? Что путешествия никуда не приводят? Что надобен пожизненный отпуск или никакого? Не могла бы ты отпустить мою руку? Неужели ты не чувствуешь, что мне необходимо побыть одному среди этих покинутых всеми багажных сумок? Возможно ли рас-

ставание без чрезмерных страданий, даже на фоне рекламы духов "Энви" фирмы "Гуччи"?

И пока наши затуманенные глаза следят за взлетающими "боингами-747", не могу не задаться последним вопросом: почему же мы все-таки не в самолете?

Текст не по моде

НЬЮ-ЙОРК at last[1]. Давно пора было распрощаться с уютной неспешностью европейских ночей, с их расслабляющей роскошью. Настал час действовать не размышляя, совершить наконец истинно свободный поступок, пресловутое безумство, стопроцентно оправданное его полным бескорыстием. Черт, какой кайф поступать по наитию! Вечер, как и сама жизнь, удается лишь при условии, что все плохо началось.

Уехать — это слово слишком часто остается всего лишь словом. Нельзя больше грезить словами, нужно их переживать. Брийян, бриллиантовый мальчик, пялится на истерические небоскребы мировой столицы сквозь мутные стекла такси. Идея сбежать из Парижа пришла ему в голову, когда он рассеянно беседовал с Мартой, мордастенькой, но очень богатенькой американочкой. Она подцепила его у края бездны, на широком балконе некоей квартиры с шикарным видом на город, и выдала длиннейший монолог о неподвижности своей жизни. Под угрозой обморока от скуки Брийян на середине нескончаемой фразы предпочел слинять, смыться из города и надраться в самолете.

Эта история начинается около половины шестого утра, однако ее герою было бы затруднительно в тот момент разобрать, который час. Гордясь своим плачевным состоянием, Брийян принимает вертикальное положение. В мутной тине бара он единственный, на ком в августе месяце надет смокинг. Шарф меньше диссонирует с обстановкой, поскольку он изрядно помят, как и сам Брийян после полубессонной ночи. Брийяну приятно сознавать, что на нем те же одежки, что и восемь часов назад, когда он был по другую сторону Атлантики.

Полная луна наколота на шпиль ярко освещенного Крайслер-билдинга. У Брийяна кончилась бумага для косячков, и он обречен задумчиво теребить в кармане бесполезную травку. Мусорные баки переполнены, их содержимое вываливается на тротуар; босоногий чернокожий, дремлющий на теплой решетке метро, проводит политику протянутой руки. Нет, сегодня Брийян блевать не будет, ни за что не будет. И голова останется ясной, надо только не смешивать больше напитки. В конце концов, можно бороться с действительностью множеством иных способов, кроме еженощной отключки... Разумеется, способов более опасных. Но чаемое забвение всегда неизменно: время застывает, процесс непрерывного становления прекращается, сменяясь вечным настоящим. И наплевать на обстоятельства места и времени: наступил ли уже день? Что за люди вокруг толкутся? Где джин? Зачем этот диск? Все делается зыбким, и можно с остекленевшим взглядом лунатически пропарывать толпы, блуждать по косоглазым улочкам среди кошмаров и клошаров и с блаженной улыб-

1. Наконец (*англ.*).

кой задрыхнуть хоть головой в канаве, хоть удобно растянувшись на голой женщине после безуспешных попыток ею овладеть.

Для Брийяна элегантность "конца века" не есть нечто преднамеренное. Подобно деньгам и порокам, его дендизм – врожденный, вторая кожа. Сегодня он непризнанный художник или киберпанк с электроникой в голове. А вот завтра... Неужели он снова станет пресыщенным папенькиным сынком, на что указывает, возможно ошибочно, его пристрастие к шляпам, серьгам и марксистским революциям?

Между тем сейчас так недурно бы поспать. Но Брийян только что проглотил желатиновую капсулку, отбившую всякий сон. Он вышел на улицу, даже не чмокнув хорошенькую официантку. Мокрый тротуар под его ногами поблескивает, словно бездна, извергающая тысячи падучих звезд. Он едва не сиганул под громадный желтый грузовик, но передумал. Передумал единственно потому, что интереснее быть раздавленным изнутри, чем снаружи. Дождь падает длинными туманными шнурами (размытый боковой свет китайских ресторанчиков смешивается с клубами белого пара, извергаемого окнами прачечных). Брийяну захотелось немного пройтись, и он решил не заглаживать назад волосы: обжигающий дождь займется этим сам. А что грим потечет, так оно и лучше: чтобы сделаться настоящим привидением, бледного лица маловато.

Сейчас, пока по ржавым железным лестницам ползет рассвет, Брийяну хочется только одного: не спускаться вниз до завтрака. Вся его жизнь есть не что иное, как бесконечная череда колебаний. Вот и теперь: неужто придется, корчась от вымученного смеха, доказывать себе, что в ресторане "Бальтазар" царит не ведающая национальных границ особая надмирная светскость, предаваться опасным порокам в садомазохистском клубе "Геенна", нюхать порошок в сортирах "Спай" или отдать дань содомскому греху с какой-нибудь псевдографиней на заднем сиденье ее "силвер-шедоу", рискуя в столь неудобной позе что-нибудь себе вывихнуть? По сути, душа Брийяна, питаемая простейшей жаждой приключений, воюет с чрезмерно рациональной эпохой. Разве можно думать как Бодлер, пользуясь лексиконом Чарльза Буковски? Сидя на корточках на металлическом полу некоего лофта[1] в Ист-Виллидже, он созерцает бороздки старого, ставшего уже почти экзотикой винила, подпевая непотребствам, несущимся с компакт-диска.

Когда он просыпается, уже стоит ночь. Решение созрело: он отправляется опохмеляться в "Хаос" – надо же показать, что он жив. Все ведь только и ждут, чтобы он дал слабину. Как правильно говорить: краска для губ или чернила для губ? Брийян ничего не видит в солнечных очках при полном отсутствии солнца. Ну и пусть. Главное, чтоб его видели.

Надо жить на восьмистах в час, а потом умереть, да так, чтобы мозги растеклись по капоту, как сперма. Когда живешь на восьмистах в час, некогда дослушивать до конца главный шлягер лета. Стать метеором: негаснущим и ненасытным, который никто не может поймать и использовать. И сразу, с места в карьер, подставиться всем мыслимым опасностям, самым идиотским, особенно если небо обложено тучами. Декаданс – не столько тяга к искуплению, сколько образ жизни. Такси сигналят впустую, а ежели гостиничный неон подмигивает, то лишь потому, что испорчен.

1. Лофт – чердак или верхний этаж торговых помещений, часто используемый художниками под мастерскую.

В "Хаосе" настоящее пекло, жарит на всех этажах. Танец — это больше, чем речь тела: звук нарастает, череп готов треснуть, громкость важнее мелодии. И ни секунды передышки: безумный прикид требует безумных движений. Брийян уже не помнит, какие сиськи предпочитает — большие или маленькие.

Хватит наблюдать, как распадаются наши жизни, займемся лучше разрушением чужих. Девица с флюоресцирующими волосами и ногтями уже приняла слишком много водки с тоником. Она дрыхнет перед видаком с крутым порно. Не-ет, надо жить мгновением. И плевать нам, что будет завтра, главное, чтоб было еще хуже. Вот сейчас Брийян, терзаемый мутной бессонницей, поднимется и нарисует женский силуэт белой краской на черной стене. В его номере нет, кажется, ни капли кислорода, а снаружи и того меньше. Нужно лечь ничком на затянутый чем-то ворсистым пол и хорошенько вытянуться. Под ногами будут крошки, да черт с ними.

Можно ли выдумать более изощренную пытку, чем разбудить человека звонком мобильника? Пронзительное дребезжание, подхлестываемое отчаянием, превращается в грохот отбойного молотка, скрежет вагонных тормозов, крик боли, оглушительное тарахтение, буравящее тяжелую тишину утренней пустоты. Придется отозваться, иначе смерть. Спотыкаясь о пустые бутылки (от старых напитков с неудобопроизносимыми названиями), тычась лбом в полуприкрытые двери, он обрушивается наконец всем телом на что-то холодное и металлическое, угодив рукой в вязкую грязную массу. Право же, внешняя пожарная лестница с расшатанными ступеньками не так опасна для черепушки, хотя перила там держатся на одном болте.

Ни тени воспоминаний о вчерашнем, никаких планов на вечер. Пока можно разве что слушать классическую музыку, разглядывая собственное отражение в выключенном телике. Или уставиться в потолок, высматривая там порнографические узоры, слишком замысловатые, чтобы их здесь описывать. Но черт раздери, что же предпринять, чтобы вновь обрести утраченный вчерашний порыв? Можно из последних сил удерживаться от рвоты — но что этим докажешь? И ждать, когда кончится век. А он отнюдь не спешит издохнуть.

Брийян встает и делает несколько неуверенных танцевальных па. Неторопливо потягивается, пока поле его зрения (ограниченное гигантским окном гостиной) пересекает вертолет. Наконец, повалившись на диван, Брийян берет телефон. Почему пауки никогда не попадаются в собственную паутину? Облака летят слишком быстро, скоро покажется солнце и опять начнет накалять асфальт. Удовольствие имеет одно важное достоинство: в отличие от счастья, оно существует. Да, хорошо, я возвращаюсь в Париж, я тоже тебя люблю скучаю извини извини извини жди прилечу.

Который сейчас может быть час? Сквозь жалюзи проникают полоски светящейся пыли. Неистовая, безрассудная страсть в сопровождении фортепьяно. Надорвать сердце, погубить ради кого-то свою жизнь и плакать: горячо-горячо! Не понадобятся ни таблетки, ни плетки, ты будешь весь во власти Ее глаз и губ. И чтоб при воспоминании о Ее поцелуях и духах перехватывало дыхание!

Лучше всего, если сначала ты Ей не понравишься. Сколько блаженных страданий при мысли, что, быть может, другие кладут голову во впадинку Ее плеча. В померкшем Париже ты станешь глазеть на счастливых

прохожих, выдыхая облака грусти. Если повезет, это томление сделает тебя застенчивым и ты перестанешь колебаться в выборе между Ею и дурью, твоя новая дилемма будет: Она или самоубийство.

Любить или делать вид, что любишь, — какая, в сущности, разница, если удается обмануть самого себя?

День, когда я нравился девушкам

СТОИТ ясный день. Именно стоит, поскольку еще вчера он лежал в лежку. А я вас уверяю, это странное ощущение: видеть, как день реально встает на ноги.

Жизнь моя превратилась в ад, какого я злейшему врагу не пожелаю. Я не спал уже с полгода. Желудок горел, несмотря на ниагары маалокса, жена отчалила со звездой шоу-бизнеса, детей у нас не было; короче, я жил в Париже, а на дворе был 1994 год. Меж тем в то утро, вместо того чтобы скулить, я сам как раз захотел встать на ноги. Как день.

Нет, кроме шуток. Было что-то такое в воздухе. Я это почувствовал, едва выйдя из дома. Мне улыбнулась какая-то девица, а вслед за ней и ее подружка. По графе "улыбки незнакомых девушек на улице" я за десять минут превысил свою среднюю недельную норму. И я сказал себе: надо пользоваться, пока везет.

Подцепить обеих девиц совершенно не стоило труда. Как всегда в подобных случаях, одна была хорошенькая, а другая — дурнушка. В итоге это означало, что придется платить за два кофе (три, включая мой).

Я предложил:

— Сядем на террасе?

— Это еще зачем? — откликнулись они хором. — Если хочешь заняться с нами любовью, мы — за. И незачем платить за два кофе (три, включая твой).

Хорошенькая поцеловала меня в губы, поработав у меня во рту язычком. Дурнушка не без деликатности провела рукой по моим причиндалам. Хорошенькая запустила ручонку мне за рубашку, обследуя мой безволосый торс. Дурнушка разбудила к жизни мой агрегат. Хорошенькая потянула меня за волосы. Дурнушка поцеловала взасос хорошенькую. Дурнушка оказалась гораздо хорошее хорошенькой.

И все это происходило прямо на улице, на глазах у невозмутимых прохожих. Говорю же вам: это утро началось не так, как положено.

Мы направились к скамейке, и пока я лизал ухо хорошенькой, дурнушка меня оседлала. При отсутствии трусов все у нее внутри было устроено очень удобно. После нескольких пырков мы кончили одновременно.

Наверно, мы очень громко кричали, ибо, открыв глаза, я увидел вокруг скамейки изрядное скопление народа. Некоторые зрители даже стали кидать нам монетки. Как только мы их подобрали, обе девицы испарились.

Я не спеша застегнул пуговицы на своих белых джинсах "501". Никогда ничего похожего со мной не случалось. Видал я и самоубийства, и смертельные передозировки, и супружеские измены. Участвовал в телепередачах. Пару раз мне даже случалось переодеваться женщиной. Но никогда, ни разу в жизни я не трахал незнакомых дам без презерватива

и не представившись. Мое существование потекло далее по собственному инфернальному курсу в направлении незнамо чего.

Я продолжал фланировать по бульвару. Люди насвистывали, смеялись, некоторые даже пытались заговорить с первыми встречными. Весь город источал любезность, словно Господь внезапно удвоил содержание кислорода в атмосфере. Я вошел в бистро, и Аврора сделала мне знак. Аврора — девица из бара. Она всегда носила "боди" в обтяжку с голыми плечами. Грудь — 92. В общем, я был от нее без ума.

— Никогда не догадаешься, что со мной стряслось, — начал я с места в карьер. — Я только что трахнул двух девок прямо на скамейке.

Она глянула мне в глаза.

— Послушай, ты, конечно, не секс-символ, но кое-какой шарм имеется. Ты ведь давно вокруг меня крутишься. Что, если мы уладим это дело в ladies room[1]?

— Что? Прямо там? Сейчас?

Аврора и не думала шутить, а я не видел причин для колебаний. В конце концов, ежели кто-то постановил, что мне положено коллекционировать оргазмы именно в этот день, я буду последним, кто станет сопротивляться. Пока я поднимался вслед за ней по винтовой лестнице, она с головы до пят затопила меня своим светозарным ароматом.

В клозете мочились два типчика. Когда мы вошли, их глазам предстала следующая картина: рука Авроры у меня в распахнутой ширинке, мой здоровячок торчит тверденький, ее майка закатана бубликом поверх грудей, а наши раскрасневшиеся лица так и пышут жизнью. Все это их очень взвинтило. До такой степени, что они пожелали присоединиться к нам с приборами наголо. Аврора приняла их во все дырки. Каждый получил по достоинствам, у всех било прямо фонтаном, а она и не поморщилась. Что же до меня, я злокозненно оставил в ней несколько миллионов сперматозоидов.

Я все меньше и меньше понимал, что вокруг творится. Неужели современное общество превратилось в широкоформатный порнофильм под открытым небом? А может, я просто стал прекрасен собой?

Во всяком случае, я нравился. Это был бесспорный факт — и большая для меня новость. Я не склонен к поспешным обобщениям, но обстоятельства вынудили меня констатировать, что моя беззаботность и молодость, чистая рубашка и здравый ум совершили чудо, превратив меня в сексуальный дорожный каток. Три женщины за одно утро! Какие добрые дела я совершил, чтобы удостоиться такого воздаяния?

Позже, когда послеполуденный жар уже навалился вовсю, я ехал в автобусе. Там я занимался любовью с Жозефиной, Мюриэль, Антуанеттой, Паскалиной, Анной-Кристиной и Наоми между остановками Бак-Сен-Жермен и Трокадеро. Даже одна немецкая такса по имени Марсель не устояла и потерлась о мою брючину.

Только моим неотразимым шармом объяснить это было невозможно. Тут крылось что-то другое. Подобная мысль — свидетельство не самоуничижения, а трезвости рассудка.

И вдруг мой взгляд задержался на газетном киоске. Так вот в чем дело! На первой странице "Фигаро" крупными буквами было написано: "ОТКРЫТА ВАКЦИНА ПРОТИВ СПИДА!" Заголовок в "Либерасьон" возвещал: "ИММУННОДЕФИЦИТ В БОЛЬШОМ ДЕФИЦИТЕ!" К не-

1. Дамская комната (*англ.*).

счастью, автобус ехал слишком быстро, и я не смог разобрать, что писала "Монд".

Я же понимал, что должна существовать разгадка. Надо бы с утра, как проснешься, всегда слушать радио. Мое самолюбие было задето, но какое это имеет значение, раз мир наконец-то спасен?

Первый глоток экстази

ЭТО зеленоватая круглая таблетка. Она стоила мне сто пятьдесят франков. Упакована высококлассно: миниатюрный пластиковый пакетик размером в один квадратный сантиметр. Тает во рту, а не в руках. Перед тем как ее проглотить и запить кока-колой, я секунду помедлил: кто знает, что там внутри? Придется довериться типам, которые сварганили эту штуковину в подпольной лаборатории, спрятанной в каком-нибудь плохо освещенном подвале. Вполне может быть, что они и руки не помыли. Всё, поздно. Теперь остается только ждать. И уповать на то, что эти типы свое дело знают. Экстази — это хуже прыжка с моста на эластичном канате. Каждая таблетина — нырок в пустоту при полном небрежении нормами безопасности.

Я последовал советам дилера: не пить спиртного (мешать рискованно) и ничего не есть (полный желудок снижает эффект). В результате я, как законченный кретин, слоняюсь, не имея возможности ни хлопнуть рюмашку, ни перекусить. Вот именно так и должен выглядеть начинающий наркоман: нервный тип, который ничего не пьет и не ест и каждую минуту поглядывает на часы. Через полчаса я уже начинаю жалеть, что оказался тем бараном, который крикнул "я" в ответ на вопрос, кто хочет попробовать экстази. Тогда я счел предложение прикольным, к тому же мне нравилось воображать себя Лестером Бенгсом или Хантером Томпсоном[1] по типу "журналист-камикадзе, готовый на любой эксперимент, чтобы переплюнуть коллег".

Каждый наркотик давно заимел свое место в литературе: опиум — благодаря Кокто и Томасу де Куинси, мескалин прославили Анри Мишо и Олдос Хаксли, героин — Берроуз и Ив Сальг, пейотль — Кастанеда, ЛСД — Тимоти Лири и Том Вулф, гашиш найдешь повсюду у Бодлера, кокаин воспевали Брет Истон Эллис и Джей Макинерни, море разливанное бурбона — в полном собрании Чарльза Буковски. Теперь черед экстази войти в Историю Словесности. Этакая "раскрутка" МДМА.

Протекло еще полчаса. По-прежнему ничего. Внезапно мозг захлестывает горячая волна. Словно электрический разряд, но мягонький и нежный. Не могу согнать с лица улыбку. Все мои конечности счастливы ощутить эту теплую волну. Ноги и руки становятся легче воздуха. Я совершенно отчетливо сознаю, что со мной творится, и контролирую новый внутренний источник энергии. Я нахожу все это скорее забавным. Но прилив продолжается: в ушах погуживает что-то жизнеутверждающее. Внезапно понимаю, что жизнь — очень простая штука: мы рождаемся, встречаем интереснейших людей, любим их, треплемся с ними, иногда с ними же спим. Смерти не существует — потрясная новость! Мне

1. Х. Томпсон — автор книги "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", в которой он действует под своим именем вместе с Л. Бенгсом.

дико хочется поговорить. Сейчас я отправлюсь к людям, чтобы поведать им, какие они симпатяги. Даже враги приобрели многообразные достоинства. Впрочем, с врагами тоже все просто: у меня их нет. Я говорю всем только приятное. Даже скучно: загляни сейчас в этот ночной кабак сам Адольф Гитлер, я бы кинулся к нему, расцеловал и пожалел бы его от души, ибо он сам наверняка глубоко страдал из-за всего им содеянного. Нет, пора подышать свежим воздухом.

Снаружи капает, и каждая капля доброжелательно ласкает мне лицо. Никогда я не чувствовал себя так замечательно. Никаких экзистенциальных проблем! Мир полон великолепных друзей и головокружительных приключений, которые ждут меня в ближайшие же часы. Я прямиком поспешаю в другой ночной клуб. Я на удивление раскован, ни тени смущения. Некоторые девушки поглядывают на меня странно, когда я предлагаю им руку и сердце, даже не сняв с пальца обручального кольца. Музыка становится частью меня самого. Очень жарко, жар накатывает клубами, и тело купается в поту, отчего безумно хочется танцевать, танцевать. В голове рождаются самые невероятные мотивчики в жанре хаус. Я — Вольфганг Амадей Хаус-мейд!

Танцующие девицы прыгают вокруг меня, я им улыбаюсь, мы общаемся. Мои движения — само совершенство, ритм выписывает арабески моими руками, рассекающими какие-то трехмерные голограммы. Я чувствую, что забалдел совершенно, но это не мешает мне поглаживать щеки, шейки, губки, исполненные глубокого понимания.

Смотрю на часы: надо же, за каких-то пять минут натекло два с половиной часа. Тут-то и начинаются неприятности. Обуревает смертельная жажда. Во рту пересохло. Приятель наливает мне четыре полных стакана воды, и я опрокидываю их залпом. У меня крепко стиснуты зубы, ладони мокрые и почему-то свистит в ушах. Какая-то метелка, которой я полчаса назад клялся в вечной любви, клеится ко мне. А у меня маниакальное желание выбраться куда-нибудь из этой душегубки. Как мне удавалось так долго оставаться без кислорода? Свежий уличный воздух на секунду приносит успокоение, но в голову тут же начинают лезть МЫСЛИ. И с этой секунды все портится окончательно. Ко мне на всех парах возвращаются проблемы, отправленные в никуда три часа назад: денежные неурядицы, всяческие интриги против меня, семейные сложности, невозможность любви, неотвратимость смерти. Жизнь — сплошное дерьмо, а в желудке у меня адский спазм. Возвращаюсь домой в надежде соснуть, но все старания напрасны: сон не идет. Единственный конструктивный выход — немедленно вывалиться в окно и покончить со всем этим. Или дожидаться рассвета, клацая зубами, и проклинать на чем свет стоит эту чертову химическую заразу, которая так подвела! Ко всему прочему в телике на этот час нет ничего путного; тупо смотрю на каких-то людей в колпаках и в тысячный раз повторяю: "Шит колпак не по-колпаковски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать; неперевыколпакованный колпак не перевыколпачивается никак, а недовыколпакованный колпак не довыколпаковывается". Потолок в упор меня не видит. Чего не сделаешь, чтобы попасть в "Лагард и Мишар"[1]! Я угробил целый вечер на очень интимные исповеди каким-то незнакомцам и на любовные излияния не стоящим внимания шлюхам.

1. Лагард и Мишар — авторы учебника, по которому изучают классическую литературу во французских лицеях.

Экстази заставляет платить очень дорого за несколько минут химического удовольствия. Открывает путь в дивный мир, где все держатся за руки, где никто не одинок, воплощает мечты о новой эре, свободной от аристотелевой логики, от евклидовой геометрии, декартовской методологии и фридменовской экономики. Поманит, а потом вдруг раз — и захлопнет дверь перед носом.

Как выбиться в люди

ЖИТУХА у меня дерьмовая, пора с ней кончать. Обрыдло катать смердящих лосьонами болванов, которые так и норовят рассыпать кокш на заднем сиденье. Я доверху накачан анисовой водкой и прозаком[1], и мне класть-положить на их выпендрежные прически из бразильских сериалов. Как я дошел до жизни такой? Не понимаю. Когда я был маленьким, казалось, передо мной открыты все дороги. Теперь я здоровый бугай, работаю шофером по вызову в Париже и окрестностях, и подо мной мчится улица Риволи. Я еду вдоль шикарных домов с видом на Тюильри, набитых белокурыми засранками, которых трахают телеведущие на диванах марки "Ромео". Пассажирка у меня за спиной разражается хохотом, не знаю уж, какую бредятину ей напевает этот ее цветной? Что-нибудь типа: "Знаешь, дарлинг, я купил новый вертолет для мой яхта". Или "новый яхта для мой вертолет"? Или "самолет для мой джип, чтобы кататься по бассейну"? Да мне на тебя с прибором, месье козел. Сейчас я тебе покажу, так что пузырь лопнет. Достали они меня, достали, и я давлю на акселератор изо всех сил. В зеркальце посматриваю на его пудреный нос, напомаженные волосы, золотую цепочку. Когда же эта стерва прекратит хихикать? Я думал, жизнь еще подарит мне шанс, сюрприз какой-нибудь. Фюйть! Все сюрпризы для богатеньких. Жизнь бедняка расчислена, ее можно рассказать наперед. Будущее мне сделало ручкой. Я неприбран, непригляден, они рассматривают мой затылок, бычью шею, они-то оба красивые, от них хорошо пахнет, они меня презирают. Это надо мной она смеется, без дураков, ничего, я сейчас со всем этим покончу. Площадь Согласия? Ночной Париж — это же красота! А вот на-ка же: и это тоже не для меня!

Я бедняк, а значит — ничтожество! Со мной не знаются. Меня называют "месье" и по имени, как принято называть обслугу. Моя судьба — не площадь Согласия, нет в ней ни света, ни блеска, это для тех, кто поважнее. И пью я, чтобы позабыть, что обо мне позабыли. Живу без всякого смысла. Я жму на газ, меня раздражают обочины. Ах ты черт! Она-таки расстегнула этому арабу ширинку, а теперь, слово даю, берет в рот, мне все видно в зеркало, должно быть, их возбуждает, что я могу их засечь, она играет с его шлангом, пока он тянет носом кокаин. Пусть сдохнут, с меня довольно. Что она в нем нашла, кроме его капусты? Почему мне никогда не везло, почему меня никогда не лизали на заднем сиденье лимузина? Что это она на меня так сострадательно поглядывает, эта шлюшка с тонной штукатурки на морде и тошнотворными духами? Ненавижу обходительность богатеев, их улыбочки, которые означают "поди вон!", будто вы у них клянчите милостыню. Вот я и чувствую себя уродом и вообще убогим.

1. Прозак — медицинский препарат, которым лечат депрессивные состояния.

Из приемника несется "Viva Forever", группа "Спайс гёрлз". Делаю погромче. В этой тачке я — самый неинтересный предмет. Вылез из ничего, чтобы прибыть в никуда. Перестраиваюсь, чтобы свернуть на набережную. Липкий тип у меня за спиной нарочно стонет, словно актер из порнушки. Из ничего — в никуда. И у меня были женщины, но все больше третий сорт, и со мной им не было весело. Никто не хотел состариться со мной рядом (даже я сам!). Я никогда не влюблялся и ни разу никому не доставил удовольствия. Любовь стоит слишком дорого, у меня не хватало средств. Я толстый, мои пальцы на руле жирны и волосаты, как у всякого поганого шоферюги. Папаша все детство не давал мне забыть, что я ни на фиг не годен, и я оправдал его слова. Учился из рук вон: без конца пялился в телик, слонялся без дела, не просыхал. Единственный экзамен, на котором я не засыпался, так это на права (и то благодаря армии).

Для чего нужны такие, как я? Мы люди бесполезные, только планету засоряем. И в журнале "Вуаси" про таких не пишут. А на похороны ко мне вообще почти никто не придет. Господи, если ты существуешь, объясни, почему я всегда так кошмарно одет? Ух ты, так и есть, араб так и не вынул, гад. Она сплевывает в носовой платок. Понятно, это тебе не иранская черная икра. Торговать передком еще куда ни шло, но когда араб, да в рот — это уж слишком, правда, цыпочка? Я стоял себе спокойненько у стойки в баре "Убли", принимал свою анисовку и вместе с другими отбросами рода человеческого ругал почем зря всех черных и желтых, и вдруг на́ тебе! — звонит мой мобильник: я должен куда-то тащиться с клиентами, они будут тыкать мне в рожу свое безоблачное счастье, и я еще должен говорить спасибо?

Азиат запускает свои наманикюренные грабли в волосы блондинки. "Viva Forever". Вы только поглядите на них! Ничего, когда в их элитные физиономии набьется полкило битого стекла, спеси у них поубавится. Каждому однажды выпадает удача. До этой ночи мне не выпадала никогда. А сегодня наипоследний мой день. Меня отовсюду повышибали, но сейчас все в моих руках. Впервые в жизни мне чего-то очень захотелось: когда жить не получается, можно попробовать хоть умереть красиво.

"Mister Paul, you're driving too fast!"[1]

Ага, то-то! Принцесса наша заегозила! Нет, уж такого случая я не упущу. Скоро Альма, мы ныряем в тоннель на двухстах в час. Алле хоп! Поворот руля — и без промаха: прямо в стену! А пошли вы к бесу в зад! Теперь-то обо мне весь мир узнает.

Смерть роскошная, как отель "Ритц".

Кто знает, может, буду теперь знаменит аж до двухтысячного года.

Самый тошнотворный рассказик из всего сборника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: некоторые фрагменты текста могут оскорбить чувства читателей, даже особо склонных к романтизму.

Чувствую, что сейчас снова запла́чу, стоит только вспомнить эту историю. Но мне очень нужно ее рассказать: есть люди, которым мой при-

1. Мистер Поль, вы едете слишком быстро! (*англ.*).

мер мог бы сослужить добрую службу. Тогда у меня, по крайней мере, будет иллюзия, что я разрушил самую прелестную в моей жизни любовную историю не вовсе зазря.

Все началось с шутки. Помню как вчера. Я ее спросил, может ли она доказать мне свою любовь. Она ответила, что готова решительно на все. Тут я улыбнулся, и она тоже. Если бы мы только знали!

И конечно, с того дня все пошло наперекосяк. Прежде мы занимались любовью без устали и ни о чем ином не помышляли. Других доказательств любви нам не требовалось. Как выпить стакан воды — только приятнее. И жажда не утихала. Стоило ей на меня поглядеть, и мой живчик просыпался. Она приоткрывала губы — мои тотчас туда приникали; ее язык лизал мои резцы, у него был пряно-клубничный привкус; я запускал пятерню в ее волосы; ее ладонь ныряла мне под рубашку и гладила спину; наше дыхание учащалось; я расстегивал ее черный кружевной лифчик, выпуская на волю соски; у них был вкус карамелек; ее тело было как кондитерская, как магазин самообслуживания, где я не спеша прогуливался, примериваясь, к чему приступить сначала: к влажным трусикам или к грудям (две в одной упаковке); когда мы поддавали жару, нас уже нес поток со своими приливами и отливами, а когда кончали, я орал ее имя; она — мое.

Точка с запятой — очень эротичная штука.

Мы были самой что ни на есть влюбленной парочкой. Все оборвалось, лишь только мы решили, что любовь нуждается в доказательствах. Как будто просто заниматься ею было недостаточно.

Начали мы с пустяков. Она просила меня на минуту задержать дыхание. Если мне удавалось, значит, я ее люблю. Ну, это нетрудно. После этого она оставляла меня в покое на несколько дней. Но тут наступал мой черед.

"Если ты меня любишь, подержи палец над огнем и не убирай, пока не скажу".

Она меня любила, точно. Мы очень веселились, обхаживая волдырь на ее указательном пальце. Чего мы не подозревали, так это что суем пальчик в шестерни адской машины, от которой добра не жди.

Теперь каждый поочередно пускал в ход свое воображение. Вслед за цветочками появились и ягодки. Чтобы доказать ей мою любовь, я должен был в порядке перечисления:

— полизать ночной горшок;

— выпить ее пи-пи;

— прочитать до конца роман Клер Шазаль;

— продемонстрировать мошонку во время делового завтрака;

— дать ей сто тысяч франков без права к ней прикоснуться;

— получить от нее пару пощечин при всем честном народе в кафе "Марли" и снести это безропотно;

— десять часов простоять запертым в шкафчике для метел и тряпок;

— прицепить к соскам металлические прищепки-крокодильчики;

— переодеться женщиной и сервировать ужин для ее подруг, пришедших к нам в гости.

Со своей стороны, проверяя, сильно ли она меня любит, я заставил ее:

— съесть на улице собачий помет;

— проходить с жесткой резиной в заду три дня, а в клозет ни-ни;

— посмотреть с начала до конца последний фильм Лелюша;

— без анестезии сделать себе пирсинг между ног;

— сходить со мной на вечерний прием и смотреть, изображая, что все в порядке, как я одну за другой лапаю ее подруг;

— отдаться тому самому псу, чей помет она ела;

— целый день в одном белье простоять привязанной к светофору;

— в свой день рождения вырядиться собакой и встречать лаем каждого гостя;

— явиться со мной в ресторан "Режин" на поводке.

Лиха беда начало: нас охватил охотничий азарт. Но это еще цветочки. Ибо затем по обоюдному согласию было решено, что мы вовлекаем в наши любовно-боевые операции третьих лиц.

Так, в один из дней я привел ее к моим знакомым, склонным к садизму. С завязанными глазами и в наручниках. Перед тем как им позвонить, я освежил в ее памяти правила игры:

"Если попросишь перестать, значит, ты меня больше не любишь".

Но она и так все знала назубок.

Трое моих приятелей начали с разрезания ножницами ее одежды. Один держал ей локти за спиной, а двое других кромсали платье, лифчик и чулки. Она чувствовала прикосновение к коже холодного металла и содрогалась от тревожного ожидания. Когда она осталась голышом, они принялись ее оглаживать везде: грудь, живот, ягодицы, киску, ляжки, затем все трое поимели ее и пальцами, и еще кой-чем, сперва по отдельности, а затем все разом, кто куда; все это у них вышло очень слаженно. После же того, как они все вместе хорошенько позабавились, пришел черед вещей серьезных.

Ее руки привязали над головой к вделанному в стену кольцу. Повязку с глаз сняли, чтобы она могла видеть кнут, хлыст и плетку-семихвостку, затем ноги примотали к стене веревками и снова завязали глаза. Мы хлестали ее вчетвером минут двадцать. К концу этого предприятия было трудно определить, кто больше устал: надрывавшаяся от криков боли и жалобных стенаний жертва или палачи, вымотанные этой поркой. Но она продержалась, а следовательно, продолжала меня любить.

Чтобы отпраздновать все это, мы поставили ей отметину раскаленным железом на правой ягодице.

Затем настала моя очередь. Поскольку я ее любил, мне предстояло выдержать все не дрогнув. Долг платежом красен. Она повела меня на обед к одному своему "бывшему", то есть к типу, которого я заведомо презирал.

В конце обеда она изрекла, глядя ему в глаза: "Любовь моя, я тебя не забыла. — И, кивнув в мою сторону, продолжала: — Этот недоносок никогда не восполнит мне того, что мы некогда с тобой пережили. Вдобавок он такое ничтожество, что будет смотреть, как мы занимаемся любовью, и не пикнет".

И я не двигался с места, пока она седлала моего злейшего врага. Она поцеловала его взасос, поглаживая рукой его член. Он в изумлении уставился на меня. Однако коль скоро я не реагировал, он в конце концов поддался ее натиску, и вскоре она насадила себя на его инструмент. Никогда ни до, ни после я так не страдал. Хотелось умереть на месте. Но я продолжал твердить себе, что эти муки — доказательство моей любви. Когда же они завершили дело обоюдным оргазмом, она обернулась ко мне в изнеможении, истекая потом, и попросила меня удалиться, поскольку им захотелось все начать сначала, но уже без меня. Я разрыдал-

ся от ярости и отчаяния. Я умолял ее: "Сжалься, потребуй уж лучше, чтобы я отрезал себе палец, но только не это!"

Она поймала меня на слове. Мой соперник лично отхватил мне первую фалангу левого мизинца. Это было чудовищно, но не так ужасно, как оставлять их наедине. К тому же потерять возможность ковырять в ухе левым мизинцем — не такая уж большая жертва в сравнении с приобретением рогов от такого пошляка.

Но после этого наша любовь потребовала новых, еще более внушительных доказательств.

Я заставил ее переспать со своим приятелем, у которого была положительная реакция на СПИД. Притом без презерватива (во время одной ночной оргии).

Она попросила меня ублажить ее папашу.

Я вывел ее на панель. Дело было на авеню Фош; ее там застукали легавые, а потом изнасиловала целая бригада патрульной службы плюс несколько ошивавшихся рядом бродяг, а я и мизинцем не пошевелил — тем самым, что она мне оттяпала. Она же засунула распятие мне в анус во время мессы на похоронах моей сестры, предварительно приказав трахнуть покойницу.

Я перетрахал всех ее лучших подруг у нее на глазах.

Она заставила меня присутствовать при ее бракосочетании с сыном богатого биржевика.

Я запер ее в погребе, где кишели крысы и крупные пауки.

Не умолчу и о самом паскудном: она зашла в своих извращениях так далеко, что заставила меня пообедать тет-а-тет с Романой Боренже.

На протяжении года мы проделали все, решительно ВСЕ.

Были уже почти не способны придумать что-либо новенькое.

И вот однажды, когда настал мой черед ее тестировать, я наконец нашел высшее ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ.

Отметавшее все сомнения насчет того, что она может когда-нибудь меня разлюбить.

Нет-нет, я ее не убил. Это было бы слишком просто. Мне хотелось, чтобы ее муки не прекращались до конца дней, ежесекундно свидетельствуя о ее неугасимой любви до последнего вздоха.

Поэтому я ее бросил.

И она никогда меня больше не видела.

С каждым днем мы все сильнее страдаем и рвемся друг к другу. Мы льем слезы уже многие годы. Но она, как и я, знает, что ничего изменить нельзя.

Наше самое прекрасное доказательство любви — вечная разлука.

Экстази со стриптизом

В О всей вселенной стоит кромешная ночь. Вселенная — бескрайнее, темное, пустое, ни с чем не сообразное пространство. Где-то в ней затерялся маленький бесполезный шарик, называемый Землей. На этой смехотворной планете каким-то образом держатся на воде несколько континентов, ведущих друг с другом бессмысленные поединки. Один из континентов именуется Азия. На юго-востоке Азии мы

найдем гигантский бордель под названием Таиланд. У самого края этой страны имеется островок Пхукет – излюбленное место двуногих бездельников. На острове есть деревушка, где по ночам кипит чрезвычайно бурная жизнь: Патонг. Она изобилует барами с проститутками, но один из них особенно славится своими развлекательными программами: "Экстази со стриптизом" (а если предъявите воспроизведенную ниже карточку, вам гарантирован самый горячий прием и 20% скидки на первую выпивку).

И кто же обретается в этом гнезде разврата? Кто около полуночи, облокотясь на стойку сего гнусного притона, потягивает пиво "Сингха" по 60 батов (10 франков) за кружку?

Фредерик Бегбедер собственной персоной. Он прибыл сюда провести новогодний отпуск со своей любимой подружкой Дельфиной. Но этой ночью они подарили друг другу холостяцкие удовольствия. Каждый имеет полное право делать что пожелает до самого рассвета. Фредерик и Дельфина – по-настоящему современная пара: оба разведены, не желают больше вступать в брак и временами делают вид, будто существуют каждый сам по себе, чтобы их запала на совместную жизнь хватило как минимум года на три. Вот почему Фредерик проводит нынешний вечер в одиночестве. Он разглядывает местных обольстительниц в мини-трусиках и лифчиках, они скользят, извиваясь, по опоясывающему зал подиуму, поглаживая и полизывая стальные шесты вроде тех, что видишь в парижском метро.

Краешком глаза они посматривают на гигантский экран, демонстрирующий схватку по тайскому боксу, спонсируемую "Самсунгом". Фредерик упивается сочетанием насилия и секса. Таиланд – страна, где девушки занимаются проституцией, а парни дерутся, такова жизнь.

"Все супружеские пары губит верность", – шепчет он, пристально разглядывая миниатюрную брюнетку в купальничке и лакированных туфельках на шпильках. В пупке кольцо с фальшивым бриллиантом, а на хрупком плечике вытатуирован дракон. Она склоняется к нему и улыба-

ется, облизывая губы. Он спрашивает у бармена: "Почём номер 25?" Но тот не понимает по-английски и наливает ему еще кружку ледяного пива. Диджей с обесцвеченными патлами крутит какой-то евроданс.

"Все-таки лучше чувствовать себя виноватым, чем озабоченным", — бормочет Фредерик, воспитанный в католических представлениях. Интересно, где сейчас может обретаться Дельфина? Вероятно, ее как раз в эту минуту массирует какая-нибудь таиландка. Или она уже в кровати, смотрит порнуху. Или обкурилась и спит.

Девица буквально нависает над ним. Фредерик принюхивается, тычась носом меж ее грудей. Ему хочется в этом сомнительном заведении почувствовать рядом живое человеческое существо. Таиландка душится "Кензо джангл". Ему смешно: ведь именно он, Фредерик, сочинил рекламный ролик для этих духов. Тридцатисекундный ролик с белокурой японкой, которая встречает стадо металлических слонов в виртуальной саванне (режиссер Жан-Батист Мондино; арт-директор Тьерри Гуно). Знала бы эта красотка, что пытается продать себя тому, кто впарил ей свой парфюм! Мир очень тесен, а вокруг, куда ни глянь, полночь. Слоган гласил: "Попробуйте сблизиться!" Он сам не знал тогда, как это правильно. Смешивать расы, похоже, не менее приятно, чем смешивать напитки. Но шоу-гёрл номер 25, засунув в рот пальчики, утанцовывает от него в ритме техно к двум пузатым немцам в майках "Адидас", оглушительно ей аплодирующим.

"Любовь и желание — вещи нетождественные", — мысленно убеждает себя Фредерик.

Вдруг кто-то похлопал его по плечу. Ему улыбается толстый азиат. Под тонкими усами недостает двух передних зубов.

— You want girl?

Хочет ли он девушку? Вместо ответа Фредерик бьет щербатого борца сумо по ладошке.

— Beautiful. Why not? But I'm looking for something special[1].

Толстяк кивает головой и делает Фредерику знак следовать за ним. Они выходят из бара. По влажной от тридцатипятиградусной жары улице они выгребают к мрачной двери, увенчанной мигающей вывеской: "Массаж Парлур". Таиландец входит первым, Фредерик за ним. После извилистых коридорчиков, освещенных розоватыми неоновыми лампами, они попадают в салон с более приглушенным освещением. Тут Фредерик объясняет борцу-своднику, что ему не нужно обычного body-body. Чтобы его раззадорить, надобно что-то неординарное.

— I want something special, you understand?[2]

Сводник молитвенно складывает ручки и кивает, а затем исчезает, предварительно попросив Фредерика подождать:

— Five minutes, I come back[3].

Фредерику невольно приходит на память девиз художника Фрэнсиса Бэкона: "Люди рождаются, умирают, а если еще что-то происходит в промежутке, значит, повезло".

Во время прогулки по Бангла-роуд он видел не меньше двух тысяч проституток; ему не удалось остаться совершенно равнодушным к их чарам. Из колонок марки "Боз" несется последняя песенка Джорджа Май-

1. Прекрасно. Почему бы и нет? Но я бы предпочел что-нибудь этакое (*англ.*).
2. Мне нужно что-то особенное, понимаете? (*англ.*).
3. Пять минут, и моя приходить (*англ.*).

кла: "I think I'm done with the sofa // Let's go outside". Через обещанные триста секунд толстый мажордом возвращается в сопровождении великолепного "катоэи" (тайского травести). У транссексуала две великолепные груди, несколько скомпрометированные великолепным возбужденным членом. Фредерик мотает головой.

— I'm sorry, — извиняется сводник.

Фредерик не может не оценить всей пикантности сочетания, однако сегодня на уме у него нечто совсем иное.

— You wait five minutes[1].

Церемониймейстер, похоже, воспринял этот отказ как брошенную перчатку, ибо он удаляется с довольной улыбкой, уводя за руку своего разочарованного "два в одном". Наконец-то в качестве клиента ему попался крепкий орешек! Фредерик же с нетерпением ожидает следующего сюрприза. Даже не отдавая себе отчета в том, что ОЖИДАТЬ СЮРПРИЗА нельзя, ибо сюрприз по определению должен быть неожиданным. Налицо терминологическое противоречие.

"Видела бы меня сейчас Дельфина!"

Фредерик уверен, что она будет хохотать от души, когда он опишет ей эпизод с транссексуалом. Еще через триста секунд дверь в будуар снова распахивается. Царственный толстяк появляется, держа на сей раз за плечо маленькую девочку. Она потупила глазки. Ее обрядили школьницей, в плиссированную юбочку и передничек, смоляные волосы заплетены в две симпатичные косицы, обрамляющие очаровательное личико.

— My name is Sum[2].

Жирная каракатица победоносно потирает ручки:

— Half virgin! Half virgin! Twelve years old![3]

Он объясняет, что "полудевственница" — это девочка, которая только раз занималась любовью. Но Фредерик снова отвергает предложение: он предпочитает, чтобы в наличии имелась и грудь, и растительность на лобке (короче, ему подавай женщину).

— Sorry. Forget it. Bye Bye[4].

Фредерик делает вид, будто собирается уйти, но пузан преграждает ему дорогу. Теперь он уже не улыбается. Что же ищет француз, отвергший все эти сокровища? Фредерик и сам не ведает. Но знает, что все найденное ему не подходит.

Крэк? Опиум? Героин?

— Нет, — благодарит Фредерик. — Я предпочитаю экстази, но сейчас больше не употребляю: слишком тяжело, когда перестает действовать.

Хозяин знаком велит девочке ретироваться. Та пятится задом, сюсюкая: "Коп кхум кха" (спасибо). Она явно рада оттянуть расставание со своим полудевичеством еще на несколько часов. И тут обладатель брюха впадает в высокую патетику:

— You say what you want. What you want, I got[5].

Он нажимает кнопку, и часть раздвижной стены отползает, открывая взгляду вереницу почти обнаженных женщин, отдыхающих в мутно

1. Вы ждать пять минут (*англ.*).
2. Меня зовут Сам (*англ.*).
3. Полудевственница! Полудевственница! Двенадцать лет! (*англ.*).
4. Извините. Забудьте. Пока (*англ.*).
5. Говорите, что вам надо. Вам надо, у меня есть (*англ.*).

освещенном зальчике, отделенном от салона зеркалом без амальгамы. У Фредерика возникает противное ощущение, будто он персонаж какого-то сериала, вроде "Блюза нью-йоркской полиции", и должен опознать подозреваемого. Ему подают адскую смесь — ром-Гран Марнье-Амаретто с ананасово-гранатово-апельсиновым соком и оставляют рассматривать женщин, которые, сидя к нему лицом, спокойно пудрятся перед зеркалом. Между ними и Фредериком стоит стена похуже Берлинской: денежная стена.

Одна из женщин вставила себе в щель фломастер и, присев на корточки, что-то пишет им на листке бумаги. После нескольких минут этой сложной гимнастики она вскакивает и размахивает листочком, на котором можно прочесть: "Welcome"[1]. Фредерик счастлив констатировать, что процесс письма еще не исчерпал своих возможностей. Подобный перформанс произвел бы фурор в парижском Книжном салоне!

Он продолжает смотр падших созданий. Развалившись на подушках, они положительно дохнут от скуки. Крашеная блондинка поит пивом сидящего у нее на плече малыша-гиббона. Не продует ли их от кондиционера? Фредерик не осмеливается задать этот вопрос толстяку: чего доброго вышвырнет его за дверь.

Внезапно его внимание привлекает девушка с необычайно гибким телом, исполненным женственного порыва. Лицо скрыто шлемом из латекса с прорезями для глаз. Он указывает на нее пальцем. Борец восклицает:

— The Slave! Ha ha! Good! You stay here![2]

— Five minutes, yes, I know[3], — кивает Фредерик.

Наконец-то он узнает, что чувствовали наши предки-рабовладельцы. Это великолепное растение с прикрытым маской лицом должно будет робко повиноваться всем его прихотям. Когда беззубый толстяк возвращается (после привычных трех сотен секунд), с ним никого нет. Он просит Фредерика следовать за ним и приводит в прекрасно оборудованную камеру пыток: блоки, наручники, цепи, плети, хлысты, щипцы и искусственные члены всех размеров развешаны по стенам. Настоящий пыточный застенок для профессионалов. Рабыня прикована к стене за ноги, за руки и за талию. Маску она так и не сняла. Сунув в карман его денежки, толстяк складывает ладони и удаляется, тысячу раз поклонившись.

"По моей милости, — мелькает в голове у Фредерика, — западных мужчин здесь еще долго будут считать скотами и деспотами".

Затем он решает испробовать на этой очаровательной женщине все, что только взбредет в голову, дабы извлечь максимум удовольствия (подобно тому как вор, укравший кредитную карточку, норовит урвать побольше чужих денег).

Тут уместно прибегнуть к фигуре умолчания. Это такой стилистический прием, который позволяет ленивому автору не описывать все детально. Столь элегантный перескок заставляет порой читателя попоститься. Мы заранее просим у него прощения.

1. Добро пожаловать (*англ.*).
2. Рабыня! Ха-ха! Прекрасно! Ждать здесь! (*англ.*).
3. Да, понимаю, пять минут (*англ.*).

Итак, подвергнув свою рабыню “смене наслаждений и страданий” (как выражался наш мэтр Оноре), Фредерик начинает мучиться от любопытства. Ему нужно увидеть лицо красавицы, которую он только что ласкал снаружи и изнутри, а также терзал и кусал везде, где только мог. Вот он тихонько отстегивает какие-то пряжечки, молнии, маска падает – и перед ним предстает сияющая физиономия Дельфины. Звучит вопрос:

– Слушай, Фред, ты хоть понимаешь, что сделал мне ребенка?

Что ж, как у каждой басни, у этой тоже в конце припасена мораль.

Биргит Лаханн

Существовать и мыслить сквозь эпохи!

Штрихи к портрету Фридриха Ницше

Перевод с немецкого А. Егоршева

"Самая ранняя пора моей юности овевала меня ласково, словно сладкий сон"

ЧЕЛОВЕК обнимает лошадь, дрожит и плачет. Выглядит он элегантно: пышные усы, очки в золотой оправе, пальто на шелковой подкладке. Лошадь, запряженная в пролетку, стоит на городской площади у биржи легковых извозчиков.

Человек обхватил животное за шею, рыдает. Прохожие останавливаются, подталкивают друг друга, таращатся, дети хихикают. Что случилось? – Ну, кучер стегал клячу. – Стегал? Да он бил ее ногами! – Ах, бросьте, не было этого... Наконец два карабинера высвобождают лошадь из объятий заливающегося слезами иностранца.

А синьор Давиде Фино, владелец газетного киоска при почте, наблюдавший за происшествием издалека, узнает теперь в дрожащем незнакомце своего квартиранта – профессора Фридриха Ницше.

Синьор Фино забирает его у стражей порядка. Взяв под руку, приводит домой. Укладывает в постель. Потом посылает за врачом и присаживается к находящемуся в полузабытьи постояльцу.

Так опускался сам когда-то я / из истин моего безумья... Эти слова пришли к нему здесь, в Турине, в этой комнате, совсем недавно, *я опускался вниз, все вниз, к вечерним сумеркам и теням...* – и в хаос. Да, в хаос, ибо в этот декабрьский день, один из последних в 1888 году, Фридрих Ницше в возрасте сорока четырех лет сошел с ума.

Через несколько дней из Базеля приезжает его друг Франц Овербек. Он получил странное письмо. Сигнал помешательства. Одно из последних посланий Ницше: *Велю сейчас расстрелять всех антисемитов...* Подписано: *Дионис.*

Встревожившись, Овербек посоветовался с невропатологом и тем же вечером сел в туринский поезд, чтобы увезти Ницше. Восемнадцать часов пути. В Италию приехал совершенно разбитым. С трудом расспрашивал встречных. Ницше? Ах, il professore. Si. Dalla famiglia Fino. Al quarto piano. На четвертом этаже он застает ужасную картину.

© Lahann, 2000
© А. Егоршев. Перевод, 2001

Ницше съежился в углу дивана. Землисто-серое лицо, запавшие щеки. Читает. Узнав Овербека, бросается к нему, обнимает, задыхается от рыданий — и с жалобным стоном, содрогаясь всем телом, опускается на пол. Семейству Фино это знакомо, ведь они ухаживают за ним уже около недели. Ему дают бромную воду — бром действует моментально.

И Ницше смеется. Подбегает к роялю, начинает, как пьяный, колотить по клавишам. Поет сам себе песню. Торжественный гимн тому, кто дерзнул развенчать и низвергнуть Бога. Бог, говорится в его сочинениях, мертв. А Ницше — жив. И вот он раздевается, срывает с себя добродетель, скачет нагим по комнате, танцует безо всякого стеснения — а ведь когда-то был так застенчив! — голый сатир, новый Бог, античный Дионис, безумный философ.

Как Овербеку, ученому и человеку не от мира сего, ехать с этим ненормальным в Базель целых восемнадцать часов? Нужен провожатый. Один немецкий дантист готов взять на себя эту обязанность. Он находит правильный тон — принимает манию величия Ницше как данность. Да, вы цезарь, говорит он ему перед отъездом. Вы въедете в Швейцарию с триумфом. Так что проходите мимо толпы, не отвечая на приветствия. И — сразу в вагон.

На перроне его ждет семейство Фино. Синьор Давиде, синьора, дочери Ирена и Джулия, сын Эрнесто. Немое прощание со слезами на глазах. Ах, добрый господин профессор... Всегда был так любезен и приветлив, всегда аккуратно платил за квартиру, вот только по ночам, пожалуй, слишком громко играл на рояле. Ницше идет прямо к вагону, никого не приветствуя, ни на кого не глядя. И вдруг останавливается перед синьором Фино. Забыл головной убор. И потому просит у хозяина дома, где жил, шляпу. Она нужна для триумфального въезда в другую страну. Как корона.

Корона осеняет начало его жизни. Ницше появился на свет в день рождения Фридриха Вильгельма IV, прусского короля. 15 октября 1844 года. Поэтому его нарекают теми же именами. Так пожелал отец, Карл Людвиг Ницше, пламенный поклонник *венценосного романтика,* который пишет новеллы, любит изящные искусства, грезит о единой Германии и предпочитает скорее созерцать, нежели действовать.

Однажды господин Ницше был даже представлен королю. Произошло это при дворе в Альтенбурге, где молодой пастор воспитывал дочерей герцога, трех принцесс — Элизабет, Терезу и Александру. Эти имена он даст своей дочери, которая в конце столетия в шовинистическом угаре, примется фальсифицировать сочинения брата, в то время как он будет доживать свои дни с меркнущим рассудком.

Отец перенял при дворе аристократические манеры и рано привил их сыну. Как и пристрастие к дорогому нарядному платью. И приход здесь, в Рёккене, близ Лютцена, где Густав Адольф разгромил когда-то войска Валленштейна, он получил *по высочайшему повелению* — согласно указу короля, явно ему благоволившего.

И вот выпало счастье — августейшая дата — старшему из троих детей, его сыну, его королевичу.

Для которого отныне каждый день рождения — воскресный. В этот день занятий в школе не будет. Еще бы — родился король! По всей стране звонят в колокола. А пастор с супругой поднимают бокалы и пьют за здоровье их милостивого короля и за здоровье Фрица, их маленького принца.

Добросердечный король через тринадцать лет тронется умом. Отец Ницше тоже лишится рассудка. Только пораньше. Мальчику не будет еще и четырех. Это пора мартовской революции, время верующих в свободу и прогресс, вдохновенно, с песнями сражающихся за право иметь конституцию.

В Берлине гремят выстрелы. Пули летят прямо в толпу. Сотни людей гибнут весной 1848 года на баррикадах. Трупы стаскивают во двор замка. И пастор Ницше с ужасом читает в газете, что его король обнажил голову перед убитыми, а потом с черно-красно-золотой кокардой на шляпе — цвета́ бунтовщиков! — показался народу.

Какой позор! Пастор Ницше не может сдержать слез. Королями становятся по милости Божией, а никак не по воле простонародья. Сбитый с толку, в душевном смятении, он надолго запирается в кабинете.

Маленький Фриц тоже неколебимо хранит верность своему королю. Его оловянные солдатики под барабанный бой маршируют в детской по улицам из кубиков. Бунтовщики горланят песни, угрожают поджогом, грабят... Побуйствовав и покуролесив, народ, однако, опять становится послушным. Как ему и подобает. В крайнем случае маленький Ницше может очень сурово наказать: кто убивает, будет сам убит. Кто хочет взойти на чужой трон, лишится головы. А революционерам грозит *тюрьма – десять лет за решеткой.* Делать революции никому не дозволено.

Через несколько месяцев после мартовских событий отец заболевает. *Наша жизнь текла безмятежно,* напишет четырнадцатилетний Фриц, *пока не надвинулись громадные черные тучи, не засверкали молнии и не посыпались с неба губительные удары. В сентябре 1848 года у моего любимого отца вдруг помрачился рассудок.*

Признаки болезни появились раньше. Случались не особенно сильные эпилептические припадки. У него опять *это состояние,* говорила жена; она была моложе мужа на тринадцать лет. Недуг прогрессировал. Из груди пастора вырываются стоны и хрипы, речь становится бессвязной, понять его невозможно. Фрица бросает в дрожь, когда он слышит невнятицу из уст отца, лежащего в постели и похожего на призрак. *Под конец он лишился даже зрения и был вынужден испытывать последние страдания в непреходящей тьме*[1], напишет мальчик, у которого еще долго будут нелады с дательным падежом. Карл Людвиг Ницше умер 30 июля 1849 года от размягчения мозга. Ему было 36 лет.

Фрицу снится сон. Будто из церкви слышен орган. *И вдруг одна из могил разверзлась, из нее встает мой отец в саване,* заходит в церковь, выходит оттуда с ребенком на руках, опять ложится в могилу, *и надгробная плита опускается.* На следующий день, пишет Фриц, брат заболел и спустя несколько часов умер.

Этот сон — первый в длинной веренице кошмарных видений. Призраки и фантомы будут преследовать Ницше до того возраста, в котором умер его отец.

Лишь пережив родителя, по истечении тридцати шести лет своего земного бытия, он начинает верить, что спасен, что возродился в отце или отец — в нем. Переселение душ. В своих трудах он назовет это явление *вечным возвращением,* а сама идея станет в его философии центральной. И Александр Македонский вернется, и Цезарь, и Наполеон. Вопло-

1. В оригинале: in ewigen Dunkel вместо in ewigem Dunkel. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

тившись на сей раз в Ницше. *Таинством соединения была музыка*, пишет Вернер Росс в своем повествовании о жизни Ницше под заглавием "Пугливый орел", *музыка дальних горизонтов, не сочиненная людьми, – отзвуки космических сопряжений.*

Пасторский дом надо освободить для другого священника. В последнюю ночь Фрицу не спится, *в половине первого я снова вышел во двор*, пишет он. При свете фонаря на повозку грузят мебель, и мальчик наблюдает за этим с болью в сердце. *Прощай, любимый отчий дом!! Своим могучим стилосом ты оставил в моей душе неизгладимый след.*

Семья Ницше переезжает в Наумбург. Семья — это молодая вдова Франциска с двумя детьми — пятилетним Фрицем и трехлетней Элизабет, бабушкой, двумя тетками и служанкой Миной.

Юный Ницше окружен женщинами, богобоязненными дамами: все они сами выросли в домах пасторов. Куда бы ни ступил мальчик — он в лоне Бога. Фриц тоже, разумеется, должен стать священником, близкие уже называют его *маленьким пастором.*

Маленькому пастору живется хорошо. Все его балуют и нежат, сестра обожает, дедушка любит. Внук нередко гостит у деда, благо тот живет неподалеку, в Поблесе. Сидит там с книгой в саду под деревьями и чувствует себя счастливым. Престарелая бабушка Эрдмута рассказывает мальчику о его предке польских кровей и о Наполеоне. Ей ведь довелось видеть, как пруссаки сражались за свою независимость, и хотя она всегда оставалась патриоткой, но Наполеон... Отчаянный был человек!

Нет, Фриц играет не на улице — он играет на рояле. И друзья у него кроткие как овечки. Из праздников ему всех милее собственный день рождения и Рождество Христово. Любимое слово — *уют.* Однако Фриц отнюдь не домосед. Ходит гулять, бегает на коньках, катается на санках и плавает. Плавание полезно, оно закаляет организм. *Юношам его можно только рекомендовать*, пишет рассудительный не по годам мальчик.

Железное здоровье матери — от воды. С детства обливалась ею — холодной. Маленькому Фрицу тоже не повредит. Водой лечат любую хворь, от головной боли до резей в животе. Мать ставит клизму, делает промывания и компрессы. *У нее был звериный инстинкт материнства*, пишет Курт Пауль Янц в трехтомной биографии "Фридрих Ницше". *Внутренний мир*, напротив, был *неглубок*, правда, не лишен сентиментальности, но *по сути своей холоден.*

Пай-мальчик Фриц ходит в мужскую школу, давно выучился читать и писать, памятлив на библейские изречения и цитирует Книгу книг так красиво, что можно прослезиться. Вот только орфография хромает. Пишет *paken* и *schiken*, *Charackter* и *Direcktor*, *zu Hauße* и *grüsen*[1]. Не мешало бы ему иметь под рукой и копилочку с запятыми.

В остальном он — высокоодаренный ребенок со склонностью к чудачествам. Когда однажды, сразу после уроков, внезапно хлынул дождь, все ученики с визгом помчались домой. Кроме послушного Ницше. Он невозмутимо шагал под ливнем, прикрыв картузик грифельной доской, а грифельную доску — носовым платком. *Беги же, беги!* — издали кричала ему мать. Но мальчуган продолжал шествовать, нисколько не ускоряя шаг. *Видишь ли, мама*, сказал вымокший до нитки сын растерянной родительнице, *в школьных правилах записано, что мальчики, покидая школу, не*

1. Правильно: packen, schicken, Charakter, Direktor, zu Hause, grüßen.

должны резвиться, а должны спокойно, как подобает воспитанным детям, разойтись по домам. – Я действительно держал себя с достоинством маленького закоренелого филистера, напишет он в девятнадцать лет.

Однако филистера, безрассудно отважного в своих фантазиях. *Я еще найду тот ключ, который поможет мне проникнуть в землю.* Это написано десятилетним. Он любит пожары, огонь, бури, град. Распаляет свое воображение "Эддой". Грезит о вселенском пожаре и сумерках богов, когда *солнце чернеет... и небо лижут языки яркого пламени.*

Прекраснее всего для Фрица грозы. Однажды его с матерью застает где-то такая непогода, что кажется, началось светопреставление, а они стоят *озаренные ослепительными молниями.* Конечно, *было небезопасно*, сообщает он своей сестре, но это-то и привело его в восторг.

В грозу он садится за рояль и предается драматическим фантазиям. Сочиняет гимн грозе: *Шквал и ливень! Молний блеск и гром! Сквозь них – вперед! И чей-то голос звал: Обновись!* Под вспышками молний и раскатами грома сложится спустя годы и его "Заратустра". Ибо молния и гром для Ницше – *свободные, неподвластные этическим нормам стихии*, чистая, *не замутненная интеллектом* воля.

Жизнь в Наумбурге, мятежная, прекрасная, неторопливая, заканчивается в октябре 1858 года. Фрицу четырнадцать, он только что закончил автобиографию "Из моей жизни", когда мать получает письмо от ректора Королевской школы Пфорта: Вашему высокоодаренному сыну выделяется бесплатное место.

Какое облегчение для госпожи Ницше! Ей, живущей с семьей на вдовью пенсию и детское пособие, целых шесть лет не придется платить за обучение. И какая удача для сына! Ведь в Пфорте готовят превосходных специалистов, это трамплин, с которого молодые люди попадают на самые престижные должности в ученом мире.

Но держат там учеников в строгости. Альма-матер имеет собственные законы. Прусский кадетский корпус, где изучают античную культуру. Политика – вне его пределов. Естественные науки – не в чести. Дискутировать на злобу дня нежелательно. Юные избранники живут за монастырскими стенами, в Элладе и Риме.

Так начинается та пора в жизни Ницше, о гнетущем однообразии которой он всегда будет вспоминать с содроганием. В четыре утра открывают общую спальню. В пять – резко дребезжит звонок. *Вставай! Живее! Выходи!* – орут надзиратели. Полусонные подростки, пошатываясь, бредут в умывальную.

Одевшись, направляются в молельную. Разговаривать запрещено. Все на месте? Гудит орган. Воспитанники хором читают "Отче наш". И обратно в спальню, где расставлено молоко и разложены булочки.

Ровно в шесть заливается визгом школьный звонок. Уроки до двенадцати. С зажатой в руке салфеткой – на обходную галерею. Кого нет? Сложили руки. *Господи Боже, отец небесный, благослови нас и ниспосланное тобой...* Обед. Снова молитва. По команде прогулка в школьном саду. Лекции. Час на самостоятельное чтение. Работа в классах, небольшой перерыв до пяти, повторение пройденного до семи, ужин, кегли, молитва – и в кровать. Ora et labora[1]. И так до девятого, выпускного класса.

1. Молись и трудись (*лат.*).

И постоянная муштра. Становись! Смирно! Головные уборы снять! *Я все время боюсь осрамиться*, записывает Фриц в дневник. Показательные гимнастические упражнения на официальных праздниках он воспринимает как *жестокое обращение с животными*. А без очков близорукому на брусьях вообще делать нечего.

Страх перед первым серьезным испытанием: хватит ли духу переплыть Заале? Весь класс построился на берегу — в плавках и красных шапочках. В воду — по свистку. Ах, как прекрасно искупаться в Заале одному, дома, во время каникул, утром, в половине девятого! *Река журчит, кругом тишина, мы с туманом покоимся на воде.*

Это годы, когда его начинают терзать головные боли, когда глаза часами не могут прочесть ни строчки, когда бунтует желудок и выпитое утром молоко подкатывает к горлу, когда дыхание требует усилий, а рубашка за ночь промокает от пота. Подобно эриниям, роятся над внешне молодцеватым учеником-гуманитарием все те болезни, что присосутся потом к нему, как пиявки.

Когда пилит, сверлит и точит мигрень, он думает об отце. И приходит страх перед сумасшествием и ранней смертью. Среди многочисленных родственников матери тоже есть несколько с душевными расстройствами, одна тетя покончила с собой, а какой-то дядя даже попал в желтый дом. Но разве мать не говорила ему, и не раз, как жизнестойки Ницше, как они плодовиты и неутомимы? Прекрасно, если так. Ведь ему нужно очень много времени, чтобы осуществить планы, которые пока таятся в голове.

Математика — не его интерес. По-английски он может только кое-как объясниться. История ему скучна. Зато он идет первым по лингвистическим дисциплинам — латыни, древнегреческому, немецкому. Нет ему равных в знании Закона Божьего и языка иудеев. А тоска по родным пенатам все не проходит и не проходит.

Впрочем, до Наумбурга всего лишь час хорошего ходу. Так что по праздникам он дома. В будни же пишет письма, отсылает картонки с грязным бельем, к примеру, *2 рубашки, 4 носовых платка, 1 манишку и 1 салфетку*. Благодарит за карамель от кашля, спортивные трусы и груши, просит прислать денег, чернила, губную помаду, стальные перья, любимый *шоколадный порошок* к тому ужасному молоку, которым их потчуют спозаранку, спички, третий том "Тристрама Шенди", а также сообщить *последние политические новости*. Ведь газет в Пфорте нет.

И вечно мальчик должен *нижайше*, в письменном виде, просить дирекцию школы снабдить его тетрадями, шаблонами, мылом, зубной щеткой, *разрешить пользоваться роялем*, выделить десять-двадцать пфеннигов на почтовые расходы, а то и *две порции сахара к лекарству*.

Мои черные брюки так износились, жалуется он своим домашним, *что на днях я их вконец порвал, играя в кегли*. А за несколько месяцев до этого он не смог отправиться вместе со всеми на экскурсию, потому что его штаны были *испорчены на коленях пятнами крови... Со штанами одно несчастье!* сетует он в письме *мамме*.

Ах, скорей бы сочельник! Тосковать по Рождеству Фриц в своих письмах начинает уже с октября. Ведь Рождество — это ощущение безопасности, это подарки и неповторимые запахи, домашний уют и отрада на душе. Фриц томится. Предается мечтам. Составляет список желае-

мых подарков, что-то зачеркивает, вносит поправки — нет, все-таки не книгу, лучше 10 серебряных грошей[1]. И ликует: *Всего 2 недели!!!*

И так из года в год. Все страхи рассеиваются с приходом Рождества. *О чудный день, о кроткий день, / Услады полон и прекрасен... / Весь в блеске солнца, свеж и ясен!* пишет он в сочельник 1860 года. В тоскливые рождественские дни, в Турине, он тронется рассудком.

В Пфорте у Фрица только один друг — Пауль Дойсен. Еще ближе ему два товарища со школьных времен в Наумбурге — Вильгельм Пиндер и Густав Круг, сыновья юристов, воспитанные, опрятные. Когда заседает триумпуэрат[2], штаны не рвутся.

Уже в двенадцать лет они читают друг другу свои стихи, сравнивают пробы пера в прозе, изучают партитуры Баха и Бетховена, импровизируют на рояле, философствуют, как древние. И юный Ницше предлагает: *Не аранжировать ли какую-нибудь увертюру?*

Друзья объединяются в кружок молодых поэтов. Называют его "Германия". По уставу каждый обязан представить раз в месяц что-нибудь в прозе или стихах. С последующим критическим разбором — по переписке. Беспощаднее всего Фриц бичует ложный пафос, дурной стиль и заимствования у других авторов. Уже тут вспыхивают молнии будущего сарказма.

О чем только не пишет подросток в своих записных книжках! О минувшем, о пережитом, о пройденном жизненном пути: *Самая ранняя пора моей юности овевала меня ласково, словно сладкий сон.* Новеллу о Капри и Гельголанде — с обилием *крутых скал и белых пенистых волн. О Италия, моей юности время златое...* Сотни страниц исписывает близорукий юноша, у которого вечно болят глаза. Пишет о земледелии и Гёте, о зависти и Наполеоне, о Шиллере и железных дорогах.

Незадолго до того дня, когда ему исполнится семнадцать, он, первый ученик Пфорты, пишет сочинение о Гёльдерлине. Гёльдерлин был тогда почти неизвестен — чудак, заика, путаник, в тридцать два года помешавшийся рассудком.

Сумасшедших в школе не проходят. И где Ницше только раскопал такого? Да еще советует вдумчивее читать его, называя своим любимым поэтом. Сочинение-то написано в форме дружеского послания.

И как хитроумно! Цитирует сначала друга, которому Гёльдерлин не нравится, приводит его доводы — их он слышал, конечно, от окружающих: пиит производит отталкивающее впечатление, понять его невозможно, *рехнувшийся фантазер*, хороши лишь его греческие стихотворные размеры.

О Боже! негодует Ницше, *и это вся твоя похвала?* Для величественного одического размаха Гёльдерлина, для торжественно-протяжных, нежных звуков грусти и печали ты не находишь никакого иного слова, кроме *пресного, будничного "хороши"*? Нет, друг любезный, так нельзя. Даже если в некоторых стихотворениях *глубокомыслие уже борется с надвигающимся мраком безумия*, они все равно остаются *жемчужинами нашей поэзии.*

И вот что еще: Гёльдерлин, любивший свое отечество, имел полное право говорить немцам все, что о них думает, ибо *ненавидел в немце голого профессионала, филистера.*

Это будущий Ницше, который однажды скажет: *Арийское влияние испортило весь мир.* Ницше, который будет презирать немцев за их *нацио-*

1. Монета в 10 пфеннигов.
2. Puer — мальчик, юноша (*лат.*).

нальную истеричность и *антиеврейскую глупость*. Ницше, который гордится своей *польской кровью*, ибо только там, *где расы смешались*, рождаются великие культуры.

Нацистам, сделавшим Ницше идеологом своей расовой политики, это бы не понравилось. То, что Гитлер и его адепты низвели сверхчеловека до типичного супермена, изваянного Арно Брекером[1], было просто большим недоразумением.

Хотя за сочинение о Гёльдерлине семнадцатилетний юноша получает двойку[2], учитель советует ему равняться впредь *на более здравого и понятного немецкого поэта*. Более здравого? Более понятного? Но кто понятнее терзаемого сомнениями Гёльдерлина, который так похож на него, Ницше, когда у воспитанника Пфорты на бумагу ложатся такие слова, как вот эти: *Темнота приносит одиночество / Я — под небом, так было, так есть...*

Он всегда будет равняться на гениальных, на мятежных духом, на Шелли, который в "Прометее освобожденном" свергает с трона царя богов Зевса и славит нового человека: *Равного среди равных, свободного от розни сословий... властителя лишь собственной души*. Это — светлый герой. А мрачный идет за ним следом. Это "Манфред" лорда Байрона.

В Байроне ученик седьмого класса находит себе нового кумира. Вдохновленный гётевским "Фаустом" и созерцанием Альп, томимый философической жаждой, лорд написал драматическую поэму о Манфреде, обитающем в замке среди величественных гор. Манфред не трепещет перед духами, как Фауст, — он бросает им вызов. Его удел — гордое одиночество: *Я со стадом / Мешаться не хотел, хотя бы мог / Быть вожаком. Лев одинок – я тоже*[3].

Именно такой путь ищет Ницше — путь отрицающего все и вся, путь демона, который проклинает мир и себя вкупе с ним; который просит одарить его безумием; который уничтожает сам себя и будет сам себе потусторонним миром. *Сверхчеловек, господствующий над духами*, пишет Ницше. Ему семнадцать, и он впервые употребляет это слово. Спустя двадцать два года оно станет господствующим в его философии. Обращаясь к народу, Заратустра скажет: *Я учу вас о сверхчеловеке*[4].

Фриц Ницше остается отличником вплоть до выпускного класса. При том, что не особенно прилежен, просто учеба дается ему легко, и задания он выполняет спустя рукава, как и положено, по его мнению, *существам исключительным*.

Он без труда и с наслаждением читает Ливия и Цицерона, Саллюстия, Гомера и Геродота, Платона и Фукидида. А чему учит Эпикур? *Мне наплевать на совершенство... если оно не доставляет удовольствия*. И просто поспорить умеет Ницше, и дискутировать в прозе и гекзаметрах на древнегреческом и латыни. Выпускник Пфорты, который в 1864 году отправится в Бонн, чтобы продолжить образование, — это по уровню знаний уже маленький ученый, кандидат наук.

А пока поклонник Байрона создает собственное произведение в прозе — яркое, если не сказать чудовищное, свидетельство полового созревания. Героя зовут Эйфорион. Распутник, не ведающий укоров совести. Врач, обрюхативший сухопарую монашку. И давший ее брату, живу-

1. Арно Брекер (1900—1991) — ведущий скульптор в нацистской художественной элите.
2. Четверка по российской шкале оценок.
3. Перев. И. Бунина.
4. Все цитаты из "Так говорил Заратустра" и "Ecce homo" в переводе Ю. М. Антоновского.

щему с Христовой невестой в свободном браке, яд. Ибо для изучения анатомии ему нужен очередной труп.

И вот этот дьявол сидит за столом, на котором *чернильница, чтоб утопить в ней свое черное сердце, ножницы, дабы привыкнуть к отрезанию голов, рукописи, чтоб ими подтираться, и ночной горшок.*

А что, если он, Эйфорион, сам протянет ноги и будет лежать в могиле? И кто-нибудь будет на него испражняться? И какая-нибудь парочка будет заниматься над ним любовью? *Мержо! Мержо! Это распад!*

Эйфорион откидывается назад до хруста в костях. Что за напасть? *Сухотка спинного мозга!* Что же еще... Божья кара за распутство и за онанизм.

Эротические мечты и сексуальная озабоченность воспитанника Пфорты. Боязнь совершить грех. Этого делать нельзя! Так поступать не подобает! Сотни раз он слышал эти фразы-запреты из уст чопорного общества.

Я больше не люблю, как я любил еще совсем недавно... Унылый молодой человек сидит вечером в шлафроке за столом и описывает свои чувства. За окном накрапывает дождь, а ему кажется, *будто в воздухе что-то шелестит, будто мысль или орел летит к Солнцу.*

"Я слыву чудаковатым малым"

Голова у Ницше трещит с похмелья. *Тебе это блаженное состояние скорее всего неведомо,* пишет он тем не менее с веселой иронией в Наумбург *дорогой Лизбет.* Сидит, стало быть, разбитый, в своей уютной боннской каморке с *софой* и *прелестной керосиновой лампой,* только что *с трудом вылез из-под перины* и рассказывает сестре о том, как бурно провел три последних декабрьских дня.

Большой праздник студенческой корпорации начинается с попойки, длящейся *часов эдак до 2 ночи.* На следующее утро общий завтрак в одиннадцать, прогулка по рыночной площади Бонна, кофепитие в респектабельном отеле Клея и, наконец, вечерний кутеж – сорок человек в сногсшибательно разукрашенном погребке, где *пунш льется рекой.*

Вместе со всеми пирует и Пауль Дойсен, его однокашник по школе Пфорта. Их влекло друг к другу: оба любили изящные стихотворения Анакреонта. Греческий лирик воспевал мирские наслаждения, воспевал любовь, лесбийскую и к мальчикам, воспевал вино и самого себя. Он будил в отроках желания, смягчал их страдания, они тайком читали его в спальне, читали: *Я спал, опьяненный Вакхом, / на пурпурных покрывалах...* И Дойсен вытаскивал из-под кровати чемодан, доставал оттуда пакетик нюхательного табака, и, так как пить вино было строжайше запрещено, они нюхали на брудершафт – *в час, исполненный торжества.*

И вот друзья в Бонне, где сразу же вступили в корпорацию "Франкония". Пунш, значит, льется рекой, вокруг новые знакомые, и среди них почитатель Шумана, великолепный знаток его творчества. *На удивительно красивом боннском кладбище,* где покоится прах композитора, Ницше уже успел побывать – с хозяйкой дома, в котором живет, и ее племянницей, фройляйн Марией. *На Рейне,* пишет он, *все зовется Марией.*

Ницше не узнать. Оседлав ослика, он вместе с Дойсеном въезжает на Драконову гору, распевает вечерами в Кёнигсвинтере *душещипательные* серенады под окнами предположительно непорочных дев. Он пьет, поет и гуляет до рассвета.

И месяца не прожив в Бонне, появляется *в белом жилете и лайковых перчатках на весьма и весьма шикарном концерте. Сказочная роскошь,* пишет он домой, *весь прекрасный пол в огненно-красном, публика говорила только по-английски, а я no speak inglich.* Тьфу, пропасть! Опять дают себя знать пробелы в знании живых иностранных языков. На древнегреческом и латинском он с блеском поддержал бы любой small talk[1].

Студенческая жизнь дорога, с тощим кошельком нечего, разумеется, и думать о том, чтобы встретить Рождество у семейного очага. И потому он сидит в сочельник один в своей каморке и ждет посылку с подарками из Наумбурга. А ее все не несут. Темнеет. Он зажигает лампу. Прислушивается к каждому шороху. Часы бьют семь. Пора ужинать. Почтальона все нет и нет. И Ницше не выдерживает.

Он бродит по пустынным улицам, заглядывает в освещенные окна, с грустью вспоминает мать и сестру, наконец, заходит к друзьям, в пивную франконцев. Те сидят под рождественской елкой, поют, болтают, потягивают пунш, обмениваются недорогими подарками... В одиннадцать Ницше снова дома. А посылки так и нет.

Она приходит на следующий день – адрес указан неправильно. *Я ведь живу в доме номер 518 по Боннгассе.* Тем не менее он ликует, благодарит письмом за *всю эту прекрасную снедь* и подставку для часов. И *как впору ему пришлись черно-красно-золотые штиблеты,* хотя поначалу при виде их *он буквально оцепенел.*

Прямолинейные патриотические призывы мало привлекали нас, космополитов, напишет Дойсен в своих воспоминаниях. И вечно приходится прогуливать лекции, поскольку бравые франконцы не могут не встречаться в гимнастических залах или пивных, чтобы не покромсать друг другу физиономии.

А вот Ницше смотрит на этот обычай снисходительнее, чем его благочестивый друг. Бывает на фехтовальной площадке довольно часто. И хотя франконцы не обязаны участвовать в дуэлях, он однажды все же вдруг ощущает потребность сразиться с каким-нибудь буршем.

Дойсен не на шутку встревожен, ведь у его друга сильная близорукость. И конечно, отправляется в один из этих залов вместе с ним. Оружие в позиции к бою, блеснули клинки с острыми концами... Не проходит и трех минут, как противнику удается сделать глубокий выпад и нанести Ницше рассекающую нос кварту[2].

Идет кровь. Рану перевязывают, Дойсен помогает другу забраться в коляску. *Дома я уложил его в постель, усердно прикладывал холод, гостей не впускал, не давал спиртного, и через пару дней наш герой был снова здоров.* Шрам остался. И нравился ему.

Нравятся и цвета корпорации – белый, красный, золотой. А то, что к числу франконцев принадлежат такие знаменитости, как писатель Шпильхаген и историк Трейчке, и вовсе замечательно. Важно все, что создает реноме.

Да, Ницше устремлен ввысь. Что говорит об этом греческий поэт Феогнид? *Только у лучших научишься лучшему; общаясь с плохими, скоро утратишь даже тот разум, коим ты обладал.*

Вопрос матери, не написать ли ей как-нибудь письмо его хозяевам, трогательно заботящимся о нем, приводит Ницше в ужас. *Люди они по-*

1. Светский разговор (*англ.*).
2. Удар в направлении от левого виска противника к его правому бедру.

чтенные, резко отвечает он матери, *но из ремесленного сословия. Писать им, полагаю я, было бы, говоря откровенно, в высшей степени неуместно. Случись такое, я бы немедленно съехал с квартиры.*

Ладно! Но занимается ли сынок хоть иногда науками? И что за вздор мелет он о прекрасном, остроумном профессоре Шпрингере, у которого слушает историю искусств? Он ведь должен изучать теологию! Мать испытывает легкий испуг. *Смотри не влюбись по уши в твоего прекрасного профессора*, предостерегает она. В Наумбурге и без того обеспокоены его намерением стать *беллетристом*. Такое позволить себе никак нельзя. Увы, Ницше уже давно стал беллетристом. По меньшей мере в письмах. И в записных книжках, которые заполняет несметным количеством эмоций. О новогодней ночи он пишет: *В комнате тихо, в печке потрескивают угли, огонь в лампе я убавил.*

Да, это он может. Рассказывать и описывать. Сначала внешнее, потом внутреннее. Умеет видеть снаружи и заглядывать вглубь. Анализ как сюжет сказки — заманчивый, интригующий, безжалостный. Всегда понятный, даже если сам смысл непонятен. И всегда с чувством ритма, с изяществом стиля, с игрой слов и с выразительной мощью фраз.

Итак, Новый год он снова встречает один. В комнате полумрак. Мерцающий свет лишь от печки с неплотно прикрытой дверцей. Он наполняет кружку горячим пунцем, садится за пианино, играет реквием, написанный Шуманом к байроновскому "Манфреду", — и приходит в отличное расположение духа. Устраивается на софе, закрывает глаза и начинает размышлять.

Неожиданно по комнате пролетает дух. И *что я вижу на своей кровати? Там кто-то лежит, тихо постанывая и хрипя – умирающий!* Отец? Не поднялся ли опять из могилы тот же призрак? Скользят тени. Говорят тени: *Злым ты был, год... И славным тоже... И вот состарился... И теперь способен, старый, только похрипывать.* Комната вдруг озаряется светом, стены разлетаются, потолок уплывает, Ницше видит — кровать пуста. С улицы доносится бой часов, двенадцать ударов, слышны крики *"ура!"*.

В новом году он хочет защитить себя от таких видений, хочет вырвать, как занозу, мировую скорбь из своей души. Всю эту печаль и меланхолию несет с собой христианство. Значит, с теологией надо кончать. Сперва рай должен быть на земле, а уж потом — на небе.

Ницше будет изучать классическую филологию — овладеет искусством толковать античные тексты. Матери он сообщает об этом в середине письма — коротко и ясно. *Мое решение заняться филологией бесповоротно. Изучать то и другое есть нечто половинчатое... Будь всегда здорова, дорогая мамочка. Привет милым тетушкам!*

Ох уж эти милые тетушки! Сильнее всех негодовала, должно быть, Розалия, ведь во всем, что касается Бога и Священного Писания, ей среди родственников принадлежит последнее слово. Неужели ее племянник-протестант, оказавшись в прирейнских землях с их махровым католицизмом, отступил от своей веры?

Ничего подобного! Тетушка может быть спокойна. *Крайне религиозное католическое население* не вызывает у него ни малейшей симпатии. Слишком много ладана, а также *скулящих и охающих старых баб.*

Ницше пишет о молодых — маленькую фривольно-забавную историю под названием "Франконцы в раю" для юмористической газетки своей корпорации. Семьдесят семь девственниц в белых платьицах с

желтыми передничками тянут к себе в заоблачную высь, как Маргарита Фауста, семьдесят семь франконцев, ухватившихся за бечевку. В конце дамы горюют об утраченной девственности, а семьдесят семь франконцев дремлют и видят *золотые сны.*

А сам Ницше? Он танцует и поет под окнами местных прелестниц, засматривается на фройляйн Марию, вздыхает по красавице, играющей в городском театре. И все? Да, вспоминает Дойсен, он никогда не замечал у Ницше склонности к поцелуям. Не говоря уже о чем-то большем. *Mulierem nunquam attigit,* он никогда не касался женщин. Сообщить об этом теолог Дойсен предпочитает, разумеется, на латыни.

Потом рассказывает прелюбопытнейшую историю, услышанную от самого Ницше. В феврале 1865 года друг Фриц едет в Кёльн один. Для студентов в пиковом положении город — истинный рай. Ницше осматривает собор и другие достопримечательности. Потом спрашивает прохожего, где бы поесть, и тот приводит его в *бордель.* Ницше: *Неожиданно я оказался в окружении стайки созданий, облаченных в батист с блестками.*

Он смотрит на проституток оцепенелым взглядом, а они демонстрируют ему свои прелести. Он испытывает нестерпимое желание бежать из вертепа. И — видит рояль, *единственное одушевленное существо в этом обществе,* подходит к нему, берет несколько аккордов — *они сняли с меня оцепенение, и я вырвался на свободу.*

У Томаса Манна этот эпизод стал ключевой сценой в "Докторе Фаустусе". *Наглый посыльный*[1] указал Адриану Леверкюну *хорошую ресторацию,* которая на поверку оказалась публичным домом. Герой романа стоит, *скрывая свое волнение,* смотрит на дщерей греха и видит раскрытый рояль, идет к нему, точно слепой, и берет два-три аккорда, переходя *из си мажор в до мажор.* И вот к нему подходит Эсмеральда, большеротая шатеночка с миндалевидными глазами, гладит его по щеке. Отшвырнув ногой табурет, Леверкюн устремляется к выходу из *этого блудилища.*

От той Hetaerá esmeralda с напудренными грудями в испанском болеро гениальный музыкант заразится сифилисом. Подцепит его — то ли в Бонне, то ли в Лейпциге — и Ницше. В Лейпциге, во всяком случае, он будет лечиться. И то, что Томас Манн говорит о Леверкюне, страдающем манией величия и вступающем в сделку с дьяволом, звучит как пророчество в отношении посмертных судеб Ницше: *Ты будешь знаменем, ты будешь задавать тон грядущему, твоим именем будут клясться юнцы... Твоя болезнь даст им вкусить здоровье...*[2]

Есть у Ницше и еще одна страсть — музыка. Он сочиняет, занося прозвучавшее в душе на нотную бумагу, или просто отдается во власть фантазии. Как это происходит однажды в трактире, где, подбадриваемый другими буршами, он садится за рояль. Франконцы в восторге от игры Ницше, называют его "Глюком".

В студенческих кругах я слыву, можно сказать, музыкальным авторитетом, сообщает он домашним, и, *кроме того, чудаковатым малым.* Пишет он и о своем самочувствии, о том, что *часто несчастен,* что у него много капризов и что он любит помучить *не только самого себя, но и других людей.*

1. Человек, доставивший чемодан Леверкюна с вокзала на временную квартиру и за плату показавший ему Лейпциг.
2. Перев. С. Апта.

Столь откровенен он редко. Охотнее возводит вкруг себя крепостные стены или закрывает лицо какой-нибудь маской. То, что происходит в Бонне, будет неумолимо повторяться. Поначалу – эйфория. Люди поражены его умом, восхищены его учтивостью, хотят пользоваться этими достоинствами постоянно и стремятся сблизиться. Порой чересчур усердно. Близость ведет к познанию, а познание к скуке – у Ницше. Он замыкается в себе, становится заносчивым. Кто они и кто он!

В Бонне он учится еще один семестр. Особого прилежания не проявляет. Тщеславен. Отпускает усы, аккуратно подстригает и закручивает их. Радуется, что у корпорантов теперь новый головной убор. Красный штюрмер облагораживает любую физиономию. Заказывает он себе и элегантный костюм. *Самого современного покроя. За свое творение портной потребовал 17 талеров.* Хотя один талер удалось-таки выторговать.

И вот в таком наряде он опять разгуливает по летнему Бонну, слушает оперы, ходит на концерты, предается в компании с франконцами винопитию и необузданному веселью, совершая поездки по Рейну. Лето уходит, приходит осень и – ревматизм. Ницше встревожен. Итог неутешителен: ничего не сделано для науки, мало – по части жизнеустройства, долгов же накопилось предостаточно. *Деньги всегда так легко катятся из рук,* сетует он, по свидетельству Пауля Дойсена, *должно быть оттого, что они круглые.*

Ницше собирается в дорогу, постельные принадлежности и книги отправляет малой скоростью, белье – почтой. Учебу он продолжит в Лейпциге. *Я драпанул из Бонна,* записывает он, стоя ночью под моросящим дождем у поручней парохода и глядя, как огни на берегу Рейна медленно исчезают во тьме.

Минули два с лишним месяца, на календаре – 20 октября 1865 года. Знаменательный день! Ницше поступает в Лейпцигский университет, ровно через сто лет после того, как в список его студентов был занесен Гёте. *Хорошая примета.*

Кульминация дня – лекция знаменитого филолога Ричля по случаю вступления в должность. Хлопнув дверью в Бонне, ученый обосновывается в Лейпциге. Большой зал забит до отказа. Все хотят слушать Ричля.

И вот, с довольной улыбкой, шаркая большими войлочными туфлями, профессор входит в переполненную аудиторию. Необычная обувь – из-за подагры, в остальном же праздничный костюм с белым галстуком безупречен. Итак, Ричль неспешно идет к кафедре, окидывает взглядом аудиторию и вдруг восклицает: *О, да тут и господин Ницше!* И радостно машет ему рукой.

Великий Ричль, пламенный оратор, слишком умный и жизнелюбивый, чтобы быть в науке филистером, чутьем угадывает в Ницше юного гения, становится его покровителем, наставником, можно сказать, духовным отцом.

Ах, как опостылела Фридриху наумбургская родня, все эти бабы, желающие, чтобы его жизнь была сведена к заботам о свежести белья, благочестии сердца и чистоте помыслов. Как не хватало ему истинного мужа, которого он мог бы обожать и даже боготворить, – такого, как Ричль.

Всего лишь за несколько семестров Ричль сделает из расхлябанного студента молодого ученого, который, не окончив университета и не защитив докторской диссертации, получит профессуру. Он, избранник Ричля, уже в начале декабря приглашен на чай и вскоре станет членом клуба тринадцати филологов, которые раз в неделю собираются, чтобы

подискутировать на заранее заданные темы, и каждый раз сменяют друг друга в кресле председателя.

В январе 1866 года наступает очередь Ницше. В ресторане "Лев" он делает доклад о нравственном и политическом содержании изречений Феогнида, греческого поэта, который пытался спасти аристократическое общество. Это же полный абсурд, считает Ницше, что аристократ Фердинанд Лассаль года три тому назад здесь, в Лейпциге, вдруг проникся любовью к угнетенным и основал "Всеобщий германский рабочий союз". Человек-господин снисходит до получеловеков. Так это видит Ницше. Глубокую неприязнь он будет питать и к Карлу Марксу с его вышедшим в 1867 году "Капиталом". Элита не должна знать сострадания, заявит он в своих философских трудах.

Итак, он рассказывает и рассуждает о Феогниде, хранителе благородного начала. Это его дебют в мире филологов. Он несколько скован, пока не замечает, с каким восхищением внимают ему коллеги. В свою студенческую каморку с романтическим видом на сад, в дом номер 4 по Блюменгассе, он возвращается поздно ночью. Да, он счастлив и так доволен собой, что решает показать текст доклада Ричлю.

Через несколько дней его зовут к мэтру. Тому никогда еще не доводилось читать доклада, столь искусно написанного студентом третьего семестра. Он хочет его опубликовать. Ницше на седьмом небе. *Счастье витало у меня на устах.* Он встречается с друзьями в ресторане небольшой гостиницы и за кофе с пончиками рассказывает о случившемся.

В эту пору я был рожден как бы заново, теперь филологом, записывает он, *я ощущал дразнящий аромат похвал, каковые можно будет заслужить на этом поприще.* Не в филологии он видит свое счастье, а в том, чтобы слышать дифирамбы, иметь успех, стяжать славу.

Зайдя как-то в букинистическую лавку своего хозяина, старого Рона, и роясь там в книжных развалах, Ницше натыкается на произведение Артура Шопенгауэра "Мир как воля и представление". Никогда ничего ни об авторе, ни об этом его сочинении он не слышал. *Не знаю, какой демон шепнул мне: "Возьми эту книгу домой".*

Дома он забивается с приобретенным сокровищем в угол дивана и буквально проглатывает книгу *мрачного гения*, упиваясь каждой страницей. Человеком владеет не разум, учит пессимист Шопенгауэр, а инстинктивная воля к жизни. Именно ею порождаются все земные беды. Освобождение от всяческого зла может быть достигнуто только отрицанием воли. Как? Путь указали святые, аскеты, йоги: обрати взор внутрь себя и сокруши свою волю.

Ницше будто осенило. *Я увидел тут болезнь и исцеление, изгнание и прибежище, ад и рай.* Он вдруг чувствует в себе острейшую потребность *в самопознании, даже в самоедстве.*

Он начинает ненавидеть, презирать, бичевать себя. Четырнадцать дней кряду ложится спать в два часа ночи и встает ровно в шесть утра. Работа теперь неотделима от аскетизма. Стоицизм становится образом жизни. На первых порах, раза три-четыре в неделю, в полдень, Ницше отправляется к обожаемому мэтру домой. Учиться и дискутировать. Ричль обычно сидит обложенный ворохами бумаг, с бокалом красного вина и первым делом обрушивается на своих университетских врагов.

Он веселый реакционер, этот Ричль, сродни Макиавелли, поборник абсолютизма, полагающий, что умные тираны лучше народных представи-

телей. Современный Феогнид, не доверяющий прогрессу и славящий древность. Ученик внимает Ричлю с восторгом.

А учитель успевает рассказать ему и о том, что любит закладывать меж страниц своих книг крупные и мелкие банкноты, всякий раз радуясь, когда находит их при чтении. *Папа Ричль*, замечает Ницше, *единственный человек, чьи порицания я выслушиваю охотно, поскольку все его суждения здравы и непреложны.*

Иметь здравые суждения и быть здоровым — настоятельное требование момента. Здоров дух — здорово и тело. Ницше презирает факультетских *буквоедов с рыбьей кровью, не усвоивших* из науки *ничего, кроме ученой пыли.* Ему по душе режим работы Эрвина Роде, нового друга, *у которого здоровые, крепкие члены и красные щеки.* Но здоров ли он сам? Что ж, надо признать, его подчас сотрясают приступы астматического кашля, когда он всю ночь не смыкает глаз: с видом старого ученого, окружив себя крепостными стенами из книг, он штудирует древних греков и римлян, рукописи и первоисточники, штудирует с холодным сердцем и пылающей головой.

Кропотливость, эрудиция, методичность — альфа и омега филологии. Эмоциям места нет. Ницше, однако, близок стиль Генриха Гейне, он скорее склонен к фельетону, к иронии и лаконизму, он, по его словам, отдает предпочтение *рагу*, а не *жаркому из говядины.*

Снова — пресыщение и скука. *Каких усилий стоило мне сделать ученую мину*, записывает он, и скверное настроение вновь пристает как репей. Ничто больше не доставляет ни радости, ни удовольствия. Да и сам он не родил до сих пор ничего, кроме *смешных мышек.*

Вывод его звучит уничтожающе: Филология — это уродина, зачатая богиней Философией с каким-то идиотом. Да, филологи — рабы. А кто ж еще? Трудолюбивые, послушные пчелы, которым какой-нибудь *полубог-философ раз в несколько столетий подбрасывает новую работенку.*

Эрвин Роде, его умный товарищ по университету, — *я люблю его так, как никого не люблю,* — мыслит подобным же образом. Сверху вниз. Всегда сверху вниз. Гамбуржец с утонченными манерами и внешностью аристократа становится его закадычным другом. Роде богат деньгами. Ницше богат духом. Остроумен. Они больше не дышат пылью библиотек, а совершают прогулки верхом, на лекции приходят в сапогах со шпорами.

В таком обличье, готовым к поединку с любым соперником, предстанет вскоре у Ницше в "Рождении трагедии из духа музыки" Артур Шопенгауэр. Как на знаменитой гравюре Дюрера "Рыцарь, Смерть и Дьявол", оттиск которой студент повесил на стену в своей комнате. Со стальным, твердым взглядом закованный в броню рыцарь едет своей дорогой, не обращая внимания на врагов рода человеческого.

Когда-нибудь и они с Роде отправятся в дальний путь, завоюют Париж, изумительный город роскоши. Создадут там немецкую колонию — в честь их любимого философа. *Пока же мы познаём еще божественную силу канкана*, пишет Ницше другу, *дабы со временем достойно шагать во главе цивилизации.*

Однако сперва Ницше пошагает в ином месте. На военной службе. Рейхсканцлером стал Бисмарк, всеобщая воинская повинность, действующая в Пруссии, введена во всех землях империи. В сентябре 1867 года Ницше проходит медицинское освидетельствование. Он годен, несмотря на близорукость.

Ницше, пожалуй, нравится быть солдатом. Ему по душе краткость армейских выражений. Спустя годы, в Турине, он занесет себя в список иностранцев как *ufficiale tedesco* – немецкий офицер.

9 октября он должен явиться в Наумбург для прохождения службы. *Судьба внезапно оторвала лейпцигский листок с дерева моей жизни.* И вот он служит – конным, пешим, у орудия.

Начинает с конюшни. *Вокруг тебя топот, ржание, скрежет, стук*, пишет он Роде. Голыми руками приходится выносить *невыразимое, неприглядное.* И кто сидит средь навоза? *Ей-же-ей, я собственной персоной.*

Вскоре он уже ефрейтор, а затем, по его словам, и лучший среди тридцати кавалеристов. Может даже отдавать приказы. Роде смеялся бы до упаду, слыша, как он командует! И его философии, сообщает он, представилась наконец возможность быть практически полезной. Ни секунды он не чувствовал себя оскорбленным или униженным. А когда тянуть лямку нет больше мочи, спрячется, бывает, под своим конем и тихо шепчет: *Шопенгауэр, помоги.*

В общем, дела его идут неплохо. Он фотографируется с саблей наголо и закрученными усами. Опора – на одну ногу, другая расслаблена, левая рука небрежно лежит на бедре. Лицо – очень грозное. Так и должно быть, ибо *у воина грубый ореол.* А стремительно мчась на своем горячем Балдуине по просторному плацу, он и вовсе доволен своей судьбой.

Пока, вскакивая как-то в начале марта 1868 года в седло, вдруг не срывается и не повреждает грудину с разрывом нескольких мышц. Обмороки, температура, адские боли. Компрессы со льдом. Он лежит в постели, затянутый веревками. Каждый вечер ему дают морфий.

Обо всем этом он пишет своему бесценному другу Роде с надрывом, *каракулями*, так как *плохо работает рука.* Теперь, по прошествии десяти дней, ему в нескольких местах вскрыли грудь, внутри сплошь воспаленную. *Сказать, что из каждой раны уже вытекло 4-5 чашек гноя, значит почти ничего не сказать.* К тому же однажды вечером вместе с желтой жижицей наружу выходит осколок кости. Состояние, стало быть, довольно плачевное: *я квел, как осенняя муха, изнурен, как старая дева, тощ, как аист.*

Три месяца к службе не привлекается, полгода восстанавливает здоровье, получает диетическое питание, принимает ванны. После отчисления начинает готовиться к продолжению учебы. Читает Гёте и Диогена, Шеллинга, Канта и Демокрита. А перевернув последнюю страницу очередного фолианта, насвистывает и напевает мелодии из "Прекрасной Елены" Оффенбаха, своей любимой оперетты: *Культ Венеры, культ веселый, / Весел я, вы будьте тоже!..*[1]

Возвращаясь в Лейпциг, Ницше хочет наконец снова быть веселым. Называет себя приват-доцентом, подыскивает удобную *гарсоньерку* и находит – за двадцать пять талеров у профессора Бидермана в доме номер 22 по Лессингштрассе, на третьем этаже. Не имея ученой степени, прикрепляет к двери табличку с надписью "Д-р Ницше" и решает *стать более светским человеком.*

В этом ему помогают Бидерманы, хотя, считает Ницше, они вполне достойны своей фамилии[2]. Но они знают весь Лейпциг, знают Генриха

1. Перев. К. И. Бабикова.
2. Имеется в виду второе значение слова der Biedermann – мещанин, обыватель (*нем.*).

Лаубе, директора театра, знают обер-бургомистра, знакомы с профессором Брокгаузом, женатым на сестре Рихарда Вагнера, пылкой поклонницей которого в свою очередь является жена профессора Ричля Софья. Она хорошо знает маэстро и хочет, чтобы и Ницше, любимый ученик ее мужа, проникся почтением к замечательному композитору.

Она зазывает его на концерты. Он слушает увертюру к "Тристану и Изольде", вступление к "Нюрнбергским майстерзингерам", он взволнован, *отрешен*, потрясен. Своему самому близкому другу пишет: *У Вагнера мне по душе то, что по душе и у Шопенгауэра – этически чистая стихия, фаустовский дух, готовность к крестным мукам и смерти с мраком склепа.*

В ноябре 1868 года Вагнер приезжает инкогнито в Лейпциг к родственникам — один, без Козимы, своей возлюбленной, замужней женщины, у которой от него уже двое детей. Козима находится в Мюнхене и пытается упорядочить отношения в "треугольнике", терпеть которые больше нет сил. Пойдет ли муж на развод? Вагнер взвинчен до предела, хотя положение его наконец поправилось: вот уже четыре года он в фаворе у мечтательно-восторженного баварского короля Людвига и не испытывает недостатка в деньгах. Итак, композитор тайно приезжает в Лейпциг, и фрау Ричль удается организовать для Ницше приглашение на прием.

Показаться в большом свете до́лжно в отменном туалете, полагает он. Какая удача, что на днях он заказал себе бальный костюм! Спешит к портному, застает его *рабов*, которые *рьяно трудятся над моей парой*, объясняет, почему дело срочное, и получает заверение, что костюм будет доставлен ему в ближайшее воскресенье.

Дождь льет как из ведра, когда под вечер с мокрым свертком появляется какой-то *старичок*. Но фрак сухой и сработан на славу. Правда, посыльный требует, чтобы ему заплатили. Ницше же намерен рассчитаться только с хозяином мастерской. Ситуация обостряется. *Человек торопит, и время торопит. Я хватаю костюм и начинаю его надевать. Человек тоже ухватился за костюм и мешает мне. Насилие с моей стороны, насилие с его стороны! Сценка. Я сражаюсь в одной рубашке, ибо хочу натянуть новые брюки.*

Это ему не удается. Старичок овладевает бальным костюмом и исчезает под пеленой дождя. Ницше накидывает на себя поношенный сюртук, бросается в ночной мрак и столь же стремительно вбегает в салон Брокгаузов.

И что же? Оказывается, фрак был не нужен. Узкий, можно сказать, семейный круг. Свои люди. Интимная обстановка. *Меня представляют Рихарду, я выражаю ему в нескольких словах мое почтение.* И Вагнер тут же начинает изливать душу, с театральными жестами, на саксонском: *Дорогие мои...* Рассказывает, как дурно везде ставят его оперы, торжественно направляется к роялю, играет из "Майстерзингеров", при этом поет, имитируя все голоса, читает вслух главу из своей биографии, ту, где повествуется о раннем периоде его жизни, когда он еще был революционером и вынужден был бежать из Саксонии. После ужина Ницше, собравшись с духом, заводит разговор о Шопенгауэре.

Шопенгауэр! Ну конечно же! — восклицает Вагнер. Единственный философ, который вообще понял его музыку. И Ницше тает. *Удивительно живой и страстный человек, очень быстро говорит, необыкновенно остроумен, весел* и на прощанье *с большой теплотой* жмет ему руку. Заходите как-

нибудь в гости, говорит пятидесятипятилетний двадцатичетырехлетнему. Это пропуск в большой свет, в высшее общество. Что за вечер!

А что за предложение получает он три месяца спустя! Стать профессором классической филологии в Базеле. Место было свободно; спросили Ричля, корифея в академическом мире, и Ричль ответил не задумываясь: Фридрих Ницше.

Никогда еще, пишет он, обосновывая, почему рекомендует молодого ученого, который, кроме выпускных в школе, не сдавал ни одного экзамена, — так вот, никогда еще не встречал он студента, который *так рано, в такие лета обнаружил бы подобную зрелость*. Он силен, бодр, здоров и отважен.

Конечно. Ведь это та пора, когда каждый юноша должен быть молодым Зигфридом, даже если он квел, изможден и тощ — и носит очки, как Ницше. В нем есть что-то от Одиссея, пишет Ричль в Базель; он долго думает, но потом мысль вырывается из него мощно, убедительно и притягательно.

Стало быть, новый Одиссей. Предел мечтаний. Ницше назначают на должность профессора. С годовым окладом в 800 талеров. Мать не может в это поверить. *800 талеров дохода*! По наумбургским понятиям — баснословные деньги. *Мой старый добрый Фриц* — так называет она его в своем полном ликования письме. Ах, как она гордится своим сыном! Написала уже всем родственникам. Перечисляет, кто уже был, поздравлял и рыдал от счастья. Тетушка Рикхен мысленно оповещает всех почивших предков, Венкели уже знают о знаменательном событии, слышали на бульваре от госпожи Пиндер. А дочка Венкелей, Сузхен, при слове Lehrstuhl[1] спросила: Это королевский трон?

"Придется однажды породить кентавров"

Субботнее утро. Ницше — перед виллой Рихарда Вагнера. В нерешительности: звонить или не звонить? Он же пришел, не предупредив хозяев. И вдруг он слышит аккорд. Один и тот же *пронизанный болью аккорд*.

Вагнер работает над третьим действием "Зигфрида". Отважный герой пробуждает Брунхильду к жизни, будя в себе желание. *Приди! Ты огонь погаси, / Жар палящий уйми...* Она вырывается из его объятий с криком: *Горе! Горе!* и поет: *Тот зло принес мне, / Кто разбудил...* И вот он, тот, пронизанный болью аккорд. Слушая годы спустя "Кольцо нибелунга", Ницше вспомнит именно эту сцену.

Наконец он все же решается. Просит передать свою визитную карточку. Ждет. Нет, говорит лакей, маэстро беспокоить нельзя. Приходите послезавтра, на второй день Троицы.

Окрыленный, он бодро шагает лугами вдоль Фирвальдштетского озера: от Трибшена до Люцерна полчаса ходьбы. Группа доцентов пригласила нового базельского профессора побывать на мысу, носящем имя Вильгельма Телля. Там, в пансионе "Имхоф", Ницше намерен написать

1. Кафедра, буквально: стул ученого (*нем.*).

в эти праздничные дни – на календаре май 1869 года – вступительную университетскую речь о личности Гомера.

С кем великий Ричль сравнил своего любимого ученика? В Базель прибудет Одиссей. Но от Одиссея-героя в Ницше никогда ничего не было, скорее было что-то от Одиссея-страстотерпца, от Одиссея-изгнанника, бросаемого судьбой на рифы жизни...

Двадцатичетырехлетний молодой человек, который отныне будет учить студентов своего возраста, пишет длинную, умную, научно обоснованную речь. А еще недавно хотел послать филологическую заумь ко всем чертям. Как он написал тогда Дойсену? *Филология видится мне уродиной, зачатой богиней Философией с каким-то идиотом.*

И вот теперь, заканчивая речь в переполненном актовом зале Базельского музея, он говорит: Филология – не муза, но она посланница богов. Это она нисходит к людям в мрачные, мучительные времена *и утешает их, рассказывая о прекрасных, светлых образах богов, обитающих в далекой, лазурной, счастливой, волшебной стране.*

Альпийская страна, где теперь обитает Ницше, тоже счастливая и далеко от его родных мест. Но Базель, этот *уютный маленький городок*, такой чистый и мещанский, – нет, он ему определенно не нравится. *Нигде не изнашивают перчаток меньше, чем здесь*, сообщает он в Лейпциг супруге профессора Ричля, своего покровителя и благодетеля. А ведь он уже обзавелся и элегантным фраком, и бальным костюмом. Но изящное праздничное платье здесь не в почете. Только Ницше ежедневно появляется на улицах города в цилиндре. *Срочно закажи мне у Хаверкампа черную визитку*, наказывает он матери.

Приглашения сыплются градом. В первые недели шестьдесят визитов. Все хотят познакомиться с кудесником, который, не имея ученой степени, стал профессором и производит своими лекциями фурор.

Ах, как тягостна ему вся эта суета. И не любит он колкости и прозрачные намеки. Вот и на банкете, устроенном ректоратом, какой-то человек, произнося короткую, затейливую речь, говорит, что быть ученым дано не каждому и потому приходится иной раз довольствоваться филистерами от образования.

Ницше поднимается и уходит. Выражение *филистеры от образования* принадлежит ему, на днях он употребил его в своем докладе. И потому он уходит. А через некоторое время к нему в меблированную квартиру – Шютценграбен, 45 – заглядывает Пиккар, один из его коллег.

И видит человека, который, *дрожа от негодования*, лежит на кровати в темной комнате. Пиккар подсаживается к нему, успокаивает: так, мол, в Базеле принято шутить. И тогда Ницше окидывает пришельца *жутким* взглядом и говорит: *Но разве вы, Пиккар, не слышали, как все смеялись надо мной?*

Слава богу, что кроме этого базельского общества есть еще Вагнер. Визит в идиллический Трибшен на Духов день прошел хорошо. Ницше знакомится и с Козимой, возлюбленной Вагнера, дочерью Ференца Листа, пока еще состоящей в браке с пианистом и дирижером Хансом фон Бюловом. Когда в 1865 году в Мюнхене в первый раз давали "Тристана и Изольду", а Бюлов стоял за дирижерским пультом, неверная ему Козима родила от Вагнера дочь, которую и нарекли Изольдой. Спустя два года на свет появилась Ева. Теперь Козима вновь беременна от возлюбленного. И все еще не разведена.

При всем том Козима против эмансипации. И против евреев. Категорически. Как и Вагнер. И против социализма. Но — за аристократизм. Ее взгляды полностью совпадают с мировоззрением Вагнера. А оно сводится к возвеличиванию германской расы. Да, Козима останется со своим Рихардом, хотя супруг нередко снится ей — *поседевший, плачущий.*

Ницше — он на семь лет моложе — смущен и очарован женщиной, которая вот-вот должна родить. *Спокойный, приятный визит,* запишет она в дневник, имея в виду появление Ницше на вилле в Трибшене, и добавит, что молодой человек *основательно* знаком *с произведениями* Рихарда и даже цитирует его в своих лекциях. Так и должно быть! У Вагнера будет приверженец и ученик.

Поэтому она сразу же приглашает ученого навестить их снова — в субботу, 22 мая. Это день рождения Вагнера. Но Ницше не отваживается, находит отговорку: *Злосчастная цепь* его профессии не позволяет оторваться от *базельской конуры.* И поздравляет просто письмом.

Лишь два года спустя Ницше увидит, как празднуют дни рождения маэстро в Трибшене — будто на сцене театра. Бюст виновника торжества украшают венками из живых цветов, дети скачут по дому в костюмах Сенты и Изольды, Козима облачается в одеяние Зиглинды из "Валькирии", которая, усыпив нелюбимого супруга Хундинга снотворным зельем, в страстном порыве бросается в объятья брата-близнеца из рода Вельзунгов. Вагнер потрясен. И посреди этого помпезного действа — Ницше.

Но это будет потом, а поначалу он стесняется. Он вообще робок, даже боязлив в общении. Приехав однажды в Лозанну, он не смог найти кафедральный собор и очень сожалеет об этом. Да, но почему же вы не спросили кого-нибудь из прохожих? Коллега Пиккар обескуражен такой непрактичностью. *Знаете, надо мной бы посмеялись!* — отвечает Ницше чуть ли не сконфуженно.

Вот таков он. Боязлив в общении с людьми, но не в обращении со словами. Тут его отваге пределов нет. Пишет весной 1869 года в уже упомянутом письме Вагнеру, как он счастлив принадлежать к тем немногим, кто его действительно понял, кому *суждено видеть свет и греться в его лучах, в то время как толпа стоит еще в холодном тумане и мерзнет.*

Да, он, Ницше, намерен бороться за всемирное признание гения. После победы, однако, рассчитывает получить соизволение маэстро сидеть одесную от него. *Иметь некое право на завоевание гения,* так он это формулирует. Называет воинственный ученик в своем письме, разумеется, и те силы, что явно отвлекают от бога оперного искусства, — убожество политики, безобразие философии *и настырность еврейства.*

Антисемиту Вагнеру это, понятно, нравится. Как нравится и то, что Ницше ставит его вровень с Шопенгауэром. И он прав. Ведь именно Шопенгауэр сказал, что мировая воля находит абсолютное выражение в музыке.

Но прочее в письме? Вздор! Молодой человек мелет что-то об *одиноко и особняком стоящей личности...* Вагнер не одинок. Вагнер пользуется всемирной известностью. Как автор "Летучего голландца", "Тангейзера", "Лоэнгрина", "Тристана и Изольды", "Майстерзингеров". Ему благоволит и оказывает финансовую поддержку баварский король Людвиг II, строящий в настоящее время замок Нойшванштайн. Так-то.

Нет, он не собирается отвечать на это письмо. Но Козима, рослая женщина с внушительным животом — она на девятом месяце, — считает,

что письмо очень милое, и просит Рихарда вновь пригласить Ницше — пусть навестит их в конце недели.

Ладно. *Приезжайте-ка в субботу после полудня, оставайтесь на воскресенье и возвращайтесь в понедельник утром: такое по силам любому ремесленнику, тем более профессору.* Лучше, пожалуй, не скажешь. Должно пронять. Нерешительность Ницше действует Вагнеру на нервы.

И Ницше приезжает. *Чудесная погода. Летний жар*, записывает Козима в дневник. Профессор на верху блаженства. Какая идиллия меж озером и вздымающимся к небу Пилатусом! Вот только фауна в вагнеровской обители приводит его в легкий трепет: ньюфаундленд, пинчер, лошади с кличками Фриц — этого еще не хватало! — и Гране[1]. Гране — подарок короля Людвига. По саду шастают куры, таращат глаза овцы, куда-то вечно крадется кошка, а Козима кормит Вотана и Фрикку — павлинью пару.

Вечер с Ницше провел сносно, записывает Вагнер в конце дня. *Около одиннадцати пожелал спокойной ночи.* Гость пока не замечает царящей в доме нервозности. Козима — в ожидании родов. Около полудня просит Рихарда *не поднимать никакого шума.* Ницше пусть остается. Ему придется есть с детьми, но ничего не поделаешь. Впрочем, у него своя комната.

Прислуга — в состоянии боевой готовности. Приезжает акушерка. Ночью начинаются схватки. Козима кричит благим матом. Хлопают двери. Всеобщая суматоха. Ранним утром Козима разрешается наконец от бремени. Младенец по имени Зигфрид выглядит настоящим богатырем. *Неподвижный взгляд* Вагнера, напишет Козима в дневнике, *был исполнен значительности и величия.*

Ницше становится отныне членом семьи, другом дома, который во главе с Вагнером напоминает зверинец. Профессор может бывать здесь когда пожелает. А такое желание появляется часто. Они тогда гуляют вдоль озера, по Разбойничьей дороге, Козима — в розовом кашемировом платье и соломенной шляпе с широкими полями, Вагнер — в бархатном сюртуке, атласных штанах до колен, шелковых чулках и берете. И Ницше чувствует, что находится *вблизи Божественного.*

В Базеле он собирает все, что пишут газеты о его кумире. Вырезки посылает Козиме. Сплошь маленькие сенсации: Вагнер-де разучивает перед зеркалом гётевскую жестикуляцию, живет в роскоши, имеет гарем — и при этом на содержании у баварского короля.

Только, ради Бога, не надо ничего рассказывать Рихарду, все должно остаться между нами. У нас будет своя маленькая тайна... Стать сообщником в каком-то деле — это Ницше по душе. Он читает Козиме свои доклады, посвящает их ей, вероятно, даже влюблен в нее — робко и романтически.

Да, он допущен ко двору, в Трибшене он свой и, значит, должен подобающим образом вести себя и хорошо питаться. Однако Ницше — вегетарианец. Обзавестись этой причудой ему посоветовал Карл фон Герсдорф, его лейпцигский друг, аристократ. Растительная пища, говорил он, улучшает самочувствие и избавляет от болей, вызываемых геморроем.

Вагнер возражает. Пренебрегать мясом — нелепость. Но не есть его все же этичнее — не сдается Ницше. Сей грех, говорит композитор, искупается благими деяниями. А попивая молочко, их не совершить. Уж лучше сразу стать аскетом. Ницше с ним соглашается, но от своей при-

1. Конь Брунхильды в "Гибели богов".

вычки не отступает. И тогда, замечает Козима в дневнике, *Рихард начинает сердиться.*

Лекции в Базеле у Ницше четыре раза в неделю. Уже в семь утра он стоит перед студентами и рассказывает им о греческих поэтах и философах-доплатониках, рассказывает, не испытывая ни малейшего вдохновения, *глупым слушателям,* которые, сетует он, всегда лишь записывают то, что он говорит.

Живу как на острове, сообщает он матери. Вот если бы рядом был его задушевный друг Роде!

Через год у него появляется еще один близкий друг. Франца Овербека пригласили возглавить в Базеле вновь организованную кафедру истории Церкви. Он на семь лет старше, тоже холостяк и станет самым надежным и самоотверженным товарищем Ницше.

Овербек снимает квартиру в доме, где живет Ницше. Они вместе едят, вместе музицируют, у Ницше есть рояль, у Овербека — превосходные, на четыре руки, опусы Шуберта. Бывает, что к ним присоединяются коллеги и друзья. Тогда на столе печеная картошка и обжаренная ветчина. Ницше любит читать вслух, отдавая предпочтение рассказам Марка Твена. А с Идой Ротплец, по-девичьи прелестной швейцаркой, он даже играет вальс — песню любви Брамса.

Ида Ротплец, которая выйдет замуж за Овербека, умна и наблюдательна. Об игре Ницше на рояле она замечает: *Он не обладал виртуозностью, играл жестковато и угловато, подыскивая звуки в памяти и лишь затем на клавишах.* А когда они всей компанией гуляют по лесу, Ида видит Ницше *крепким и бодрым и тем не менее как бы нащупывающим дорогу, что придавало его походке некоторую неуклюжесть и скованность.*

В день начала франко-прусской войны, 19 июля 1870 года, Ницше в Мадеранской долине устроился в отеле "Альпийский клуб", на высоте 1300 метров. И *в то время как над Европой прокатывались громы сражения при Верте,* он, поглядывая на романтически дикий пейзаж и слыша шум водопадов, обдумывает одну "идею"[1], размышляет над дионисическим мировоззрением — вскоре оно приведет к "Рождению трагедии из духа музыки".

Еще в феврале он написал Роде, что сомневается в возможности стать когда-нибудь хорошим филологом и что Вагнеру его жизненное предназначение тоже видится в иной области. *Наука, искусство и философия столь тесно переплелись во мне, что в любом случае придется однажды породить кентавров.*

Брутальные, сладострастные существа, полулюди-полукони, любят вторгаться в изысканное общество. И вот Ницше сидит в альпийском отеле и, обдумывая "Рождение трагедии...", грубо и с наслаждением ополчается на дух Сократа. Древнегреческий просветитель, рационалист словом убил музыку как миф. На демона, который отнимает у тайн их очарование, должно идти войной и победить его.

Между тем разгорается иная, настоящая война — против Франции. *Друг, любезный друг, мы еще раз увиделись на вечерней заре мира,* пишет Ницше Эрвину Роде и 8 августа просит освободить его на какое-то время от чтения лекций в университете, дабы он мог послужить *солдатом и санитаром.* В письмах он говорит о своих *обязанностях,* о том, что должен *бро-*

1. Идею противоположности аполлонического и дионисического начал.

сить ленту в ящик пожертвований для Отечества. Быть может, он хотел бы войти победителем во французскую столицу? Ведь Париж по-прежнему олицетворяет для него искусство и свободу.

Там, наверху, в Мадеранской долине, в "Альпийском клубе", он познакомился с Адольфом Мосэнгелем, весельчаком, знающим Париж, бегло говорящим по-французски и заводившим, по его рассказам, умопомрачительные амуры с великосветскими дамами. Он пишет пейзажи. И хочет идти на войну. Значит, они могут отправиться воевать вместе. Элизабет Ницше, приехавшая в те дни навестить брата, поет дифирамбы *Фрицу, пышущему здоровьем, блещущему умом, переполненному энергией.*

Итак, Одиссей собрался в поход. 12 августа он встречается с развеселым художником в Линдау. 13-го они садятся в поезд на Эрланген, болтают, хохочут, предвкушая необыкновенные приключения. И Ницше задорно поет только что сочиненную им патриотическую песню: *Прощай, на бой мне отправляться, / Дойду до Рейна, может статься*[1].

Что же он делает?! Повестки не получал, на призывной пункт не идет — нет, оба читали газеты, увидели обращения к добровольцам и вот направляются в "Эрлангенское общество полевой благотворительной деятельности".

В госпитале из нас готовят военных лекарей и хирургов, пишет Ницше своей матери. Это, конечно, сущая чепуха. Из них на скорую руку делают санитаров.

Первое задание — разыскать в окрестностях Верта тех, кто остался в живых, найти могилу офицера высокого ранга. Заглядывая в лазареты и прошагав два-три десятка километров, они попадают на поле боя и становятся свидетелями *страшного опустошения.*

Несмотря на сильный запах тления, искатели приключений подбирают возле убитых солдат пули к французским винтовкам системы Шаспо. Сувенир для друзей и знакомых на родине. *Прилагаю кое-что, напоминающее о кошмарной мясорубке под Вертом,* пишет Ницше своему старому учителю Ричлю, сидя в два часа ночи на полу телячьего вагона. Письмо с пулей в конверте получается коротким, *ибо при жалком свете коптилки не распишешься.*

Дальнейший маршрут: через Хагенау и Нанси к Мецу. По следу побед и смертей. Вид последних замыкает им уста. Они поворачивают назад. В день битвы при Седане, когда французы капитулируют, а Наполеон III попадает в плен, соратники вновь ступают на родную землю. Ницше — тяжело больным, заразившись холерой и дифтерией. Любознательный вояжер лежит пластом. Решает лечить себя сам лошадиными дозами лекарств, ведь он во всем разбирается лучше других! *После того как я в течение нескольких дней потерзал свой организм опиумными и таниннными клистирами, а также ляписнными микстурами, главная опасность миновала.* Мосэнгель самоотверженно ухаживает за Ницше, он его ангел-хранитель.

Итак, Ницше лежит в постели и пишет из эрлангенского отеля "Вальфиш" Рихарду Вагнеру. Похваляется своими подвигами, при свершении коих ему *сопутствовала удача.* Что до побед германского оружия, то лучше уж промолчать: *это огненные знаки на стене, понятные всем народам.*

В Базель Ницше возвращается в октябре с позывами к рвоте, мигренью, приступами желудочных болей и резью в кишечнике, мучимый бес-

1. Перев. Н. Энтелиса.

сонницей и геморроем. Чувствует себя скверно. Бюсты прусской королевской четы, подарок за участие в войне, он хоть и поставил в своей меблированной комнате, однако находит, что, в сущности, *эти упившиеся кровью господа ужасны.*

В Базель приезжает Элизабет. На протяжении ближайших восьми лет, с перерывами, она будет заниматься домашним хозяйством брата. Пиндер и Круг, его старые друзья из Наумбурга, тем временем обручились. Помолвлен и Овербек. Ницше продолжает вести холостую жизнь. Сестру это устраивает. Достаточно того, что Фрица любит, боготворит и балует она. И брат берет Лизхен на все званые вечера, вместе они бывают в Трибшене у Вагнеров. Опрятная девушка, по мнению хозяев виллы, *послушна, мила* и *скромна.*

Но вот то, что Ницше не женится, на их взгляд, противоестественно. Как и то, что он постоянно восторгается своим другом Герсдорфом. Это же ненормально. *Я бы считал, что Вы должны жениться или сочинить оперу,* пишет Вагнер Фридриху Ницше в предрождественские дни 1874 года. *И то, и другое Вам может как пойти, так и не пойти впрок. Но все же лучше жениться.* Он просто считает Ницше ипохондриком и трусом. И в свойственной грубияну манере добавляет: *Ах, господи, женитесь-ка на богатой! И надо же было Герсдорфу родиться мужиком!*

За год до этого, когда чуть ли не все товарищи Ницше ринулись обручаться, он писал именно Герсдорфу: *Мы останемся верными друзьями,* сколько бы представительниц прекрасного пола *ни встало между нами, не так ли?* Мужчины для него — нектар и амброзия, бальзам, исцеляющий душевные раны. Женщины созданы, чтобы рожать детей. Об этом он тоже думает, судя по строкам из письма к Роде: *Время от времени мы должны исполнять и другую нашу обязанность, заботясь о здоровом, духовно и телесно равноценном нам потомстве.*

И все-таки ему дороже кентавры, которых он хочет родить сам. Его первый большой труд[1] выходит с наступлением 1872 года. И производит ошеломляющее впечатление. Но только на коллег. Молодой базельский филолог развенчивает философа из Афин. Сократа! Филолог ставит античность с ног на голову, толкуя ее по-новому. Ключевые фигуры — Аполлон и Дионис. Бог солнечного света, гармонии, духовной деятельности и искусств, бог исцеления. И бог виноделия, упоения, экстаза, восторженности, плодородия.

Аполлоническое и дионисическое. Дуэль рассудка с интуицией. И оба бога стремятся к победе. Философия власти, к которой позже придет Ницше, здесь еще только намечена. Сквозь спокойную ясность Аполлона прорывается необузданность Диониса. Она звучит в пении хора. Лирическом, чувственном, пьянящем. Такой она была, греческая трагедия, рожденная духом музыки.

Но потом в это мистически возвышенное действо вторглось слово — диалог, логический ум Сократа. Подлинное искусство превратилось, по глубокому убеждению Ницше, в изощренное, ненатуральное, рафинированное. *Время сократического человека миновало: возложите на себя венки из плюща, возьмите тирсы[2] в руки ваши и не удивляйтесь, если тигр и пантера,*

1. "Рождение трагедии из духа музыки".
2. Палка, увитая плющом, листьями винограда и увенчанная сосновой шишкой; жезл Диониса и его спутников.

ласкаясь, прильнут к вашим коленям. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми: ибо вас ждет искупление[1].

Спасителем выступает, конечно, Вагнер, потому как только музыка, революционная музыка Вагнера — Ницше называет ее *философией звука* — способна оживить злодейски убитый Сократом миф. Так что первое философское сочинение Ницше по-своему пропагандистское, это — дифирамб его трибшенскому богу.

Вагнер потрясен. Он любит пафос и сакрально-торжественный тон, который уже вскоре покажется Ницше *слащавым* и *вызывающим чувство неловкости*. Итак, Вагнер в восторге. *Я не читал ничего более прекрасного, чем ваша книга! Она великолепна!.. Козиме я сказал, что после нее Вы самый желанный для меня человек.* Вот если бы Ницше соблаговолил *заглянуть на часок-другой* в Трибшен, то выход в свет его творения можно было бы отметить по-дионисийски.

Но у Ницше не то настроение. Снова приближается Рождество. А ему неможется. Он принимает лекарства. Питается диетическим супом и хлебом из пшеничной муки грубого помола. А главное — ждет реакции, откликов на свое сочинение. Однако их нет. И это при том, что он сперва разрушил, а затем заново создал целый мир. Кроме немногих коллег, его книга никого не волнует. Радуются только Вагнеры, раздают ее всем друзьям.

Милая Козима, как водится, высказывает пожелания. Всегда надо что-нибудь достать. Ницше знаком с этой привычкой не первый год. К Рождеству детям нужны подарки. Куклы-марионетки. То, что рисует ей фантазия, в Люцерне, хоть весь город обойди, не сыскать. Купите, пожалуйста, короля и черта. Говорят, в магазине игрушек, что в Базеле на Айзенгассе, большой выбор.

Кроме того, требуется тюль с золотыми звездами. Девочки хотят одеться ангелами. Если не удастся найти тюль, сгодится тарлатан. И необходимо срочно отдать в переплет издания классиков из библиотеки маэстро. Для греков, пожалуйста, красновато-коричневый цвет, для римлян — желтовато-коричневый. Не окажет ли им милый господин профессор эту услугу? Он же свой человек. А после "Рождения трагедии" — совсем близкий.

Но отчего никто не откликается на книгу — не хвалит, не разносит? Даже его старый добрый учитель Ричль. Потому как не испытывает желания. Ограничивается двумя словами в записной книжке: *остроумное похмелье*. Ницше сетует в письме: *Если Вам, думал я, встретилось бы в Вашей жизни нечто многообещающее, то оным могла бы быть, пожалуй, эта книга.* Многообещающее — для науки, многообещающее и *для душевного склада немца*. Король классической филологии вновь очень немногословен в своей записной книжке: *мания величия*.

Ницше полагает, что посеял бурю, а пожинает штиль. Что филологам до Диониса? Они верят в Сократа, в человеческий разум, а не в мир как волю к игрищам и потехам.

Неужели у этого человека нет иных забот? Германия восстала ото сна! Прусский король Вильгельм провозглашен в Версале германским

1. Перев. Г. А. Рачинского.

императором. Это сделал Бисмарк. Страна охвачена грюндерской[1] горячкой. Страна набирает силу, расправляет плечи. Все бурно идет в рост, становится краше.

А кто окопался в рейхстаге между правыми и левыми, образовав вторую по численности фракцию? Истовые, надменные католики, некие индивиды с негерманской внешностью, космополиты-апатриды. С центром надо бороться. Как и с евреями, которые везде и всюду впереди. В новой, великой Германии первым хочет быть Вагнер. В апреле 1872 года он переезжает в Байройт. Возвращается домой — в рейх. А Трибшен, *остров блаженных* для Ницше, тает в дымке скорби и тоски.

Какое ему дело до Байройта? И что за удельное княжество крепнет и ширится вокруг виллы Ванфрид? Идеальное общество, по Вагнеру, состоит из императоров и королей, правых интеллектуалов и ярых антисемитов. Это лощеная элита, деспоты и парвеню, не терпящие иностранных слов, дышащие патриотическим фимиамом и преклоняющиеся перед Зигфридом, германским героем, глядя на которого должен выздороветь хворый мир.

Хочет ли Ницше примкнуть к этому кругу? Ницше, который решил брать словосочетание "Германская империя" в кавычки? Устроит ли его роль придворного философа у Вагнера, чего тот несомненно желал бы? От края пропасти молодого коллегу отводит великий Якоб Буркхардт, читающий в Базеле историю искусств. Это умудренный жизнью, проницательный человек, хорошо знающий, как делается политика, в частности, в области культуры, и потому — пессимист. Любая власть, убежден Буркхардт, порождает зло.

Он любит Ницше. И не любит Вагнера. Распознав в юном друге выдающиеся способности, делится с ним своими мыслями о чрезмерном возвеличивании гениев, о тирании, о том, как незаметно для самого себя можно погрузиться в антидемократическую трясину.

Чтобы прозреть, понадобятся годы. Но уже теперь Ницше начинает понимать, что боготворимый им человек — хвастун и шарлатан, чье искусство несет с собой не благо, а зло: напыщенность, ложный пафос, высокопарный соблазн.

Однако его бог пока не стал истуканом. Ницше, напротив, — конченый человек. Ему нет и тридцати, а как ученый он уже никому не нужен. После "Рождения трагедии" студенты бегут от него.

С огромным трудом, пишет он Роде, удалось найти желающих прослушать в зимнем семестре курс его лекций о риторике греков и римлян. Желающих — двое. Один — германист, другой — юрист. Из филологов не записался никто.

"*Я опять изверг немного лавы*"

Ницше получает любовное письмо. *Ни один человек на свете не понимал меня и не пренебрегал мною так, как Вы*, сетует дама. *Редко кто меня так радовал и причинял мне такую боль... Впрочем, доводилось ли мне вообще испыты-*

1. Грюндерство — массовая организация предприятий, акционерных обществ, банков и т. п., сопровождаемая финансовыми махинациями и нездоровым ажиотажем; наиболее широкое распространение получило в 50—70-е годы XIX в.

вать что-либо подобное? Прощальное послание, крик души. Ницше пошел на окончательный разрыв. Она всегда будет носить с собой подаренного им *прекрасного, окаменевшего, оборванного Диониса.* Ницше же пусть *нет-нет да и взглянет на жизнерадостного непобедимого юношу Диониса,* которого преподнесла ему она. *Будьте здоровы, желаю, чтобы Вы поскорее вылечили глаза. С глубоким уважением Розалия Нильсен.* Написаны эти строки в июне 1873 года, за несколько дней до того, как Ницше уйдет в летний отпуск.

Единственная известная эпистола с признанием в любви к Ницше. А Розалия Нильсен — единственная женщина, которая всерьез увлеклась им. Эмансипе, революционерка, приверженная идеям Джузеппе Мадзини. Сражалась в Италии за свободу и была брошена там в тюрьму.

Однако революционерка избирает потом богемный образ жизни, *неопрятна* и производит *крайне отталкивающее впечатление,* замечает один из ее знакомых. Обитает в Лейпциге где-то в мансарде, пишет для журналов о цыганской музыке. По ее версии, личное знакомство с Ницше происходит в одном из отелей Фрайбурга. Вид у нее при этом ужасный. Ницше убегает с театральным возгласом: *Страшилище, ты меня обманула!* И называет ее отныне *призраком.*

Ничто не пугает его, одержимого инстинктом чистоплотности, так сильно, как безобразие и неряшливость. Спустя десятилетие в "По ту сторону добра и зла" он прямо скажет: *Самую глубокую пропасть образует между двумя людьми различное понимание чистоплотности и различная степень ее.* И славит затем *неописуемую полноту счастья, доставляемого купанием*[1].

И вот жалобное признание в любви, которое пару месяцев спустя получит таинственное и драматичное продолжение. Пока же Ницше отдыхает в Гларнских Альпах. Друг Герсдорф, коллеги, один из студентов Овербека, несколько юных дам — веселая компания!

Каждый день они часами бродят среди гор, пока не спускаются крутыми скалистыми тропами к окаймленному лесами озеру Каума. Разоблачаются под кваканье лягушек, голышом прыгают в студеную воду, плавают, плещутся с радостными воплями. На берег выскакивают огненно-красные.

По преданию, вода в озере обладает целебной силой. Ницше любит такие сюрпризы. Сразу же делает примочки на глаза. Лечится и молоком. Первый стакан — в половине шестого утра. После обеда все устраиваются в лесу, читают под сенью грозных утесов вагнеровских "Валькирию" и "Зигфрида". А также Гёте и Плутарха. Ужинают в семь, съедая что-нибудь горячее в прохладной столовой, обильно населенной мухами. Глаза у Ницше видят лучше. Зеленые занавески в комнате — бальзам для них. В солнечные дни он прикрывает их козырьком такого же цвета. Отпуск заканчивается в середине августа — одновременно с выходом первого "Несвоевременного размышления"[2].

А размышляет Ницше над книгой теолога и философа-младогегельянца Давида Штрауса "Старая и новая вера". Христианство мертво — его главный тезис, настало время по-новому взглянуть на мир — опираясь на мораль, музыку и поэзию. Творения Лессинга, Гёте, Баха, Бетховена и других корифеев. Вагнер к их числу не относится. С точки зрения умудренного жизнью Штрауса он просто шарлатан. Невыносимый человек.

1. Перев. Н. Полилова.
2. Из запланированных двадцати эссе под рубрикой "Несвоевременные размышления" увидели свет только четыре.

Вагнер и Козима находят, что изданный огромным тиражом опус Штрауса *ужасно поверхностен.* Делятся своими впечатлениями с другом семьи. Ницше сейчас же покупает книгу и не без подобострастия сообщает Вагнеру, что собирается опубликовать *чудную подборку омерзительнейших стилистических перлов,* дабы показать, *каков он на самом деле, этот мнимый "классик".*

И действительно показывает. Бьет наотмашь, не зная жалости. Штраус – филистер, более того – *предводитель филистеров!* Ницше цитирует его, раздевает фразы донага и выставляет на всеобщее осмеяние. *Нравственное поведение есть самоидентификация индивида сообразно идее рода,* утверждает Штраус. *Говоря понятнее,* пишет Ницше, *это всего лишь означает: живи как человек, а не как обезьяна или тюлень.*

Да, это настоящий Ницше – ироничный, саркастичный, беспощадный. *Я опять изверг немного лавы,* сообщает он Эрвину Роде, *очерк-возражение Давиду Штраусу.* Вот это эссе и появляется в печати к моменту его возвращения в Базель из летнего отпуска.

А Вагнер? Очерк добавляет ему нервотрепки. Он как раз корпит над "Гибелью богов", жалуясь, что все постоянно хотят получить что-то от "гения". *Ваш "Штраус" мне совсем некстати,* пишет он Ницше с нескрываемым раздражением. Это может взбесить кого угодно... Да, конечно, Рихард любит побушевать, но не совсем всерьез, а потому под конец бравому Фридериху полагается и кусочек сахару: *Книгу я, разумеется, читал и клянусь Вам Богом, что считаю Вас единственным, кто знает, чего я хочу.*

Когда спустя полгода после выхода "Несвоевременного" тяжело болевший Штраус умирает от рака, Ницше пишет своему другу Герсдорфу: *Я очень надеюсь, что не отягчил последние месяцы его жизни... Меня это ранило бы.*

К полемике со Штраусом он вернется в конце своей сознательной жизни. Заявит в "Ecce homo"[1], что никогда не нападает на личности и пользуется ими только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. *Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на успех его дряхлой книги у немецкого "образования", – так поймал я это образование с поличным...*

Между тем идея построить в Байройте новый театр для проведения фестивалей, похоже, может обернуться провалом. Деньги поступают по каплям. Стройка на холме фактически заморожена. Впору объявлять о банкротстве. Ницше должен написать "Призыв к немецкому народу", подвигнуть его на более активную покупку патронатных билетов[2]. И конечно, напишет. *Будет сделано.*

Но сначала надо раскрыть заговор. *Байройту,* пишет Ницше Герсдорфу, *угрожает совершенно непредвиденная страшная опасность.* Строятся козни, на которые он обязан ответить контрподкопом. В происках, естественно, участвует призрак Р. Н., то есть Розалия Нильсен, автор любовного послания. Явно ненормальная особа с мрачным видом говорила намеками, распространяла слухи о каком-то тайном завещании, махинациях с патронатными билетами и некоем международном заговоре. Ницше сообщает обо всем этом в самых туманных выражениях Эрвину Роде и просит письмо *немедленно сжечь.* Не решается и подписать его сво-

1. Се человек! (*лат.*).
2. Покупатели получали право доступа на первый фестиваль.

им именем: *Будем мыслить сапёрными понятиями, подписываться псевдонимами, носить накладные бороды. У-у-у! Как свищет ветер! По поручению связанных круговой порукой Хуго с глухим загробным голосом.*

Призрак по имени Розалия, похоже, привел Ницше в сильное замешательство. Овербек рассказывает о комичной сценке, разыгрывавшейся между весьма странной перезрелой девой и его другом на квартире последнего. *Рта они почти не раскрывали, объясняясь более или менее грандиозными жестами.* В конце концов Ницше поставил стул, на котором сидела фрау Нильсен, за дверь. Это и стало точкой в их отношениях.

В промежутках между импровизациями на тему "призрака" Ницше набрасывает заказанный ему призыв к соотечественникам. Не скупясь на патетику, в вагнеровском стиле. Гневное, обличительное обращение. Немецкий народ покроет себя позором, если не поддержит денежными средствами возведение *союзнической хижины* — так Ницше именует байройтский проект.

Теперь, когда империя возрождена, он по-прежнему не стесняет себя в выражениях. Упрекает немцев в погоне за счастьем, наслаждением, роскошью. Еще видит в Вагнере спасителя. Именно в наши дни, когда *народ захлестывают политические и национальные страсти и он легко поддается инстинктам, люди нуждаются в очищении и облагораживании возвышенным очарованием подлинного немецкого искусства и трепетным отношением к нему.*

Спасать проект он едет в Байройт в воинственном настроении. Но торжественная закладка здания испорчена *отвратительной погодой.* Ницше приходится *пожертвовать новой шляпой.* На стройплощадке — *грязь, туман и мрак.* К тому же собравшиеся в ратуше делегаты не принимают его *призыв-предостережение.* Слишком громогласно, тон оскорбителен. Тот, кого так поносят, не склонен к филантропии, заявляют господа благотворители.

Ницше получил отставку, что его вполне устраивает. Байройт — род недуга, и новая Германия — не его государство. В "Утренней заре" он напишет о хищниках грюндерских лет, внушающих ему ужас. Взять хотя бы пищу. *Как люди теперь принимают ее – тьфу!..* Всё — с преизбытком. *Тяжесть в желудке и мозгу прогоняют возбуждающими напитками... Что только не приснится после этого – тьфу! А какими искусствами и книгами в качестве десерта заканчиваются такие трапезы – тьфу!*

В Ницше постепенно пробуждается демон. Какую запись о нем молодой бунтарь духа сделал однажды? *Найди он слово, которое, будучи изреченным, уничтожило бы мир, вы думаете, он бы не изрек его?*

Но пока Ницше лишь в поисках материала, пока только клянет эту *жуткую страсть и любовь к стяжательству.* Люди гребут и гребут деньги, при том что живется им совсем недурно. Но лишь тот, у кого их больше, овладевает истиной. А владея ею, можно позволить себе *со спокойной совестью быть бесчеловечным и сжигать евреев, еретиков и хорошие книги.* Подчас, говорит Ницше, он больше не получает удовольствия даже от немецкого языка и предпочел бы говорить только на латинском.

Хотел бы он и жениться. Да, Ницше вдруг предается мечтам. Романтически взволнован. Пишет матери: *Ах, как бы я хотел иметь маленькое поместье.* Тогда бы он оставил профессуру и, *подобно Герсдорфу, стал бы скакать по жнивью, то бишь управлять имением.* Герсдорф — крупный латифундист! Ну и что... Ницше хватило бы и клочка земли, чтобы *тихо и храбро прожить там до конца.*

И вот в июле 1874 года он едет с другом в Бергюн, городок с *несказанно красивыми* окрестностями. Нет, в последнее время он не работал много, пишет он сестре, мешал запор, хоть и не особо сильный. Просто перепил доброй вальтеллины. Наконец, сюрприз: *Как курьез сообщаю кроме того, что намедни вечером чуть было не решил жениться на фройляйн Рор – так она мне понравилась.*

Берта Рор из Базеля за год до этого отдыхала летом вместе с Ницше и компанией. Ревнивая Лизхен не скрывает своей тревоги в ответном письме. Фриц успокаивает ее: *Моя реплика о фр. Рор не должна Тебя волновать. Сообщал об этом как о курьезе... Только Ты ведь знаешь, что мгновенный взгляд обычно значит больше, нежели множество взглядов...*

Года через два такой момент повторится. Дирижер из Женевы, желающий прочесть "Рождение трагедии" на французском, пригласил Ницше в гости. Отправляясь в путь, господин профессор трусит. *Я страшусь нового города, как дикого зверя,* замечает он. Но *расположенная возле гор* Женева нравится ему. А еще больше нравится Матильда Трампедах, ученица дирижера. Девушка, будто сошедшая с картины Боттичелли: двадцать один год, кроткая, стройная, зеленые глаза, золотистые локоны, интеллигентная, к тому же с состоянием.

Ницше встречается с ней трижды. И всякий раз не в одиночку. Както, совершая прогулку, спорят о Шелли, Шекспире, Байроне, о праве народов на свободу. Тут в разговор вступает робкая Матильда: не странно ли, что люди, отстаивающие идею ничем не ограниченной свободы, сами нередко скованны и застенчивы? *Подняв глаза,* напишет она позднее, *я встретилась с испытующим, глубоким взглядом Фридриха Ницше.*

Вот оно, то мгновенье, которое придает ему смелости. Зайдя, чтобы представиться, прокатившись весенним днем к озеру и нанеся прощальный визит, во время которого Ницше, играя на рояле, открывает Матильде Трампедах свою душу, то есть после общения, длившегося не более четырех-пяти часов, профессор делает девушке предложение. Не устно, нет, на это недостает отваги. Он отправляет девушке письмо.

Здравствуйте, милая барышня, пишет Ницше 11 апреля 1876 года. *Соберитесь с духом, дабы не испугаться вопроса, который я засим задаю Вам: хотите Вы стать моей женой? Я люблю Вас, и у меня такое ощущение, будто мы уже вместе. Ни слова о внезапности моего влечения!.. Но хотел бы знать, испытываете ли Вы такие же чувства, как я, – будто мы вообще никогда не были чужими друг другу, ни одного мгновенья!*

Следующим утром, в одиннадцать, он уезжает скорым в Базель. Адрес — в конверте. *"Если Вы найдете в себе достаточно сил, чтобы без промедления сказать да! или нет – то письмо с Вашим ответом застанет меня до 10 часов завтрашнего дня. Hôtel garni de la Poste*[1].

Но у письма есть и тайный мотив — *Excelsior.* Во время прогулки к озеру с Матильдой Трампедах говорили и об американском поэте Лонгфелло, который бывал в этих местах Швейцарии, поблизости от Женевы. И написал тут балладу "Excelsior". Нет, Ницше ее не знает, зато знает фройляйн Матильда, поэтому к ней просьба: перевести и прислать вместе с оригиналом.

Итак, отважный юноша хочет подняться в метель на Сен-Бернар и воткнуть там в вечный лед стяг со словом "Excelsior", что значит "Вперед и выше!". Красивая девушка предупреждает его о грозящих опасно-

1. Отель с почтовым отделением.

стях. Смельчак, пренебрегая ими, пускается в путь, а когда в горах занимается серый рассвет, лежит *lifeless, but beautiful,* бездыханный, но прекрасный, в снегу, не слыша обращенный к нему с неба призыв — Excelsior!

И Ницше спрашивает в письме, не живется ли человеку, соединившему свою судьбу с другим человеком, вступившему в брак, в конечном счете все же *свободнее и лучше,* чем *в одиночку... то есть устремленным excelsior?* Как, увы, станет жить и он, а домом ему будут горы с заснеженными вершинами, ибо Матильда Трампедах не принимает его предложения.

Ницше не так уж и разочарован, получив отказ. Похоже, видит в нем перст судьбы. Спустя три дня он пишет своему другу Роде: *Такое впечатление, будто люди прислушиваются ко мне* и *прямо-таки ожидают, что я поднимусь еще выше и стану свободнее, дабы и они при этом стали свободнее. Знаешь балладу Лонгфелло "Excelsior"?*

Значит, быть одному. Работать. Подняться высоко. Преклонение перед гением, почитание и возвеличивание его он делает своей программой. Кредо Ницше гласит: смысл существования человечества в том, чтобы рождать великих людей. Направление ему указал Чарльз Дарвин. Естественный отбор. Любой вид стремится превзойти самого себя. В этом его цель.

Такая же цель и у Ницше. Каждому молодому человеку необходимо разъяснить, что он *неудавшееся творение природы* и потому должен *совершенствоваться.* Ухватив себя за волосы, вытащить из болота, называемого человеческой массой. *Только в мыслях об этом душа уединится, обретя бесконечность,* пишет Ницше. И конечно, он имеет в виду самого себя, говоря: настанет день *подняться так высоко, как никогда не поднимался ни один мыслитель, в чистый, студеный альпийский воздух.*

Для этого он должен сбросить балласт. Должен расстаться. Сперва с Шопенгауэром, затем с Вагнером. Медленно и мучительно вытесняет он из сознания героев своей молодости. Вытеснить их до конца из сердца ему не удастся. Но он должен быть свободен, должен быть пуст для собственного демона, который вселяется в него, заполняет его целиком, не оставляя места никакому иному влиянию.

В том числе и вагнеровскому. Вагнер — тиран. А тираны по определению верят только в себя. Ни в кого другого. Значит, и Вагнер верит только в себя, а не в Ницше. Ницше для композитора — всего лишь стилистический лавровый венок. *Вагнер многим рискует, не признавая Брамса и др., а также евреев,* пишет Ницше, подразумевая под др., конечно, и себя.

Начинается борьба титанов. После победы немцев в 1871 году Брамс и Вагнер сочинили произведения, пронизанные ощущением триумфа. Вагнер — короткий "Императорский марш", надеясь — как выяснилось, напрасно — получить от молодого монарха, и прежде всего от Бисмарка, субсидии для реализации байройтского проекта. Брамс — большую "Триумфальную песню".

Отправляясь в августе 1874 года к Вагнерам в Байройт, Ницше кладет в чемодан ее клавир. В поклаже у него — "бомба". Первый вечер проходит мирно и весело. Но уже на второй — "бомба" взрывается. Вагнер играет гостям фрагмент из "Гибели богов" — оперы, которая дается ему очень тяжело. Ницше вскоре напишет, что эта музыка рассчитана не на художественное восприятие, а на то, чтобы *действовать на нервы. Музыка хаотичная, сумбурная, как дурной сон.*

Протест рвется наружу. И когда Вагнеру аплодируют, а он отвечает легким наклоном головы, Ницше встает, подходит к роялю — и играет Брамса. Его "Триумфальную песню". Вагнер, который находит творения Брамса ужасными, громко смеется. Разве можно класть на музыку такое громоздкое слово, как "справедливость"! Не звучит. Режет слух даже дилетанту. Вечер испорчен. Третий день тянется медленно, монотонно.

На четвертый Вагнер наносит контрудар. Играет "Триумфальную песню" сам, разымает ее и — разбивает в пух и в прах. Вот так. И довольно! Убогая музыка! Однако Ницше пылко защищает ее. И тогда Вагнер начинает метать громы и молнии. Разгорается яростный спор — о стиле, о политике, о новом рейхе. Говорить надо на чистом немецком языке, гневно требует Вагнер. Иностранные слова ему ненавистны. А Ницше вновь заявляет, что желал бы изъясняться только по латыни: от всего немецкого он заболевает. Вагнер же хочет знать, на кой дьявол Ницше стал педагогом. Дабы проучить строптивца, садится за рояль и прямо-таки вколачивает в клавиши свой "Императорский марш".

Грюндерская суперактивность сменяется депрессией. Биржу лихорадит, курсы акций летят вниз, многие фирмы и банки объявляют о банкротстве. Экономический кризис — во всей Европе. От стремительности перемен захватывает дух. Поезда грохочут по рельсам со скоростью 70 километров в час. Общая мощность паровых машин в Германии превышает 2,5 миллиона лошадиных сил. Впереди по этому показателю только Америка и Англия. Растут города. Люди теряют работу. Подаются за океан.

А что же Ницше? Философ становится отшельником, ищет уединения в своей пещере, на горных высях, где быть значит больше, чем иметь. Действительность вызывает в нем отвращение. *Плохо понимает народ великое, т. е. творящее*, скажет его Заратустра. *Медленно течет жизнь всех глубоких родников... Беги, мой друг, в свое уединение! Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и исколот жалами мелких. Где кончается уединение, там начинается базар.* Его он атакует.

Он вообще все атакует. Мишенью становятся *прогресс, всеобщее образование, современное государство, национальное, культуркампф*[1]. Он нападает на дух времени, который с такой огненной страстью защищают богачи. *Но у элегантных есть все основания*, пишет Ницше, *остерегаться этого немецкого огня, иначе может статься, что пожрет он их вместе со всеми их куклами и восковыми идолами.*

Кто захочет это читать? Предсказаниям Кассандры не верят. "Несвоевременные размышления" лежат у издателя мертвым грузом. Первое эссе разошлось тиражом 500 экземпляров, второе — чуть более 200. Это давит на психику, изнуряет. *Моя весьма проблематичная склонность денно и нощно размышлять*, пишет Ницше, *всегда делала меня больным. Пока я действительно был ученым, я был здоров.*

Теперь же вся эта скверна дает о себе знать регулярно — *головные боли, длящиеся часов тридцать*, рези в желудке, колики, запор. И *почти неодолимая рвота, при пустом желудке. Короче, машина, казалось, хотела разлететься на куски*, пишет он Герсдорфу, добавляя, что не раз желал, *чтобы это случилось.*

Врач прописывает *раствор азотнокислого серебра* (ляписа). *Принимать* в течение двух недель. Не помогает. Тогда хинин большими дозами. Тоже без пользы. Значит, надо вернуться к домашним средствам — облива-

1. Борьба между Бисмарком и католической церковью (1872—1880 гг.).

ниям ледяной водой и диете. Сухарям и хлебу из пшеничной муки грубого помола. И к сливам для лучшего пищеварения.

Он с трудом добирается от постели до кафедры, по-прусски пунктуальный, читает лекции, у него теперь двадцать слушателей, но его письма к матери, к сестре, к друзьям полны жалоб: *Завтра снова жду приступа... Со вчерашнего вечера не отступает дикая боль... Мигрень усиливается...* В довершение ко всем бедам он, страдающий близорукостью, разбивает очки, поскользнувшись на обледенелой дороге, падает на руку с уже поврежденным пальцем. *Вынужден поэтому каждый день ходить к врачу.*

С философской точки зрения собственное существование видится Ницше адским падением в неприкаянность. *Мое одиночество велико,* пишет он, *будущее – в густом тумане, теперешняя жизнь ненавистна.* И подчас *меня охватывает такое чувство опустошенности, что хочется кричать.* Ах, он бы так желал, чтобы *хоть раз извне пришло что-нибудь радостное и хорошее.*

Но радостное и хорошее приходит изнутри. Рождается в нем самом. Счастье переполняет его, когда он бродит по лесам, когда в голове вдруг молнией сверкнет мысль, когда он пишет афоризмы о *книгах, которые учат танцевать.* Да, он умеет писать, умеет формулировать – дерзко и по-весеннему свежо, мягко и неистово. И мыслить он умеет. Мыслить для Ницше – самое необузданное желание и величайшее наслаждение. Мыслить – значит любить, значит жить в роскоши, предаваться сладострастию, быть на верху блаженства. И при этом расцветает его высокомерие, *это духовное молчаливое высокомерие страждущего, эта гордыня избранного.*

Домашнее хозяйство у него теперь ведет сестра Элизабет, ведет прилежно и по-обывательски. Привезла из Наумбурга мебель, чехлы для кресел, безвкусно разукрашенные узорами из фиалок и роз, марлевые гардины с голубыми петлями. С лекций Ницше приходит обессиленным и ложится отдохнуть. Элизабет в это время готовит. Длинными зимними вечерами он читает ей греческие трагедии, а когда болен и почти не встает с постели, она берет с полки Вальтера Скотта. Роман за романом, всего шестнадцать. Да, пишет он матери, они с Элизабет *бегут в упряжке рядышком, как две добрые лошадки.*

А потом появляется человек, родственный ему по духу, – Пауль Ре, философ, занимающийся проблемами этики, на пять лет моложе его. Ницше знакомится с тихим, застенчивым сыном померанского помещика в Базеле. И как он сам одержим *гордыней избранного,* так и Ре одержим *гордыней познающего.*

Ре – настоящая находка для Ницше. Равный ему. Партнер. Еврей по национальности, и антисемит Вагнер никогда не простит Ницше дружбы с ним. *На свете есть клопы, есть вши. Ладно. В какой-то момент они завелись! Но их выводят,* – скажет Вагнер о Ре и евреях. *Люди, которые этого не делают, – свиньи!*

Ре очищает своего друга от вагнеровской грязи и мерзости. А Ницше, побуждаемый острым аналитическим умом Ре, еще острее затачивает стрелы собственных мыслей. Снимает с предохранителя свое оружие – слово. Пишет: *Вера в ценность жизни основана на нечистом мышлении.* Пишет: *Бог совершенно не нужен.* Заменяет Бога пророком Заратустрой. И в конце концов – самим собой, Фридрихом Ницше.

В долине Роны Ре и Ницше проводят *медовый месяц* своей дружбы. Здесь, в Бе, они готовятся к путешествию, которое продлится, быть мо-

жет, целый год: именно на такой срок Ницше взял отпуск в Базельском университете, мотивировав просьбу состоянием здоровья.

Они отправятся в одно из красивейших мест мира, на взморье в Сорренто. Сопровождать их будет по-матерински заботливая, остроумная, свободомыслящая Мальвида фон Майзенбуг, страстная поклонница Вагнера, феминистка. Она всем сердцем привязалась к молодому господину Ницше и хотела бы его сосватать.

27 октября 1876 года путешественники прибывают в Сорренто и останавливаются на вилле Рубиначчи. Синее море, рощи оливковых и апельсиновых деревьев, клубящиеся над Везувием облака — чудесный пейзаж. Ах, как хорошо они отдохнут тут!

Но кто живет в пяти минутах ходьбы от них? Вагнеры. Все семейство. А ведь перед самым отъездом Ницше получил от Вагнера телеграмму из Венеции. Тот просил выслать в Болонью две пары теплых шелковых рубашек и кальсон — *базельский фабрикат, первоклассный товар*... А сам, оказывается, в Сорренто. Случайность? Или Мальвида задумала помирить их, упрямых спорщиков?

Конечно, они все должны ходить в гости к Вагнерам. Ре сразу вызывает у Козимы и Рихарда антипатию — своей *холодностью и сарказмом*. Что ж, *израильтянин* иным быть не может! Ницше всецело занят собственным здоровьем. Разговор не клеится. Друзья облегченно вздыхают, когда 7 ноября Вагнеры уезжают. Наконец они одни, можно пораньше лечь спать. Ницше, однако, никогда больше не увидит Вагнера.

Здоровье его между тем не хочет идти на поправку. Даже здесь, в мягком климате итальянского Юга. Значит, причина не в перегрузке работой, а в нем самом. *Моей голове, кажется, по-прежнему не хватает крови*, пишет он матери в Наумбург, *последние десять лет я слишком много размышлял*.

Но себя ему не переделать. В размышлениях и думах — его жизнь. Изо дня в день он и Пауль Ре подолгу сидят в саду виллы Рубиначчи под деревом, *срывая* с него свои мысли. *Ежедневно надо все-таки рождать пять мыслей, не меньше*, полагает Ницше.

Они живут как в монастыре. Ницше встает в половине седьмого и будит других. Затем из его комнаты слышится шум низвергающейся воды — он обливается. В семь пьет молоко. В восемь все завтракают. Потом пишут, бродят по окрестностям, выходя, случается, к Салернскому заливу, читают, дискутируют. Но все чаще Ницше вынужден оставаться в постели.

Он пробует все. Дышит настоями трав, принимает душ, лечится бромом и натрием, парит ноги с горчицей и золой. Но ничто не помогает. Заключение врача: или болезнь отступит, или перестанет работать мозг.

Никто еще не оценивал состояние его здоровья столь сурово. Ницше вердиктом убит. Ему всего лишь тридцать два, а он, похоже, одной ногой в могиле. Страх овладевает им, когда он вспоминает об отце. Тот умер в тридцать шесть от размягчения мозга. *Возможно*, пишет Ницше, *со мной это случится еще скорее.*

"Я учу вас о сверхчеловеке"

Ницше идет в собор Св. Петра. Хотя уже не первый год во всеуслышание заявляет: *Бог мертв*. Попадает из света в сумрак и должен сперва привыкнуть, ведь он наполовину слеп. Потом видит ее. Лу Саломе. Она

стоит в длинном черном, наглухо застегнутом *монашеском платьице*, так облачаются недотроги. Он подходит к ней улыбаясь и говорит: *Какие звезды свели нас здесь вместе?* А рядом, в исповедальне, сидит Ре и что-то записывает. Конец апреля 1882 года.

Пауль Ре в Риме уже несколько недель. Примкнул здесь к любителям чтения, группирующимся вокруг Мальвиды фон Майзенбуг: преуспев на писательском поприще, она живет теперь на улице Польверьера, поблизости от Колизея. Ах, в каких только восторженных выражениях не расписывал Пауль Ре своему другу девушку по имени Лу, с которой познакомился у Мальвиды.

Русская, говорит по-немецки, голубые глаза, кроткая, интеллигентная... Чем не невеста для Ницше? Ответ его Паулю Ре гласил: *Я охоч до душ такого рода. Скоро выступаю, дабы увести одну из них в полон.* В письме к Овербеку Ницше еще откровеннее: *О женитьбе разговор особый, я мог бы в крайнем случае согласиться на двухгодичный брак, да и то лишь принимая во внимание мои планы на ближайшие десять лет.*

Какой замах! Для начала запросто дает себе десять лет жизни, при том что подолгу чувствовал себя прескверно. Чуть не помер. Глаза видят все хуже. Чтобы подлечить их, новый врач, д-р Эйзер, запретил читать и писать на протяжении двух-трех лет. Но разве он может себе это позволить, если тем лишь и живет, что читает и пишет!

И вечно этот страх перед помешательством, умопомрачением! Врач дружен с Рихардом Вагнером и распространяется в письмах о хворях своего пациента. В студенческие времена тот ведь, говорят, заразился сифилисом. А в Италии, узнает далее Вагнер, Ницше *по совету врача* не раз совершал коитус.

Байройтский патриарх, привыкший называть вещи наигрубейшими именами, пишет д-ру Эйзеру, что такие случаи ему знакомы. Всему виною онанизм. Да, можно Ницше так и сказать. Он сам ему неоднократно советовал жениться. Как и врач в Неаполе, это он знает. Но Ницше ведь занят только собой и своими мальчиками. Что не может не вредить здоровью.

Вагнер в ту пору для Ницше уже за облаками, превратился в Вотана[1], он далеко, взошла другая звезда. Генрих Кёзелиц, молодой композитор, робкий, милый, располагающий к себе. Приехал в Базель ради того, чтобы слушать лекции Ницше. Значит, приверженец и ученик. *Вот он, новый Моцарт*, воскликнет Ницше вскоре с несколько преувеличенным восторгом и добавит: *как убого, искусственно и театрально звучит теперь в моих ушах вся вагнерщина.*

Ницше дает Кёзелицу новое имя – Петер Гаст. И тот становится его писарем, корректором, чтецом. Для полуслепого – человеком незаменимым.

Потребность в уединении тем не менее усиливается. Ницше отсылает Элизабет к матери в Наумбург. Хочет жить один. Без экономки. *Уединенность лечит.* Он больше не может слышать болтовню своей сестры. Все-то она знает лучше! Говорит, например, что ему достаточно регулярно пить воду, и тогда он избавится от головных болей.

Ницше поселяется за городом. Дешевле. Составляет план работы, прогулок и питания на ближайшие 200 недель. *Обед: бульон Либиха*[2],

1. Верховный бог у древних германцев.
2. Юстус Либих (1803–1873) – немецкий химик.

1/4 чайной ложки до еды. 2 бутерброда с ветчиной и 1 яйцо. 6 – 8 орехов с хлебом. 2 яблока. 2 имбирных и 2 бисквитных печенья.

Прекращает отношения почти со всеми знакомыми. Скрывается в горах. Сочиняет афоризмы, объединяя их под названием "Человеческое, слишком человеческое". *Когда добродетель выспится, она встает более свежей.* Размышляя, он, посадивший себя по части секса на абсолютную диету, приходит в состояние крайнего возбуждения. Говорит об *Exstasis*[1] *– сладострастии интеллекта.* Его половой акт – мышление. А мыслит он непрерывно. *Большинство мыслителей пишут плохо, потому что они рассказывают нам не только о своих мыслях, но и о процессе мышления.*

"Человеческое, слишком человеческое" я сотворил на высоте 7200 футов над уровнем моря, пишет он Петеру Гасту. *Быть может, это единственная в мире книга, у которой столь высокое происхождение.* То, что на благо мыслям, во вред здоровью. *Вот уже девять дней непрерывные головные боли и рвота.* Организм его не знает иных ощущений, кроме судорог и страха.

Петер Гаст, живущий теперь в Венеции, приглашает глубокоуважаемого профессора приехать. Ницше еще раз уносится мечтами в рай: *Сидеть на площади Сан-Марко и слушать военный оркестр, под солнышком... Есть сладкий инжир. И устриц... Великая тишина. Захвачу с собой несколько книг. Теплые ванны у Барбезе (адрес у меня имеется).* Но нет сил. Отправиться в дальнюю дорогу он не в состоянии. Не верит больше и в выздоровление. *Вы не можете себе представить, до какой степени изнурен мозг, утрачено зрение.*

И он срывается в Аид, в царство мертвых. *Заканчивается тридцать пятый год моей жизни.* А его отец умер в тридцать шесть. Ницше пробует окружить себя иными усопшими. Ведет беседы с Эпикуром, Платоном, Паскалем, Гёте. Голова раскалывается, по телу пробегает дрожь, а *я, жалкий пациент, раздумываю, терзаю себя, при таких-то болях, раздумьями над тем, как "получше выразиться".* Да, стиль он доводит до такого совершенства, что сравниться с ним просто некому. *Великолепный слог рождается, когда прекрасное одерживает победу над чудовищным.* Отец Карл Людвиг в нем умирает. Но мать, цепкая, жизнестойкая мать, из него не ушла. И потому, как гомеровский герой, он снова в конце концов поднимается из Гадеса – Одиссей в облике Ницше.

Только вот преподавать он больше не может. Просит разрешения оставить профессуру. В тридцать четыре года выходит на пенсию. Получает отныне 3000 франков, три четверти оклада. Базельцы не умерят своей щедрости до его смерти – в течение двадцати лет.

Итак, Ницше отправляется в путь. Неуклонно держа курс навстречу климату, благоприятному для больного организма, сам таскает чемоданы, делает пересадки, путая поезда, щурит подслеповатые глаза в поисках пансионов. Так рассеянный профессор перебирается с высокогорья в Ниццу, из Венеции в Геную, оттуда в Милан. Как-то оказался в одном купе с юной балериной. *Camilla era molto simpathica*[2], пишет он Мальвиде. *О, Вам надо было слышать мой итальянский.* И будь он пашой, немедля увез бы прелестное создание с собой, дабы *оно могло станцевать ему что-нибудь, когда напрягать ум станет невмочь.*

Зима в Генуе такая холодная, что Ницше вынужден надевать две пары носков и писать в перчатках. Тем не менее он чувствует себя как Колумб, который родился в этом городе. И тоже выходит вскоре в откры-

1. Исступление (*греч.*).
2. Камилла была очень мила (*итал.*).

тое море – отправляется вместе с другими пассажирами на паруснике к югу, на Сицилию. Однако отважный мореплаватель ступает на берег с позеленевшим от приступов рвоты лицом.

Итак, я добрался до моего "края земли", где, согласно Гомеру, должно обитать счастье. И в самом деле, он нигде и никогда не был в таком хорошем настроении, как здесь и в эти дни. Люди невероятно любезны, *балуют и портят меня.* И он весь отдается во власть этой безмятежной жизни. *Остались две приличные рубашки – плевать!..*

Но вот задул сирокко, его *вечный враг и в метафорическом смысле.* Знойный ветер заставляет Ницше покинуть райскую Мессину, гонит к северу, в Рим, где под сводами собора Св. Петра он и встречает Лу, свою самую большую любовь.

Фройляйн Саломе производит на него столь сильное впечатление, что он сразу же делает ей предложение – поспешно, как уже бывало в его жизни. Причем самому ему отваги недостает, и сделать это за него он просит Пауля Ре. Но и тот уже влюблен в Лу. Даже просил у ее матери, генеральской вдовы, приехавшей в Италию вместе с дочерью, руки капризной барышни. И получил гневный отказ. Лу не желает выходить замуж. С любовью в своей жизни, говорит девушка, которой едва за двадцать, она покончила. Три года назад в Санкт-Петербурге у нее был роман с одним проповедником – драматическая история... Пришла пора дать волю *неукротимому стремлению к свободе.* Так что и Ницше она отвечает отказом.

В отношении влюбленных мужчин у нее другие планы. Анемичная девушка, нередко кашляющая кровью и страдающая обмороками, хочет жить и с тем и с другим. В духовном союзе. Хочет, чтобы у нее было два брата: спокойный аналитик Ре и неистовый философ Ницше.

В мае все снова встречаются у озера Орта, в северной Италии. Ницше предлагает совершить прогулку в горы – по этой части он дока. Но у матери Лу нет желания шагать по крутым каменистым тропам. Ре поневоле приходится остаться со старой дамой. Никто наконец не стоит у Ницше на пути...

Они с Лу поднимаются на Монте-Сакро. Лучезарный майский день. Перед ними зеркальная гладь озера. Рука об руку они взбираются выше и выше. *Эта девушка привязана теперь ко мне так крепко, как вообще мыслимо на земле,* напишет он Мальвиде.

Поцеловал ли он ее на священной горе? Спустя много лет после смерти Ницше Лу с недвусмысленной улыбкой скажет: *может быть.* И вот еще в чем он ей признался тогда: *Монте-Сакро, самой восхитительной мечтой моей жизни, я обязан Вам.* А ликующий Ницше сообщит Петеру Гасту в Венецию: *Она зоркая, как орел, и бесстрашная, как лев, и при том все же очень кроткое дитя.*

Они слишком долго пребывают на их горе – горе любви. Когда наконец возвращаются – мать в негодовании. Где вы так долго пропадали? Ре встревожен. Что они делали там, наверху? А Ницше? Ницше чувствует себя как в своей новой книге, книге откровений, "Веселой науке": *Ни один победитель не верит в случайность.*

Потом они в Люцерне. Ницше хочет вновь попытаться завоевать сердце Лу. Кто знает, что сказал ей или о чем умолчал Пауль Ре у подножия Монте-Сакро. 13 мая 1882 года, возле скульптуры умирающего льва, работы Торвальдсена, Ницше делает Лу предложение, которое она опять отклоняет – на сей раз мягко, по-дружески. А значит, у влюбленно-

го остается надежда. Семь лет спустя, находясь в психиатрической лечебнице Базеля, помешавшийся рассудком, он изобразит этого льва в виде мрачного, внушающего ужас призрака.

Пока же пенсионер с профессорским званием влюблен по уши. Лу и он сочинили себе девиз: *От полумеры отвыкать, / А только в целое вникать / И жить решительно, прекрасно / С добром, которое всевластно*[1]. А ведь еще совсем недавно из-под его пера вышли такие стихи: *Редко думает бабенка, / Но в пословице – совет: / Руководствуй, как ребенком, / Чуть размыслит – сладу нет*[2].

И вот он у ног умной женщины, пишет любовные письма, подчас, в романтическом порыве, рисует между строчками соловьев: *Ночи напролет заливаются они под моим окном.* Сердечная тоска не дает уснуть. *Когда я совсем один,* признается он, *то часто, очень часто повторяю Ваше имя – к величайшему моему удовольствию!*

Только бы ничего не испортить... Главное — держать на расстоянии сестру Элизабет, маленькую противную ревнивицу. *Я твердо решил,* пишет Ницше Овербеку, *не подпускать ее к нам, она способна лишь внести смуту.*

Лу и Элизабет встречаются в Байройте. Лу хочет непременно послушать "Парсифаля". Элизабет — тоже. Ей поручено представлять брата, который не приедет, потому что Вагнер для него в прошлом. Мальвида тоже здесь, берет Лу под свое крылышко, вводит в дом, именуемый Ванфрид, в круг близких Вагнеру людей, где Лу беспечно заявляет, что совсем не разбирается в музыке. Тем не менее вовсю развлекается в этом безумном обществе, флиртует, рассказывает, разумеется, о Ницше, кокетливо цитирует его — да, он познакомил ее со своей философией, как же иначе, ведь она его подруга.

Элизабет уязвлена. Ей тридцать шесть лет, и есть все шансы остаться старой девой. Нет, еще никто не просил ее руки. Правда, она прилежно учит языки, успевает посещать различные кружки, но ни ухажер, ни тем более любовник пока не нашелся. А что видит добродетельная дама, как, впрочем, и вся почтенная публика, здесь? Девица, которой всего лишь двадцать один год, безо всякого стеснения соблазняет солидных мужчин. Стыд и срам! К тому же утверждает, что она лучшая подруга Фрица.

Лу, ничего не подозревая, радостно пишет Ницше, который ждет ее в Таутенбурге под Йеной: *Ваша сестра, ставшая теперь, можно сказать, и моей, поведает Вам обо всем, что здесь происходит.* О, она уже это сделала. Поведала все без утайки. Ницше в ужасе, шлет Лу обидное письмо. Барышня отводит все упреки, вынуждая Ницше тут же снова взяться за перо: *Я хотел жить один. – Но тут над дорогой пролетела милая пташка Лу, и я решил, что это орел. И захотел видеть его парящим вкруг меня. Приезжайте же, я слишком страдаю от того, что причинил Вам страдания. Сносить их вдвоем будет легче. Ф. Н.*

Он просит Лу приехать в Тюрингию, в Таутенбург. Сестра встретит ее в Йене, у друзей. Но как только Лу там появляется, Элизабет опять принимается за свое: колкости, насмешки... И тогда Лу решает дать отпор. Но не тонкими отравленными стрелами, а пустив в ход тяжелую артиллерию.

1. Перев. Н. Энтелиса.
2. Перев. И. Знаменской.

Итак, Ницше отнюдь не блюститель нравственности, за коего Элизабет принимает брата. И не аскет. И уж конечно не святой. Ре ведь рассказывал, как в Сорренто молодая селянка приходила к Ницше на виллу. И как он осторожничал, чтобы фройляйн Майзенбуг ни о чем не догадалась. Между прочим, ей, Лу, он предлагал свободный брак. Вот так-то.

Неправда, возражает Элизабет, у брата всегда были чистые помыслы, это сама Лу предложила жить в свободном браке втроем — она, Ницше и Ре. В Риме Лу бегала за братом с одной целью: связать себя с ним — и таким образом прославиться. В Байройте же она потешалась над ним и его философией.

Потешалась? Смешно слышать. Элизабет понятия не имеет — ни о своем брате, ни о его мыслях. Ницше даже два раза делал ей предложение. — Вранье! Элизабет это лучше знает: Брат дал ей от ворот поворот. И Ре ее отшил... В общем, сидели Кримхильда и Брунхильда бок о бок у окна[1].

Тем не менее они вместе едут в Таутенбург, где останавливаются в доме пастора, Элизабет — как дама, сопровождающая молодую девушку. В тот же вечер она докладывает брату, что о нем намолола эта особа. Ницше сбит с толку, растерян — и объясняется с Лу. *Каждые пять дней у нас разыгрывается маленькая трагедия*, пишет он Петеру Гасту.

Затем почти три недели Лу и Ницше живут в идиллии. Как бы и не замечая Элизабет. Каждый день бродят по лесу. Ницше — все еще женихом. Предложений Лу он больше не делает, зато искушает ее разговорами.

Они беседуют часов по десять в сутки. В комнатке любимой ученицы Ницше засиживается до глубокой ночи. Чтобы поберечь его глаза, они обвязывают лампу красной материей. *Если кто-нибудь подслушал бы наш разговор*, пишет Лу, *то подумал бы, что ведут его два черта.*

И "кто-нибудь" нашелся. Элизабет, живущая с Лу под одной крышей, подслушивала у двери. А может, через стену. Во всяком случае, она пишет об ужасных речах, которые брат и его пассия вели друг с другом. *Чем была ложь? Ничем!.. Чем был бесстыднейший разговор о бесстыднейших вещах? Ничем! Чем было исполнение долга? Дурачеством... Чем было сострадание? Чем-то презренным!* Собеседники то и дело хохочут в ночи... Уходя от Лу, Ницше дважды целует ей ручку. А однажды *начал*, по ее словам, *говорить то, что осталось невысказанным.*

Ревность в груди Ре вскипает с новой силой, когда он, третий в их союзе, узнает от Лу, что Ницше *человек настроения, склонный к насилию.* И что она знает: *если мы будем общаться, чего мы поначалу в бурном порыве чувств избегали, то довольно скоро, невзирая на мелочную болтовню, найдем друг друга в наших глубоко родственных натурах.*

У Лу опять начинается лихорадка с приступами кашля — нужен постельный режим. Ницше посылает больной письма и записки, разговаривает с ней через дверь. А потом она опять надевает свою шляпку и бродит с беспредельно счастливым товарищем по тюрингским лесам. В местном трактире все считают их супружеской парой.

Но проходят и томительно-прекрасные дни Таутенбурга. *С одним Ницше можно выдержать в лучшем случае три недели*, пишет Лу. Ах, он такой

1. Намек на ссору королев в "Песне о Нибелунгах".

сложный, *такой страстный и неожиданный*, как сам говорит. И вечно эти излияния. *Милая Лу, простите за вчерашнее*, пишет он каракулями перед отъездом на клочке бумаги. *В 12 часов я провожу Вас до Дорнбурга. Но прежде нам надо еще с полчасика поговорить... Согласны? Да! Ф. Н.*

Сумрачным видится Лу Саломе потаенно-глубинное в господине Ницше. *В характере Н., как в старом замке, есть темницы и подвалы, которые не бросаются в глаза при беглом осмотре, но могут хранить в себе главное, подлинное.*

Мыслей Ницше она никогда не боялась, и значит, судя по всему, то был страх перед его чувственностью, его порывами и инстинктами, которые он еще в юные годы запер в такой вот не сразу заметный подвал. Прикованный Ницше. Скованный хорошими манерами. *Слабость Ницше – в его утонченности*, пишет Лу Паулю Ре. Незадолго до умопомрачения он скажет в "Ecce homo": *Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение ее понятием "нечистого" есть преступление перед жизнью – есть истинный грех против святого духа жизни.* Волю своим сексуальным влечениям он даст лишь в доме для умалишенных, где будет постоянно требовать, чтобы к нему привели бабу, и назовет Козиму Вагнер своей женой.

Лу Саломе вскоре после разрыва недолгих и неровных отношений напишет роман. "В борьбе за Бога". Ницшевская тема. И пасторский сын Куно мыслит у нее так же, как пасторский сын Фридрих. И героиня романа Маргарита, студентка на тропе к эмансипации, – ее alter ego.

Старая история о Фаусте и Маргарите, которые здесь, однако, – как Ницше и Лу – хотят всего лишь жить вместе, не стремясь к последнему акту. То есть целомудренно и благопристойно. Но Куно не догадывался, что в нем дремлют животные инстинкты. А они неукротимы, *как дикие звери.* Он соблазняет будущую эмансипе – Куно, завоеватель, раскованный Ницше. Кончается все скверно...

Как в реальной жизни. Лу уходит. Оставляет Ницше и испытывает Ре. А Элизабет начинает против Лу войну. Распространяет слухи о якобы распутной жизни фройляйн Саломе. Истеричным голосом мелочного синего чулка оповещает свет о своих домыслах. Сплетничает. Фальсифицирует и шельмует. Русская девка испортила ее брата! Теперь она на содержании у некоего господина. И живет в незаконном браке. Убийственные обвинения в глухие времена. Рухнет самая добрая репутация. К тому же эта русская – наглая. И нечистоплотная. Чего только не рассказывали о ней таутенбургские прачки!

Ну а Ницше? Ах, Ницше так слаб... И верит сестре, и не верит... И под конец так взбудоражен, что *лишь какой-то дюйм пока еще отделяет от кровопролития.* От самоубийства. От дуэли. В итоге – нервная лихорадка, меланхолия и отчаянная надежда на возвращение Лу. *Поистине, это начало начала.*

Этим началом стал Заратустра. Идея главного произведения Ницше возникла еще в августе 1881 года. О том, как она родилась, он расскажет в "Ecce homo", своей последней книге. *Я шел в тот день вдоль озера Сильваплана через леса; у мощной, пирамидально нагроможденной груды камней, неподалеку от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль. Мысль о вечном возвращении... Концепция... набросана на листе бумаги с надписью: 6000 футов по ту сторону человека и времени.*

Очарованный и вдохновленный переживанием любви, покинутый и одинокий, ступает он теперь на путь, ведущий его к самым высоким озарениям. На прощание Лу подарила ему свою "Молитву жизни". Последний стих он делает своим кредо:

Существовать и мыслить сквозь эпохи!
В твоих объятьях свыкнуться ль с разлукой?
Но коль не дашь мне счастия ни крохи,
Ну что ж! Останься со своею мукой.[1]

Спасителем Ницше в дни его тягчайших мучений становится Заратустра. *И Заратустра говорил так к народу: Я учу вас о сверхчеловеке. Ибо человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью. Стало быть, человек есть нечто, что должно превзойти.*

О чем учит ницшевский Заратустра? Об обществе, ведомом элитой. О героических личностях, обладающих волей к власти. О высших людях, о масштабно мыслящих завоевателях. Таких, как Колумб или Наполеон.

А слабые? Чернь? То есть масса? Ее можно эксплуатировать. Грубо и бесцеремонно. Ницше и в голову не приходит, что масса может организоваться, более того, взбунтоваться против сильных мира сего. Ход мыслей Карла Маркса, его коллеги, ему совершенно чужд. Стремление к социализму не присуще человеку. Ему присуще стремление к эксплуатации. Стало быть, никакого сострадания к массам!

Сострадание, учит Заратустра, множит земные тяготы. Сострадание делает человека слабым. Новый человек должен жить, а не страдать. *Слабые и неудачники должны погибнуть: первая заповедь нашей любви к человеку.*

И тут Ницше более чем уязвим. Через полвека нацисты присвоят лучшие фрагменты его произведений, все вызывающие острую реакцию формулы – воля к власти, белокурая бестия, сверхчеловек, то есть человек, рожденный повелевать и править, тысячелетний рейх. Философа, который хотел разрушить рабскую мораль и наделить свободомыслие крыльями, они сделают рабом, прикованным к их человеконенавистнической идеологии.

Но философия Ницше – это философия жизнелюбия и веселья. Убитого Бога заменил Заратустра. *Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о горних надеждах! Они отравители, все равно, знают ли они это или нет.* Так говорил Заратустра.

Подобно Прометею, близорукий поэт и мечтатель отправляется в странствие, чтобы подарить людям сначала забвение, а затем – огонь познания.

Свет – вот все, что расточаю!
Прах – вот все, что оставляю!
Пламя я! Наверняка![2]

Таким он хочет построить тысячелетнее царство Заратустры. Царство земное, а не небесное.

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, пошел он в горы. В сорок он возвращается со своим учением о великом полдне. Ницше под со-

1. Перев. Н. Энтелиса.
2. Перев. В. Топорова.

рок, когда он выступает со своим учением о вечном возвращении. А символом его является волна. Как часто стоял профессор у кромки суши в Ницце, задумчиво глядя на волны, которые мощно набегают и лениво откатываются, приходят и уходят — как война и мир, как страсть и покой, изобилие и нищета, ныне и во веки веков. *Воля и волна.*

Значит, жить вечно. А не жить ради вечности. Жить как волна. *Жить в желаниях и делах.* Быть всем. И стать всем, что было. В письмах, которые Ницше напишет незадолго до душевной болезни, он, наконец, всё — Александр Великий и Цезарь, Вольтер и Наполеон, даже, пожалуй, Рихард Вагнер и уж конечно Дионис и *Распятый.*

Никто не показал разницу между Ницше и немецкими философами так впечатляюще, как Стефан Цвейг. Кант и его интеллектуальные сыновья — Шеллинг, Фихте, Гегель и Шопенгауэр — живут *с познанием, как с законной женой.* Сорок лет спят с ней в той же духовной постели и производят на свет целую династию немецких философских систем. Рождают их аккуратно, дисциплинированно, честно, храня супружескую верность. Даже с любовью. Только без эротики. У Ницше все иначе. *Пристраивайте ваши жилища к Везувию,* призывает он философов. У Ницше нет системы. У него — чувство, любопытство, страсть, одержимость. Он неверен даже познанному им. Его влечет и волнует все. Он лишает невинности любую мысль. И — бросает. Готовый к новому акту познания. Гонится за идеями до боли, до изнеможения, берет их штурмом. И всегда мыслит на острие мысли. *Откуда у меня эти сильные аффекты! Сегодня вечером приму столько опиума, что потеряю рассудок. Ведь у меня странным образом слишком много рассудка.*

Рецепты он выписывает себе сам. Находит аптекарей, которые продают ему то, что он хочет. Готовит для себя дьявольские снадобья, смешивая гашиш, пилюли, соки, опиум. Все болит: желудок, мочевой пузырь, зубы, кишечник, глаза. А когда очередная идея молнией ударяет в здание еще не поколебленного в нем убеждения, превращая его в руины, он — в упоении, плачет слезами ликования, поет и заговаривается, *озаренный новым виденьем, недоступным для других людей.* Так он обрисовывает добродетели сверхчеловека. Цель жизни — власть. *Где находил я живое, там находил я волю к власти.*

Сам Ницше при этом всегда избегал встречи с властью. Уступает сестре, пасует перед Лу, не на высоте положения во время франко-прусской войны. Хотя Заратустра и говорит у него: *Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для отдохновения воина.* А кому говорит он: *Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!* Сам же никогда не отваживался на нечто подобное. Ни при размолвках с Лу, ни по отношению к Лизхен, а ведь та доводила его до мысли о самоубийстве.

И тем не менее! Среди философов Ницше — нарушитель спокойствия и благородный пират. Он вспугивает спящих, таранит крепости обывателей, сметает моральные постулаты, убивает Бога, рушит церковные устои. Ницше, говорит Цвейг, стремится на своем паруснике ко всему неизведанному, весело и дерзко, *с мечом в руке и бочкой пороха под ногами.*

"Так говорил Заратустра" — его завещание. Ницше пишет эту "Книгу для всех и ни для кого" в меблированных комнатах без печки. Печки дымят. А дым ест глаза. Лучше уж писать посиневшими пальцами. Рукописи он таскает с собой в чемоданах. На поезд покупает билет подешевле.

Едет из Рапалло в Ниццу, оттуда в Ментону и далее в Сильс-Мария, к горным высям.

И вот он сидит под низким потолком в тесной пастушеской хижине с видом на черную отвесную скалу. Постель не заправлена. На столе груды бумаг, склянки с лекарствами, бритвенные принадлежности. Он разговаривает с собой. Пишет для себя. Ведь никто же не хочет его читать. Все лежит мертвым грузом. Последняя часть "Заратустры" будет напечатана за его счет. Пусть так! Он знает:

Настанет день, когда и орлы будут робко взирать на меня снизу вверх.

"К *тебе я, буря, прыгну прямо в пасть*"

Все-таки странный он человек — господин Ницше. Бродит в Сильс-Мария по горам, прикрываясь от солнца зонтиком. Учится на озере грести у фройляйн Меты, офицерской дочки благородных кровей, остановившейся в том же пансионе. *Он наслаждался мерцанием риска, когда ветер крепчал и лодка накренялась.* Утром следующего дня он приветствует ее возгласом: *А вы ведь настоящая авантюристка!*

Ему уже сорок два, он спит мало, встает в пять часов, выпивает чашку горького какао и принимается за работу. Столуется в туристском ресторанчике, так как не выносит детского крика в пансионе. Громкие голоса вообще пугают его. *Имея зычный голос, почти невозможно думать о тонких материях...*

Получая из Наумбурга свежий сотовый мед, он съедает его за пару дней. Ликует, если *мамочка* не забыла положить в пакет лимонадный порошок. Это воспоминания о детстве — сладкие, как мороженое и шоколад. Нет, в данный момент ему живется неплохо. Вечером вместо сноворного он нередко выпивает даже *кружку мюнхенского киндля*[1]. Вина, однако, не пьет.

Впрочем... Рождество 1885 года в Ницце. Праздник удался на славу. Чудесная, вовсе не северная погода. И толстое письмо из дома. Он вскрыл и прочитал его прямо на улице. К сожалению, из конверта при этом выпадают вложенные туда матерью деньги. *Простите Вашего подслеповатого растеряху*, пишет он ей, *но, может быть, их нашла... какая-нибудь бедная старушка.*

Потом, в первый рождественский день, он играл с солдатами в кегли, выпил за компанию *три очень больших бокала сладкого местного вина* и был *слегка в подпитии.* Во всяком случае, после этого он вышел на берег, присел на камень и кричал набегавшим волнам *цып! цып! цып! — как созывают кур.*

В Венеции он каждый день ходит *в коротких белых холщовых штанах к черному сюртуку* и с мощно разросшимися "тюленьими" усами в остерию, здоровается с весело смеющимся семейством, которое там тоже ежедневно обедает, заказывает еду и погружается в молчание. Заметив, что над ним смеются, тоже начинает смеяться и представляется.

И ходит в оперетту. Больше всего любит "Прекрасную Елену", упивается музыкой Оффенбаха. Все французское ему вообще по душе. В Ницце читает только французские газеты и книги. Даже немецких авто-

1. Сорт пива.

ров — только в переводе. Пополняет родной язык французскими словами. Пишет la force, а не die Kraft; le dégoût, а не der Ekel[1].

Его отличает нервическая брезгливость. Он не выносит безобразных людей. Не в силах смотреть на них. Если постель в пансионе не чистая, ему становится дурно и он съезжает. Порой ему даже хочется плюнуть человеку в лицо. Но тогда он говорит себе: *Сударь, не теряйте самообладания!*

По-матерински заботливая Мальвида посылает к нему в Ниццу молоденькую девушку, только что защитившую кандидатскую диссертацию. Резу фон Ширнхофер. Ницше чувствует в ней потенциальную поборницу своих идей и тут же составляет десятидневную программу: коррида, Монте-Карло, казино, подъем на Монборон, иногда рюмка вермута...

Кульминационный момент — чтение "Заратустры". Реза описывает, как Ницше вдруг меняется: *С каменным выражением лица, пугливо озираясь, будто ему грозила ужасная опасность или если бы кто-нибудь подслушивал, приложив ладонь ко рту, понижая голос, он шепотом сообщил мне "тайну", которую Заратустра доверил жизни, склонившись к ее уху.*

Они гуляют по берегу моря. И он смотрит в сторону Корсики, где жил тот, кто стал для него олицетворением воли к власти. Он предлагает Резе отправиться вместе с ним на завоевание острова. И говорит ей, что пульс у него такой же медленный, как у Наполеона.

Нет, он не забыл, о какой женщине когда-то мечтал. *Еще целесообразнее была бы для меня, пожалуй, по-настоящему хозяйственная супруга.* У боязливого мачо свои представления по этой части: *Она должна быть молодой, очень веселой, очень здоровой и мало или вовсе необразованной... Voilà!*[2] Прислуживающая глупышка. Заперев плотские желания в глубокий подвал, он любит, однако, совсем других женщин. Властную Козиму. Менад, спутниц Диониса, легко приходящих в экстаз, поющих и танцующих. Как Кармен у Бизе. Как гордая цыганка, которая не колеблясь срывает с пальца кольцо, бросает его к ногам Хосе и умирает, пронзенная кинжалом еще недавно любимого... Именно эта опера в нынешнем вкусе Ницше. С кипением неподдельных страстей, эротичная, зажигающая кровь — *антинемецкая.* Слово подчеркнуто дважды. Вагнер, напротив, *est une névrose,* то есть невроз. Вынес на сцену *сплошь проблемы истеричных.* Его герои и героини — *галерея больных!*

Бизе — это грация, веселость, утонченность, смуглая чувствительность. Двадцать раз он слушал "Кармен", погружаясь в *сладострастную меланхолию мавританского танца,* испытывая страсть, *острую и внезапную, как кинжал.*

Он устраивает себе в Ницце обиталище в мавританском стиле. *Сообразно моему дурному вкусу,* с красно-бурыми обоями, черно-голубым покрывалом на кровати, ярко-красной занавеской перед умывальником и вешалкой — *теплый и темный сумбур.* А вообще, ему холодно. Как в жизни, так и в меблированных комнатах, chambers garnis, обычно убогих, обшарпанных, неуютных, обставленных остатками гарнитуров, без картин, без цветов, но всегда с громоздким сундуком в углу.

Ницше проводит у себя инвентаризацию. Переписывает свои пожитки: *4 верхних рубашки, 4 ночных рубашки, 3 фуфайки, 8 пар носков, при-*

1. La force (*франц.*), die Kraft (*нем.*) — сила; le dégoût (франц.) der Ekel (*нем.*) — отвращение
2. Вот так! (*франц.*)

личный сюртук... Двое черных брюк, одни теплые штаны, 2 черных жилета с высокой застежкой... теплые утренние туфли. Вот и все. Его жизнь умещается в чемодане. Остальное — в голове.

[248]
ИЛ 11/2001

Ницше ослеп уже почти на три четверти, часто видит все как в клочковатом тумане, в городах мучим страхом попасть под колеса. Как-то в горле застревает рыбья кость. Задыхаясь, он всю ночь тщетно пытается отрыгнуть ее, а утром, все еще с костью в горле, записывает: *Странно, но я ощущаю избыток символики и смысла в этой физиологической мерзости.*

Только когда он пишет, когда в голове разверзаются хляби, когда начинается оргия мыслей, когда он с кажущейся легкостью и веселостью совершает свои *прыжки и скачки* — часами, сутками, годами; когда мозг звенит и грозит расколоться, поскольку он знает: *даже свои мысли нельзя полностью передать словами,* и тем не менее передает, на сотнях и сотнях страниц; когда он смеется над волнами, над их убегающими вдаль белыми пенистыми космами, потому что знает тайну волн и познает все тайны, презирая их, — тогда Ницше живет.

В остальное время он лежит в постели *под шрапнелью* своих недугов. С распиливающей череп мигренью, кровавой рвотой, температурой и ознобом, обильным потоотделением по ночам, геморроем. Нервы — в постоянном напряжении. А сна все нет и нет: мышление отключить невозможно. За два месяца Ницше выпивает 50 граммов хлоралгидрата, чтобы урвать для сна всего пару часов.

В то время как Ницше страдает в тесном мирке меж столом и кроватью, его сестра оживает — впервые за все годы своей жизни. Элизабет познакомилась с д-ром Бернгардом Фёрстером, которого попросили с учительской должности за антисемитские высказывания. Теперь он собирается в Парагвай, чтобы вместе с другими немцами, продавшими на родине свое имущество, создать средь девственного леса новую Германию. С традиционными понятиями о преданности и долге, свободную от евреев.

Увы, Фёрстер не делает ей предложения. Сердце мое, говорит он, мертво, убито женщиной, обманувшей его. Ничего, думает фройляйн Ницше... И пишет Фёрстеру в колонию, которая никак не организуется, письма с пылкими признаниями в любви. Пишет, что скопила 23 тысячи марок и готова вложить их в дело. И сердце Ферстера вновь начинает биться. Да, он приедет в Германию, женится на щедрой Элизабет и увезет ее в новый рейх.

В марте 1885 года Фёрстер прибывает в Наумбург. А Элизабет уже развила бурную деятельность, зовет сограждан жить и трудиться в "Новой Германии", произносит речи об исконно немецких добродетелях и здоровом юдофобстве, выманивает у людей деньги, расхваливая Парагвай как место крайне выгодного помещения капитала. Жених только диву дается. Бракосочетание они отмечают в узком семейном кругу. Из близких родственников нет только одного — Фридриха Ницше. Он пишет сестре: *Ты стала спутницей моего антипода! Уберечь Тебя от этого шага должен был инстинкт Твоей любви.* Теории Фёрстера о чистой германской расе он считает вздором. *"Германство" вызывает, разумеется, мало энтузиазма, но еще меньше у меня желания печься о чистоте этой "великолепной расы". Наоборот, наоборот.*

В феврале 1886 года Элизабет Фёрстер-Ницше эмигрирует с мужем в Парагвай. И становится в *Nueva Germania* королевой. Таковой по край-

ней мере она ощущает себя в письмах. И ничего не говорит о бедных лачугах, о том, как печет хлеб, ведет тяжкие переговоры, пытается раздобыть деньги — об изнурительной и удручающей борьбе за существование. До тех пор, пока в кошельке не остается ни гроша. Пока Фёрстер, запутавшись в финансовых махинациях, не решает покончить с собой.

Ницше тем временем обрел последнее и самое милое в его сознательной жизни пристанище. Турин. *Первое место, где я приемлем.* Бывшая столица герцогства и двух королевств: маленькая и старомодная, изящная и уютная. *Вечером на мосту через По: Чудесно. По ту сторону добра и зла!!*

И жить здесь дешево. За комнату у любезного семейства Фино он платит 25 франков в месяц. Все в двух шагах — рыночная площадь, почта, кофейни... А в театре дают "Кармен". Весь город *carmenizzato*[1].

Здесь, в Турине, Ницше — совершенно новый человек. Заказывает у портного такой элегантный костюм, какого у него никогда не было, и пальто на шелковой подкладке. И здесь же, в Турине, он устремляется, чуть ли не тая от блаженства, навстречу своему безумию.

Не для меня речей ленивых власть –
К тебе я, буря, прыгну прямо в пасть![2]

Он пишет "Дионисовы дифирамбы", "Сумерки идолов", "Антихриста", он философствует *молотом, и глаза и голова готовы к услугам.*

А затем приходит потрясающее известие. Д-р Георг Брандес, датчанин, читает в Копенгагенском университете лекции om den tyske filosof — о немецком философе Фридрихе Ницше. В Германии, *плоскомании духа*[3], на это никто еще не отваживался. *Брандес*, ликует Ницше, *из тех евреев-интернационалистов, коим сам черт не брат.*

Брандес просит прислать автобиографию. Она нужна для введения в материал. Понятное дело. Сразу же высылаю, сообщает Ницше. Но высылает не описание своей жизни, а миф о ней. Место рождения? Поля сражений под Лютценом. Предки? Польские дворяне. Бабушка? Принадлежала к шиллеровско-гётевскому кругу в Веймаре. В двадцать четыре года он уже профессор в Базеле. Кроме того, офицер, знает толк в двух видах оружия: *в сабле и пушках – и, возможно, еще и в третьем.* В динамите? В "Ecce homo" он скажет: *Я не человек, я динамит.*

Нет, он ничем не болел. Что же до слухов, будто он умер в лечебнице для душевнобольных, то на это можно сказать только одно: *Нет большего заблуждения.*

А как складываются его дела в реальной жизни? В богатой Германии не находится издателя, желающего его печатать. Ницше просто не замечают. Прежний издатель его обманывает. Не платит гонораров. Последнюю часть "Заратустры" автор издает за свой счет в количестве 40 экземпляров. Большую часть раздаривает. Из общего тиража первых трех частей продано всего 70 экземпляров. Столь чужд он семидесяти миллионам имперских немцев.

Раз никто не хочет его понять, он должен объясниться. И делает это в "Ecce homo", самой оригинальной среди всех когда-либо написанных автобиографий. Из содержания: *Почему я так мудр. Почему я так умен. Почему я пишу такие хорошие книги...* Он рассказывает об отце, которого так

1. Помешан на Кармен.
2. Перев. Н. Энтелиса.
3. Таким образом К. А. Свасьян попытался передать игру слов: Deutschland — Flachland.

любил, о матери и сестре – *канальях, самом веском аргументе* против его философии вечного возвращения. Сам он — польский дворянин, без капли немецкой крови[1]. Он никогда не задумывался над вопросами, которые таковыми не являются.

Думал о немецкой кухне. ...*Чего только нет у нее на совести! Суп перед обедом... вареное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; превращение мучных блюд в пресс-папье!* Ах, к тому же *сидячая жизнь*[2] — *я уже говорил однажды – есть истинный грех против духа святого.*

Не умеют в Германии и переваривать. *Самой малой вялости кишечника, ставшей привычной, вполне достаточно, чтобы из гения сделать нечто посредственное, нечто "немецкое".* Париж, Флоренция, Иерусалим, Афины — города, где гений чувствует себя дома. Такое ощущение у него, конечно, и в Турине. *Перевариваю, как полубог,* радостно пишет он. И немножко завидует Стендалю, который опередил его остро́той атеиста: *Единственное оправдание для Бога в том, что он не существует.* И понимает Гамлета: Не сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума...

И бросается в объятья безумия. Возвращается с одного из концертов в таком упоении, что не может сдержать смеха. Но затем *десять минут* его лицо искажено *гримасой горя.* Ему кажется, что туринки оглядываются на него. Посмотрев дома в зеркало, он находит, что у них есть к тому основания. А потом снова случается, что *я... полчаса стою посреди улицы и ухмыляюсь, иначе не скажешь.*

И вот однажды, в конце декабря 1888 года, за четыре месяца до рождения Адольфа Гитлера, он бросается на рыночной площади Турина к лошади, чтобы обнять ее, ибо уверен, что ее били. Повис у извозчичьей клячи на шее и плачет, пока синьор Фино не уводит его домой. *К тебе я, буря, прыгну прямо в пасть!* Никогда больше он не напишет таких дивных стихов:

Как в стремительной погоне,
По небу несутся кони,
Колесница мчится вдаль,
И нахлестывает ярых —
Ярость чудится в ударах —
Ослепительный мистраль.[3]

В начале января он пишет последние письма. Козиме Вагнер, называя ее *принцессой Ариадной* и *своей возлюбленной.* Другу Овербеку: *Велю сейчас расстрелять всех антисемитов.* Выдающемуся историку Якобу Буркхардту: *В конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом...*

Верный Овербек привозит Ницше из Турина в Базель. В доме для умалишенных холодно и неуютно. *Завтра я сделаю вам, добрые люди, великолепную погоду,* говорит Ницше. Он чувствует себя настолько хорошо, что мог бы выразить свое состояние только музыкой. Издает радостные крики и поет. Через восемь дней за ним приезжает мать.

Франциска Ницше помещает сына в йенскую психиатрическую лечебницу. *В отделение больной проходит, вежливо раскланиваясь направо и на-*

1. Там же, в "Ecce homo": "Очаровательная русская женщина ни на одну минуту не ошибется в моем происхождении".
2. В подлиннике: Das Sitzfleisch. Дословно: мясо, на котором сидят (*нем.*).
3. Перев. В. Топорова.

лево. Говорит уверенно, с чувством собственного достоинства и большим воодушевлением. То по-итальянски, то по-французски. Стремится пожать руку каждому врачу. И снова и снова требует, чтобы к нему привели бабу.

С утра до вечера на нем больничная шапочка. Никто не имеет права отобрать ее у него. Санитару, разыскивающему его, достаточно заглянуть в ванную. Когда Ницше купается, он на верху блаженства. Улыбаясь, он просит врача: *Дайте мне немного здоровья.*

Он спит без снотворного, у него волчий аппетит. Буйствует редко. Из записей санитаров: *Мочится в башмаки и пьет мочу. Ест кал.* По ночам ему видятся *полоумные бабенки*, а однажды... *у меня были 24 шлюхи.* Речь его прерывается рычанием, он прыгает по-козлиному, корчит рожи, принимает старшего санитара за Бисмарка.

Карл Ясперс — ему тогда шесть лет, он будет изучать медицину и заложит в Германии основы экзистенциализма — пишет в своей книге о Ницше, что начавшееся в 1888 году умопомрачение *возникло из внешних обстоятельств, а не из внутренней предрасположенности.* И коли уж ставить диагноз, *то душевная болезнь есть, по всей вероятности, паралич.*

В мае 1890 года Франциске Ницше разрешают взять сына домой, в Наумбург. Он добродушный больной, а она ласковая сиделка — ставит ему вечером к изголовью воду с глюкозой и наглухо закрывает окна. Ее зятя, Бернгарда Ферстера, к этому времени уже нет в живых: он покончил с собой, приняв яд. Дочь, *королеву Новой Германии*, обманутые колонисты заставили отречься от престола.

Вдова человека, который, по ее версии, надорвался на работе, прибывает перед Рождеством в Наумбург. С победоносным видом выходит из вагона, а на перроне, поддерживаемый под руку матерью, с неподвижным взглядом, стоит ее *душка Фриц*, стоит прямо, как гвардейский офицер, и, радостно улыбаясь, рассказывает о своей армейской жизни.

С какой стати Овербек поместил ее брата в психлечебницу? Это вредит репутации выдающегося философа. Но она же всегда знала: Овербек — не истинный друг, он всего лишь тайный завистник. *Говорят, что Овербек еврей, этим все сказано, и я верю, что так оно и есть.* Если бы она была здесь, в Европе... Все сложилось бы иначе. Она знает, что случилось с братом в Турине: отравился хлоралгидратом. Однозначно. Принял слишком много снотворного. Тут уж ничего не поделать...

Зато можно стать доверенным лицом, литературным агентом и стражем брата, вплотную заняться изданием его сочинений. Здесь, в старой Германии, можно, пожалуй, поймать ту жар-птицу, что не далась ей в руки в "новой". Вот уже год, как Ницше читают. Ветер переменился. Усилиями Петера Гаста труды его выходят в свет. С чего же начать? Собрать... Сперва собрать все написанное Фрицем. Создать собственный архив из его рукописей, писем, записных книжек. На чердаке стоит чемодан с текстами. Каждая фраза будет приносить доход. Так что, не мешкая, за дело!

А этого Петера Гаста, настоящее имя которого Генрих Кёзелиц, нужно остановить! Письмом. Говорят, Гаст собирается написать биографию брата? Ах, научную работу... Пожалуйста, но *его жизнь, дорогой мой господин Кёзелиц, опишу я.*

Она просит мать подписать документ, дающий ей единоличное право распоряжаться духовным наследием брата. Мать отказывается. Дочь

грозит обращением в суд. Старая дама сознает свое бессилие и 18 декабря 1895 года подписывает.

Никто и ничто не помешает теперь Элизабет публиковать работы Ницше, кладя выручку в карман. Но делать это в Наумбурге? Место брата — в историческом центре немецкой культуры. Там, где творили Гёте и Шиллер! В августе 1896 года со всеми пожитками и с больным Ницше она переезжает в Веймар. Мать оставляет одну. Та умирает на Страстной неделе 1897 года от рака.

Новой обителью Лизхен становится возвышающаяся на холме вилла Зильберблик[1]. Сюда приходят поклонники творчества Ницше, ученые и его старые друзья, бывает здесь и граф Гарри Кеслер, молодой интеллектуал, который находит сочинения душевнобольного философа восхитительно провокационными и жертвует в пользу архива шесть тысяч марок. Элизабет польщена и растрогана.

Случается, что Кеслер проводит уик-энд на странно-жутковатой вилле: внизу, на первом этаже, вечно царит безудержное веселье. Там празднуют и пируют. Внизу проживает и правит Элизабет. Командует ливрейным лакеем, кухаркой, горничной, личным секретарем, садовником и кучером, который каждый день доставляет фрау Ферстер-Ницше экипажем в город. Да, труды брата — настоящее золотое дно.

А этажом выше, на кушетке, лежит Ницше, закутанный в белое одеяние брамина, не произнося ни слова, тупо уставившись в потолок. Взглянуть на него Элизабет позволяет лишь своим лучшим друзьям. Среди них, разумеется, граф Кеслер. Однажды, ночуя в комнате для гостей, он слышит больного — дикий вопль, а потом жалобные стоны, *которые тот исторгал во тьму со всею силой; потом опять наступила тишина.* Кеслер долго не может снова заснуть.

Элизабет же спит как сурок. И берет уроки философии. У Рудольфа Штайнера, отца антропософии. Позднее он скажет о своей ученице: *У нее полностью отсутствует способность логически распознавать не только тонкие, но даже и грубые материи.* У Элизабет на этот счет другое мнение. Она работает над главным сочинением брата, над "Волей к власти", произведением, никогда не публиковавшимся и существующим в виде набросков на многих сотнях страниц трудно читаемых записных книжек. Но какой заголовок! Какие слова и понятия: раса господ, дисциплина и порядок!

В то время как Лизхен Ферстер — внизу — упивается мыслями Ницше, решительно низводя их к возвеличиванию всего немецкого, впавший в полузабытье философ — наверху — час за часом приближается к вратам вечности.

В 1911—1913 годах Элизабет Ферстер напишет двухтомную биографию своего брата. Это тривиальный роман о Ницше-титане. В детстве он чуть не утонул в реке Заале, но вытащил себя из воды за собственный вихор. Он бродит в одиночестве по лесам, восхваляя и славя Бога. Он почти поддается чарам злой ведьмы по имени Лу и незадолго до своей смерти вновь *радостно* зовет Элизабет. Душещипательный опус идет нарасхват, пользуется таким успехом, что его создательница выставляет свою кандидатуру на получение Нобелевской премии.

Когда начинается Первая мировая война, она пишет: *Наши войска движутся по Бельгии и Франции, точно девятый вал. Эта война показывает, сколь глубокое воздействие оказал призыв моего брата "быть твердыми!".* Ис-

1. Дословно: серебряный взгляд (*нем.*).

точник германских побед – "Воля к власти". Ах, ничего она не поняла. Возвещая о том, что Бог мертв, Ницше предсказывает последствия, рисует апокалиптическую картину будущего – картину *разрушений, катастроф, переворотов,* слышит грозное потрескивание в остове европейского здания, предвидит *сумерки и солнечное затмение, подобных которым на Земле, вероятно, еще не было.*

Видя, что поражения Германии не избежать, в паническом страхе перед социал-демократами, Элизабет готовит к изданию сборник афоризмов Ницше. Выискивает все о войне и воинах. Вырывает мысли из контекста, создавая чудовищную мешанину. А когда после поражения начинается революция, она *каждый день* желает себе *смерти.*

Но ее звездный час еще настанет. А пока она продолжает эксплуатировать Заратустру. Выбрасывает на рынок дешевое издание. И – пожалуйста: за месяц раскуплено 25 тысяч экземпляров.

В 1921 году, к 75-летию, на философском факультете Йенского университета ей присваивают звание почетного доктора. Спустя год немецкие профессора предлагают присудить Элизабет Ферстер-Ницше Нобелевскую премию. Через год выступают с такой инициативой еще раз. Безуспешно. К ее 85-летию Муссолини присылает Архиву чек на 20 тысяч лир. Еще один чек – на 20 тысяч марок – приходит лично ей. От Филиппа Реемтсмы, крупного табачного фабриканта. Лизхен – снова венценосная особа, правительница страны с судьбоносным названием – Ницше. Когда Карл Шлехта, молодой ученый, готовящий историко-критическое издание полного собрания сочинений, обнаруживает в текстах подлог и просит предоставить ему подлинники, дама, которой без малого девяносто, с криком замахивается на него тростью.

Трость со шпагой внутри, принадлежавшую ее брату, престарелая матрона вручает 2 ноября 1933 года Адольфу Гитлеру. В нем для нее воплотился сверхчеловек. Рейхсканцлер навещал ее уже трижды, преподнес букет алых роз, скоро даже пришлет Альберта Шпеера. Чтобы тот построил монументальный музей. Посредством лекционной пропаганды нужно донести мысли Ницше о сверхчеловеке и расе господ до народа. Для Элизабет это – победа: сооружение, которое тысячелетия простоит в тысячелетнем рейхе, храня нетленные мысли брата.

А поскольку она очень хорошо знает эти мысли, то говорит Адольфу Гитлеру в тот день, 2 ноября 1933 года, когда рейхсканцлер навещает ее в Архиве, что брат мыслил так же, как он. Читает *глубоко чтимому* ею *фюреру* антисемитский текст, вышедший некогда из-под пера ее мужа, Бернгарда Ферстера. Потом преподносит трость. *Помахивая тростью Ницше,* пишет "Le Temps", *господин Гитлер под громкие аплодисменты прошел сквозь толпу и сел в автомобиль.*

Когда-то, в 1887 году, Ницше сделал набросок следующего письма к своей сестре: *Ты абсолютно ничего не поняла?.. После того как я встретил в антисемитской переписке даже имя Заратустра, терпение мое иссякло – я теперь в состоянии необходимой обороны против партии Твоего супруга. Проклятые антисемитские рожи не должны прикасаться к моему идеалу!!*

И вот Ницше – нацист. При том, что так гордился своим польским происхождением. Считал, что *арийское влияние... испортило весь мир,* желал смешения рас. *Куда бы ни простиралась Германия, она портит культуру.*

И не только культуру. Все немецкое столь чуждо Ницше, *что уже близость немца замедляет мое пищеварение.*

После крушения третьего рейха Ницше под запретом. Заклеймен. Объявлен дьявольским мифом. Исчадием зла. Превратно истолкованные понятия: раса, дисциплина и порядок, белокурая бестия – прилипли к его имени, как смола. Ницше, поборник творческого начала, – теперь алиби для тех, кто выкорчевывал все живое. Его сверхчеловек мутировал в изверга.

В ГДР Ницше – идейный враг. Отто Гротеволь, будущий премьер-министр, заявляет осенью 1948 года: *идея расового превосходства* и *мечта о порабощении России* родились в мозгу Ницше, а не Гитлера. Грехопадение Ницше доказывается нацистской пропагандой. А что писал Ницше, всегда выступавший за сильную Европу, на самом деле? *Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы... будет считаться с евреями и с русскими как с наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил.* Чтобы построить такую Европу, *было бы, пожалуй, полезно и справедливо удалить из страны антисемитических крикунов*[1].

Эрнст Блох, философ надежды и несгибаемости духа, – единственный, кто в конце 1956 года в 40-й аудитории Лейпцигского университета еще говорит о Ницше. Когда его страна застывает под гнетом сталинизма, он называет мыслителя-изгоя *благородным рыцарем из Сильс-Мария.*

Французы всегда читали Ницше так, как было бы ему по сердцу. За честь философа, чье учение было извращено терпящим крах нацистским режимом, вступается сюрреалист Жорж Батай: *Будь то антисемитизм, фашизм или социализм, – все всегда сводится к использованию. Ницше обращался к свободным умам, не способным дать себя использовать.*

Для французских экзистенциалистов Ницше – прямой предтеча. Философия абсурда Альбера Камю тоже сражается с Богом. Как Ницше. Никакого обнадеживания потусторонним миром! Человек живет здесь, на земле. И значит – к барьеру тех, кто презирает чувственность. Ницше отважно бросал им перчатку, отвергая попытки насаждать пуританскую мораль. И Камю зовет к восстанию против насилия в любой форме. И как Ницше верит в вечное возвращение, так и человек, приговоренный к смерти в повести Камю "Посторонний", испытывает безмерное блаженство, когда приходит уверенность: всё снова повторится – с самого начала.

А Сартр? В юном возрасте опьянен романтическими судьбами Гёте, Байрона, Шелли, Ницше. Глотает их мысли, как устриц. Примеряет на себя все их идеи. Подходят. Прежде всего вот эта: быть абсолютно свободным. Кредо Фридриха Ницше. Отныне и первая заповедь Сартра. Он знает: свободные умы, которые он любит, примут его в свое закрытое сообщество. В элиту мыслящих писателей.

Август 1900 года. Уже одиннадцать лет Ницше живет с помраченным рассудком. Вот и теперь лежит на кушетке в одной из комнат второго этажа виллы Зильберблик, к тому же с воспалением легких. Правая сторона лица парализована, речь пропала. Его моют и кормят, пишут маслом и фотографируют. В ночь на 25-е – апоплексический удар. Утром врач находит его без сознания, хрипящим, с легкой дрожью в руках и ногах. Ницше больше не приходит в себя. В полдень он умирает.

1. См. "По ту сторону добра и зла" (перев. Н. Полилова).

Петер Гаст, который уже давно работает под началом Элизабет Фёрстер в Архиве, прикрывает покойнику глаза. Но правый все время открывается. И из установленного на возвышении гроба Ницше будет одним оком смотреть на своего ученика...

К торжественной церемонии прощания на открытый гроб кладут легкое покрывало. И без того тесное помещение библиотеки переполнено. Воздух сперт, приходится открыть окно. Гости — *ни одного приметного умом и характером,* — пишет граф Кеслер, чуть ли не висят *со стыдливым благоговением* над покойником.

В довершение всего приглашенный сестрой оратор! Искусствовед той категории, какую ненавидел Ницше. Вытаскивает из кармана огромный свиток и не знает, куда его положить. Пока фрау Ферстер не приносит свою шкатулку с принадлежностями для шитья. Обретя кафедру, человек начинает говорить, расчленяет жизнь и творчество Ницше на периоды, и кажется, его речи не будет конца... *Если бы покойник в те минуты встал из гроба,* напишет один из присутствовавших, *то выбросил бы оратора... в окно, а нас изгнал из храма.*

Но покойник не шелохнется. Лежит недвижно, с восковым лицом. Лишь смотрит одним глазом. А вкруг виллы Зильберблик хлещет дождь.

Петер Эстерхази и Золтан Агоштон

Вступление и запись беседы Л. Васильевой

Из разговоров переводчиков с книгоиздателями:

1

– Я перевожу Петера Эстерхази.
– А, еврейский писатель!
– Нет, это венгерский писатель, потомок знаменитого венгерского рода.
– Ах так! А я с Ашкенази перепутал.

2

– Я принес вам новые переводы из Эстерхази.
– А что, он еще жив?
– Помилуйте, ему пятьдесят лет.
– Как так? "Загадка Прометея"?
– Нет, того звали Мештерхази.

В Москве в самом начале июня пять дней гостили известный венгерский писатель Петер Эстерхази и главный редактор печского литературного журнала "Еленкор" Золтан Агоштон.

"Иностранная литература" уже публиковала малую прозу Петера Эстерхази – его типично постмодернистские тексты и его "чеховскую новеллу" (подзаголовок автора), написанную с чеховской грустной иронией и чеховским изяществом. Но гораздо чаще – в 1992, 1995, 1996, 1997 и 1999 годах – мы печатали эссеистику Эстерхази. Его короткие эссе – на злобу дня – о сюрпризах новой демократии, о человеке во власти, о человеке социалистической формации, о национальном самосознании, о восточноевропейском абсурде, адресованные венгерскому читателю, оказались ко времени и у нас. Не случайно эссе Эстерхази "Ни о чем, обо всем" было названо одним из наших обозревателей "самым классным эссе года", хотя среди эссеистов этого, 1996 года, были и такие авторы, как И. Бродский, С. Сонтаг, Х. Гойтисоло, Е. Попов и П. Вайль.

И все же, по-видимому, имя Петера Эстерхази в нашей стране пока еще мало известно. Возможно, и издатели – не всегда читатели нашего журнала. Да и презентация первой книги Эстерхази на русском языке "Записки синего чулка и другие тексты", вышедшей в "Новом литературном обозрении", состоялась в Венгерском культурном центре совсем недавно – 5 июня 2001 года.

Неудивительно, что и фамилия Эстерхази у многих, не только у книгоиздателей, не вызывает никаких ассоциаций. Ни в одной энциклопедии советского времени – очевидно, из-за классовой неприязни к аристократам – не было такой словарной статьи: "Эстерхази". В Бри-

таннике, конечно, есть статья "Esterházy family", где сообщается об отдельных выдающихся представителях этого рода. Самый известный из них – князь Миклош Эстерхази, который собрал огромную коллекцию картин и гравюр (коллекция эта легла в основу будапештского Музея изящных искусств) и который в ответ на предложенную ему в 1809 году Наполеоном венгерскую корону выставил корпус добровольцев в поддержку Австрии. Князь Пал Антал Эстерхази был послом в Москве, присутствовал на коронации императора Александра II. Есть в Британнике даже статья о канадском городе Эстерхази, основанном одним из потомков высокородного семейства.

Авторам советских энциклопедий особенно сложно было избежать упоминания фамилии Эстерхази в статьях, посвященных Йозефу Гайдну. Ведь Й. Гайдн почти тридцать лет (с 1761 г. по 1790 г.) был придворным композитором и главным капельмейстером у князя Миклоша Йожефа Эстерхази, горячего поклонника музыкального искусства, одного из самых богатых магнатов Европы. В Эйзенштадте и в замке Эстерхазе (который называли венгерским Версалем), крупных культурных центрах Австрийской империи, была создана большая часть сочинений знаменитого композитора. Но революционная целесообразность требовала от советских энциклопедистов умолчания некоторых фактов. В томе БСЭ, вышедшем в 1934 году, рассказ о жизни и творчестве Й. Гайдна построен так хитроумно, что ни Эстерхази, ни Эйзенштадт ни разу не упоминаются, а об одном из самых известных сочинений Гайдна, оратории "Времена года", сказано: "Эта оратория – эпопея бюргерской трудовой жизни, с ее культом священной собственности, прочного семейного уклада, благочестивой мещанской морали и спокойного благополучия". Сказано с решительным и принципиальным осуждением того, что позднее вновь станут считать непреходящими общечеловеческими ценностями.

"Harmonia caelestis" ("Небесная гармония") – так называется цикл из 55 кантат, сочиненный князем Палом Эстерхази, полководцем, поэтом и композитором, в самом конце XVII века и впервые изданный в Вене в 1711 году. Этот цикл, расписанный по партиям для солистов, хора и инструментальных оркестров, включающий и песнопения во славу Девы Марии, предназначался для исполнения в праздники церковного календаря, в другие торжественные дни дома Эстерхази.

"Harmonia caelestis" – это и название нового романа Петера Эстерхази, не только символизирующее преемственность поколений, но и передающее определенное состояние духа, в котором всегда присутствует, как и в музыке эпохи барокко, жизнерадостное мироощущение, игра, веселость.

Этот роман, представляющий собой своеобразную семейную хронику нескольких поколений знаменитого венгерского рода, сразу был оценен венгерской критикой как самое значительное произведение Эстерхази, как литературное событие года и даже всего последнего десятилетия. Он отмечен премией Шандора Мараи и Венгерской литературной премией за лучшую книгу года.

Казалось бы, и в этом сходятся все венгерские критики, время создания классических семейных хроник, таких, как "Будденброки", "Сага о Форсайтах", "Семья Тибо", "Война и мир", безвозвратно ушло в прошлое, как и время линейного письма, пространного последовательного

рассказа. Другие ритмы и темпы жизни потребовали других ритмов и темпов повествования. И все же Эстерхази удалось вместить в романную форму, не понеся художественных, эстетических потерь, четыре столетия венгерской истории, удалось соединить прошлое и настоящее, традиционное письмо и приемы постмодернизма. Один из венгерских критиков определил содеянное Эстерхази как "чудо невозможного". И если в отдельных частях "Harmonia caelestis", сочиненной Палом Эстерхази, знатоки музыки распознают влияние итальянских, австрийских, южно-немецких композиторов, то в "Harmonia caelestis", написанной Петером Эстерхази, утверждают уже знатоки литературы, особенно отчетливо слышна венгерская мелодия. Среди множества лестных отзывов, прозвучавших на родине писателя, не было только такой чеканной формулы, как "этот роман – энциклопедия венгерской жизни", но по сути это сказано было.

"Венгрия все еще ждет своего первого нобелевского лауреата по литературе", – пишет на страницах журнала "World Literature Today" профессор калифорнийского университета Марианна Д. Бирнбаум, откликнувшаяся рецензией на новое произведение венгерского прозаика. "И было бы логично, – продолжает она, – если бы члены Нобелевского комитета остановили свой выбор на писателе, уже опубликовавшем двадцать блистательных книг (это романы, повести, сборники эссе) и которому только что исполнилось пятьдесят".

Фрагменты семисотстраничного романа "Harmonia caelestis" "Иностранная литература" планирует опубликовать в одном из ближайших номеров.

Второй гость нашего журнала – Золтан Агоштон, писатель, критик, театровед, главный редактор журнала "Еленкор".

"Еленкор" – не только первый венгерский, но и первый восточноевропейский журнал, который мы представили в рубрике "Литературная пресса мира"[1]. Ее гостями уже были такие авторитетные журналы, как "Нью-Йоркер", "Таймс литерари сапплмент", "Магазин литтерер", мюнхенский журнал "Акценты", французский "Лир".

Когда-то, когда страна наша была значительно больше и Миколас Слуцкис был еще нашим соотечественником, мы опубликовали – среди других писательских откликов – и его отклик на 25-летний юбилей журнала "Иностранная литература". Слуцкис тогда писал: "Корни каждого писателя в той земле, которая его породила, в недрах национальной культуры, но талант должен дышать озоном мирового литературного океана".

Эту точку зрения, по нашим наблюдениям, вполне разделяют и издатели литературного журнала, выходящего на юге Венгрии, в городе Печ. "Еленкор" стал колыбелью для многих ведущих венгерских писателей, успешно конкурируя в этом со столичными журналами, но и озон мирового литературного океана ощутимо присутствует на его страницах. "Еленкор" печатает много переводных произведений – поэтических и прозаических, – открывая окна в другие культурные миры и, что

1. См. "ИЛ", 2001, № 3.

нам особенно дорого, не исключая из этого культурного пространства и сегодняшнюю русскую словесность.

Предлагаем вниманию читателей фрагменты беседы с нашими гостями. Вопросы задавали сотрудники редакции и переводчики венгерской литературы, приглашенные на эту встречу.

З. Агоштон, К. И. Вавра, П. Эстерхази

"ИЛ" (вопрос к П. Эстерхази). От японского писателя Мицуёси Нумано мы узнали, что вы с удовольствием читаете Акутагаву и Мисиму, воспринимая их "как немножко странных европейских писателей". Русских писателей, современных и несовременных, вы тоже воспринимаете как немножко странных европейцев, или они вам ближе, понятнее, чем японские?

Петер Эстерхази. Жизнь, которую описывают Толстой и Достоевский, естественно воспринимается мной как далекая. Но и когда Жигмонд Мориц рассказывает о маленькой деревне на востоке Венгрии, для горожанина из Будапешта это тоже далекая жизнь. Это романы об ином человеческом опыте, но как факт культуры это мне близко. Как и близко написанное Флобером и Бальзаком. Точно такое же расстояние. Но японскую классику я, как европеец, воспринимаю с некоторым недоумением. Тот образ мира, который есть в книгах Мисимы, может вызвать только непонимание. Однако такое толерантное непонимание есть нечто полезное и спасительное. А русская литература — это вполне моя литература.

"ИЛ". Мы хорошо помним, что такие венгерские писатели, как Йожеф Лендел, Иштван Эркень, Арпад Галгоци или Янош Рожаш, "венгерский Иван Денисович", хлебнули немало горя в нашей стране, но, несмотря на все пережитое в тюрьмах, плену, лагерях, сохранили в себе любовь к русскому народу и русской культуре. И мы признательны им за

это. Венгрия — "страна-паром", как назвал ее Эндре Ади, она постоянно устремляется то к Западу, то к Востоку. А теперь этот паром накрепко привязан к западному берегу?

П. Э. Мне представляется, что такая несколько обывательская ориентация на Запад, точнее на Париж, была всегда. И, честно говоря, как раньше, так и теперь, мы плохо знаем литературу наших восточноевропейских соседей. Но роль русской литературы в Венгрии всегда была особой. До 1990 года существовал журнал "Советская литература" на венгерском языке, который вызывал у нас даже некоторое подозрение. До того как приступить к чтению, надо было произвести определенную исследовательскую работу — узнать, что здесь стоит читать, а что нет. Проще всего было спросить у Акоша Силади. Но кстати, Марину Цветаеву я впервые прочел именно в этом журнале.

В русской литературе есть большая романная традиция, и мне, как человеку из другой страны, где такой традиции нет, интересно наблюдать, как она развивается, как функционирует. Одно из самых сильных моих читательских впечатлений — книга Венедикта Ерофеева "Москва—Петушки". Автор повествует отнюдь не о высоких материях, чуть ли не на каждой странице блевотина, но и в этом тексте присутствует та загадочная метафизика, которая есть в великой русской литературе.

Золтан Агоштон. Я согласен с Петером, что к своим соседям в Восточной Европе мы проявляем мало интереса. Меня это смущает. И уж совсем нелепой представляется мне ситуация, когда в пятидесяти километрах от Печа (а это такое же расстояние, как от северной части Москвы до южной) есть хорватский город, а мы и понятия не имеем, что там происходит, просто потому, что на середине пути — граница. Я вижу, что и многие сербские, словенские, хорватские писатели знают о венгерской литературе еще меньше, чем мы знаем о них. Они тоже устремлены на Запад, мы здесь не одиноки. И все же создавать какую-то искусственную восточноевропейскую замкнутость было бы неправильно.

П. Э. Хорошо, что Золтан рассматривает эти вопросы с практической точки зрения. Меня лично нисколько не волнуют русско-венгерские культурные связи, меня интересует русская культура и венгерская культура. Да, действительно, число произведений русских писателей, переводимых на венгерский язык, значительно сократилось. Возможно, это прозвучит слишком пафосно и тривиально, но я все же не могу себе представить нормального венгерского писателя, который мог бы существовать без прошлой, настоящей и будущей русской литературы.

З. А. Здесь важно не то, насколько мы начитаны и осведомлены в той или иной литературе, а насколько переводное произведение может стать источником вдохновения.

П. Э. Если бы Йожеф Горетич, директор по науке Венгерского культурного центра, меня не пригласил, меня бы здесь не было. Я напряженно работал над новой вещью, я не люблю отрываться от работы и не люблю разъезжать. Но в свое время я прочитал в "Еленкоре" удивительные, впечатляющие тексты — фрагменты книги Дмитрия Галковского "Бесконечный тупик". Я тогда как раз заканчивал "Harmonia caelestis". И я включил в свой роман то, что там нашел. Этот текст мне помог. И это единственное, что важно, а все остальное — дело чиновников. Без этих нескольких страниц, написанных Галковским, я был бы беднее, и я бы еще долго мучился над концовкой романа. И когда Горетич позвонил

мне, я уже слушал его как человека, который отобрал эти тексты и перевел их. То есть Горетича поддержала русская литература. Если б он слабые тексты подготовил, я бы сказал: "Пусть Надаш едет". Только вы Надашу этого не говорите, а то придется мне потом вспоминать: "Да, был у меня друг..."

Татьяна Воронкина. Какой представляется вам картина современной венгерской литературы? На что хотели бы вы обратить наше внимание? Какие ваши личные пристрастия?

З. А. Если говорить о личных пристрастиях, то один из авторов здесь сидит. Я люблю такую литературу – ироничную, полную экспрессии. А вообще "Еленкор" стремится представлять именно те произведения венгерской литературы, которые независимо от эстетических или стилистических направлений действительно можно назвать современной литературой.

В. Т. Середа, Т. И. Воронкина, Е. И. Малыхина, Ю. П. Гусев, Й. Горетич

П. Э. Журнал "Еленкор" сыграл значительную роль в становлении новой венгерской литературы. В Венгрии не было жесткого идеологического давления на литературу, но в 70-е годы это давление все же ощущалось. Помимо официальной литературы, в которую иногда входили и хорошие писатели, существовала и другая литература – Миклош Месей, Иван Манди, Иштван Эркень и продолжатели их традиции. Именно в "Еленкоре", начиная с 70-х годов, стала появляться эта другая литература. Именно на страницах этого журнала прозвучали очень простые вещи: литература – это только литература. Но в определенном контексте это было смелым утверждением. "Еленкор" сформировал уже несколько писательских поколений, да и сейчас он надежное пристанище для тех, кто родился в 60-е, 70-е годы – Ласло Гараци, к примеру, или Жолт Ланг. Вообще, всякий выбор пристрастен, всякая рекомендация субъективна. Думается, русскому читателю был бы интересен поэт Деже Тандори. Он

такой разный, есть лиричный, тонкий, есть виртуозный, есть Тандори-философ, его дарование такого же масштаба, как Дёрдя Петри, которого ваш журнал уже печатал.

З. А. Безусловным событием в нашей литературе стал роман Пала Завады "Подушка Ядвиги".

Елена Малыхина. А есть в литературе совершенно новые фигуры, которые внушают надежды?

П. Э. В Венгрии очень легко выпустить книгу, но, возможно, это ничего не будет значить. И совсем не потому, что книга нехороша, а просто потому, что мы ее не увидели, не заметили. У литературы сегодня нет таких ворот, в которые надо войти, вломиться. Может быть, ты уже давно находишься в литературе, но никто об этом не знает, и ты сам не знаешь. Наверное, в понятие талант входит и умение реализовать себя. Вот Петер Зилахи написал талантливую книгу, на которую следовало бы обратить внимание.

З. А. Я мог бы назвать такие имена, как Ласло Мартон, Андраш Ференц Ковач, Эндре Кукорелли, Андраш Пайи, Лайош Парти Надь – правда, он несколько старше. Подобралась молодая команда одаренных трансильванских авторов во главе с Яношем Орбаном, к ним примыкает и Балаж Салингер, хотя он вовсе не трансильванец, но литературные пристрастия – общие. Подход к литературе, поведение, даже манера держаться у этого поколения совсем другие.

П. Э. Да, эстетическая позиция у новой венгерской литературы иная. Возможно, это мое старческое брюзжание, но мне представляется, что без труда прозу не создашь. Вот тут-то и начинается расхождение и определенное противостояние. Этим ребятам уже надоело, что мы с Надашем двадцать лет талдычим про плохо написанную фразу и про хорошо написанную фразу. Аттила Хазаи, очень талантливый человек, поэт, переводчик, говорит, что он не занимается редактированием своих текстов, ему это не интересно. Он пишет так, как пишется. И я часто вижу, чем хороша эта новая небрежность, но иногда я вижу только небрежность. За небрежной фразой должно что-то скрываться – какая-то энергетика, какой-то порыв. Иногда это есть, а иногда – нет. Но, разумеется, когда в произведении видишь только тщательность отделки, то кому это интересно? Это означает лишь, что автор старательный, порядочный человек, но хорошие книги не всегда пишутся хорошими людьми.

"ИЛ" (вопрос к З. Агоштону). А как экономически выживает "Еленкор"?

З. А. Ситуация очень трудная. Иногда мы сами удивляемся, что, решая бесконечные задачи менеджмента, мы еще и успеваем выпускать журнал. Журнал без поддержки выжить не в состоянии. Доходы от реализации журнала – лишь малая часть тех средств, которые затрачиваются на его издание. Номер журнала продается за 200 форинтов, реальная стоимость в шесть раз больше. На книжном рынке все-таки несколько иная ситуация. И в последние годы она значительно улучшилась – не в том смысле, что авторам стали платить астрономические суммы, а в том, что хорошие книги все-таки попадают к читателю. И уже не второстепенный вопрос – как выглядит книга, насколько она эстетична.

П. Эстерхази знакомится с последним номером журнала "Иностранная литература"

А если говорить конкретно, кто нас поддерживает, то это — министерство культуры, фонд Сороса, а также, хоть в малой степени, местное самоуправление.

"ИЛ" (вопрос к П. Эстерхази). Мы узнали, что в Библиотеке иностранной литературы, в отделе редкой книги, вы сделали для себя неожиданное открытие. Действительно это так?

П. Э. Нет, я знал, что коллекция князей Эстерхази находится здесь, но все равно это поразительно. Я был в той библиотеке, в Эйзенштадте, откуда эти книги привезены, но таких древних книг, какие есть здесь, в Москве, там нет. Это книги XVI–XVII веков.

"ИЛ". Их много?

П. Э. Четыреста. И все в очень хорошем состоянии. Я узнал эти книги по переплетам, и я очень обрадовался, что только сейчас их увидел, а не тогда, когда писал свой роман. Наверно, для меня это было бы потрясением, я бы думал, что очень важные знания, которые есть в этих книгах, мне следует добыть, но поскольку интерес к семейству Эстерхази у меня уже погас, я спокойно смотрел на все эти тома.

Было приятно услышать, что те дамы, в ведении которых находятся эти книги, очень разумно смотрят на все проблемы, связанные с грузом, что некогда обозначался как военный трофей. Никто не делает секрета из того, что именно советские войска вывезли их с территории Австрии. Говорят, все книги были упакованы, подготовлены для отправки на Запад, но Советская армия оказалась оперативней. Думаю, главное все же в том, что книги в целости и сохранности, они не лежат мертвым грузом, исследователи могут ими пользоваться. Ну а где они находятся и где должны находиться — это достаточно сложный политический вопрос, который регулируется законодательством.

З. А. У Лайоша Хатвани, известного писателя, критика, мецената, была большая картинная галерея. Она тоже попала сюда, в Советский Союз. В ней ценнейшие полотна Мане, Моне, других выдающихся мастеров XVIII, XIX веков. В России была однажды выставка этих картин. Судьба коллекции Хатвани тоже решается.

Вячеслав Середа. Трудно обойти молчанием тот "кирпич", который лежит здесь перед нами — роман "Harmonia caelestis" . Когда этот плод

девятилетней работы увидел свет, читатели оживились: Эстерхази вернулся к реалистическому письму. Потом почитали-почитали и сообразили: нет, это далеко не так. Как считает сам автор: это постмодернистская проза или семейная хроника, а может быть, исторический роман?

П. Э. К счастью, решать это — не моя проблема. Мне абсолютно безразлично, постмодернист я или нет. Я только знаю, что когда я пишу, постмодернистская рефлексия безусловно присутствует.

У меня всегда было большое желание рассказать о семье Эстерхази, но трудно было на это решиться. Я думал, как бы я рассказал о ней своему ребенку или московскому знакомому, которому не так уж близка венгерская история.

Семейный роман как таковой у меня доверия не вызывает. Он ностальгичен и заведомо таит в себе какую-то неправду, ложь, с которой невозможно справиться даже с помощью иронии. Поэтому я решил в первой части своей книги — она называется "Нумерованные фразы из жизни рода Эстерхази" — разрушить саму форму, саму структуру семейного романа. Возможно, текст этот диковатый, странный. Но я тот ребенок, которому нравится не только разбирать, но и собирать. И во второй части — "Исповедь семьи Эстерхази" — я собрал многое из того, что разрушил или, пользуясь модным словом, деконструировал в первой.

В. С. Результат получился, по-моему, замечательный. Кстати, на днях я обнаружил в Интернете любопытный отзыв на сборник эссе Эстерхази, опубликованный на русском. "Малоизвестный венгр, — замечает рецензент, — становится моднее своих соседей по Европе — чеха Кундеры и серба Павича". Учитывая, что с наиболее значительными художественными текстами "малоизвестного венгра" наш читатель еще не знаком, такое высказывание можно считать преувеличением, но если это знакомство наконец состоится, у нас уже, наверно, не будут путать Эстерхази с Мештерхази.

У парадного подъезда редакции. Т. И. Воронкина, Е. И. Малыхина, Л. Н. Васильева, А. Н. Словесный, П. Эстерхази, Й. Горетич, З. Агоштон, В. Т. Середа

П. Э. Просто решат, что в творчестве писателя произошли некоторые стилистические изменения.

Евгений Попов

Пуговицы от новых штанов,

или ВНЕШНЯЯ якобы РЕЦЕНЗИЯ на книгу Эстерхази П. *Записки синего чулка и другие тексты.* Эссе, публицистика. Составление, послесловие и перевод с венгерского В. Середы. Редактор Е. Шкловский. Формат 60 × 90 1/16. Бумага офсетная № 1. Тираж 2000 экз. Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных оригиналов в ОАО "Ярославский полиграфкомбинат". — М., Новое литературное обозрение, 2001

"Товарищи, конец" — многие видели эти плакаты Венгерского демократического форума. По-русски написано. Советская фуражка и генеральский затылок такой мясистый. Половина Будапешта оклеена этой антисоветской стряпней...

Из советских газет начала конца "перестройки"

Есть вещи, в которые надо бы, наконец, внести ясность. Признать, например, что некоторых вещей уже нет.

Петер Эстерхази. *Ни о чем, обо всем*

"Он прав, сволочь! — подумал Шмаков. — У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал".

Андрей Платонов. *Город Градов*

Не всякий умеет петь, не всякую переводную книгу можно читать. Иногда она написана тем самым русским языком, который существует только в воспаленном билингвистическими знаниями мозгу переводчика. **"Сейчас мы с тобой будем делать любовь, мой медок, — сказала графиня, задыхаясь от внезапно нахлынувшего на них обоих океанского прилива чувств".** Вот почему я с опаской открыл книгу знаменитого венгра, но закрыл ее, лишь аккуратно и подряд дочитав до конца ВСЕ, включая примечания и послесловие, а также поймав себя на предательской по отношению к собственной профессии мысли: публицистику мне в последнее время читать куда веселее, чем беллетристику, — жизнь всегда была куда богаче писательских выдумок, а в нынешние времена, когда во всем мире творится полный беспредел, — и подавно.

С большей или меньшей степенью уверенности можно утверждать, что Петер Эстерхази, некогда опальный интеллектуал, ныне именуемый на родине "живым классиком", на сегодняшний день самый известный россиянам современный венгерский писатель. Степень уверенности определяется долей осведомленности. Широкой публике в России нынче решительно начхать и на собственных писателей, не говоря уже об им-

© Е. Попов, 2001

портируемых. Ведь деньги зарабатывать — это не на кухне коммунистов ругать, как в прежние времена "дружбы народов", когда Янош Коош был одним из любимых певцов культурного советского народа, в ресторане Курского вокзала подавали "вымя отварное" — а в продуктовых заказах к революционным праздникам фигурировало "венгерское салями", по центральному радио исполняли на балалайке "чардаш Монти", а что касается "венгерских событий 1956-го", то была избрана такая "поза рожи", что таковых событий вроде бы никогда и не существовало или что "братский венгерский народ" с успехом победил в 1956-м свою контрреволюцию, а московские "товарищи" ему в этом благородном деле лишь немножко помогли своими зелеными танками с красной звездой.

Да, эту книгу читать можно. Вячеслав Середа перевел все эти обманчиво простые, а на самом деле сложнейшие тексты так, как будто он сам их написал. Простые, потому что в книге представлен весь тот газетно-журнальный сор, который Петер Эстерхази накопил за отчетный период, отложив на время создание собственной "нетленки" — то ли для прокорму в условиях "рыночной экономики", то ли по велению души, возрадовавшейся отсутствию коммунизма в его родной стране, то ли для того, чтобы послужить обществу и "продвинуть реформы". Сложнейшие, потому что здесь — и нюансы, недоступные пониманию внешнего, не являющегося современным венгром человека.

Более того — эту книгу читать НУЖНО. Полагаю, что лично я в процессе чтения, кажется, все же немножко обогатил себя знаниями о том, что теперь творится У НИХ в отсутствии коммунизма и "старшего брата". Творится практически все то же самое, что и у нас, но с поправкой на коэффициент близости к так называемому Западу и процентное соотношение размеров двух наших стран. Венгрия совсем маленькая, Россия совсем большая, а это и для них, и для нас — дополнительная проблема.

Тема книги — прощание неангажированного писателя с тоталитаризмом и все другое, сопутствующее этому затяжному процессу (вопросы культуры, морали, нравственности, патриотизма, мироощущения, роли писателя в обществе и т. д.), представляется мне актуальной до сих пор, хотя в процессе написания статей и перевода их на русский язык прошло более десяти лет, "перестройка" обернулась "диким капитализмом", коммуняки, поделив украденные деньги, мутировали в "новых русских" и стали бизнесменами, олигархами, банкирами, разбойниками, министрами, магнатами и проч. Вся эта дичь, на мой взгляд, все же лучше любых форм советской власти, о чем, кажется, толкует и мой венгерский коллега, отпрыск одной из самых знаменитых венгерских аристократических фамилий, если уж вспоминать о графинях и графьях, вымерших, как динозавры, во время ледникового советского периода. **"Ведь в нашей истории речь идет не о том, что некая безответственная и циничная власть (коммунистов) растоптала, унизила, уничтожила бедных графов, не о "ликвидации класса" речь, а о том, что эта самая безответственная и циничная власть растаптывала, унижала и уничтожала графов — заодно с неграфами, с интеллигенцией, с рабочими и их союзниками крестьянами, то есть речь — о ликвидации целой страны".**

Вся разница только во времени — их страну "ликвидировали" сорок лет, нашу — семь десятилетий, а каков результат — покажет опять же только время, которое, если не врут, лучший судия. А пока же **"всю нашу жизнь пропитала — как бы ее назвать? — крысиная и расчетливая полуправда"**, и **"мы туго соображаем, как должно поступить в той или иной ситуации разумное существо, то есть тупеем и деградируем"**. Это Эстерхази о современной Венгрии. А вообще-то, очевидно в качестве утешения всем нам, он пишет: **"Эта ялтинская Европа глупела безостановочно. На всем континенте от Лиссабона и до Стокгольма, от Бу-**

хареста до Лондона шла сплошная идиотизация".

Совершенно верно. Он прав, Петер Эстерхази! То, что выглядело лакомым из-за колючки "социалистического лагеря", где Венгрия традиционно считалась самым веселым и опрятным бараком, многим теперь кажется пресным и несъедобным, однако заново хлебать лагерные щи не захочет никто из оказавшихся на свободе, включая самых оголтелых представителей некогда коммунистического социума. Прибегая к лексике автора, не чурающегося брутальностей, лично я полагаю, что лучше быть просто мудаком, чем мудáком красным, и полагаю, что Петер Эстерхази, который осторожно покусывет западных леваков, либералов и бунтарей, не имеющих нашей "прививки от расстрела", может, хотя бы в этом случае, согласиться с гражданином накрывшейся медным тазом "империи зла".

А вообще-то — дурное дело писать публицистику на публицистику, то есть сочинять эту якобы рецензию, вместо того чтобы накатать что-нибудь умненькое, вечное или выпить вина с товарищем. Поэтому я заканчиваю тем же, с чего и начал, — цитатами, из которых все станет ясно даже тому, кто книгу Петера Эстерхази по-русски никогда не прочитает, несмотря на мои аргументированные рекомендации. Вот эти цитаты!

"Мы живем в Центральной Европе: нервы у нас расшатанные, а туалетная бумага — жесткая".

"Пока русские были здесь — в данном случае "русские" есть рожденная коллективной мечтой метафора для обозначения *всего*, что происходило у нас после 45-го, — все плохое, что было в нашей стране, мы сваливали на них; не без оснований. Но вот русские ушли (точнее сказать, уходят), оставляя после себя много всякой всячины, и в первую очередь нас. Их нет, мы остались одни. Хорошо, вздыхаем мы с облегчением. Но затем, оглянувшись окрест, обнаруживаем, что родина, отчий дом у нас есть, но хорошего в этом доме мало".

"Мы живем с вами в опереточных, лживых странах. И ложь эта столь тотальна и интенсивна, что граничит, можно сказать, с прекрасным. Красоту эту и описывал с болезненным наслаждением восточноевропейский гротеск. Но теперь он кончился".

"Мне приходит на ум высказывание Чеслава Милоша, который — читаю я в "Дневнике" Гомбровича — как-то сказал нечто вроде того, что разница между западным и восточным интеллектуалом в том, что, в отличие от последнего, первому как следует никогда не давали по жопе".

"Человек живет не в системе исторических координат. Поэтому я неблагодарным и, полагаю, разумным образом постепенно теряю радость от того, что еще год назад нам казалось пределом мечтаний..."

"Дорогая моя Отчизна, я снова, в который раз, вынужден объяснять тебе, в чем заключается истина. А истина заключается в том, что в последнее время ты впала в такой маразм, что ни в сказке сказать, ни пером описать, что я мог бы, естественно, отнести и к себе, да не хочется хвастать".

"Как пишут в газетах, один гражданин, бывший секретный сотрудник госбезопасности, честно и по-мужски рассказал о своем прошлом. В отличие от многих других — помалкивающих. Не говоря уж о тех, которые сами ни на кого не стучали, потому что стучали им, и которые ныне злорадствуют с пеной высокой нравственности у рта".

"Долгое время мы знали, видели, что у власти не может стоять человек. Человек — это тот, кто находится где-то сбоку, за кромкой поля, а те, кто у власти, — не люди, а подлецы, сумасшедшие или мерзкие циники.

Теперь мы доподлинно знаем, что и люди, нормальные люди попали во власть. И видим, что с ними творится что-то неладное".

“Интеллигенция так называемой Центральной Европы потерпела фиаско. Такого мы от себя не ждали. Глядя в зеркало пятилетней или десятилетней давности, мы видим, как, распушив хвосты, мы похлопываем себя по плечу, гордые нашей моральной стойкостью, высоким нравственным потенциалом и той человеческой теплотой, которую нам удалось сохранить, невзирая на все раздоры; как мы были уверены, что честолюбивым планам и устремлениям по переустройству наших отечеств мешают только “система”, русские, коммунисты...”

“Нет, минувшие сорок лет были не героическими годами, а говенными и еще раз говенными. Уж простите за слово. Мы изуродовали страну. Многие говорят сегодня: *они* изуродовали. Я их понимаю, но думаю все же, что страна — продукт коллективного творчества...”

“Наш народ, слышу я, нужно вытащить из того, в чем он был в течение сорока лет. А по-моему, нашу бедную нацию не нужно ниоткуда вытаскивать и никуда поднимать, да это и невозможно, потому что, во-первых, поднимать ее некому, нет у нас такой группы, национального авангарда, который знает, что нужно делать, во-вторых же, нация или сама поднимется, или ее не поднимет никто”.

“В голове у нас пустота. Полный вакуум. Опустошенная эта голова и есть сегодня Европа. Значит, мы уже интегрировались с Просвещенным Западом, если так же беспомощно смотрим по сторонам, как они”.

“Мы вернулись к тому, на чем кончил Музиль: человек без свойств ищет собственную идентичность”.

Комментарии излишни. Пуговицы от новых штанов оторвались. Лавровые деревья срублены. XX век умер. Дядя Ваня проснулся с похмелья под звуки советского гимна третьей свежести и оказался в Европе. И тем не менее — выше голову, товарищ, еще не вечер ведь!

P. S. Чтобы всем всё окончательно стало ясно, приведу два собственных текста, один из которых непосредственно связан с Петером Эстерхази, а другой имеет к нему опосредованное отношение.

1. *Рождественское торжественное дикокапиталистическое обязательство товарищу Петеру Эстерхази*

Москва, 23 декабря 1996 г.

Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет.

Шизофреническая советская песня

Если бы на заре заката коммунизма в бывшей стране СССР кто-то из моих друзей сказал мне, что в сентябре 96-го я буду играть на юге Франции в футбол против команды свободных венгерских писателей, а потом как ни в чем не бывало вернусь домой, то я даже и не знаю, что бы я сделал с этим глупым шутником. Скорее всего, ударил бы его пустой бутылкой по голове за подобное издевательство над моим личным футурумом.

Потому что тогда, в начале 80-х, нам всем было ясно, что после Брежнева может быть только Брежнев

или (это уже в самых смелых фантазиях) какой-нибудь Иван Иванович Кадар-Дубчек с человеческим лицом, Лениным в башке и наганом за пазухой.

Но поскольку Россия выбрала другой путь (дикого капитализма) и коммунисты подались в банкиры, депутаты и бизнесмены, то вот он я — уже стою на футбольном поле города Die-Drom (France) в глухой защите, а на меня летит подобно пригородной электричке Петер Эстерхази, имеющий всего лишь одну, но конкретную цель — забить гол.

Что он и делает, разумеется! Эх, разве объяснишь этому спешащему (забить гол) человеку, что я в последний раз играл в футбол ровно 38 лет назад в селе Шушенском на юге Красноярского края (Сибирь), куда я был привезен школьником на экскурсию поклониться тени упомянутого великого Ленина, который, отбывая суровую ссылку в тамошних, ныне курортных местах, съел барана, женился, растолстел и, не имея велотренажера, вынужден был в свободное от сочинения прокламаций время кататься на коньках или бродить по окрестным лесам, стреляя не виновных в классовой борьбе зайцев. Какое дело Петеру Эстерхази до Ленина, прокламаций и зайцев, если ему хочется забить гол?

Что он, разумеется, и делает, потому что другой игрок нашей футбольной команды, мой друг Виктор Ерофеев, с детства увлеченный творчеством маркиза де Сада и других моральных уродов, по моим сведениям, и в Шушенском не был, и в футбол вообще никогда не играл.

И не то удивительно, что мы с Ерофеевым пропустили в наши ворота ровно ДЕСЯТЬ мячей, а то, что ДВА мяча мы все же забили, подтвердив тем самым какие-то забытые мною математические теории — относительности? вероятности? случайностей? Плохо я учился в школе, хоть и закончил Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе. Петер Эстерхази, математик по образованию, в подобных вещах скорей всего разбирается значительно лучше...

А скверно то, что, поддавшись коммунистической пропаганде, уверенный, что царствию большевиков не будет конца, я считал, что в СССР полезней для здоровья не в футбол играть, а как можно чаще пить водку, портвейн, слушать "Свободу", "Голос Америки" да побольше писать, как именовались мои сочинения в гэбэшных протоколах, "идейно-ущербных, близких к клеветническим произведений с элементами цинизма и порнографии".

Что я и делал с превеликим удовольствием на протяжении многих лет, а футбол и вообще спорт запустил, каюсь, господин Петер Эстерхази!

Поэтому, товарищ Петер Эстерхази, я, Евгений Попов, скромный российский литератор и начинающий футболист, беру на себя РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ДИКОКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО путем неустанной работы над телом и духом приготовиться к следующему матчу с вашей командой, постаравшись свести счет хотя бы вничью.

А на деньги, сэкономленные от вина, водки, джина, виски и других вредных предметов вроде сигарет "Мальборо", я, пожалуй, куплю себе велотренажер, и пускай мне завидует тогда с того света покойный, но вечно живой В. Ильич.

И единственное, что несомненно может помешать мне в таких спортивных планах, это если наши банкиры, депутаты, бизнесмены опять подадутся в коммунисты и заново накроют нашу страну огромным красным одеялом, из-под которого время от времени будут доноситься лишь крики, вопли, нецензурные слова да торжественные звуки коммунистического хита "Интернационал".

Тогда, боюсь, нам с Виктором Ерофеевым опять будет временно не до футбола, и таким образом "ничья" между литературными представителями бывшей Австро-Венгерской империи и бывшей империи Советской опять отодвинется в неопределенное будущее. Не поедет же Петер Эстерхази играть в футбол на берега Енисея, а если поедет, то кто же тог-

да его пустит туда при таком историко-геополитическом раскладе?

Но последние фразы это, пожалуй, и есть образец "идейно-ущербных, близких к клеветническим" фантазий, в которых справедливо упрекали меня "солдаты вооруженного отряда партии". Ведь наши бывшие коммунисты, а ныне банкиры, депутаты, бизнесмены, в отличие от теней их ныне забытых предков, своих приватизированных денег уже больше никому и никогда не отдадут согласно марскистко-ленинской эстетике, диалектике и закону развития по спирали.

Я все же надеюсь, что они все же не такие мудаки, чтобы дважды вступать в одно и то же говно, как мог бы выразиться Гераклит, если бы сумел дотянуть до наших увлекательных постмодернистских дней.

С физкультприветом
Евгений Попов

2. *Как я провел последнее лето* XX *века*

Сочинение

1 июня последнего лета XX века я вышел из дому и направился в страну Венгрию по писательским надобностям.

Вот я уже и в Венгрии. Здравствуй, город Будапешт, хранитель седой старины!

С его мостами, замками и горой Геллерт, с которой в незапамятные времена чернь сбросила в бочке, утыканной гвоздями (изнутри), монаха, чтобы он не нес венгерскому населению свет христианства.

С тех пор здесь многое изменилось. Хорошо работает общественный транспорт, часто ходит автобус 19-го маршрута. В магазине примерно такое же количество продуктов, как в Москве, и такие же примерно цены, однако размер МРОТ (минимальный размер оплаты труда) раза в три выше (примерно).

Чего не скажешь о заработной плате тех, кто ее получает. Пришлось подтянуть пояс среднестатистическому венгру, из последних материальных сил едет он отдыхать на озеро Балатон, потому что литр бензина стоит в Венгрии около 1 USD, а 1 USD — около 2700 венгерских форинтов, что составит 27 русских рублей (около).

Дни я проводил в напряженной писательской работе, а по вечерам сидел над седым Дунаем, погруженный в споры со старыми и новыми венгерскими друзьями о том, какой тоталитаризм был лучше, а какой хуже. Стыдно признаться, но КАДАРИЗМ в этих спорах неизбежно побеждал БРЕЖНЕВИЗМ.

В Венгрии и тогда показывали всякое любое западное кино, а трудящиеся имели право выезжать раз в три года в любую заграницу, включая самую оголтелую, вроде антисоветской Америки. И их потом никто не спрашивал, зачем они пьянствовали в Париже на площади Пигаль в сомнительном заведении с более чем сомнительным дядюшкой Иштваном, который в 1957 году нелегально дернул на Запад аккурат после того, как советские власти, утопив в крови революцию 1956 года, посадили на венгерский престол интеллигентного коммуниста-подпольщика тов. Кадара Яноша (в Венгрии любят писать сначала фамилию, а потом имя) и развели так называемую *рабочую охрану*, верно служившую коммунякам до тех самых пор, пока КПСС в Москве не прокукарекала перестройку.

Возбудившись от упущенных возможностей юности, я говорил, что если бы у нас было **хотя бы как в Венгрии,** перестройки в СССР не было бы никогда, черт бы с ним, с красным флагом, если бы жить можно было хотя б чуть-чуть по-человече-

ски, если б писателей печатали, диссидентов не сажали, а в магазинах была хоть какая-нибудь еда.

Интеллигентные друзья говорили, что, во-первых — история не имеет сослагательного наклонения, а во-вторых — все мы, включая нынешних гордых восточноевропейских русофобов и прибалтов, по-прежнему жили бы тогда в прежнем дерьме. Потому что рыба гниет с головы, а с хвоста она не гниет. Мне понравились слова про русофобов, и я, потеряв бдительность, забыв про *political correctness,* запел, что если воровали вместе, то вместе должны и отвечать, а нечего все сваливать на бедную Россию. А то что-то память у всех стала короткая, многие почему-то забыли, что в 1968-м Прагу оккупировали не только "русские", но и другие братья по социалистическому лагерю. Напомнил о выдающейся роли тов. Кун Бела, который, на пару с русской засранкой Розалией Землячкой, в начале 20-х потопил в крови Крым, где без суда и следствия уничтожили тысячи так называемых "белогвардейцев", что в городе Иркутске до сих пор существует улица Красных Мадьяр, на которой живет мой друг, поэт Анатолий Кобенков. И что эти самые "красные мадьяры", которые вместе с упомянутыми чехами сдали коммунистам адмирала Колчака, в Иркутске ведь не только чардаш танцевали, ведь правда?

Венгерские друзья вежливо молчали. Замолчал и я. Сгустились сумерки. Зажглось красивое освещение. Полная луна вызолотила полнеба. Полуголая молодежь на роликовых коньках, ругаясь по-английски, проносилась мимо нас, подобно ласточкам и стрижам.

И мы внезапно засмеялись, поняв, что им ровным счетом нет дела до того, о чем мы так страстно толкуем. И что в этом смысле коммунизм действительно накрылся медным тазом, столь похожим на полную луну (примерно), а все мы, нравится нам это или нет, живем нынче в абсолютно иной реальности, имя которой пока что назвать весьма затруднительно.

Вот так примерно я и провел последнее лето XX века. Осень наступила, когда уроды взорвали переход на Пушкинской площади. За осенью неизбежно следует зима.

2 июня 2001 г.

Мир *sub specie dadaitatis*[1], или Дадаленд

Альманах Дада. М., Гилея, 2000

Русское издание "Альманаха Дада", составленного в 1920 году видным деятелем этого движения поэтом и теоретиком Рихардом Хюльзенбеком (1892–1974), стало очередным – хотелось бы надеяться, не последним – шагом в представлении отечественной публике течений мирового авангарда. Совершенным незнакомцем для русскоязычного читателя дадаизм, впрочем, не является: Дада упоминалось во многих книжных публикациях последних лет, посвященных его более "именитому" наследнику, сюрреализму[2]; нередко шла речь о дадаизме в издававшихся той же "Гилеей" "Терентьевских сборниках", вышла и монография, непосредственно рассказывающая об истории одной из группировок самого Дада[3]. На этом фоне "Альманах" видится пока самой удачной попыткой знакомства.

Прежде всего, книга посвящена именно дадаизму и довольно полно отражает творчество дадаистов из разных стран. Это не только основатели движения Хюльзенбек, Тристан Тцара, Гуго Балль или Йоганнес Баадер, но и примкнувшие позже французы (Рибмон-Дессень, будущие сюрреалисты Пикабиа, Супо, Арп) и даже представители "малых" дадаистских групп из Нидерландов или Италии. Само издание выгодно отличает уровень его подготовки, свободный от переводческих ляпов и банальных опечаток, в последние годы ставших печальной традицией в отечественных переводах литературы об авангарде. Ирина Кулик, Мария Голованивская (французские тексты) и Игорь Эбаноидзе (переводы с немецкого) хорошо разбираются в материале; подготовленные М. Изюмской послесловие, комментарии, биографии основных участников Дада и библиографию отличает приятная компетентность и внятность. Предпочтительным кажется и сам выбор "оригинального", цельного документа, всегда выигрывающего по сравнению с неизбежно субъективным и позднейшим исследованием критика-историка. И самое главное, "Альманах" лучше всего передает такую важнейшую черту Дада, как глобальность жизненного опыта, – Дада, по сути, есть создание особого и законченного мира, построенного по совершенно иным законам логики, конструирование почти что параллельной вселенной, предусматривающей не только необычные формы художественной практики, но также политическую ангажированность и эстетизированное повседневное поведение.

Немало литературно-художественных движений как до, так и после Дада пытались предстать не просто очередной школой поэзии или живописи, но "состоянием духа", сочетая переживание одновременно этическое и эстетическое. Однако даже те, кто ближе всего к этому идеалу подо-

1. С точки зрения дадаизма (*лат.*).
2. Антология французского сюрреализма. М., 1994; Пикон Г. Сюрреализм. Женева–Париж, 1995; Вирмо А., Вирмо О. Мэтры сюрреализма. СПб., 1996; Сюрреализм и авангард. М., 1999.
3. Сануйе М. Дада в Париже. М., 1999.

шел — например, романтики, — все же вряд ли полностью сравнимы с всеохватностью Дада. Судите сами: оспаривая и стремясь подменить собой все существующие системы мысли ("Мировоззрения сочатся из кончиков пальцев Дада, Дада — танцующий дух над моралями мира"), отвергая как филистерство окружающего мира, так и продажный характер современного искусства ("Бюргер, сытый карп и торговец скотом, который по воскресным дням покупает искусство по 20 марок, а по будням с успехом продолжает свой преступный промысел, должен быть убит, укокошен, навеки обезврежен Дада"), перерастая рамки художественного творчества и становясь образом жизни ("Дада невозможно изучить, его нужно почувствовать... Если ты жив, ты — дадаист"), Дада предстает неуемной глобальной стихией, сметающей все на своем пути — и, следуя своим законам, в конце концов убивающей и себя самое. С первых же дней существования цюрихского "Кабаре Вольтер", штаб-квартиры первой группировки Дада, наметилась схема, ставшая впоследствии традиционной для дадаистских "суаре": живопись — музыка — декламация стихов. Позже к этой триаде добавляется и танец; сами дадаисты признавали здесь влияние синтетической концепции "комплексного произведения" (Gesamtkunstwerk) Василия Кандинского.

Сплетая воедино тщательно рассчитанную художественную провокацию, политический нигилизм, достойный боевой группы (деятельность берлинских дадаистов), и внешне милое, но от того лишь более губительное дуракаваляние, отрицание всех общепринятых смыслов, Дада отвергает все возможные амбиции, кроме одной — вселенской: полного переустройства мира, создания этакого тотального Дадаленда ("Один дададень равен семи оборотам земного шара"). "Дада ничего не хочет, Дада растет", — выкрикивают создатели коллективного манифеста "Чего хотел экспрессионизм?", и не случайно Гуго Балль настаивал на игре слов: "дадаизм" и "дендизм". Как и дендизм, торжество стихийности и незаинтересованности, дадаизм невозможно подделать, надеть его, как маску, на время — с ним можно лишь срастись, жить им каждую секунду, иначе рискуешь превратиться в позера (достаточно сравнить такие разные судьбы соприкасавшихся с дадаизмом Дюшана и Кокто).

Собственно, именно на этот "жизненный" характер Дада, как правило, и наталкивается любая попытка критического исследования и переиздания произведений дадаистов. Как заставить "заиграть" текст, в свое время служивший лишь дополнением к художественным акциям и манифестациям (а зачастую и их иллюстрацией, записью: "Цюрихская хроника 1915—1919" Тристана Тцара, "Программа большого "суаре" 27 марта 1920 г."), но теперь этого основного стержня лишенный? Конечно, можно рассказать о внешней стороне Дада и, добавив: "Ну, а тексты вы держите в руках", счесть свою роль исполненной. Редакторы и переводчики "Альманаха" (общая редакция Сергея Кудрявцева) отказались от простейшего решения и рискнули передать былую энергию текста при помощи все того же "дадаистского" жеста. Русское издание "Альманаха" пытается максимально повторить бешеную верстку немецкого первоисточника, не просто поставившую вверх тормашками все тогдашние представления о книжной графике, но и задавшую образцы для подражаний до конца минувшего столетия (леттризм и позже графическая поэзия, применение каллиграфии в рекламе и дизайне, живопись на кинопленке, мэйл-арт, граффити, компьютерный монтаж). Конечно, точно

воспроизвести шрифты и графическую разбивку слов на другом языке почти не представляется возможным. Издатели в большинстве случаев просто сохраняют оригинальный разброс слов на странице, а иногда дают понять, как все это выглядело почти восемьдесят лет назад, параллельным воспроизведением перевода и фотокопии оригинала ("Пейзаж" Висенте Уидобро и объявление "Рекламное общество Дада"). Подобное решение — "часть вместо целого" — в итоге оказывается предельно выигрышным: с одной стороны, оно все же передает тот самый "дух Дада", а с другой — спасает от банальной подделки "под Дада", того самого позерства, которое дадаисты громили не щадя сил.

Сергей Дубин

Трагедия Ницше и современность

Фридрих Ницше. *Рождение трагедии.* Перевод с немецкого А. В. Михайлова. Составление, общая редакция, комментарий и вступительная статья А. А. Россиуса. М., Ad Marginem, 2001

Появившаяся книга уникальна. Кроме замечательного перевода классического текста Ницше "Рождение трагедии", она содержит полный спектр отзывов (от резко критических до апологетических), появившихся вскоре после ее выхода в свет, статью Петера Слотердайка "Мыслитель на сцене", посвященную этому же тексту Ницше, и текст Бориса Гройса "Дионис на берегах Рейна". Все переводы в этой книге, как и замысел подобного издания, принадлежат безвременно умершему (1938—1995) выдающемуся ученому и переводчику Александру Викторовичу Михайлову. Довел его дело до конца Андрей Россиус, подготовивший книгу к изданию и снабдивший тексты подробными комментариями.

Благодаря кропотливой работе этих людей мы имеем возможность читать Ницше в контексте развернувшейся полемики семидесятых годов прошлого века, оценить реакцию на эту полемику немецкого философа Слотердайка, которая побудила Гройса написать свой текст. Таким образом, воссоздается непрерывная цепь, по которой однажды рожденная мысль передается, трансформируясь и преображаясь в соответствии с изменившимися условиями; перед нами — живой процесс ее усвоения культурой, адаптации к новому времени. Одним словом, мы делаемся свидетелями захватывающего события: становится классиком человек, бывший для многих своих современников фантазером и недобросовестным ученым — в лучшем случае, а в худшем — просто сумасшедшим.

А ведь вначале академическая карьера Ницше складывалась чрезвычайно удачно. В двадцать четыре года по рекомендации своего учителя, известного классического филолога Фридриха Ричля, он становится профессором Базельского университета. Именно желание доказать коллегам свое соответствие занимаемой высокой должности побудило Ницше написать "Рождение трагедии". Но, начав работать над этим текстом, под влиянием идей вагнерианства и шопенгауэровской метафизики молодой профессор филологии ушел чрезвычайно далеко от поставленной им академической задачи: исследования происхождения античной трагедии. С гениальной прозорливостью, используя реалии античной культуры, он выстроил целый мир человеческой субъективности, основанный на противопоставлении дионисийского и

аполлонического начал в человеке. Эта доктрина актуальна для европейской культуры, прежде всего для философии, и в наше время.

Слотердайк пишет о Ницше: "Конечно же он был виртуозом: выдающимся филологом, блестящим критиком своей эпохи, фундаментальным аналитиком нравственности <...> Но прилежно и систематично <...> занимаясь какой-то из этих дисциплин, он в то же время практиковал, по меньшей мере, еще одну, что вызывало подозрения в его принципиальной бессистемности. Поэтому на первый взгляд может показаться, что Ницше во внешней жизни пал жертвой двойственности своего дара. Именно с этим, возможно, связано почти необъяснимое отсутствие успеха, преследовавшее Ницше при жизни <...> а также взрывной характер его посмертного влияния". Действительно, книга молодого мыслителя вызвала шок в научной среде. Довольно долго на нее вообще не было рецензий, кроме апологетических отзывов друга автора, филолога Эрвина Роде и композитора Рихарда Вагнера, которому и было посвящено "Рождение трагедии". Появление резко критического отзыва Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа "Филология будущего!" спровоцировало дискуссию, которая не утихает вокруг имени Ницше и по сей день. Хотя, как пишет Россиус, этот памфлет, как и отповедь на него Роде и новый ответ Виламовица, "используют — в одном случае для нападения, а в другом для защиты — один и тот же прием: пытаться задавить противника нагромождением технических и узкоспециальных деталей, компенсируя таким образом нехватку истинных аргументов". Виламовиц обвинил Ницше прежде всего в незнании элементарных вещей, пренебрежении фактами, отсутствии историзма. Тем более знаменательно, что, став впоследствии знаменитым ученым и написав основополагающие труды по истории греческой трагедии и религии, в частности "Введение в греческую трагедию", Виламовиц обнаруживает в них немалое сходство с воззрениями Ницше. Во многих спорных пунктах даже чисто филологическая правда оказалась на стороне Ницше.

Например, он выделил в истории Греции архаический период, ставший в XX веке одним из предметов исторического исследования. Только после дешифровки микенских текстов в середине XX столетия стало очевидно присутствие Диониса в религии этой древнейшей, догомеровской формы греческой цивилизации. Вторжением в филологию, которое отчасти придало ей творческий импульс, отчасти вынудило выйти за собственные границы, Ницше создал условия для превращения объектов специально филологического интереса в объекты философско-психологического познания человеческой природы. В "Рожде́нии трагедии" историческая точность изложения отступает на второй план перед интенсивностью возможных проекций на современность. Блестящий стилист, Ницше нашел способ говорить о древнегреческой драме как о своем интимном опыте. Индивидуация — источник всех страданий, и он находит в античности два пути к ее преодолению: аполлонический, связанный с понятием ясности, визуальности и сновидения, и дионисийский, неотделимый от опьянения и оргиастических манифестаций. По словам Слотердайка, "если в опьянении Ницше видит силу, с помощью которой индивид выходит за границы своего Я и растворяется в океане космического единства боли и радости, то сновидению он приписывает способность преображать индивидуализированных субъектов в необходимые формы бытия, подчиняющиеся закону

меры, границы и прекрасного образа. Трагическое произведение искусства рождается из слияния дионисийского и аполлонического начал".

Фигурой, противостоящей трагическому, Ницше представляется Сократ. Ницше создал контекст, в котором антитеза Аполлон — Дионис сменяется плодотворным противопоставлением Сократа Дионису, а следовательно, сил рацио и научного познания — архаическим силам опьянения и непосредственного инстинктивного восприятия мира. "Образ *умирающего Сократа*, человека, знаниями и доводами возвысившегося над страхом смерти, есть висящий над вратами науки герб — тот, что всякому вступающему сюда напоминает о ее призвании — делать существование постижимым, а потому оправданным". За фигурой Сократа Ницше виделось "чудовищно-огромное маховое колесо логического сократизма", разлагающее инстинкты.

Нельзя не заметить сочетания в тексте Ницше — и это подробно анализирует Слотердайк, называющий его "художником-ученым и ученым-художником", — рационалистического и артистическо-поэтического начал, которое оказалось чрезвычайно плодотворно для последующего восприятия текста "Рождение трагедии".

Вызов, который бросил Ницше академической науке, продолжает оставаться актуальным для любого, кто пытается предъявить свои новаторские идеи современному академическому сообществу. Так, текст "Мыслитель на сцене" был написан вслед за тем, как сам Слотердайк подвергся в немецкой печати довольно ожесточенным нападкам за книгу "Критика цинического разума", которая тем не менее имела литературный успех и принесла ему громкую известность.

Гройс анализирует причины, вызвавшие к жизни как саму книгу Слотердайка, так и критические отзывы на нее. Он пишет о духе философского рационализма, воцарившемся в Германии после войны, когда от человека требовалось стать "субъектом мотивированного и морально оправданного действия", поставив свои иррациональные желания под строгий контроль. "Критика цинического разума", представившая доводы разума и морали средством подавления индивидуума со стороны государства, вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Идентификация Слотердайка с Ницше в статье "Мыслитель на сцене" очевидна. От интерпретации текста Слотердайка о Ницше Гройс переходит к критике новейшей французской философии, которую он отождествляет с деконструкцией. Он утверждает, что в то время как дискурс деконструкции выявляет "дионисийских призраков", "повседневная действительность сама впадает на наших глазах в дионисийское безумие. Идеология глобализирующего капитализма, Интернета, медиальной индустрии — это и есть дионисийская идеология непрерывного телесного экстаза... Деконструкция стала просто другим именем для радикального монетаризма. Сегодняшняя повседневность уже давно деконструирована деньгами, финансовыми потоками, безумием информационных рынков и оказалась целиком под властью Диониса, в то время как интеллектуалы все еще предаются грезам, навеянным Аполлоном".

Логика построения книги со всей наглядностью показывает судьбу нового, реакцию на него в академической и более широкой культурной среде. Читая ее, мы как бы улавливаем биение пульса европейской мысли, которую невозможно представить без раннего труда Ницше "Рождение трагедии".

Анна Альчук

Война Владислава Шпильмана

Władysław Szpilman. *Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939–1945*. Kraków, wydawnictwo ZNAK, 2001.
Владислав Шпильман. *Пианист. Варшавские воспоминания 1939–1945*. Краков, издательство "Знак", 2001

Это воспоминания известного польского музыканта и композитора Владислава Шпильмана о жизни с 1939 по 1945 год в оккупированной немцами Варшаве. Они были изданы в Польше в 1946 году в обработке Ежи Вальдорффа под названием "Гибель города". В 1998 году новая версия книги, озаглавленная "Пианист", вышла в Германии, на следующий год — в США. Переведенная на восемь языков, она вызвала много откликов во всем мире и попала в списки бестселлеров. В качестве приложения ко второму изданию опубликованы отрывки из военных записок капитана вермахта Вильма Хозенфельда, спасшего В. Шпильмана в разрушенной Варшаве и уже после войны погибшего в советском лагере для военнопленных. В послесловии поэта Вольфа Бирмана содержатся размышления о книге и сведения о дальнейшей судьбе ее героев.

"Пианист" написан сразу после войны, по свежей памяти, тридцатилетним человеком, судя по тексту — прагматиком, сочетающим впечатлительность с хладнокровием, незаурядным рассказчиком, одаренным острой наблюдательностью. С первых страниц замечаешь, что детали в книге В. Шпильмана имеют свойство производить на читателя такое же непосредственное впечатление, как если бы он стоял рядом с мемуаристом на тротуаре Маршалковской в сумятице начала войны и видел растоптанные розовые астры под ногами польских солдат. Любопытны и часто неожиданны даже мелочи: как варшавяне беспечно встречают первый день войны, не делая никаких продовольственных запасов. Или: торговец валютой у стен гетто хочет купить доллары и — что бы вы думали — "рублики". Мемуарист помнит, как пахла сирень в гетто, как цвела акация, какой был закат, — и эти штрихи передают обостренное, жадное ко всем проявлениям жизни восприятие человека, все силы и помыслы устремляющего к выживанию.

Навсегда врезаются в память не только сцены расправ и транспорты в Треблинку, но, прежде всего, живые лица участников трагедии, намеченные иногда двумя-тремя штрихами, подробности человеческих отношений, передающие подлинную атмосферу того времени. Вместе с автором читатель день за днем проживает начало войны, переселение в гетто... Важно, что В. Шпильман нигде не забегает вперед, эффект присутствия достигается не только благодаря точности детали, но и особым обращением со временем — каждое мгновение прошлого переживается так остро, будто исход событий автору неизвестен.

Материал захватывает и держит читателя. Здесь есть все: и непредсказуемые повороты, и сюрреальный образ мира, увиденного глазами человека-крысы, каким его сделали нацисты, и — музыка, несколько раз спасшая ему жизнь. И даже своеобразный юмор ситуаций и авторских ремарок: "Если оставить в стороне его обычные занятия, Зискинд был человеком, полным идеалов" — или: "Ценя его гуманитарные способности, знакомые советовали Генрику поступить в еврейскую полицию..."

Почти детективное напряжение сюжета, выразительное чередование крупного и общего планов, яркие характеры (идеалист Генрик, красавица Регина, старик, с библейским неистовством копающий рвы для обороны Вар-

шавы, и другие), — все это будит ответную творческую мысль: не так давно Роман Полански, которого всегда волновала тема холокоста, начал снимать по книге фильм[1].

В начале своих воспоминаний В. Шпильман, описывая быстрое экономическое оживление в оккупированной немцами Варшаве, называет Вторую мировую "самой странной из всех войн". Книга развеивает представления и мифы, которые постепенно наслоились на подлинные события той войны за шестьдесят лет.

Не хватит никакого воображения или знания цифр и исторических фактов, чтобы представить себе жизнь в Варшавском гетто и в полностью разрушенной Варшаве. Для этого надо прочесть Шпильмана. Палачи-немцы и жертвы-евреи — с этой черно-белой картиной гетто после чтения мемуаров В. Шпильмана приходится расстаться... Он описывает, как по приказу немцев в гетто были созданы еврейские самоуправление и полиция, чтобы расправляться с евреями руками евреев же. Показана работа этого самоуправления, основанная на взятках и личных связях. И вот апофеоз: во время последней селекции в гетто люди разделились на тех немногих, кто добыл заветный номерок, дающий отсрочку от смерти, и тех, кто не сумел: "По четверо мерным шагом маршировали мы в окружении полиции... За нами оставалась толпа приговоренных к смерти, бросающихся то туда, то сюда, кричащих, плачущих и проклинающих нас..."

В гетто пухли от голода, на улицах сидели высохшие до неузнаваемости старики, женщины с детьми — а рядом в кафе "отдыхали" состоятельные евреи с дамами полусвета и нувориши, разбогатевшие на поставках сюда продовольствия: "...с их точки зрения, милостыня развращает, ведь следовало работать так, как они, и зарабатывать столько же денег. В конце концов <...> каждый, кто не сумел организовать свою жизнь, виноват в этом только сам".

Для выживания в гетто огромное значение имело довоенное социальное положение. "Совет самоуправления в гетто решил сделать все возможное, чтобы сохранить интеллигенцию. За тысячу злотых с человека он заменял внесенного в список (для отправки в концлагерь. — *М. К.*) каким-нибудь рабочим из еврейского пролетариата. Конечно, не все собранные таким способом деньги попадали в руки этих несчастных: члены совета тоже нуждались..." На этом фоне в кафе "Искусство", где выступал В. Шпильман, разыгрывались сценки "живого дневника" — "забавной хроники гетто, полной острых и закамуфлированных намеков в адрес немцев".

"В еврейскую полицию <...> в целях самосохранения шло большинство молодых людей из интеллигенции. Сверх всего, там при небольшой ловкости можно было хорошо зарабатывать", — пишет В. Шпильман. И далее: "Надевая полицейскую форму и беря в руку палку, они в ту же минуту превращались в зверей".

В послесловии Вольф Бирман высказывает точку зрения, что и поляки, грабившие и выдававшие евреев гестапо, и полицейские — ловцы людей в гетто, и даже евреи-агенты гестапо — "все они, в конечном счете, были жертвами немецких фашистов". Однако В. Шпильман, которого сам В. Бирман называет человеком немстительным, дает им совершенно противоположную оценку.

Шпильман не морализирует. Но его суждения лишены амбивалентности, он не путает палачей с жертвами, хотя нигде не дает эмоциям затуманить трезвость взгляда.

Сдержанность авторской позиции лишь повышает художественное качество книги. Мемуа-

1. Первая экранизация книги была сделана в Польше в 1950 г.

рист прежде всего не делает героя из самого себя. Ему хватило мужества описать свою борьбу за выживание предельно обнаженно. В этом одно из главных достоинств "Пианиста". Но и в этой хронике ада есть настоящие герои. Вот самое оптимистичное, что можно почерпнуть из чтения В. Шпильмана.

Это прежде всего Януш Корчак. Подвигом была его жизнь и его смерть.

Участников обоих восстаний (в гетто 1943 г. и Варшавском 1944-го) В. Шпильман, в силу обстоятельств, показывает бегло. Героизм тех, кого он видел вокруг себя, связан с личным выбором — это Хелена Левицкая, семья Яворских, все, кто рискуя собой, помогал другим...

Генрик Шпильман — младший брат мемуариста — никого не спасал. Просто он не умел и не хотел идти на компромиссы в том, что считал главным. Это казалось ему важнее страданий, а оказалось — жизни. Думаю, без Генрика — с его "идиотской прямолинейностью", "суровой порядочностью", идеями о пользе физического труда, нежеланием быть освобожденным из полиции, если надо просить "этих скотов" (тех, кто пошел служить к немцам), юного романтика, полного "завиральных" идей, — список героев был бы неполным. Жаль, что не осталось (кроме снимка младенческой поры, помещенного в книге) даже фотографии юного сумасброда, читающего в толпе на Умшлагплац Шекспира, перед тем как ступить в засыпанный хлоркой телячий вагон, идущий в лагерь смерти.

Еще одна тема, которую повествователь все время держит в поле зрения, — "коммерческая" сторона войны. Он подробно прослеживает бюрократические игры немецких властей с населением оккупированных территорий, политику поэтапного, продуманного подведения миллионов людей к потере ими своего имущества, потом — к гибели. Один пример: немцы приказывают отправить из гетто на смерть всех, кто не имеет свидетельства о приеме на работу, после чего большие немецкие фирмы и фирмочки развертывают в гетто продажу этих свидетельств, которые позже объявляются недействительными. В. Шпильман рассказывает о том, как германской администрацией был организован государственный грабеж рядовых граждан. Книга полна примеров обогащения немцев и сотрудничавших с ними украинцев и литовцев путем коррупции, прямого насилия и мародерства.

Но Шпильман не делит людей по национальному признаку, ему важны лишь их поступки. Его суждения лишены заданности. Кажется, такой подход давался легче в 1946 году, чем в наше время. Вольф Бирман пишет о книге: "В ней содержалось слишком много неудобной правды, в том числе о сотрудничестве порабощенных народов — русских, поляков, украинцев, литовцев, евреев — с немецкими нацистами". Но в "Пианисте" нет ни одного слова о коллаборационизме русских. Русские (то есть советские) в мемуарах Шпильмана упоминаются, причем на протяжении всего повествования с ними связаны только надежды на спасение от нацизма. И через пятьдесят с лишним лет В. Шпильман не захотел поправить себя тогдашнего, чтобы сохранить свое и чужое прошлое в неприкосновенности. А иначе — зачем нужны воспоминания, если мы ничего не хотим разглядеть там, кроме собственного отражения?

Материал книги явно сопротивляется выводам и обобщениям — и философским, и на злобу дня. Может потому, что война, от которой, как писал Януш Корчак, должно было остановиться солнце, не стала последней.

Марина Курганская

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Пикассо — нейробиолог поневоле

Очень жаль, что Жорж Брак и Пабло Пикассо совершенно не интересовались проблемой мозговой деятельности человека. По словам Семира Зеки, ученого кафедры когнитивной нейробиологии лондонского Юниверсити колледж, "эти художники могли бы стать замечательными нейробиологами... Возможно, они сами не отдавали себе в этом отчета, но их методы изучения человеческого мозга были абсолютно уникальны". Статья Зеки, опубликованная в журнале "Сайенс" от 6 июля 2001 г., может стать сенсацией для искусствоведов.

Специалисты-нейробиологи с интересом отмечают, что творческий метод Пикассо и Брака воспроизводит ход работы мозга, когда в поле его восприятия попадает какой-то предмет. Например, Пикассо изображает женщину с двумя носами: он совмещает два портрета своей модели, в профиль и анфас, медленно прокручивает, как киноленту, череду изображений, которые фиксируются мозгом, и запечатлевает их на одном полотне. Сами того не зная, кубисты отражают в своих произведениях ограниченные способности мозга к фиксации мелких подробностей, к запоминанию деталей, присущую ему тенденцию к схематизации и максимальному упрощению своих впечатлений.

Принцип имитации работы мозга лежит в основе и других направлений искусства. Например, если Александер Колдер создает мобили, значит, он, возможно неосознанно, апеллирует к тому участку нервной системы, который отвечает за зрительное восприятие движущихся предметов. А если Ив Кляйн использует в окраске тканей только синий цвет, то он таким образом обогащает "материалом" аппарат зрительного восприятия цветов. Те же закономерности обнаруживаются в живописи импрессионистов и пуантилистов. Отсюда Семир Зеки делает вывод: "Никакая эстетическая теория не может быть полноценной без знания нейробиологии. Любое искусство — это высший продукт деятельности нашего мозга". Иными словами, знакомство с основами нейробиологии может оказаться ценным для искусствоведческих штудий. И наоборот, анализ произведений искусства мог бы дать наглядное представление о некоторых процессах, происходящих на нейронном уровне и слишком быстрых, чтобы их можно было исследовать научными методами.

"Чтобы разобраться в поступающей информации, мозг нуждается в постоянных величинах, неких ориентирах, — объясняет Жан-Поль Тассен, нейробиолог из Коллеж де Франс. — Если человеку показать серию фотографий одного и того же предмета, сделанных под разными углами, мозг сможет распознать этот предмет, представив его как нечто единственное и неповторимое. А кубизм Пикассо и Брака в каком-то смысле фиксирует промежуточную стадию работы мозга". Кубизм взрывает "постоянные величины" (константы, на которые привык опираться мозг) и представляет один и тот же предмет сразу с нескольких углов зрения. Этот комплекс впечатлений сложнее, чем конечный продукт нормальной обработки информации. "Кубизм восстанавливает информацию, которая поступила в мозг и была им затем упрощена и упорядочена". Иными словами, оба художника восстанавливают наше непосредственное впечатление от чего-то, что мы бессознательно восприняли из окружающего мира.

Примерно тот же принцип — ставка на эффект узнавания — лежит в основе пародии. "Собственно говоря, нет ничего смешного в том, чтобы передразнивать Жака Ширака, — рассуждает Жан-Поль Тассен, — но нам это смешно еще и потому, что заставляет нас снова контактировать с тем, что уже было нами воспринято. Пародист вытаскивает на поверхность впечатления, которые уже хранятся в "запасниках" нашей памяти".

Может быть, рядовому зрителю эта теория и покажется сомнительной, но Тассен полностью убежден в ее обоснованности: "Трудно представить себе такой вид искусства, который мог бы существовать, не оказывая непосредственного воздействия на нейробиологические механизмы мозга".

Италия

Аве, Мария!

Как известно, и в Евангелии, и в ранней художественной литературе религиозного содержания образу Святой Девы отводилось второстепенное место. Однако сами верующие нашли в Мадонне нечто большее — путь к постижению загадочного облика ее Сына. Впрочем, путь этот отчасти парадоксален: ведь если Бог — это нечто непостижимое и не поддающееся описанию, то Богоматерь — это нечто еще более неописуемое, хотя и воплощенное в обычной земной женщине.

Но, пожалуй, именно поэтому к ней устремили свои взгляды, мысли, чувства и молитвы не только простые христиане, но и творцы прекрасного всех времен и народов. В вышедшей недавно в издательстве "Мондадори" антологии "Мария" с блестящим предисловием Энцо Бьянки собрано все лучшее из богатейшей литературной коллекции, посвященной этой теме. Антология охватывает все двадцать веков — от откровений апостолов до произведений наших дней. В ней дано слово теологам всех религий и религиозных направлений: католикам и протестантам, иудеям и православным — и даже мусульманам. Но по сокровенности и трогательности их тексты, безусловно, уступают шедеврам мастеров художественного слова, среди которых П. Верлен и К. Кавафис, У. Б. Йейтс и П. Клодель, А. Мачадо и Ф. Гарсиа Лорка, Р. М. Рильке и Т. С. Элиот, А. Мицкевич и А. Блок, С. Есенин и А. Ахматова...

Какой же представляется Божья Матерь их воображению? Для Джиттоне Д'Ареццо это "царица всех ангелов и людей"; для Доменико Джулиотти — "обитель земная, обитель златая из солнца безмерного"; а для Виттории Колонны — "звезда морей наших — ясная, путеводная". "Мадонна... кем же ты была в юности?" — вопрошает Пьер Паоло Пазолини, а Шарль Пеги пишет о "бесконечном материнстве" Марии. Любопытно, что некоторые видят в ней не мать, а сестру: "О сестра моя, о сестра моя добрая!" — восклицает Габриэле Д'Аннунцио (а Т. С. Элиот словно добавляет: "сестра безмолвная, в одеждах бело-голубых"). Примечательно поэтическое признание, которое сделал Джорджо Капрони: "Имени ее я не ведал. И море подсказало мне: 'Мария'".

Образ мадонны глазами Антонелло да Мессины

США

Первая редакция "Великого Гэтсби"

В 2000 году в Америке появилось несколько интересных изданий произведений Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Наиболее заметными из них можно назвать сборник ранних рассказов и повестей писателя, написанных в 1920—1922 гг., и публикацию ранней версии романа "Великий Гэтсби". Один из самых знаменитых американских романов XX века первоначально назывался "Тримальхион" — по имени одного из персонажей "Сатирикона" Петрония, богача, славившегося своими роскошными пирами. Теперь "Тримальхион" вышел в двух вариантах: один, тиражом 500 нумерованных экземпляров, для исследователей — это факсимильное издание гранок с правкой Фицджеральда, подготовленное крупнейшим исследователем творчества писателя и его биографом профессором Мэтью Брукколи; второй — публикация "Тримальхиона" с комментариями профессора Джеймса Уэста.

Благодаря этим изданиям можно проследить историю создания романа "Великий Гэтсби". Уже в раннем рассказе Фицджеральда "Зимние мечты" появился мальчик, в воображении видящий себя богатым и сильным. Мальчик этот влюбился в дочь богача, и мечта о счастье с ней никогда больше не оставляла его. Со временем мальчик вырос, сколотил состояние, но самое главное его желание так и осталось неосуществленным — возлюбленная вышла замуж, нарожала детей и потеряла все свое очарование. Многие сцены из этого рассказа практически в неизменном виде перекочевали в роман "Великий Гэтсби". Приблизительно в то же время, когда писатель закончил работу над "Тримальхионом", был опубликован и один из самых знаменитых рассказов Фицджеральда "Отпущение грехов". Идею этого рассказа Фицджеральд сформулировал в письме: "Священник отпускает мальчику грехи (конечно, не в обрядовом смысле), показывая ему, что он (священник) находится в еще более жутком состоянии ужаса и отчаяния". Ужас, отчаяние и мечты, которым не суждено сбыться, неизменно преследуют людей, живущих в открытый Фицджеральдом "век джаза" — атмосфера эта является фоном, на котором впоследствии развернутся события "Великого Гэтсби".

"Тримальхион" — следующая ступень в творчестве Фицджеральда. Замысел романа пришел к писателю весной 1924 года на Лонг-Айленде, а большую часть его он написал, находясь на французской Ривьере. Из Европы он отправил текст в Нью-Йорк своему издателю Максуэллу Перкинсу, откуда тот, в свою очередь, прислал его обратно уже в виде корректурных гранок — для окончательной проверки. Такое поведение было само по себе неслыханной любезностью: набор текста в то время был делом дорогостоящим и трудоемким, а потому издатели предпочитали, не консультируясь лишний раз с автором книги, сразу отдавать ее в печать; и Перкинс уж никак не ожидал, что Фицджеральд внесет в текст столько исправлений. В процессе правки "Тримальхиона" возник "Великий Гэтсби".

Разница между "Тримальхионом" (в то время Фицджеральд еще настаивал на этом названии) и "Великим Гэтсби" весьма значительна: писатель убрал некоторые эпизоды, в результате чего, по мнению ряда исследователей, усилилась эмоциональная напряженность повествования; отказался от излишней прямолинейности в некоторых сценах (например, когда Ник упрекает Гэтсби в том, что "как только он получил Дэзи, она стала ему не нужна"). Однако повествовательная манера, большинство сюжетных коллизий и проблематика остались прежними.

Сам Фицджеральд был весьма доволен своим произведением: нередко он в шутку называл его "самым лучшим романом из всех романов, написанных в Америке".

Франция

Оригинальные новшества

Французы, как известно, — законодатели мод, причем не только в одежде. В последнее время французские издатели не устают радовать читателей всевозможными новинками. Так, издательство "Марабу" с недавних пор предлагает оригинальное новшество: коллекцию под названием "Пуа плюм" ("Вес пера"). То, что в нее входит, можно определить как "книжка-открытка-плакат". Заполненный текстом и иллюстрациями лист складывается несколько раз, образуя 32-страничную книгу, причем одна из секций сделана таким образом, что на нее можно наклеить марку и, надписав почтовый адрес, отправить получателю. Тот, в свою очередь, может читать ее как книгу, прикрепив кнопками к стене (кнопки в комплект не входят), снова отослать как открытку следующему адресату и т. д. Разумеется, если скрепить такую "книжку-открытку-плакат" с другими подобными экземплярами, получится нечто, весьма напоминающее нормальную книгу. Варианты еще далеко не исчерпаны, и оригинальному изобретению наверняка сыщутся новые применения.

По-своему решило порадовать любителей литературы французское издательство "Натан", которое начало бесплатно распространять среди своих "клиентов" — книжных магазинов — компакт-диск под названием "Все о книге". В нем не только подробно объясняются основные звенья цепи (от издательского замысла до распространения готовой продукции), но и тщательно анализируются некоторые секторы книжного рынка, например, книги для детей, студентов или справочная литература. В ком-

пакт-диск также включены интервью со специалистами, статистические данные, анимация и схемы, предоставляющие информацию о каждом секторе. Примечательно, что сопроизводителем компакта "Все о книге" выступило престижное издательство "Робер Лаффон", публикующее солидные справочники и словари.

Япония

Культовая фигура

На японском книжном рынке установлен своеобразный рекорд, причем книга, ставшая "рекордсменом", весьма необычна. За почти два десятка месяцев после публикации автобиография под названием "У каждого свои недостатки" разошлась тиражом более 4,5 миллионов экземпляров и заняла второе место в сводном списке всех японских бестселлеров со времен окончания Второй мировой войны. С этим успехом можно поздравить не только издательство "Кодансия", одно из старейших (основано в 1909 году) и крупнейших в Японии, но и автора книги, которого без преувеличения можно назвать уникальной личностью.

23-летний Хиротада Ототаке родился без рук и ног, но такое, по его выражению, "несовершенное тело" не лишило его сильнейшего желания жить достойно и счастливо. Естественно, человек с подобным физическим недостатком сталкивается с множеством разнообразных трудностей, и Хиротада Ототаке рассказывает о своем личном опыте их преодоления, нигде не впадая в при этом в жалость к самому себе. И столь же естественно, что автор стал необычайно популярен в Японии, превратившись в настоящую культовую фигуру, а поскольку автобиография уже переведена на английский язык, оценить ее могут не только японцы, но и миллионы читателей во всем мире.

По материалам газет "Паис" (Испания), "Стампа-Туттолибри" (Италия), журналов "Либерасьон" (Франция), "Нью-Йорк ревью оф букс" (США).

ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ?

Романы, занимающие первые 5 мест в списке бестселлеров французского журнала Le Point *от 3 сентября 2001 г.*

1. Michel Houellebecq.
   Platforme

2. Amélie Nothomb.
   Cosmétique de l'ennemi

3. Catherine Millet.
   La vie sexuelle de Catherine M.

4. Mary Higgins Clark.
   Dans la rue où vie celle que j'aime

5. Erik Orsenna.
   La grammaire est une chanson douce

Дженет Уинтерсон
Jeanette Winterson
[р. 1959]. Английская писательница.

Автор романов *На свете есть не только апельсины* [*Oranges Are Not the Only Fruit*, 1985], *Страсть* [*The Passion*, 1987], *Написанное на теле* [*Written on the Body*, 1995] и др.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Мир и другие места* [*The World and Other Places*. London, Jonathan Cape, 1998].

Алан Александр Милн
Alan Alexander Milne
[1882—1956]. Английский прозаик, эссеист, драматург.

Автор романов *Мистер Пим* [*Mr. Pim*, 1921], *Загадка Ред Хауза* [*The Red House Mistery*, 1921, рус. перев. 1990], *Хлоя Марр* [*Chloe Marr*, 1946], сборников эссе и пьес. В *ИЛ* [1994, № 6] был опубликован роман *Двое* [*Two people*, 1931]. Его перу принадлежат детские книги *Когда-то давным-давно* [*Once On a Time*, 1917], *Когда мы были совсем маленькими* [*When We Were Very Young*, 1924], *Теперь нам уже шесть* [*Now We Are Six*, 1927] и всемирно известные книги о Винни-Пухе — *Винни-Пух* [*Winnie-the-Pooh*, 1926], *Домик на Пуховой опушке* [*The House at Pooh Corner*, 1928], вышедшие на русском языке в переводе Б. Заходера под названием *Винни-Пух и все-все-все* [1960].
Баллада из книги *Когда мы были совсем маленькими* публикуется по изданию: A. A. Milne. T*he World of Winnie-the-Pooh. Poems.* [Moscow, Raduga Publishers, 1983].

Маргрит де Моор
Margriet de Moor
[р. 1941]. Нидерландская писательница, лауреат ряда литературных премий.

Автор сборника рассказов *Вид со спины* [*Op de rug geizen*, 1968], книги повестей под общим названием *Двойной портрет* [*Dubbelportret*, 1989], романов *Серое, белое, голубое* [*Eerst grijs, dan wit, dan blauw*, 1991; рус. перев. 1996], *Виртуоз* [*De virtuoos*, 1993], *Герцог Египта* [*Hertog van Egypte*, 1996], *Внутреннее море* [*Zee-Binnen*, 1999].
Публикуемый рассказ взят из книги *Как во сне* [*Ik droom dus*. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, 1995].

Фазыл Хюсню Дагларджа
Fazil Hüsnü Dağlarca
[р. 1915]. Турецкий поэт, неоднократный лауреат национальных литературных премий, премии *Золотой венок* Стружских вечеров поэзии в Югославии [1974]. В 1967 г. на Международном поэтическом форуме в Питтсбурге [США] избран "лучшим из современных турецких поэтов".

Автор поэтических сборников *Мир, прочерченный в воздухе* [*Havaya çizilen dÿnya*, 1935], *Каменный век* [*Taş devri*, 1945], *Нейтронная бомба* [*Nötrön bombasi*, 1981] и др., составивших 20-томное собрание сочинений. На русском языке изданы книга стихов

Четырехкрылая птица [1984] и книга детских стихов *Воздушный змей* [1975].
В *ИЛ* [1972, № 3] были опубликованы стихи в переводе Ф. Искандера.
Публикуемые стихи взяты из книги *За пятьдесят лет* [*Ilk yapitla 50 yil sonrakiler*, Özgür yayin-dağitim, 1985].

Вера Борисовна Феонова
Переводчица с турецкого.

В ее переводе изданы романы *Король футбола* А. Несина, *Во власти моря* Т. Дурсуна, повесть *Дом* Д. Джейхуна, а также рассказы С. Али, О. Акбала, Б. Йылдыза и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны журнальные варианты романов О. Памука *Черная книга* [1999, № 6], *Меня зовут Красный* [2001, № 9].

Фредерик Бегбедер
Frédéric Beigbeder
[р. 1965]. Французский писатель, журналист, критик.

Автор романов *Каникулы в отключке* [*Vacances dans le coma*, 1994], *Любовь длится три года* [*L'amour dure trois ans*, 1997], *99 франков* [*99 Francs*, 2000].
Публикуемые новеллы входят в сборник *Рассказики под экстази* [*Nouvelles sous ecstasy*], опубликованный в Париже издательством Gallimard [1999].

Биргит Лаханн
[р. 1940]. Немецкая писательница, обозреватель журнала Штерн.

Автор книг *Экзамены на аттестат зрелости* [*Abitur*, 1982], *Визиты к художникам* [*Hausbesuche bei Künstlern*, 1985], *Свадьба* [*Hochzeit*, 1987], *Товарищ Иуда, или Две жизни Ибрагима Бёме* [*Genosse Judas, die zwei Leben des Ibrahim Böhme*, 1992], *Любимая зона – рассказы о новой Германии* [*Geliebte Zone – Geschichten aus dem neuen Deutschland*, 1997], *Маршрутами Бертольта Брехта* [*Auf Bertolt Brechts Spuren*, 1999], *По следам Гёте* [*Auf Goethes Spuren*, 1999].
Публикуемый текст напечатан в журнале Штерн [2000, № 32].

Евгений Анатольевич Попов
[р. 1946]. Писатель, уроженец Сибири, ныне живущий и работающий в Москве.

Автор множества рассказов, повестей и романов, в т. ч. *Прекрасность жизни* [1990], *Накануне накануне* [1993], *Душа патриота* [1994], *Подлинная история "Зеленых музыкантов"* [1998] и др., переведенных практически на все европейские языки. В *ИЛ* опубликованы его эссе *"Кто старое помянет"* [1996, № 1] и ответы на анкету [1999, № 2].

Переводчики

Ольга Александровна Варшавер
Переводчица с английского.

В ее переводе издавались романы Ш. Джексон, Б. Плейн, Ш. Голана, пьесы А. Мердок и Т. Стоппарда, рассказы Б. Маламуда, У. Сарояна, К. Маккаллерс, Т. О'Брайена и др. Переводы О. Варшавер неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Евгения Алексеевна Славороссова
Поэт и переводчик.

Автор книги стихов *Утренний поезд* [1982]. В ее переводах публиковались стихи Р. Л. Стивенсона и произведения английской народной поэзии. В *ИЛ* [2001, № 1] опубликованы ее переводы стихов Р. Л. Стивенсона.

Светлана Юрьевна Князькова
Переводчица с нидерландского языка, специалист по нидерландской литературе.

Переводила рассказы и повести современных нидерландских авторов: С. Кармиггелта, Я. Волкерса, Х. Клауса, Х. Раса, Х. Лампо, Р. Схуманса. В ее переводе вышел роман М. де Моор *Серое, белое, голубое* [1996].

Фазиль Абдулович Искандер
[р. 1929]. Прозаик, поэт. Лауреат ряда литературных премий.

Автор многочисленных поэтических и прозаических произведений, наиболее известными из которых являются: *Созвездие Козлотура* [1966], *Сандро из Чегема* [1973], *Маленький гигант большого секса* [1979], *Кролики и удавы* [1982], *Стоянка человека* [1990], *Человек и его окрестности* [1993], *Софичка* [1995]. В *ИЛ* [1972, № 3] были опубликованы его переводы стихов Ф. Х. Дагларджи.

Ирина Николаевна Васюченко
Критик, прозаик, переводчица с французского.

В ее переводах выходили произведения А. Дюма и А. Моруа. В *ИЛ* в ее переводе напечатан роман М. Уэльбека *Элементарные частицы* [совместно с Г. Зингером; 2000, № 10].

Георгий Рубинович Зингер
[р. 1947]. Переводчик с французского.

Автор работ по истории французской драматургии и театра XVII—XIX вв., в т. ч. монографии *Рашель* в серии *Жизнь в искусстве* [1980], переводчик произведений Колетт и Брантома. В *ИЛ* в его переводе напечатаны романы *Путь в один конец* Дидье Ван Ковелера [совместно с Н. Мавлевич; 1996, № 3], *Нечаев вернулся* Х. Семпруна [совместно с И. Кузнецовой; 1996, № 11], Элементарные частицы М. Уэльбека [совместно с И. Васюченко, 2000, № 10].

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого.

В его переводах публиковались произведения Р. Леттау, П. Хэртлинга, К. Хайна, Г. Руге. В *ИЛ* напечатаны его переводы произведений Х. М. Энценсбергера [1994, № 9; 1995, № 6; 1997, № 9], В. Бирмана [1994, № 9], М. Дёнхофф [1998, № 2], Б. Брехта [1998, № 12], Э. Юнгера [1999, № 2], переписки Г. Грасса и Кэндзабуро Оэ [1997, № 2], биографии Эриха Марии Ремрака Вильгельма фон Штернбурга [2000, № 10]. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть русского писателя В. Панова *Филипп фон Цезен*.

non / fictioN°3

3 Международная ярмарка интеллектуальной литературы

28 ноября-2 декабря 2001

Центральный Дом Художника

Тематические разделы ярмарки: Гуманитарная литература, Научно-техническая литература, Художественная литература, Детская литература, Учебная литература, Периодические издания, Электронные издания Книжный дизайн, Литература по искусству, Букинистическая литература

Главный информационный спонсор: ИЗВЕСТИЯ

Информационная поддержка: Коммерсант, Иностранец, Эхо Москвы, Общая газета, Книжное обозрение

Организатор: «Экспо-Парк Выставочные проекты» EXPO-PARK
117049, Москва, Крымский вал, 10 тел./факс: (095) 238 4500/4516

if.russ.ru

ИФ

интеллектуальный

ФОРУМ

Оригинальные статьи российских авторов и переводы из лучших интеллектуальных изданий Европы и США (London Review, New Yorker, The New York Review, The New Republic и др.). История, философия, культура, искусство - самый широкий спектр проблем и дискуссий, актуальных для каждого думающего человека.

http://if.russ.ru

т. 201-7551

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки
использован фрагмент
картины немецкого художника
Каспара Давида
Фридриха [1774–1840]
Скалистые берега Рюгена;
путешественник перед морем
облаков [1818]

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Подписано в печать 9.10.2001
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № . 1506
Тираж 12 000 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

линия-арт

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

[12] 2001

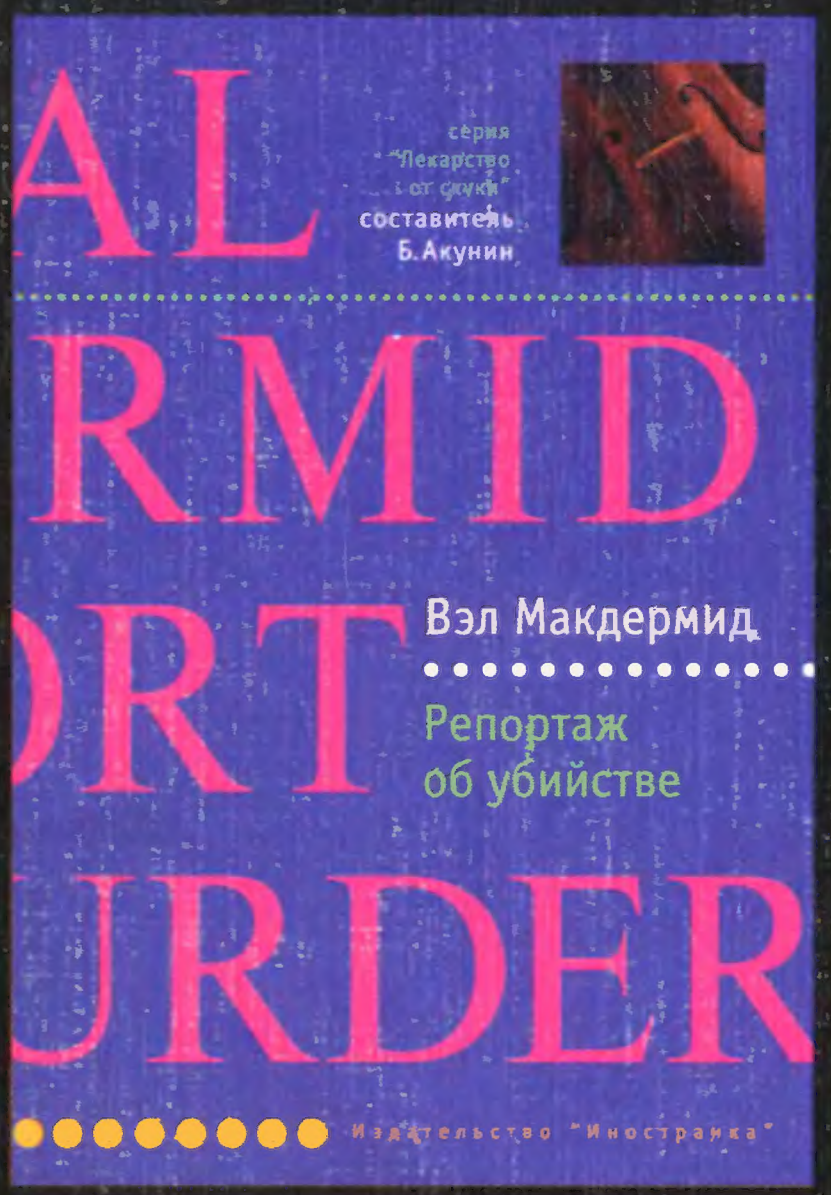
"ПЛУТОВСКОЙ" РОМАН РОМЕНАТАРИ "ПОВИННАЯ ГОЛОВА" / ПОВЕСТЬ БИРГИТ ВАНДЕРБЕКЕ "К АЛЬБЕРТЕ ПРИДЕТ ЛЮБОВНИК" / СТИХИ Ч. К. УИЛЬЯМСА / ЭССЕИСТИКА ДЭВИДА ЛОДЖА / "ИЗ ЖИЗНИ РАЙСКОГО САДА": СТИХИ БОЛГАРСКИХ ПОЭТОВ / ДМИТРИЙ ЗАТОНСКИЙ О ГЮНТЕРЕ ГРАССЕ / АПОЛЛОН ДАВИДСОН О ДЖ. М. КУТЗЕЕ

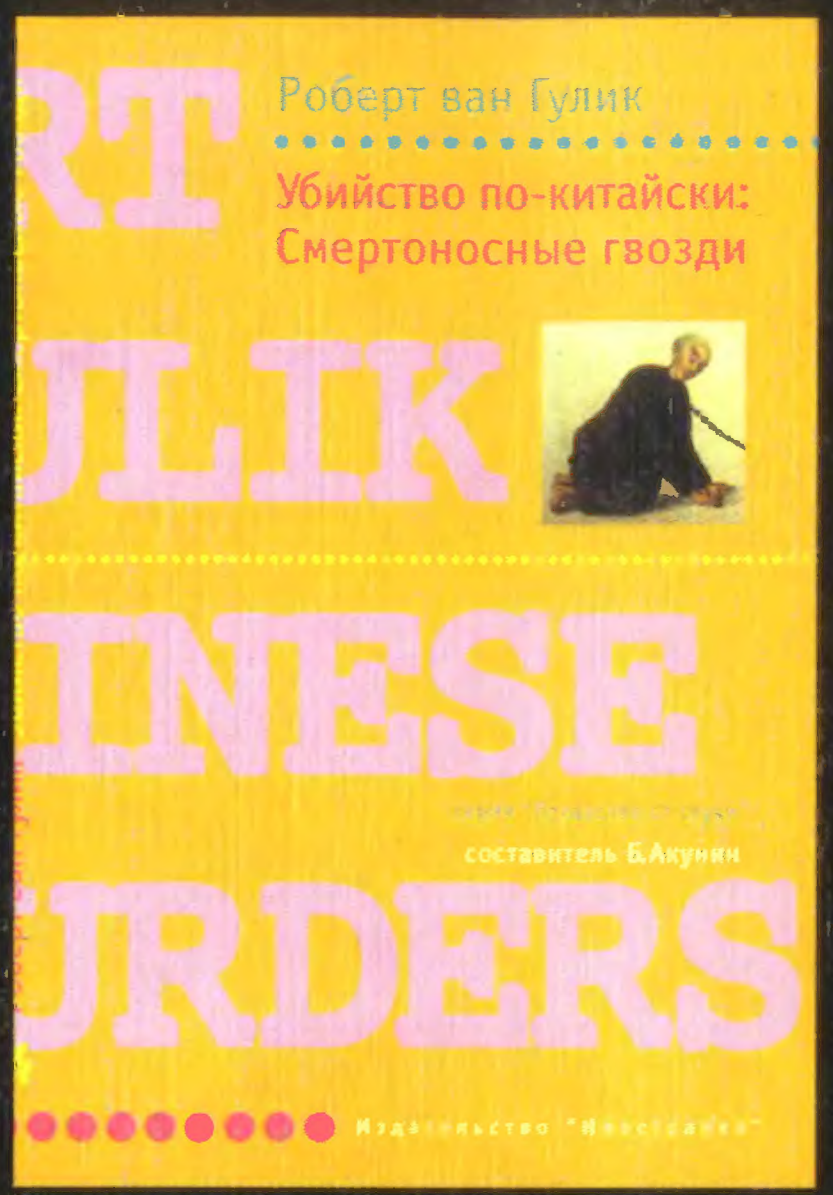
Новая серия издательства "Иностранка"

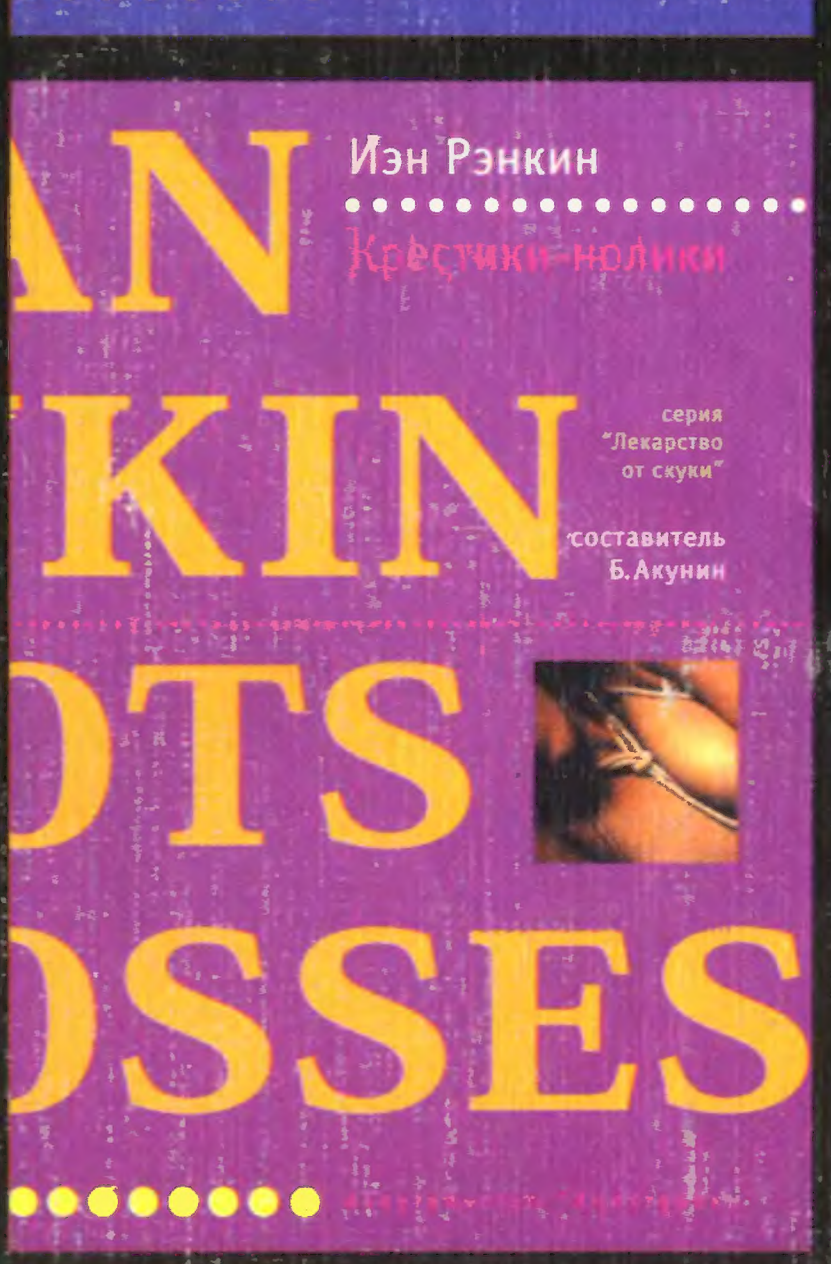
"Лекарство от скуки"

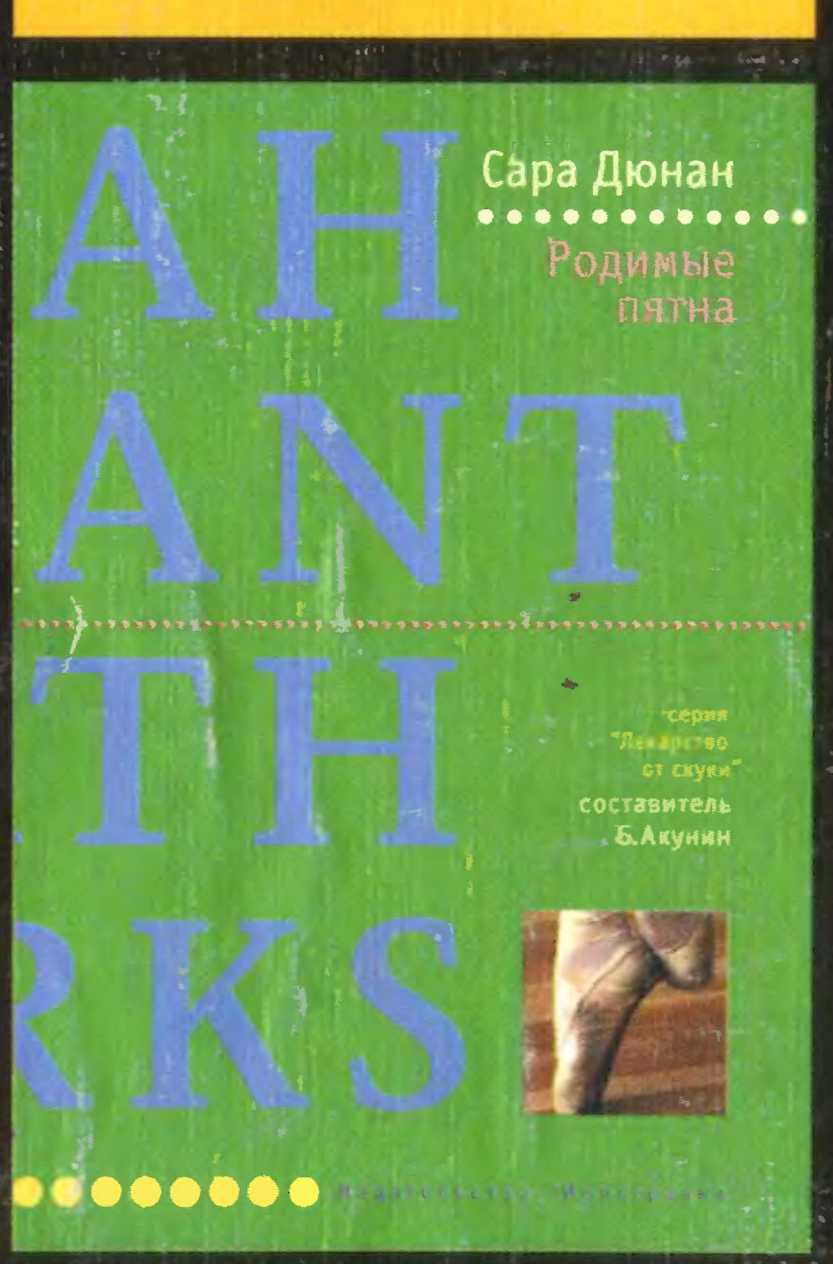
составитель Б.Акунин

Серьезный подход к несерьезному жанру









По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2001, №11, 1-288